

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

2

1990

2

Н О В Ы Й
М И Р

1990



НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 2

Февраль, 1990 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНИОК — Им даже уроки смерти не впрок, стихи | 3 |
| НИНА КРАСНОВА — Встретились два мужика..., стихотворение | 5 |
| АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — В круге первом, роман. Продолжение | 6 |
| ЛЕОН ТООМ — Три стихотворения. Публикация А. Тоома | 89 |
| ВЛАДИМИР КРУПИН — Два рассказа | 91 |
| ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Потаенный лик, стихи | 106 |
| ЯН САТУНОВСКИЙ — Мирумиргород, стихи. Вступительное слово и публикация Владимира Глоцера | 108 |
| ПУБЛИЦИСТИКА | |
| ВИКТОР ЯРОШЕНКО — Партии интересов | 113 |
| ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ | |
| АНДРЕЙ БИТОВ — Записки из-за угла | 142 |
| ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ | |
| «ВЫСОКИЙ СТОЙКИЙ ДУХ». Переписка Бориса Пастернака и Марии Юдиной. Публикация Е. Б. Пастернака, А. М. Кузнецова. Вступительная статья Е. Б. Пастернака. Примечания А. М. Кузнецова | 166 |
| ЕВГЕНИЙ ПАСТЕРНАК — Нобелевская премия Бориса Пастернака | 191 |
| ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ | |
| А. КОНДРАТОВИЧ — Последний год. Из «Новомирского дневника». Публикация В. А. Кондратович | 195 |

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

| | Стр. |
|---|------|
| ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА | |
| ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО — Фундаментальный лексикон. Литература позднего сталинизма | 237 |
| КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ | |
| <i>Литература и искусство</i> | |
| М. Новикова. Зачем нам история? | |
| О. Алякринский. «...исполнены всякой неправды». | |
| А. Ранчин. Национальный космос и личная мифология. | |
| 251 | |
| <i>Политика и наука</i> | |
| Петр Черкасов. «Ленин или Корнилов?» | |
| Андрей Василевский. Разорение. III. | |
| 260 | |
| КОРОТКО О КНИГАХ: | |
| Г. Асланова.—Е. А. Маймин. Афанасий Афанасьевич Фет. Книга для учащихся. ♦ | |
| Ив. Толстой.—Владислав Ходасевич. Стихотворения. ♦ | |
| В. Вахрушев.—Уильям Мейклис Теккерей. Творчество. Воспоминания. Библиографические разыскания. ♦ | |
| И. Мочалов.—П. Л. Капица. Письма о науке. 1930—1980. ♦ | |
| С. Кормилов.—Юрий Прокушев. И неподкупный голос мой... Поэты России | 268 |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ | 272 |

К СВЕДЕНИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВ И РЕДАКЦИЙ

Обращаемся с просьбой ко всем советским и зарубежным издательствам, а также к редакциям газет и журналов всякий раз ставить нас в известность о намерениях перепечатать произведения, помещенные на страницах нашего журнала.

Редакционная коллегия.

ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК

*

ИМ ДАЖЕ УРОКИ СМЕРТИ НЕ ВПРОК

Козья ностра!

«У-у! Козья ностра!!!» — вот так среди ночи
заругаюсь порой.
Надо же, не хватало напастей,
на тебе — рэкеты, мафия!
А наши любимые органы тащатся по следу,
как будто у них застарелый геморрой.
И хочется одному встать,
Бац — и всех в тартарары!
И в огненную бездну к такой-то матери!
А потом подумаешь: с них ведь станется,
они и там не сгорят.
И не то чтобы из асбеста
или кожа у них такая нечеловечески грубая.
Но если они были вхожи не только туда,
где закон соблюдают,
но и туда, где его творят,
То неужели они не найдут мастера,
который в любой огонь проложит им
персональные охлаждающие трубы?!
Можно ли их растрогать?
Можно.
Они даже женщин не толкают в автобусе.
И вообще не любят по мелочам хамить.
Иногда плачут искренне.
А то и, беспечно смеясь,
За какой-нибудь вшивой редиской
по-детски трогательно
забираются в чужие огороды.
Словом, люди как люди.
И только одного у них нет:
Веры в то, что когда-нибудь не ворующий
сможет не только существовать,
но и небольшую семью кормить.
Веры у них нет!
Вот почему мы люди принципиально разной породы.
Веры нет!
Причем настолько,
Что им даже уроки смерти не впрок.
Докажи им, что завтра погибнет мир,—
веки не дрогнут, не то что мороз по коже.
Поэтому, может быть, им так легко
Надкусить чужую судьбу, чужой пирог
Или чужую жизнь,
Что при полном отсутствии веры,
собственно говоря, одно и то же,

НИНА КРАСНОВА

* * *

Встретились два мужика,
Встретились два рыбака:

- У нас река.
- Да и у нас река.
- У вас река какá?
- У нас Ока.
- А у вас кака?
- Да и у нас така.

Помолчали два мужика,
Помолчали два рыбака.

- У нас Ока. И у вас Ока.
- У вас Ока кака?
- У вас глубока?
- Широка?
- Раньше Ока
- Была глубока.
- Раньше Ока
- Была широка.
- А теперь Ока
- Не така глубока.
- А теперь Ока
- Не така широка.
- Теперь Ока не така.
- А у вас кака?
- Да и у нас така.

Помолчали два мужика,
Помолчали два рыбака.

- У нас Ока не така.
- У вас Ока не така.
- А рыбка-то есть пока?
- Рыбка-то есть пока.
- Рыбка кака?
- Велика?
- Рыбка невелика.
- А у вас кака?
- Да и у нас така.

Помолчали два мужика,
Помолчали два рыбака.

- У нас поставили ГРЭС.
- Да и у нас поставили ГРЭС.
- Это, конечно, прогресс...
- А то! Конечно, прогресс!

Выпили два мужика,
Выпили два рыбака.

- Ну ладно, пока.
 - Пока.
-

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

В КРУГЕ ПЕРВОМ

Роман

22

А Властитель, возбуждённый большими мыслями, крупно ходил по ночному кабинету. Какая-то внутренняя музыка нарастала в нём, какой-то огромнейший духовой оркестр давал ему музыку к маршу.

Недовольные? Пусть недовольные. Они всегда были и будут.

Но, пропустив через себя незамысловатую мировую историю, Сталин знал, что со временем люди всё дурное простят, и даже забудут, и даже припомнят как хорошее. Целые народы подобны королеве Анне, вдове из шекспировского «Ричарда III», — их гнев недолговечен, воля не стойка, память слаба — и они всегда будут рады отдаться победителю.

Толпа — это как бы материя истории. (Записать!) Сколько её в одном месте убудет, столько в другом прибудет. Так что беречь её нечего.

Для того и нужно ему жить до девяноста лет, что не кончена борьба, не достроено здание, неверное время — и некому его заменить.

Провести и выиграть последнюю мировую войну. Как сусликов выморить западных социал-демократов и всех недобитых во всём мире. Потом, конечно, поднять производительность труда. Решить там эти разные экономические проблемы. Одним словом, как говорится, построить коммунизм.

Тут, кстати, укрепились совершенно неправильные представления, Сталин последнее время обдумал и разобрался. Близорукие наивные люди представляют себе коммунизм как царство сытости и свободы от необходимости. Но это было бы невозможное общество, все на голову сядут, такой коммунизм хуже буржуазной анархии! Первой и главной чертой истинного коммунизма должна быть дисциплина, строгое подчинение руководителям и выполнение всех указаний. (И особенно строго должна быть подчинена интеллигенция.) Вторая черта: сытость должна быть очень умеренная, даже недостаточная, потому что совершенно сытые люди впадают в идеологический разброд, как мы видим на Западе. Если человек не будет заботиться о еде, он освободится от материальной силы истории, бытие перестанет определять сознание, и всё пойдёт кувырком.

Так что, если разобраться, то истинный коммунизм у Сталина уже построен.

Однако, объявлять об этом нельзя, ибо тогда: куда же идти? Время идёт, и всё идёт, и надо куда-то же идти.

Очевидно, объявлять о том, что коммунизм уже построен, вообще не придётся никогда, это было бы методически неверно.

Вот кто молодец был — Бонапарт. Не побоялся лая из якобинских подворотен, объявил себя императором — и кончено дело.

В слове «император» ничего плохого нет, это значит — повелитель, начальник. Это ничуть не противоречит мировому коммунизму.

Как бы это звучало! — Император Планеты! Император Земли! Он шагал и шагал, и оркестры играли.

А там, может быть, найдут средство такое, лекарство, чтобы сделать хоть его одного бессмертным?.. Нет, не успеют.

Как же бросить человечество? И — на кого? Напутают, ошибок наделают.

Ну, ладно. Понастроить себе памятников — ещё побольше, ещё повыше (техника разовьётся). Поставить на Казбеке памятник, и поставить на Эльбрусе памятник — и чтобы голова была всегда выше облаков. И тогда, ладно, можно умереть — Величайшим из всех Великих, нет ему равных, нет сравнимых в истории Земли.

И вдруг он остановился.

Ну, а... — выше? Равных ему, конечно, нет, ну а если там, над облаками, выше глаза поднимешь — а там...?

Он опять пошёл, но медленнее.

Вот этот один неясный вопрос иногда закрадывался к Сталину. Давно, кажется, доказано то, что надо, а что мешало — то опровергнуто.

А всё равно как-то неясно.

Особенно если детство твоё прошло в церкви. И ты вглядывался в глаза икон. И пел на клиросе. А «ныне отпускаеши» и сейчас споешь — не соврёшь.

Эти воспоминания почему-то за последнее время оживились в Иосифе.

Мать, умирая, так и сказала: «Жалко, что ты не стал священником». Вождь мирового пролетариата, Собиратель славянства, а матери казалось: неудачник...

На всякий случай Сталин против Бога никогда не высказывался, довольно было ораторов без него. Ленин на крест плевал, топтал, Бухарин, Троцкий высмеивали — Сталин помалкивал.

Того церковного инспектора, Абакадзе, который выгнал Джугашвили из семинарии, Сталин трогать не велел. Пусть доживает.

И когда третьего июля пересохло горло, а на глаза вышли слёзы — не страха, а жалости, жалости к себе — не случайно с его губ сорвались «братья и сёстры». Ни Ленин, ни кто другой и нарочно б так не придумал обмолвиться.

Его же губы сказали то, к чему привыкли в юности.

Никто не видел, не знает, никому не говорил: в те дни он в своей комнате запирался и молился, по-настоящему молился, только в пустой угол, на коленях стоял, молился. Тяжелей тех месяцев во всей его жизни не было.

В те дни он дал Богу обет: что если опасность пройдёт и он сохранится на своём посту, он восстановит в России церковь, и служения, и гнать не даст, и сажать не даст. (Этого и раньше не следовало допускать, это при Ленине завели.) И когда точно опасность прошла, Сталинград прошёл — Сталин всё сделал по обету.

Если Бог есть — Он один знает.

Только вряд ли он всё-таки есть. Потому что слишком уж тогда благодушный, ленивый какой-то. Такую власть иметь — и всё терпеть? и ни разу в земные дела не вмешаться — ну, как это возможно?.. Вот обойдя это спасение сорок первого года, никогда Сталин не замечал, чтоб кроме него кто-нибудь ещё распоряжался. Ни разу локтем не толкнул, ни разу не прикоснулся.

Но если всё-таки Бог есть, если распоряжается душами — нуждался Сталин мириться, пока не поздно. Несмотря на всю свою высоту — тем более нуждался. Потому что — пустота его окружала, ни рядом, ни близко никого, всё человечество — внизу где-то. И, пожалуй, ближе всего к нему был — Бог. Тоже одинокий.

И последние годы Сталину просто приятно было, что церковь в своих молитвах провозглашает его Богоизбранным Вождём. За то ж и он держал Лавру на кремлёвском снабжении. Никакого премьер-ми-

нистра великой державы не встречал Сталин так, как своего послушного дряхлого патриарха: он выходил его встречать к дальним дверям и вёл к столу под локоток. И ещё он подумывал, не подыскать ли где именъице какое, подворье, и подарить патриарху. Ну, как раньше дарили на помин души.

Об одном писателе Сталин узнал, что тот — сын священника, но скрывает. «Ты — пра́ва-славный?» — спросил он его наедине. Тот побледнел и замер. «А ну, пе́рэкрестысь! Умейшь?» Писатель перекрестился и думал — тут ему конец. «Ма́ладэц!» — сказал Сталин и хлопал по плечу.

Всё-таки в долгой трудной борьбе были у Сталина кое-какие перегибы. И хорошо бы так, над гробом, хор светлый собрать и чтобы — «Ныне отпущаеши...»

Вообще странное замечал у себя Сталин расположение не к одному только православию: раз, и другой, и третий потягивала его какая-то привязанность к старому миру — к тому миру, из которого он вышел сам, но который по большевистской службе уже сорок лет разрушал.

В тридцатые годы из одной лишь политики он оживил забытое, пятнадцать лет не употреблявшееся и на слух почти позорное слово *Родина*. Но с годами ему самому вправду стало очень приятно выговаривать «Россия», «родина». При этом его собственная власть приобретала как будто бо́льшую устойчивость. Как будто святость.

Раньше он проводил мероприятия партии и не считал, сколько там этих русских идёт в расход. Но постепенно стал ему заметен и приятен русский народ — этот никогда не изменявший ему народ, голодавший столько лет, сколько это было нужно, спокойно шедший хоть на войну, хоть в лагеря, на любые трудности и не бунтовавший никогда. Преданный, простоватый. Вот такой, как Поскрёбышев. И после Победы Сталин вполне искренне сказал, что у русского народа — ясный ум, стойкий характер и терпение.

И самому Сталину с годами уже хотелось, чтоб и его признавали за русского тоже.

Что-то приятное находил он также в самой игре слов, напоминающей старый мир: чтобы были не «заведующие школами», а директора; не «комсостав», а — офицерство: не ВЦИК, а — Верховный Совет (верховный — очень слово хорошее); и чтоб офицеры имели денщиков; а гимназистки чтоб учились отдельно от гимназистов, и носили пелеринки, и платили за проучение; и чтоб у каждого гражданского ведомства была своя форма и знаки различия; и чтобы советские люди отдыхали как все христиане, в воскресенье, а не в какие-то безличные номерные дни; и даже чтобы брак признавать только законный, как было при царе — хоть самому ему круто пришлось от этого в своё время, и что б об этом ни думал Энгельс в морской пучине; и хотя советовали ему Булгакова расстрелять, а белогвардейские «Дни Турбиных» сжечь, какая-то сила подтолкнула его локоть написать: «допустить в одном московском театре».

Вот здесь, в ночном кабинете, впервые примерил он перед зеркалом к своему кителю старые русские погоны — и ощутил в этом удовольствие.

В конце концов и в короне, как в высшем из знаков отличия, тоже не было ничего зазорного. В конце концов то был проверенный, устойчивый, триста лет стоявший мир, и лучшее из него — почему не заимствовать?

И хотя сдача Порт-Артура могла в своё время только радовать его, бежавшего из Иркутской губернии ссыльного революционера, — после разгрома Японии он, кажется, не солгал, говоря, что сдача Порт-Артура сорок лет лежала тёмным пятном на самолюбии его и других старых русских людей.

Да, да, старых русских людей! Сталин задумывался иногда, что ведь не случайно утвердился во главе этой страны и привлѣк сердца её — именно он, а не все те знаменитые крикуны и клинобородые талмудисты — без родства, без корней, без положительности.

Вот они, вот они все здесь, на полках, без переплѣтов, в брошюрах двадцатых годов — захлебнувшиеся, расстрелянные, отравленные, сожжѣнные, попавшие в автомобильные катастрофы и кончившие с собой! Отовсюду изъяты, преданные анафеме, апокрифические — здесь они выстроились все! Каждую ночь они предлагают ему свои страницы, трясут бородѣнками, ломают руки, плюют в него, хрипят, кричат ему с полка: «Мы предупреждали!», «Нужно было иначе!» Чужих блох искать — ума не надо! Для того Сталин и собрал их здесь, чтобы злей быть по ночам, когда принимает решения. (Почему-то всегда оказывалось так, что уничтоженные противники в чём-то оказывались и правы. Сталин настороженно прислушивался к их враждебным загробным голосам и иногда кое-что перенимал.)

Их победитель, в мундире генералиссимуса, с низко-покатым назад лбом питекантропа, неуверенно брѣл мимо полка и пальцами скрюченными держался, хватался, перебирал по строю своих врагов.

Невидимый внутренний оркестр, под который он шагал, разлачился и замолк в нём.

И заломили, почти отнять готовы были ноги. Тяжѣлыми волнами било в голову, слабеющая цепь мыслей распалась — и он совсем забыл, зачем подошёл к этим полкам? о чём он только что думал?

Он опустился на близкий стул, закрыл лицо руками.

Это была собачья старость... Старость без друзей. Старость без любви. Старость без веры. Старость без желаний.

Даже любимая дочь давно была ему не нужна, чужда.

Ощущение перешибленной памяти, меркнущего разума, отъединения ото всех живых заполняло его беспомощным ужасом.

Мутным взглядом он обвѣл комнату, не различая, близко её стены или далеко.

На тумбочке рядом стоял ещё один графинчик под замком. Сталин нащупал ключ, длинно привязанный к поясу (в дурном состоянии он мог обронить его и искать долго), отпер графинчик, налил и выпил бодрящей настойки.

И ещё сидел с закрытыми глазами. В теле стало лучше, лучше, хорошо.

Проясневший взгляд его упал на телефон — и что-то, ускользавшее весь вечер, опять скользнуло по его памяти кончиком змеиного хвоста.

Что-то надо было спросить у Абакумова... Арестован ли Гомулка?..

Да! Вот оно! Он поднялся и, мягко шаркая по ковру, добрался до письменного стола, взял ручку, написал на календаре: *Секретная телефония.*

Рапортовали, что собраны лучшие силы, что полная материальная база, что энтузиазм, что встречные обязательства — почему не кончают?! Абакумов, морда наглая, просидел, собака, час битый — ни слова не сказал!

Вот так и все они, во всех ведомствах — каждый старается обмануть своего Вождя! Как же можно им довериться? Как же можно не работать по ночам?

Ещё до завтрака больше десяти часов.

Он позвонил, чтоб его переодели в халат.

Беззаботная страна может спать, но Отец её спать не может!

Уж, кажется, всё было сделано для бессмертия.

Но Сталину казалось, что современники, хотя и называют его Мудрейшим из Мудрейших,— всё-таки не по заслугам мало восхищаются им; всё-таки в своих восторгах поверхностны и не оценили всей глубины его гениальности.

И последнее время язвила его мысль: не только выиграть третью мировую войну, но совершить ещё один научный подвиг, внести свой блистающий вклад в какую-нибудь ещё из наук, кроме философских и исторических.

Конечно, такой вклад он мог бы внести в биологию, но там он доверил работу Лысенке, этому честному энергичному человеку из народа. Да и больше была заманчива для Сталина математика или хотя бы физика. Все основоположники бесстрашно пробовали свои силы в этих науках. Просто завидно читать бойкие рассуждения Энгельса о ноле или о минус единице, возведенной в квадрат. Восхищала Сталина и та решительность Ленина, с которой он, юрист, пошёл в дебри физики, и там, на месте, распустил учёных, доказал, что материя не может превращаться ни в какую энергию.

Сталин же, сколько ни перелистывал учебник «Алгебры» Киселёва и «Физику» Соколова для старших классов,— никак не мог набрести ни на какой счастливый толчок.

Такую счастливую мысль — правда, совсем в другой области, в языкознании, ему подал недавний случай с тбилисским профессором Чикобавой. Этого Чикобаву Сталин смутно помнил, как всех сколько-нибудь выдающихся грузинов: он был посетителем дома Игнатовили-сына, тбилисского адвоката, меньшевика, и сам фрондёр, уже не мыслимый нигде, кроме Грузии.

В последней статье, доживя до того почтенного возраста и до того скептического состояния ума, когда начинаешь мало считаться с земным, Чикобава умудрился написать по видимости антимарксистскую ересь, что язык — никакая не *надстройка*, а просто себе язык, и что будто бы существует язык не буржуазный и пролетарский, а просто национальный язык. И открыто осмелился посягнуть на имя самого Марра.

Так как и тот и другой были грузинами, то отклик последовал в грузинском же университетском вестнике, серенький переплетенный номер которого с грузинской вязью лежал сейчас перед Сталиным. Несколько лингвистов-марксистов-марристов обрушились на наглеца с обвинениями, после которых тому оставалось только ожидать ночного стука МГБ. Уже намекнуто было, что Чикобава — агент американского империализма.

И ничто не спасло бы Чикобаву, если бы Сталин не снял трубку и не оставил его жить. Его он оставил жить, а простеньким провинциальным мыслям Чикобавы решил дать бессмертное изложение и гениальное развитие.

Правда, звучней было бы опровергнуть, например, контрреволюционную теорию относительности или волновую механику. Но за государственными делами просто нет на это времени. Языкознание же всё-таки рядом с грамматикой, а грамматика по трудности всегда казалась Сталину рядом с математикой.

Это можно будет ярко, выразительно написать (он уже сидел и писал): «Какой бы язык советских наций мы ни взяли — русский, украинский, белорусский, узбекский, казахский, грузинский, армянский, эстонский, латвийский, литовский, молдавский, татарский, азербайджанский, башкирский, туркменский... (вот чёрт, с годами ему всё трудней останавливаться в перечислениях. Но надо ли? Так лучше в голову входит читателю, ему и возражать не хочется)... — каждому ясно, что...» Ну, и там что-нибудь, что каждому ясно.

А что ясно? Ничего не ясно... Экономика — базис, общественные явления — надстройка. И — ничего третьего, как всегда в марксизме.

Но с опытом жизни Сталин разобрался, что без третьего не поскачешь. Например, нейтральные страны могут же быть (их доконаем потом отдельно) и нейтральные партии (конечно, не у нас). При Ленине скажи такую фразу: «Кто не с нами — тот ещё не против нас»? — в минуту бы выгнали из рядов.

А получается так... Диалектика.

Вот и тут. Над статьёй Чикобавы Сталин сам задумался, поражённый никогда не приходившей ему мыслью: если язык — надстройка, почему он не меняется с каждой эпохой? Если он не надстройка, так что он? Базис? Способ производства?

Собственно так: способ производства состоит из производительных сил и производственных отношений. Назвать язык *отношением* — пожалуй что нельзя. Значит, язык — производительная сила? Но производительные силы есть: орудия производства, средства производства и люди. Но хотя люди говорят языком, всё же язык — не люди. Чёрт его знает, тупик какой-то.

Честнее всего было бы признать, что язык — это орудие производства, ну, как станки, как железные дороги, как почта. Тоже ведь — связь. Сказал же Ленин: «без почты не может быть социализма». Очевидно, и без языка...

Но если прямым тезисом так и дать, что язык — это орудие производства, начнётся хихиканье. Не у нас, конечно.

И посоветоваться не с кем.

Ну, можно будет вот так, поосторожнее: «В этом отношении язык, принципиально отличаясь от надстройки, не отличается, однако, от орудий производства, скажем от машин, которые так же безразличны к классам, как язык».

«Безразличны к классам». Тоже ведь раньше, бывало, не скажешь...

Он поставил точку. Заложил руки за затылок, зевнул и потянулся. Не так много он ещё думал, а уже устал.

Сталин поднялся и прошёлся по кабинету. Он подошёл к небольшому окошку, где вместо стёкол было два слоя прозрачной желтоватой брони, а между ними высокое выталкивающее давление. Впрочем, за окнами был маленький отгороженный садик, там по утрам проходил садовник под наблюдением охраны — и сутки не было больше никого.

За непробиваемыми стёклами стоял в садике туман. Не было видно ни страны, ни Земли, ни Вселенной.

В такие ночные часы, без единого звука и без единого человека, Сталин не мог быть уверен, что вся страна-то его существует.

Когда после войны несколько раз он ездил на юг, он видел одно пустое как вымершее пространство, никакой живой России, хотя проехал тысячи километров по земле (самолётам он себя не доверял). Ехал ли он на автомобилях — и пустое стлалось шоссе, и безлюдная полоса вдоль него. Ехал ли он поездом — и вымирали станции, на остановках по перрону ходила только его поездная свита и очень проверенные железнодорожники (а скорей всего — чекисты). И у него укреплялось ощущение, что он одиночек не только на своей кунцевской даче, но и вообще во всей России, что вся Россия — придумана (удивительно, что иностранцы верят в её существование). К счастью, однако, это неживое пространство исправно поставляет государству хлеб, овощи, молоко, уголь, чугун — и всё в заданных количествах и в срок. Ещё и отличных солдат поставляет это пространство. (Тех дивизий Сталин тоже никогда своими глазами не видел, но судя по взятым городам — которых он тоже не видел — они несомненно существовали.)

Сталин был так одинок, что уже нечем было ему себя проверить, не с кем соотнестись.

Впрочем, половина Вселенной заключалась в его собственной груди и была стройна, ясна. Лишь вторая половина — та самая объективная реальность, корчилась в мировом тумане.

Но отсюда, из укрепленного, охраняемого, очищенного ночного кабинета, Сталин совсем не боялся той второй половины — он чувствовал в себе власть корёжить её, как хотел. Только когда приходилось своими ногами вступать в ту объективную реальность, например, поехать на большой банкет в Колонный зал, своими ногами пересечь пугающее пространство от автомобиля до двери, и потом своими ногами подниматься по лестнице, пересекать ещё слишком обширное фойе и видеть по сторонам восхищённых, почтительных, но всё же слишком многочисленных гостей — тогда Сталин чувствовал себя худо и не знал даже, как лучше использовать руки свои, давно не годные к настоящей обороне. Он складывал их на животе и улыбался. Гости думали, что Всесильный улыбается в милость к ним, а он улыбался от растерянности...

Пространство им самим было названо коренным условием существования материи. Но овладев его сухой шестой частью, он стал опасаться его. Тем и хорош был его ночной кабинет, что здесь не было пространства.

Сталин задвинул металлическую шторку и поплёлся опять к столу. Проглотил таблетку, снова сел.

Никогда в жизни ему не везло, но надо трудиться. Потомки оценят.

Как это случилось, что в языкознании — аракчеевский режим? Никто не смеет слова сказать против Марра. Странные люди! Робкие люди! Учишь их, учишь демократии, разжуёшь им, в рот положишь — не берут!

Всё — самому, и тут — самому...

И он в увлечении записал несколько фраз:

«Надстройка для того и создана базисом, чтобы...»

«Язык для того и создан, чтобы...»

В усердии выписывания слов он низко склонил над листом коричневатого-серого лица с большим носом-бороздилом.

Лафарг этот, тоже мне в теоретики! — «внезапная языковая революция между 1789 и 1794 годами». (Или с тестем согласовал?..)

Какая там революция! Был французский язык — и остался французский.

Кончать надо все эти разговорчики о революциях!

«Вообще нужно сказать к сведению товарищей, увлекающихся взрывами, что закон перехода от старого качества к новому качеству путём взрыва неприменим не только к истории развития языка, — он редко применим и к другим общественным явлениям».

Сталин отклонился, перечитал. Это хорошо получилось. Надо, чтобы это место агитаторы особенно хорошо разъяснили: что с какого-то момента всякие революции прекращаются и развитие идёт только эволюционным путём. И даже, может быть, количество не переходит в качество. Но об этом в другой раз.

«Редко»?.. Нет, пока ещё так нельзя.

Сталин перечеркнул «редко» и написал: «не всегда».

Какой бы примерчик?

«Мы перешли от буржуазного индивидуально-крестьянского строя (новый термин получился, и хороший термин!) к социалистическому колхозному».

И, поставив, как все люди, точку, он подумал и дописал: «строю». Это был его любимый стиль: ещё один удар по уже забитому гвоздю. С повторением всех слов любая фраза воспринималась им как-то понятнее. Увлечённое перо писало дальше:

«Однако, этот переворот совершился не путём взрыва, то есть не путём свержения существующей власти,— (надо, чтоб это место агитаторы особенно разъясняли!),— и создания новой власти»,— (об этом чтоб и мысли не было!!).

С легкодумной ленинской руки в советской исторической науке признают только революцию снизу, а революцию сверху считают полумерой, ублюдком, признаком дурного тона. Но пора назвать вещи своими именами:

«А удалось это проделать потому, что это была революция сверху, что переворот был совершён по инициативе существующей власти...»

Стоп, это получилось нехорошо. Так выходит, что инициатива коллективизации шла не от крестьян?..

Сталин откинулся в кресле, зевнул — и вдруг потерял мысль, все мысли, какие только что были. Загоревшийся в нём пыл исследования — погас.

Сильно сторбившись, путаясь в длинных полах халата, шаркающею походкой владетель полумира прошёл во вторую узкую дверь, не различную от стены, опять в кривой узкий лабиринтик, а лабиринтиком — в низкую спальню без окна, с железобетонными стенами.

Ложась, он кряхтел и пытался подкрепить себя привычным рассуждением: ни Наполеон, ни Гитлер не могли взять Британию потому, что имели врага на континенте. А у него — не будет. Сразу с Эльбы — марш на Ламанш, Франция сыпется как труха (французские коммунисты помогут), Пиренеи — с ходу штурмом. Блитц-криг — это, конечно, афера. Но без молниеносной войны не обойтись.

Начать можно будет, как атомных бомб наделаем и прочистим тыл хорошенько.

Уже уткнувшись в подушку щекой, перебрал последние бессвязные мысли: что в Корее тоже надо молниеносно; что с нашими танками, артиллерией, авиацией обойдёмся мы, пожалуй, и без Мирового Октября.

Вообще путь к мировому коммунизму проще всего через Третью Мировую войну: сперва объединить весь мир, а уже там учреждать коммунизм. Иначе — слишком много сложностей.

Не нужно больше никаких революций! Сзади, сзади все революции! Впереди — ни одной!

И опустился в сон.

24

Когда инженер-полковник Яконов вышел из министерства боковым парадным ходом на улицу Дзержинского и обогнул чёрно-мраморный нос здания под пилястры Фуркасовского, он не сразу узнал свою «победу» и уже надавил было ручку садиться в чужую.

Вся прошедшая ночь была густо-туманная. Снег, порывавшийся идти с вечера, вначале всё таял, потом пресекся. Сейчас, под утро, туман жался к земле, а натаявшую воду подбирало хрупким ледком.

Холодало.

Было уже скоро пять часов. В небе стояла чёрная фонарная ночь.

Мимо проходил студент-первокурсник (он всю ночь простоял в парадном со своей возлюбленной) и с завистью поглядел, как Яконов садился в автомобиль. Он вздохнул — доживёт ли когда-нибудь, чтоб иметь машину. Не то, чтобы девушку покатасть в легковой — он и в грузовике-то ездил только в кузове, в колхоз на уборочную.

Но он не знал, кому завидовал...

Шофёр спросил:

— Домой?

Яконов бессмысленно держал на ладони карманные часы, не понимая, что они показывали.

— Домой? — спросил шофёр.

Яконов дико посмотрел на него.

— А? Нет.

— В Марфино? — удивился шофёр. Хотя он ждал в бурках и в полушубке — он продрог, хотел спать.

— Нет, — ответил инженер-полковник, держась рукой чуть выше сердца.

Шофёр смотрел на лицо шефа в мутноватом пятне от уличного фонаря сквозь ветровое стекло.

Это не был его шеф. Покойные мягкие, порой надменно-сжатые губы Яконова беспомощно тряслись.

И он всё ещё держал на ладони часы, не понимая.

И хотя шофёр с полуночи ждал, злился на полковника, матерясь в бараний мех воротника, припоминая ему все его дурные поступки за два года, — сейчас, — переспрашивая больше, он поехал наугад. И злость его прошла.

Было так поздно, что уже становилось рано. Редкий автомобиль встречался на пустынных улицах. Уже не было ни милиции, ни тех, кто раздевает, ни тех, кого раздевают. Скоро должны были пойти троллейбусы.

Несколько раз шофёр оглядывался на полковника: всё же надо было что-то решать. Он уже сгонял до Мясницких ворот, доехал бульварами до Трубной, свернул на Неглинную. Но не ездить же было так до утра!

Яконов неподвижным бессмысленным взглядом упёрся вперёд, в ничто.

Он жил на Большой Серпуховке. Рассчитывая, что вид кварталов, близких к дому, приведёт инженер-полковника к желанию вернуться домой, шофёр направил в Замоскворечье. Из Охотного ряда он развернулся на строгую пустынную Красную площадь.

Зубцы стен и верхушки елей у стен тронуло инеем. Брусчатка была особенно скользка. Туман жался под колёса автомобиля, к мостовой.

В двухстах метрах от них за зубцами, которые поэтами назывались не иначе как священными, за проходными, караулками, вахтами, часовыми, патрулями и засадами, обитал, по тем же поэтам, Немышный, и должен был сейчас кончать свою одинокую ночь.

А они проехали, даже не вспомнив о нём.

И уж когда спустились мимо Василия Блаженного и повернули налево по набережной, шофёр затормозил и спросил опять:

— А может домой, товарищ полковник?

Надо было именно домой. Может быть этих ночей, проводимых дома, осталось меньше, чем пальцев. Но как пёс убегает умирать в одиночестве, так Яконов должен был уйти куда-то, не в семью.

Подобрав полы кожаного пальто, он вышел из «Победы» и сказал шофёру:

— Ты, братец, езжай-ка спи, я сам дойду.

Братцем он иногда называл шофёра. Но звукнула в его голосе такая скорбь, будто он прошался.

Москва-река была до набережных покрыта шевелящимся одеялом тумана.

Не застёгивая пальто, в полковничьей папаше чуть набекрень, Яконов, оскользаясь пошёл по набережной.

Шофёр хотел окликнуть его поехать с ним рядом, но потом подумал, что — небось, в таких чинах не топятся, развернулся и уехал.

А Яконов пошёл долгим пролётом набережной без пересечений, с каким-то бесконечным деревянным заборцем слева, рекою справа. Шёл он по асфальту, посередине, немигающе уставясь в далёкие фонарные огни.

И пройдя сколько-то, ощутил, что вот эта похоронная ходьба в полном одиночестве доставляет ему простое и давно не испытанное удовольствие.

Когда их вызвали к министру второй раз — случилось непоправимое. Было ощущение, что рухнули все привычные прикрывающие потолки. Абакумов метался красным зверем. Он наступал на них, разгонял их по кабинету, матюгался, плевал — едва что мимо них, и, не соразмерив тычка кулаком к лицу Яконова, с очевидным желанием причинить боль, зацепил его мягкий белый нос, и у Яконова пошла кровь.

Селивановского он разжаловал в лейтенанты и послал на заполярную подкомандировку; Осколупова вернул рядовым надзирателем в Бутырскую тюрьму, где тот начал карьеру в 1925 году; а Яконова за обман и за *повторное вредительство* арестовал и послал в таком же синем комбинезоне в ту же Семёрку, к Бобынину, своими руками налаживать клиппированную речь.

Потом отдышался и дал им последнего срока — до ленинской годовщины.

Большой безвкусный кабинет плыл и качался в глазах Яконова. Платком он пытался осушить нос. Он стоял беззащитно перед Абакумовым, а сам думал о тех, с кем проводил один только час в сутки, но единственно для кого извивался, боролся и тиранил остальные часы бодрствования: о двух девочках восьми и девяти лет и о жене Варюше, тем более дорогой, что он не рано женился на ней. Он женился тридцати шести лет, едва выйдя оттуда, куда опять его теперь толкал железный кулак министра.

Потом Селивановский повёл Осколупова и Яконова к себе и угрозил, что обоих их загонит за решётку, но не даст себя низвести до заполярного лейтенанта.

Потом Осколупов повёл Яконова к себе и нацистую открыл, что теперь-то он навсегда связал тюремное прошлое Яконова и его вредительское настоящее.

...Яконов подошёл к высокому бетонному мосту, уведившему направо за Москва-реку. Но он не стал обходить, подниматься на его въезд, а прошёл под ним, тоннелем, где расхаживал милиционер.

Милиционер долгим подозрительным взглядом проводил странного пьяного человека в пенсне и полковничьей папахе.

Дальше Яконов перешёл коротким мостом через малую речку. Это было устье Яузы, но он не пытался опознаться, где он.

Да, затеяна была угарная игра, и подходил её конец. Яконов не раз вокруг себя и на себе испытывал ту безумную непосильную гонку, в которой захлестнулась вся страна — её наркомы и обкомы, учёные, инженеры, директора и прорабы, начальники цехов, бригадиры, рабочие и простые колхозные бабы. Кто бы и за какое бы дело ни брался, очень скоро оказывался в захвате, в защеме придуманных, невозможных, калечащих сроков: больше! быстрее! ещё! ещё!!! норму! сверх нормы! три нормы!!! почётную вахту! встречное обязательство! досрочно! ещё досрочнее!!! Не стояли дома, не держали мосты, лопались конструкции, сгнивал урожай или не всходил вовсе, — а человеку, попавшему в эту круговерть, то есть каждому отдельному человеку, не оставалось, кажется, иного выхода, как заболеть, пораниться между этими шестерёнками, сойти с ума, попасть в аварию — и только тогда отслежаться в больнице, в санатории, дать забыть о себе, вдохнуть лесного воздуха — и опять, и опять вползать постепенно в тот же хомут.

Только большие наедине со своей болезнью (не в клинике!) могли жить бестревожно в этой стране.

Однако, до сих пор из таких дел, неотвратно загубляемых спешкой, Яконову всё удавалось выскакивать в другие дела — или поспойнее, или ещё пока вначале.

Лишь на этот раз, он чувствовал, ему уже не вырваться. Установку клиппера нельзя было спасти так быстро. Никуда нельзя было и перейти.

И заболеть — тоже было упущено.

Он стоял у парапета набережной и смотрел вниз. Туман вовсе лёг на лёд, обнажив его, — и прямо под Яконовым виднелось чёрное гнило-зимное пятно — разводье.

Чёрная бездна прошлого — тюрьма — опять разверзлась перед ним и опять звала его вернуться.

Шесть лет, проведенных там, Яконов считал гнилым провалом, чумой, позором, величайшей неудачей своей жизни.

Он сел в тридцать втором году, молодым инженером-радиостом, уже дважды побывавшим в заграничных командировках (из-за этих командировок он и сел). И тогда попал в число первых эзков, из которых сформировали одну из первых шарашек.

Как он хотел забыть тюремное прошлое — сам! и чтоб забыли другие люди! и чтоб забыла судьба! Как он сторонился тех, кто напоминал ему злосчастное время, кто знал его заключённым!

С порывом он отошёл от парапета подальше, пересек набережную и пошёл куда-то круто вверх. Огибая долгий забор ещё одной строительной площадки, там шла тропа, утоптанная и сохранившая нескользкий ледок.

Только центральная картотека МГБ знала, что и под мундирами МГБ порой скрывались бывшие эски.

Двое таких, кроме Яконова, было и в Марфинском институте.

Яконов щепетильно избегал их, старался никогда не вести с ними внеслужебных разговоров и не оставался один на один в кабинете, дабы со стороны не примыслили чего дурного.

Один из них был — Княженецкий, семидесятилетний профессор химии, любимый студент Менделеева. Он отбыл свои положенные десять лет, после чего во внимание к длинному списку научных заслуг послан был в Марфино *вольным* и проработал здесь три года, пока свистящий бич Постановления об Укреплении Тыла не поразил и его. Как-то среди дня он был вызван по телефону в министерство, откуда уже не вернулся. Яконову запомнилось, как Княженецкий спускался по красно-ковровой лестнице института с трясущейся серебряной головой, ещё не ведая, зачем его вызвали на полчаса, а за спиной его, на верхней площадке той же лестницы оперуполномоченный Шикин уже подрезал перочинным ножиком фотографию профессора с институтской доски почёта.

Второй — Алтынов не был знаменит в науке, а просто деловой человек. Он после первого срока был замкнут подозрителен, прозорлив недоверчивостью арестантского племени. И как только Постановление об Укреплении стало совершать свои первые провороты по кольцам столицы, Алтынов словчил и лёг в сердечную клинику. И словчил так натурально, так надолго, что сейчас уже доктора не надеялись его спасти, и друзья перестали шептаться, поняв, что просто не выдержало исшившееся сердце изворачиваться тридцать лет кряду.

Так и Яконов, уже год назад обречённый как бывший эзк, теперь повторно обрекался как вредитель.

Бездна звала своих детей назад.

...Яконов взбирался тропинкой через пустырь, не замечая — куда, не замечая подъёма. Наконец одышка остановила его. И ноги устали, вывихиваясь от неровностей.

И тогда с высокого места куда он забрёл, он уже разумными глазами огляделся, пытаясь понять, где он.

За тот час, что он вылез из автомобиля, неузнаваемо преобразилась отходившая, всё холодавшая ночь. Туман весь упал и исчез. Земля под ногами в обломках кирпича, в щебне, в битом стекле, и какой-

то покосившийся тесовый сарайчик или будка по соседству, и оставшийся внизу забор вокруг большой площади под неначатое строительство — всё угадывалось белесоватым, где от нестаявшего снега, где от осевшего инея.

А в горке этой, подвергшейся странному запустению неподалеку от центра столицы, шли вверх белые ступени, числом около семи, потом прекращались и начинались, кажется, вновь.

Какое-то глухое воспоминание кольхнулось в Яконове при виде этих белых ступеней в горе. Недоумевая, он поднялся по ним и потом по уплотнившейся шлаковой пересыпи выше их, и опять по ступеням. То здание сверху, куда вели ступени, плохо различалось в темноте, здание странной формы, одновременно как бы разрушенное и уцелевшее.

Были ли эти развалины следами упавших бомб? Но таких мест в Москве не оставляли. Какая же сила привела здесь всё в разрушение?

Каменная площадка отделяла одну группу ступеней от следующей. Теперь крупные обломки камней лежали на ступенях, мешая идти, сама же лестница поднималась к зданию всходами, подобными церковной паперти.

Поднималась к широким железным дверям, закрытым наглухо и по колено заваленным слежавшимся щебнем.

Да! Да! Разящее воспоминание прохлестнуло Яконова. Он оглянулся. Промеченная рядами фонарей, далеко внизу вилась река, странно-знакомой излучиной уходя под мост и дальше к Кремлю.

Но колокольня? Её нет. Или эти груды камня — от колокольни? Яконову стало горячо в глазах. Он зажмурился.

Тихо сел на каменные обломки, завалившие паперть.

Двадцать два года назад на этом самом месте он стоял с девушкой, которую звали Агния.

25

Он произнёс это имя — Агния, и ветерок совсем иных ощущений обжег его тело, сытое благами.

Ему тогда было двадцать шесть лет, ей — двадцать один.

Эта девушка была откуда-то не с земли. По несчастью для себя она была утончена и требовательна больше той меры, которая позволяет человеку жить. Её брови и ноздри иногда так трепетали в разговоре, словно она собиралась ими улететь. Никто и никогда не говорил Яконову столько суровых слов, так не упрекал его за поступки, как будто вполне обыкновенные, — она же поразительно усматривала в этих поступках низость, неблагородство. И чем больше она находила недостатков в Антоне, тем больше он к ней привязывался, так странно.

А спорить с ней нужно было осторожно. Слабенькая, она утомлялась от подъёма на гору, от беготни, даже от оживлённого разговора. Ничего не стоило обидеть её.

Однако, она находила в себе силы целыми днями одиноко гулять по лесу. Но вопреки всякому представлению о городской девушке в лесу — никогда не брала туда с собой книги: книга мешала бы ей, отвлекая от леса. Она просто бродила там и сидела, своим умом изучая тайны леса. Описания природы у Тургенева она пропускала, находя их поверхностными. Когда Антон ходил с ней вместе, его поражали её наблюдения: то — стволник березы наклонён до земли в память снегопада, то — как меняется вечером окраска лесной травы. Ничего подобного он сам не замечал — лес и лес, воздух хороший, зелено.

Лесной Ручеёк — так звал её Яконов летом двадцать седьмого года, проведенным ими на соседних дачах. Они вместе уходили и приходили, и в глазах всех понимались как жених и невеста.

Но очень далеко от этого было на самом деле.

Агния не была хороша, ни нехороша собой. Лицо её часто преоб-
ражалось: то в миловидной улыбке, то в непривлекательной вытяну-
тости. Роста она была выше среднего, но узка, хрупка, а походка — та-
кая лёгкая, будто Агния вовсе не нуждалась наступать на землю.
И хотя Антон уже был довольно искущён и ценил в женском теле
плоть, но чем-то, не телом, тянула его Агния — и, приобвыкнув, он уве-
рил себя, что как женщина она тоже ему нравится, что она разовьётся.

Однако, с удовольствием деля с Антоном долгие летние дни, ухо-
дя с ним за много вёрст в зелёную глубь, лёжа с ним бок о бок на лу-
жайках, — она очень нехотя позволяла погладить себя по руке, спра-
шивала «зачем это?» и пыталась освободиться. И то не был стыд пе-
ред людьми: возвращаясь в дачный посёлок, она уступала его самолю-
бию и покорно шла под руку.

Рассудив с собой, что он любит её, Антон объяснился в любви —
припал к её коленям на лесной лужайке. Но глубокое уныние овладе-
ло Агнией. «Как грустно, — говорила она. — Мне кажется, что я тебя
обманываю. Мне нечего тебе ответить. Я ничего не испытываю. Мне
даже от этого не хочется жить. Ты умный и блестящий, и я бы долж-
на только радоваться, — а мне не хочется жить...»

Она говорила так — но всё же каждое утро тревожно ожидала,
нет ли изменений в его лице, в его отношении.

Она говорила так, но говорила и иначе: «В Москве много деву-
шек. Осенью ты познакомишься с красивой и меня разлюбишь».

Она давала себя обнимать и даже целовать, но её губы и руки бы-
ли при этом безжизненны. «Как тяжело! — страдала она. — Я верила,
что любовь — это сошествие огненного ангела. И вот ты любишь ме-
ня, и мне никогда не встретит лучшего, чем ты — а мне не радостно,
совсем не хочется жить».

В ней было что-то задержавшееся детское. Она боялась тех тайн,
которые связывают мужчину и женщину в супружестве, и упавшим
голосом спрашивала у него: «А без этого нельзя?» — «Но это совсем,
совсем не главное!» — с воодушевлением отвечал ей Антон. — Это толь-
ко дополнение к нашему духовному общению!» И тогда впервые её
губы слабо пошевельнулись в поцелуе, и она сказала: «Спасибо тебе.
А иначе зачем было бы жить? Я думаю, что я уже начинаю тебя лю-
бить. Я постараюсь обязательно полюбить».

Той самой осенью под вечер они шли переулками у Таганской
площади, и Агния сказала своим тихим лесным голосом, который труд-
но расслышивался в городском громыании:

— Хочешь, я покажу тебе одно из самых красивых мест в Мо-
скве?

И подвела к ограде маленькой кирпичной церкви, окрашенной
в белую и красную краску и обращённой алтарём в кривой безымян-
ный переулок. Внутри ограды было тесно, шла только вокруг церковуш-
ки узкая дорожка для крестного хода, чтобы поместились рядом свя-
щенник и дьякон. За обрешеченными окошками виделся из глубины
мирный огонь алтарных свечей и цветных лампад. И тут же рос, в уг-
лу ограды, старый большой дуб, он был выше церкви, его ветви, уже
жёлтые, осеняли и купол, и переулок, отчего церковь казалась совсем
крохотной.

— Это церковь Никиты Мученика, — сказала Агния.

— Но не самое красивое место в Москве.

— А подожди.

Она провела его между столпами калитки. На каменных плитах
двора лежали жёлтые и оранжевые листья дуба. Едва не в сени того
же дуба стояла и древняя шатровая колоколенка. Она и прицерков-
ный домик за оградой заслоняли закатное уже низкое солнце. В рас-
пахнутых двустворчатых железных дверях северного притвора согби-

лась нищая старушка и крестилась доносящемуся изнутри золотисто-светлому пению вечерни.

— «Бе же церковь та вельми чудна красотою и светлостию...» — почти прошептала Агния, близко держась плечом к его плечу.

— Какого ж она века?

— Тебе обязательно век? А без века?

— Мила, конечно, но не...

— Так смотри! — Агния натянутой рукой быстро повлекла Анто-на дальше — к паперти главного входа, вышла из тени в поток заката и села на низкий каменный парапет, где обрывалась ограда и начинал-ся просвет для ворот.

Антон ахнул. Они как будто сразу вырвались из теснины города и вышли на крутую высоту с просторной открытой далью. Паперть сквозь перерыв парапета стекала в долгую белокаменную лестницу, которая многими маршами, чередуясь с площадками, спускалась по склону горы к самой Москва-реке. Река горела на солнце. Слева ле-жало Замоскворечье, ослепляя жёлтым блеском стёкол, впереди дыми-ли по закатному небу чёрные трубы МОГЭСа, почти под ногами в Мо-сква-реку вливалась блестящая Яуза, справа за ней тянулся Воспита-тельный дом, за ним высились резные контуры Кремля, а ещё дальше пламенели на солнце пять червонно-золотых куполов храма Христа Спасителя.

И во всём этом золотом осиянии Агния, в наброшенной жёлтой шали тоже казавшаяся золотой, сидела, шурясь на солнце.

— Да! Это — Москва! — захваченно произнёс Антон.

— Как же умели древние русские люди выбирать места для церк-вей, для монастырей! — говорила Агния прерывающимся голосом. — Я вот ездила по Волге и по Оке, всюду так они строятся — в самых ве-личественных местах. Архитекторы были богомольны, каменщики — праведники.

— Да-а, это — Москва...

— Но она — уходит, Антон, — пропела Агния. — Москва — ухо-дит!..

— Куда она там уходит? Фантазия.

— Эту церковь снесут, Антон, — твердила Агния своё.

— Откуда ты знаешь? — рассердился Антон. — Это художествен-ный памятник, его оставят. — Он смотрел на крохотную колоколенку, в прорези которой, к колоколам, заглядывали ветки дуба.

— Снесут! — уверенно пророчила Агния, сидя всё так же непод-вижно, в жёлтом свете и в жёлтой шали.

Агнию в семье не только никто не воспитывал верить в Бога, но наоборот: мать её и бабушка в те годы, когда обязательно было хо-дить в церковь — не ходили, не соблюдали постов, не говели, фырка-ли на попов и везде высмеивали религию, так мирно уживавшуюся с крепостным рабством. Бабушка, мать и тётки Агнии имели устойчи-вое своё исповедание: всегда быть на стороне тех, кого теснят, кого ловят, кого гонят, кого преследует власть. Бабку знали, кажется, все московские народовольцы, потому что она приючала их у себя и по-могала, чем умела. Её дочери переняли за ней и прятали подпольщи-ков-эсеров и социал-демократов. И маленькая Агния всегда была рас-положена за зайчика, чтобы в него не попали, за лошадь, чтобы её не секли. Но она росла — и неожиданно для старших это преломилось в ней, что она — за церковь, потому что её гонят.

Она настаивала, что *теперь*-то было бы низко избегать церкви, и, к ужасу матери и бабки, стала ходить туда, отчего невольно вникала во вкус богослужений.

— Да в чём ты видишь, что её гонят? — удивлялся Антон. — В ко-локола звонить им не мешают, просфорки печь не мешают, крестный ход — пожалуйста, а в городе да в школе им и делать нечего.

— Конечно, гонят, — возражала Агния, как всегда тихо, малозвуч-

но.— Раз на неё говорят и печатают, что хотят, а ей оправдываться не дают, имущество алтарное описывают, священников ссылают — разве это не гонят?

— Где ты видела, что ссылают?!

— Этого на улицах не увидишь.

— И даже, если гонят! — наседал Антон. — Десять лет её гонят, а она гнала? Десять веков?

— Я тогда не жила, — поводила узкими плечиками Агния. — Я ведь живу — теперь... Я вижу, что при моей жизни.

— Но надо же знать историю! Неведение — не оправдание! А ты никогда не задумывалась — как могла наша церковь пережить двести пятьдесят лет татарского ига?

— Значит, глубока была вера? — догадывалась она. — Значит, православие оказалось духовно сильнее мусульманства?.. — Она спрашивала, не утверждала.

Антон улыбнулся снисходительно:

— Фантазёрка ты! Разве душой своей наша страна была когда-нибудь христианской? Разве в ней за тысячу лет стояния действительно прощали гонителей? и любили ненавидящих нас? Церковь наша устояла потому, что после нашествия митрополит Кирилл первым из русских пошёл на поклон к хану просить охранную грамоту для духовенства. Татарским мечом! — вот чем русское духовенство оградилло земли свои, холопов и богослужение! И, если хочешь, митрополит Кирилл был прав, реальный политик. Так и надо. Только так и одерживают верх.

Когда на Агнию заседали, она не спорила. Она расширила глаза под взлетающими бровями и с каким-то новым недоумением смотрела на жениха.

— Вот на чём построены все эти красивые церкви с таким удачным выбором мест! — громил Антон. — Да на сожжённых раскольниках! Да на запоротых сектантах! Нашла ты, кого пожалеть — церковь гонят!..

Он сел рядом с ней на нагретый камень парапета:

— И вообще, ты не справедлива к большевикам. Ты не дала себе труда прочесть их большие книги. К мировой культуре у них самое бережное отношение. Они за то, чтобы не было произвола человека над человеком, а было бы царство разума. А главное, они — за равенство! Вообрази: всеобщее, полное и абсолютное равенство. Никто не будет иметь привилегий перед другим, никто не будет иметь преимуществ ни в доходах, ни в положении. Разве есть что-нибудь привлекательнее такого общества? Разве оно не стоит жертв?

(Помимо привлекательности общества, Антон имел происхождение такое, что надо было поскорее *примкнуть*, пока не поздно.)

— А своим этим манерничаньем ты только сама же себе закроешь все дороги, и в институт. И много ли вообще значит твой протест? Что ты можешь сделать?

— А что может женщина вообще? — Её тонкие косички (никто уж в те годы не носил кос, все стригли, она ж носила из духа противоречия, хоть ей они не шли), её косички разлетелись, одна за спину, другая на грудь. — Женщина только и способна отвращать мужчину от великих поступков. Даже такие, как Наташа Ростова. Я её терпеть не могу.

— За что? — поразился Антон.

— За то, что Пьера она не пустит в декабристы! — И слабый голос её опять прервался.

Вот из таких внезапностей она была вся.

Прозрачная жёлтая шаль её за плечами повисла на освобождённых полуопущенных локтях и была как тонкие золотые крылья.

Антон двумя ладонями облёг её локоть, словно боясь сломать.

— А ты бы? Отпустила?

— Да, — сказала Агния.

Впрочем, он не знал перед собой подвига, на который его надо было бы отпускать. Его жизнь кипела, работа была интересна и вела всё вверх и вверх.

Мимо них проходили, крестясь на открытые двери церкви, поднявшиеся с набережной запоздавшие богомольцы. Входя в ограду, мужчины снимали картузы. Впрочем, мужчин было меньше гораздо и не было молодых.

— Ты не боишься, что тебя увидят около церкви? — без насмешки спросила Агния, но получила насмешка.

Уже действительно начались годы, когда быть замеченным около церкви кем-нибудь из сослуживцев было опасно. И Антон, да, чувствовал себя здесь слишком на виду, не по себе.

— Берегись, Агния, — начиная раздражаться, внушал он ей. — Новое надо уметь вовремя и различить, а кто не различит — отстанет безнадежно. Ты потому стала тянуться к церкви, что здесь кадят твоему нежеланию жить. Остерегись. Надо тебе, наконец, встряхнуться, заставить себя заинтересоваться, ну, просто процессом жизни, если хочешь.

Агния поникла. Безвольно висела её рука с золотым колечком Антона. Фигура девушки казалась костлявой и очень уж худой.

— Да, да, — упавшим голосом подтверждала она. — Я совершенно осознаю иногда, что жить мне очень трудно, совсем не хочется. Такие, как я — лишние мы на свете...

У него оборвалось внутри. Она делала всё, чтобы не завлечь его! Мужество выполнить обещание и жениться на Агнии слабело в нём.

Она подняла на него пылливый взгляд без улыбки.

«И некрасива всё-таки она», — подумал Антон.

— Наверно, тебя ждёт слава, удача, стойкое благополучие, — грустно сказала она. — Но будешь ли ты счастлив, Антон?.. Остерегись и ты. Заинтересовавшись процессом жизни, мы теряем... теряем... ну, как тебе передать... — Она кончики пальцев тёрла в щепоти, ища слово, и лицо стало болезненно-беспокойно. — Вот колокол отзвонил, звуки певучие улетели — и уж их не вернуть, а в них вся музыка. Понимаешь?.. — Ещё искала. — А представь себе, что когда будешь умирать, вдруг попросишь: похороните меня по православному обряду?..

Потом настояла, что хочет войти помолиться. Не бросать же было её одну. Зашли. Под толстыми сводами кольцевая галерея с оконцами, обрешеченными в древне-русском стиле, шла вокруг церкви обводом. Низкая распирающая арка вела из галереи под неф среднего храма.

Через оконки купола заходившее солнце наполняло церковь светом и расходилось золотой игрой по верху иконостаса и мозаичному образу Саваофа.

Молящихся было мало. Агния поставила тонкую свечку на большом медном столпе и строго стояла, почти не крестясь, кисти сомкнув у груди, одухотворённо глядя перед собой. И рассеянный свет заката и оранжевые отблески свечей вернули щекам Агнии жизнь и теплоту.

Было два дня до Рождества Богородицы, и читали долгий канон ей. Канон был неисчерпаемо красноречив, лавиной лились хвалы и эпитеты Деве Марии, — и в первый раз Яконов понял экстаз и поэзию этого моления. Канон писал не бездушный церковный начётчик, а неизвестный большой поэт, полонённый монастырём; и был он движим не короткой мужской яростью к женскому телу, а тем высшим восхищением, какое способна извлечь из нас женщина.

Яконов очнулся. Мажа кожаное пальто, он сидел на горке острых обломков на паперти церкви Никиты Мученика.

Да, бессмысленно разрушили шатровую колоколенку и разворотили лестницу, спускавшуюся к реке. Совершенно даже не верилось,

что тот солнечный вечер и этот декабрьский рассвет происходили на одних и тех же квадратных метрах московской земли. Но всё так же был далёк обзор с холма, и те же были извивы реки, повторенные последними фонарями...

...Вскоре после того он поехал в заграничную командировку. А когда вернулся, ему дали написать или почти только подписать газетную статью о разложении Запада, его общества, морали, культуры, о бедственном положении там интеллигенции, о невозможности развития науки. Это была не правда, но как будто и не ложь. Эти факты были, хотя и не только они. Беспартийного, его вызвали в партком и очень настаивали. Колебания Яконова могли вызвать подозрения, положить пятно на его репутацию. Да и кому, собственно, могла повредить такая заметка? Неужели Европа от неё пострадает?

Заметка была напечатана.

Агния почтовой бандеролью вернула ему кольцо, привязав ниточкой бумажку: «Митрополиту Кириллу».

А он испытал облегчение.

Он встал и, дотянувшись до решётчатого оконца галереи, заглянул внутрь. Оттуда пахло сырým кирпичным запахом, холодом и тленом. Неясно рисовалось глазам, что и внутри — кучи битого камня и мусора.

Яконов отклонился от оконца и, чувствуя замедления в бое сердца, припал к косяку у ржавой железной двери, не распахивавшейся много лет.

Ледяным напугом в него опять вступила угроза Абакумова.

Яконов был на вершине видимой власти. Он был в высоких чинах могущественного министерства. Он был умён, талантлив — и известен как умный и талантливый. Дома ждала его любящая жена, розово спали две прелестные девочки. Высокие в старом московском здании комнаты с балконом составляли его превосходную квартиру. Измерялась во многих тысячах его месячная зарплата. Персональная «победа» дождалась его телефонного звонка.

А он стоял, локтями припав к мёртвым камням, и жить ему не хотелось. И так безнадежно было в его душе, что не имел он силы пошевелинуть ни рукой, ни ногой. Не тянуло его оглянуться на красоту утра.

Светало.

Торжественная очищенность была в примороженном воздухе. Обильный мохнатый иней опушил широчайший пень срубленного дуба, карнизы недоразрушенной церкви, узорочные решётки её окон, провода, спустившиеся к соседнему домику, и кромку долгого кругового забора внизу вокруг строительства будущего небоскрёба.

26

Светало.

Щедрый царственный иней опушил столбы зоны и предзонника, в двадцать ниток переплетенную, в тысячи звёздочек загнутую колючую проволоку, покатую крышу сторожевой вышки и нескошеный бурьян на пустыре за проволокой.

Дмитрий Сологдин ничем не застланными глазами любовался на это чудо. Он стоял возле козел для пилки дров. Он был в рабочей лагерной телогрейке поверх синего комбинезона, а голова его, с первыми сединками в волосах, непокрыта. Он был ничтожный бесправный раб. Он сидел уже двенадцать лет, но из-за второго лагерного срока конца тюрьме для него не предвиделось. Его жена иссушила молодость в бесплодном ожидании. Чтобы не быть уволенной с нынешней работы, как её уже увольняли со многих, она солгала, что мужа у неё вовсе

нет, и прекратила с ним переписку. Своего единственного сына Сологдин никогда не видел: при его аресте жена была беременной. Сологдин прошёл чердынские леса, воркутские шахты, два следствия — полгода и год, с бессонницей, изматыванием сил и соков тела. Давно уже было затоптано в грязь его имя и его будущность. Имущество его было — подержанные ватные брюки и брезентовая рабочая куртка, которые сейчас хранились в каптёрке в ожидании худших времён. Денег он получал в месяц тридцать рублей — на три килограмма сахара, и то не наличными. Дышать свежим воздухом он мог только в определённые часы, разрешаемые тюремным начальством.

И был нерушимый покой в его душе. Глаза сверкали, как у юноши. Распахнутая на морозце грудь вздымалась от полноты бытия.

Когда-то под следствием сухие верёвочки, опять набухли и наросли его мускулы и просили движения. И для этого он по доброй воле и безо всякого вознаграждения каждое утро выходил колоть и пилить дрова для тюремной кухни.

Однако, топор и пила, как оружие, страшное в руках зэка, не так сразу и не так просто были ему доверены. Тюремное начальство, обязанное за свою зарплату в каждом невиннейшем поступке зэков подозревать коварство, а также судящее по себе, никак не могло поверить, чтобы человек доброю волею согласился бесплатно работать. Поэтому Сологдин упорно подозревался в подготовке к побегу или вооружённому восстанию, тем более, что его тюремное дело хранило следы того и другого. Было распоряжение: ставить в пяти шагах от работающего Сологдина одного надзирателя, дабы следил за каждым его движением, одновременно сам оставаясь недоступен для заруба топором. На эту опасную службу надзиратели были готовы, и само такое соотношение — один наблюдающий при одном работающем, не казалось расточительным начальству, воспитанному в добрых нравах ГУЛага. Но заупрямился (и тем только усугубил подозрения) Сологдин: он заявил несдержанно, что при *полке* работать не будет. На некоторое время колку дров вообще прервали (заставлять зэков начальник тюрьмы не мог, это был не лагерь; зэки занимались работой умственной и не по его ведомству). Основная беда была в том, что планирующие инстанции и бухгалтерия не предусмотрели необходимости этой работы при кухне. Поэтому вольнонаёмные женщины, готовящие арестантам пищу, колоть дрова не соглашались, так как им за это отдельно не платили. Пробовали посылать на эту работу надзирателей из отдыхающей смены, отрывая их от домино в дежурной комнате. Надзиратели все были лбы, парни молодые, строго отобранные по здоровью. Однако, за годы службы в надзорсоставе они как бы разучились работать — у них спину начинало быстро ломить, да и домино притягивало их. Никак они не наготавливали дров, сколько нужно. И пришлось начальнику тюрьмы сдать: разрешить Сологдину и приходившим с ним другим заключённым (чаще всего Нержину и Рубину) пилить и колоть без дополнительного надзора. Впрочем, со сторожевой вышки их было видно как на ладони, да ещё дежурным офицерам было вменено наглядывать за ними.

В расходящейся темноте, в которой свет бледнеющих фонарей мешался со светом дня, из-за угла здания показалась круглая фигура дворника Спиридона в ушастом малахае, одному ему таком выданном, и в бушлате. Дворник был тоже зэк, но подчинялся коменданту института, а не тюрьме, и только чтобы не спориться, точил для тюрьмы пилу и топоры. По мере того, как он сейчас приближался, Сологдин различал в его руках недостающую на месте пилу.

Во всякое время от подъёма до отбоя Спиридон Егоров ходил по двору, охраняемому пулемётами, бесконвойно. Ещё потому начальство решалось на эту вольность, что у Спиридона один глаз вовсе не видел, а другой видел на три десятых. Хотя здесь, на шарашке, по штату по-

лагалось трое дворников, ибо двор был — несколько соединённых дворов, общей площадью два гектара, но Спиридон, не зная того, за всех троих обмогался один, и ему не было плохо. Главное — он здесь ел от луза, хлеба чёрного не меньше килограмма полтора, потому что с хлебом была раздольщина, да и каши ему ребята уступали. Спиридон здесь видимо посправилел и отмяк от СевУралЛага — от трёх зим лесоповала, да трёх вёсен лесосплава, где много тысяч брёвен он перенячил.

— Ну! Спиридон! — с нетерпением окликнул Сологдин.

— Что такоича?

Лицо Спиридона с усами седорыжими, бровями седорыжими и кожей красноватой, было очень подвижно и часто выражало при ответе готовность, как сейчас. Сологдин не знал, что слишком большая готовность у Спиридона означала насмешку.

— Как что? Пила не тянет!

— С чего б эт не тянула? — удивился Спиридон. — За зиму кой раз вы жалитесь. А ну, чиркнём разок!

И подал пилу одною ручкой.

Стали пилить. Пила раза два выпрыгнула, меняя место, словно ей было неулёжно, потом въелась и пошла.

— Вы в руках-то её больно крепко дёржите, — осторожно посоветовал Спиридон. — Вы ручку тремя пальчиками обоймите, как перо, и водите по воле, плавненько... во... ну-ну!.. К себе-то когда волочёте — не дёргайте...

Каждый из них ощущал своё явное превосходство над другим: Сологдин — потому что знал теоретическую механику, сопромат и много ещё наук, и имел обширный взгляд на общественную жизнь, Спиридон — потому, что все вещи слушались его. Но Сологдин не скрывал своего снисхождения к дворнику, Спиридон же снисхождение к инженеру скрывал.

Даже пройдя середину толстого кряжа, пила нисколько не затиралась, а только шла позвенивая и выфыркивала желтоватые сосновые опилки на комбинезонные брюки тому и другому.

Сологдин рассмеялся:

— Да ты чудесник, Спиридон! Ты обманул меня. Ты пилу вчера наточил и развёл!

Спиридон, довольный, приговорил в такт пиле:

— Жрёт себе, жрёт, мелко жуёт, сама не глотает, другим отдаёт...

И, придавив рукой, отвалил недопиленный чурбак.

— Ничуть я не точил, — повернул он к инженеру пилу брюхом вверх. — Сами зуб смотрите, какой вчера, такой сегодня.

Сологдин наклонился над зубьями и вправду не увидел свежих опилин. Но что-то этот плут с ней сделал.

— Ну, давай, Спиридон, ещё чурбачок.

— Не-е, — взялся Спиридон за спину. — Я заморился. Что деды, что прёдеды не доработали — всё на меня легло. А вот ваши дружки подойдут.

Однако, дружки не шли.

Уже в полную силу рассвело. Проступило торжественное инеистое утро. Даже водосточные трубы и вся земля были убраны инеем, и сивые космы его украшали овершья лип на прогулочном дворике, вдали.

— Ты как на шарашку попал, а, Спиридон? — приглядываясь к дворнику, спросил Сологдин.

Просто нечего было больше делать. За много лагерных лет Сологдин водился лишь с образованными, не предполагая почерпнуть что-либо ценное у людей низкого развития.

— Да, — чмокнул Спиридон. — Вон вас каких учёных людей соскребли, а под дугу с вами и я. У меня в карточке было написано «стеклодув». Я, ить, и правда стеклодув когда-то был, халявный мастер,

на нашем заводе под Брянским. Да дело давнее, уж и глаз нет, и работа та́я сюда не относится, тут им мудрого стеклодува надо, как Иван. У нас такого на всём заводе сроду не было. А всё ж по карточке привезли. Ну, догляделись, кто таков,— хотели назад пихать. Да спасибо коменданту, дворником взял.

Из-за угла, со стороны прогулочного двора и отдельно стоящего одноэтажного здания «тюремного штаба», показался Нержин. Он шёл в незастёгнутом комбинезоне, в небрежно накинутой на плечи телогрейке, с казённым (и потому до квадратности коротким) полотенцем на шее.

— С добрым утром, друзья, — отрывисто приветствовал он, на ходу раздеваясь, сбрасывая до пояса комбинезон и снимая нижнюю сорочку.

— Глебчик, ты обезумел, где ты видишь снег? — покосился Сологдин.

— А вот, — мрачно отозвался Нержин, забираясь на крышу погребка. Там был редко-пушистый нетронутый слой не то снега, не то инея, и собирая его горстями, Нержин стал рьяно натирать себе грудь, спину и бока. Он круглую зиму обтирался снегом до пояса, хотя надзиратели, случаясь поблизости, мешали этому.

— Эк тебя распарило, — покачал головой Спиридон.

— Письма-то всё нет, Спиридон Данилыч?—откликнулся Нержин.

— Вот именно есть!

— Что ж читать не приносил? Всё в порядке?

— Письмо есть, да взять нельзя. У Змея.

— У Мышина? Не дает? — Нержин остановился в растирании.

— Он-то в списке меня повесил, да комендант наладил чердак разбирать. Пока я прохватился — а уж Змей приём кончил. Теперь в понедельник.

— Эх, гады! — вздохнул Нержин, оскалая зубы.

— Попов судить — на то чёрт есть, — махнул Спиридон, косясь на Сологодина, которого знал мало. — Ну, я покати.

И в своём малахае со смешно спадающими набок ушами, как у дворняжки, Спиридон пошёл в сторону вахты, куда эков кроме него не пускали.

— А топор? Спиридон! Топор где? — опомнился вслед Сологдин.

— Дежурняк принесёт, — отозвался Спиридон и скрылся.

— Ну, — сказал Нержин, с силой растирая вафельной тряпичей грудь и спину, — не угодил я Антону. Отнёсся я к Семёрке, как к «трупю пьяницы под марфинским забором». И ещё вчера вечером он предложил мне переходить в криптографическую группу, а я отказался.

Сологдин повёл головою, усмехнулся, скорее неодобрительно. При усмешке между его светло-русыми с приседью аккуратной подстриженными усами и такой же бородкою сверкали перлы ядрёных, не затронутых порчей, но внешней силою прореженных зубов:

— Ты ведёшь себя не как исчислитель, а как пиит.

Нержин не удивился: и «математик» и «поэт» были заменены по известному чудачеству Сологодина говорить на так называемом Языке Предельной Ясности, не употребляя *птичьих*, то есть иностранных слов.

Всё так же полуголый, неспеша дотираясь полотенечком, Нержин сказал невесело:

— Да, на меня это не похоже. Но вдруг так всё опротивело, что ничего не хочется. В Сибирь, так в Сибирь... Я с сожалением замечаю, что Лёвка прав, скептик из меня не получился. Очевидно, скептицизм — это не только система взглядов, но прежде всего — характер. А мне хочется вмешиваться в события. Может быть даже кому-нибудь... в морду дать.

Сологдин удобнее прислонился к козлам.

— Это глубоко радует меня, друг мой. Твоё усугублённое неверие, — (то, что называлось «скептицизмом» на Языке Кажущейся Ясности), — было неизбежным на пути от... сатанинского дурмана, — (он хотел сказать «от марксизма», но не знал, чем по-русски заметить), — к свету истины. Ты уже не мальчик, — (Сологдин был на шесть лет старше), — и должен душевно определиться, понять соотношение добра и зла в человеческой жизни. И должен — выбирать.

Сологдин смотрел на Нержина со значительностью, но тот не выразил намерения тут же вникнуть и выбрать между добром и злом. Надев малую ему сорочку и продевая руки в комбинезон, Глеб отговорился:

— А почему в таком важном заявлении ты не напоминаешь, что разум твой — слаб, и ты — «источник ошибок»? — И, как впервые, вскинулся и посмотрел на друга: — Слушай, а в тебе всё-таки... «Свет истины» — и «проституция есть нравственное благо»? И — в поединке с Пушкиным был прав Дантес?

Сологдин обнажил в довольной улыбке неполный ряд округло-продолговатых зубов:

— Но кажется, я эти положения успешно защитил?

— Ну да, но чтоб в одной черепной коробке, в одной груди...

— Такова жизнь, приучайся. Откроюсь тебе, что я — как составное деревянное яйцо. Во мне — девять сфер.

— Сфера — птичье слово!

— Виноват. Видишь, как я неизобретателен. Во мне — девять... *ошарий*. И редко кому я даю увидеть внутренние. Не забывай, что мы живём под закрытым забралом. Вся жизнь — под закрытым забралом! Нас вынудили. А люди и вообще, и без этого — сложнее, чем нам рисуют в романах. Писатели стараются объяснять нам людей до конца — а в жизни мы никогда до конца не узнаём. Вот за что люблю Достоевского: Ставрогин! Свидригайлов! Кириллов! — что за люди? Чем ближе с ними знакомишься, тем меньше понимаешь.

— Ставрогин — это, кстати, откуда?

— Из «Бесов»! Ты не читал? — изумился Сологдин.

Мокроватое куцое вафельное полотенце Нержин повесил себе на шею вроде кашне, а на голову нахлобучил старую фронттовую офицерскую шапку, уже расходящуюся по швам.

— «Бесов»?.. Да разве моё поколение..? Что ты! Да где было их достать? Это ж — контрреволюционная литература! Да опасно просто! — Он надел и телогрейку. — Но вообще я с тобой не согласен. Разве когда новичок переступает порог камеры, а ты на него свесился с нар, прорезаешь глазами — разве тут же, в первое мгновение, ты не даёшь ему оценки в главном — враг он или друг? И всегда безошибочно, вот удивительно! А ты говоришь — так трудно понять человека? Да вот — как мы с тобой встретились? Ты приехал на шарашку ещё когда умывальник стоял на парадной лестнице, помнишь?

— Ну да.

— Я утром спускаюсь и насвистываю что-то, легкомысленное. А ты вытирался и в полутьме поднял лицо из полотенца. И я — остолбенел! Мне показалось — иконный лик! Позже-то я доглядел, что ты — нисколько не святой, не стану тебе лстыть...

Сологдин рассмеялся.

— ...У тебя лицо совсем не мягкое, но оно — необыкновенное... И сразу же я почувствовал к тебе доверие и уже через пять минут рассказывал тебе...

— Я был поражён твоей опрометчивостью.

— Но человек с такими глазами — не может быть стукачом!

— Очень дурно, если меня легко прочесть. В лагере надо казаться заурядным.

— И в тот же день, наслушавшись твоих евангельских откровений, я закинул тебе вопросик...

— ...Карамазовский.

— Да, ты помнишь! — что делать с урками? И ты сказал? — перестрелять! А?

Нержин и сейчас смотрел как бы проверяя: может, Сологдин откажется?

Но невзмучаема была голубизна глаз Дмитрия Сологдина. Картино скрестив руки на груди — ему очень шло это положение — он произнёс приподнято:

— Друг мой! Только те, кто хотят погубить христианство, только те понуждают его стать верованием кастратов. Но христианство — это вера сильных духом. Мы должны иметь мужество видеть зло мира и искоренить его. погоди, придёшь к Богу и ты. Твоё ни-во-что-неверие — это не почва для мыслящего человека, это — бедность души.

Нержин вздохнул.

— Ты знаешь, я даже не против того, чтобы признать Творца Мира, некий Высший Разум вселенной. Да я даже ощущаю его, если хочешь. Но неужели, если б я узнал, что Бога нет — я был бы менее морален?

— Без-условно!!

— Не думаю. И почему обязательно ты хочешь, вы всегда хотите, чтоб непременно признать не только Бога вообще, но обязательно конкретного христианского, и триединство, и непорочное зачатие... А в чём пошатнётся моя вера, мой философский деизм, если я узнаю, что из евангельских чудес ни одного вовсе не было? Да ни в чём!

Сологдин строго поднял руку с вытянутым пальцем:

— Нет другого пути! Если ты усумнишься хоть в одном догмате веры, хоть в одном слове Писания,— всё разрушено!! ты — безбожник!

Он так секанул рукою по воздуху, будто в ней была сабля.

— Вот так вы и отталкиваете людей! всё — или ничего! Никаких компромиссов, никакой поблажки. А если я в целом принять не могу? что мне выдвинуть? чем загородиться? Я и говорю: я только то и знаю, что ничего не знаю.

Взял пилу, подмастерье Сократа, и другой ручкой протянул Сологдину.

— Ладно, об этом — не на дровах, — согласился тот.

Они уже обстывали и весело взялись за пиление. Пила брызнула коричневым порошком коры. Пила шла не так ловко, как со Спиридоном, но всё же легко. Друзья за многие утра спилились, и дело у них обходилось без взаимных упреков. Они пилили с тем особенным рвением и наслаждением, какое даёт неподневольный и не вызванный нуждою труд.

Только перед четвёртым резом ярко разругавшийся Сологдин буркнул:

— Сучка бы не зацепить...

И после четвёртого чурбака Нержин пробормотал:

— Да, сучковатое, падло.

Душистые, то белые, то жёлтые опилки с каждым шорохом пилы ложились на брюки и ботинки пыльчиков. Мерная работа вносила покой и перестраивала мысли.

Нержин, проснувшийся нынче в дурном настроении, сейчас думал, что лагеря только в первый год могли оглушить его, что теперь у него совсем другое дыхание: он не станет карабкаться в придурки, не станет бояться общих, — а будет медленно, со знанием жизненных глубин выходить на утренний развод в телогрейке, вымазанной шпугатуркой или мазутом, *тянуть резину* весь двенадцатичасовой день — и так все пять лет, оставшиеся до конца срока. Пять лет — это не десять. Пять лет выжить можно. Лишь постоянно себе напоминать: тюрьма не только проклятье, она и благословенье.

Так он размышлял, в очередь потягивая пилу. И никак бы не мог вообразить, что напарник его, потягивая пилу в свою сторону, думал о тюрьме только как о чистом проклятии, из-под которого надо же когда-то вырваться.

Сологдин думал сейчас о том большом и обещающем ему свободу успехе, которого он совершенно скрытно достиг за последние месяцы в своей казённой работе. Решающий приговор этой работе он должен был выслушать после завтрака и заранее предвидел одобрение. С буйной гордостью думал сейчас Сологдин о своём мозге, истощённом столькими годами то следствий, то голода лагерей, столько лет лишённом фосфора и вот сумевшем же справиться с выдающейся инженерной задачей! Как это заметно у мужчин к сорока годам — взлёт жизненных сил! Особенно, если избыток их плоти не направлен в деторождение, а таинственным образом преобразуется в сильные мысли.

27

А между тем они пилили и пилили, тела их разгорячились, жаром пышели лица, телогрейки уже были сброшены на брёвна, чурбаки доброй горкой громоздились у козел, — топора же всё не было.

— А не хватит? — спросил Нержин. — Небось не переколем.

— Отдохнём, — согласился Сологдин, отставляя пилу со звоном изогнувшегося полотна.

Оба стянули с голов шапки. От густых волос Нержина и редящих волос Сологодина пошёл пар. Они дышали глубоко. Воздух будто проходил в самые затхлые уголки их нутра.

— Но если тебя сейчас отправят в лагерь, — спросил Сологдин, — как же будет с твоей работой по Новому Смутному Времени? (Это значило — по революции.)

— Да как? Ведь я не избалован и здесь. Хранение единой строки одинаково грозит мне казематом что там, что здесь. Допуска в публичную библиотеку у меня нет и тут. К архивам меня и до смерти, наверно, не подпустят. Если говорить о чистой бумаге, то уж бересту или сосновую кору найду я и в тайге. А преимущества моего никакими шмонами не отнять: горе, которое я испытал и вижу на других, может мне немало подсказать догадок об истории, а? Как ты думаешь?

— Ве-ли-ко-лепно!! — густым выдохом отдал Сологдин. — Значит, ты кое-что уже понял. Значит, ты уже отказался сперва пятнадцать лет читать все книги по заданному вопросу?

— Отчасти — да, отчасти — где ж я их возьму?

— Без «отчасти»! — предупредительно воскликнул Сологдин. — Ты пойми: мысль!! — он вскинул голову и руку. — Первоначальная сильная мысль определяет успех всякого дела! И мысль должна быть — с в о я! Мысль, как живое древо, даёт плоды, только если развивается естественно. А книги и чужие мнения — это ножницы, они перерезают жизнь твоей мысли! Сперва надо все мысли найти самому — и только потом сверять с книгами.

Сологдин испытующе посмотрел на друга:

— А тридцать красных томиков ты по-прежнему собираешься читать от корки до корки?

— Да! Понять Ленина — это понять половину революции. А где он лучше сказан, чем в своих книгах? И я найду их везде, в любой избе-читальне.

Сологдин потемнел, надел шапку и неудобно присел на козлы.

— Ты — безумец. Ты себе всю голову затарабаришь. Ты ничего не совершишь! Мой долг — предостеречь тебя.

Нержин тоже взял шапку с отрожка козел и присел на груду чурбаков.

— Будь же достоин своей... исчислительной науки. примени способ узловых точек. Как исследуется всякое неведомое явление? Как

нащупывается всякая неначерченная кривая? Сплошь? Или по особым точкам?

— Уже ясно! — торопил Нержин, он не любил размазываний. — Мы ищем точки разрыва, точки возврата, экстремальные и наконец полевые. И кривая — вся в наших руках.

— Так почему ж не применить этого к... *бытийному* лицу?! — (К историческому, перевёл для себя Нержин на Язык Кажущейся Ясности.) — Охвати жизнь Ленина одним оком, увидь в ней главнейшие перерывы постепенности, крутые смены направлений — и прочти только то, что относится к ним. Как он вёл себя в эти мгновения? Тут — весь человек. А остальное тебе совершенно незачем.

— Значит, когда я спросил тебя, что делать с урками, я, не предполагая, применил к тебе метод узловых точек?

Отклонительная усмешка сузила веки вокруг ясных глаз Сологодина. Он озабоченно накинуд телогрейку, пересел на козлах иначе, но всё так же неудобно.

— Ты взволновал меня, Глебчик. Теперь твой отъезд может наступить внезапно. Мы расстанемся. Один из нас погибнет. Или оба. Доживём ли мы, когда люди будут открыто встречаться и разговаривать? Мне хотелось бы успеть поделиться с тобой хоть... Хотя некоторыми выводами о путях создания единства цели, исполнителя и его работы. Они могут оказаться тебе полезными. Разумеется, мне очень помешает моё косноязычие, я как-нибудь неуклюже это изложу...

Это было в манере Сологодина! Перед тем, как блеснуть мыслью, он обязательно самоуничижался.

— Ну да, твоя слабая память, — убыстрял и помогал Нержин. — И то, что ты — «сосуд ошибок»...

— Да, да, именно, — Сологдин подтвердил минующей улыбкой. — Так вот, зная своё несовершенство, я много лет в тюрьме вырабатывал для себя эти правила, которые железным обручем собирают волю. Эти правила — как бы *общий* *огляд на пути* *подхода* к работе.

Мегодика, привычно перевёл Нержин с Языка Предельной Ясности. Плечи зябли, и он тоже накинуд телогрейку.

По прибывающему свету дня видно было, что скоро им бросать дрова и идти на утреннюю поверку. Вдалеке, перед штабом спецтюрьмы, под купою волшебного-обелённых марфинских лип мелькала утренняя арестантская прогулка. Среди гуляющих возвышались худая прямая фигура, пятидесятилетнего художника Кондрашёва-Иванова и согнутая в плечах, но тоже очень долгая — бывшего сталинского домашнего, а теперь забытого, архитектора Мержанова. Видно было и как Лев Рубин, проспавший, пытался теперь прорваться «на дрова», но надзиратель уже его не пускал: поздно.

— Смотри, вон Лёвка с растрёпанной бородой.

Засмеялись.

— Так вот хочешь, я буду каждое утро сообщать тебе оттуда какие-нибудь положения?

— Давай. Попробуем.

— Ну, например: как относиться к трудностям?

— Не унывать?

— Этого мало.

Мимо Нержина Сологдин смотрел за зону, на мелкие густые заросли, опущённые инеем и чуть тронутые неуверенной розоватостью востока: солнце колебалось, показаться или нет. Лицо Сологодина, собранное, худощавое, со светлой курчавящейся бородкой и короткими светлыми усами, чем-то напоминало лик Александра Невского.

— Как относиться к трудностям? — вещал он. — В области неведомого надо рассматривать трудности как скрытый *к л а д*! Обычно: чем труднее, тем полезнее. Не так ценно, если трудности возникают от твоей борьбы с самим собой. Но когда трудности исходят от увеличившегося сопротивления предмета — это *п р е к р а с н о!* — Словно

розовая заря промелькнула по раздумянному лицу Александра Невского, неся в себе отблеск прекрасных, как солнце, трудностей. — Самый благодарный путь исследования: наибольшее внешнее сопротивление при наименьшем внутреннем. Неудачи следует рассматривать как необходимость дальнейшего приложения усилий и сгущения воли. А если усилия уже были приложены значительные — тем радостней неудачи! Это значит, что наш лом ударил в железный ящик клада! И преодоление увеличенных трудностей тем более ценно, что в неудачах происходит рост исполнителя, соразмерный встреченной трудности!

— Здрóрово! Сильно́! — отозвался Нержин с чурбаков.

— Это не значит, что никогда нельзя отказаться от дальнейших усилий. Наш лом мог ударить и в камень. Убедясь в том, или при недостаточных средствах, или при резко-враждебной среде можно отказаться даже от самой цели. Но важно строжайше обосновать отказ!

— А с этим я бы... не согласился,— протянул Нержин.— Какая среда враждебней тюрьмы? Где недостаточней наши средства? А мы же своё ведём. Отказаться сейчас — может быть и навеки отказаться.

Оттенки зари перешли по кустарнику и были уже погашены сплошными серыми облаками.

Словно отводя глаза от читаемых им скрижалей, Сологдин рассеянно посмотрел вниз на Нержина. И опять стал как бы читать, слегка нараспев:

— Теперь послушай; *правило последних вершков!* Область последних вершков! — на Языке Предельной Ясности сразу понятно, что это такое. Работа уже почти окончена, цель уже почти достигнута, всё как будто совершено и преодолено, но качество вещи — не совсем то! Нужны ещё доделки, может быть ещё исследования. В этот миг усталости и довольства собой особенно соблазнительно покинуть работу, так и не достигнув вершины качества. Работа в области последних вершков очень, очень сложна, но и особенно ценна, ибо выполняется самыми совершенными средствами! Правило последних вершков в том и состоит, чтобы не отказываться от этой работы! И не откладывать её, ибо строй мысли исполнителя уйдёт из области последних вершков! И не жалеть времени на неё, зная, что цель всегда — не в скорейшем окончании, а в достижении совершенства!!

— Хор-рошо! — прошептал Нержин.

Голосом совсем другим, грубовато-насмешливым, Сологдин сказал:

— Что же вы, младший лейтенант? Я вас не узнаю. Почему вы задержали топор? Уже нам не осталось времени и колоть.

Луноподобный младший лейтенант Наделашин ещё недавно был старшиной. После производства в офицеры, эски шарашки, тепло к нему относясь, перекрестили его в *младшину*.

Сейчас, приспев семенящими шажками и смешно отдуваясь, он подал топор, виновато улыбнулся и живо ответил:

— Нет, я очень, очень прошу вас, Сологдин, наколите дров! На кухне нет нисколько, не на чем обед готовить. Вы не представляете, сколько у меня и без вас работы!

— Че-го? — фыркнул Нержин.— *Работы?* Младший лейтенант! Да разве вы — работаете?

Своим лунообразным лицом дежурный офицер обернулся к Нержину. Нахмутив лоб, сказал по памяти:

— «Работа есть преодоление сопротивления». Я при быстрой ходьбе преодолеваю сопротивление воздуха, значит, я тоже работаю.— И хотел остаться невозмутимым, но улыбка осветила его лицо, когда Сологдин и Нержин дружно захохотали в легко-морозном воздухе. — Так наколите, я прошу вас!

И, повернувшись, засеменял к штабу спецтюрьмы, где как раз в этот момент промелькнула в шинели подтянутая фигура её начальника подполковника Климентьева.

— Глебчик, — удивился Сологдин. — Мне изменяют глаза? Климентиадис? — (То был год, когда газеты много писали о греческих заключённых, телеграфировавших из своих камер во все парламенты и в ООН о переживаемых ими бедствиях. На шарашке, где арестанты даже жёнам и даже открытки могли послать де всегда, не говоря о чужеземных парламентах, стало принято переделывать фамилии тюремных начальников на греческие — Мышинопуло, Климентиадис, Шикиниди.) — Зачем Климентиадис в воскресенье?

— Ты разве не знаешь? Шесть человек на свидание едут.

Нержину напомнили об этом, и душу его, так просветлившуюся во время утренних дров, снова залила горечь. Почти год прошёл со времени его последнего свидания, восемь месяцев — с тех пор, как он подал заявление, — а ему не отказывали и не разрешали. Тут была между другими и та причина, что, оберегая учёбу жены в университетской аспирантуре, он не давал её адреса в студенческом общежитии, а лишь «до востребования», — до востребования же тюрьма писем посылать не хотела. Нержин благодаря сосредоточенной внутренней жизни был свободен от чувства зависти: ни зарплата, ни питание других, более достойных эзков, не мучили его спокойствия. Но сознание несправедливости со свиданиями, что кто-то ездит каждые два месяца, а его уязвимая жена вздыхает и бродит под крепостными стенами тюрем — это сознание терзало его.

К тому же сегодня был его день рождения.

— Едут? Да-а... — с той же горечью позавидовал и Сологдин. — Стукачей возят каждый месяц. А мне мою Ниночку не увидать теперь никогда...

(Сологдин не употреблял выражения «до конца срока», потому что дано ему было отведасть, что у сроков может не быть концов.)

Он смотрел, как Климентьев, постояв с Наделашиним, вошёл в штаб.

И вдруг заговорил быстро:

— Глеб! А ведь твоя жена знает мою. Если поедешь на свидание, постарайся попросить Надю, чтоб она разыскала Ниночку и обо мне передала ей только три слова, — (он взглянул на небо): — любит! преклоняется! боготворит!

— Да отказали мне в свидании, что с тобой? — раздосадовался Нержин, приловчаясь располовинить чурбак.

— А посмотри!

Нержин оглянулся. Младшина шёл к ним и издали манил его пальцем. Уронив топор, с коротким звоном свалив телогрейкой прислоненную пилу на землю, Глеб побежал как мальчик.

Сологдин проследил, как младшина завёл Нержина в штаб, потом поправил чурбак на-попа и с таким ожесточением размахнулся, что не только развалил его на две плахи, но ещё вогнал топор в землю.

Впрочем, топор был казённый.

Приводя определение работы из школьного учебника физики, младший лейтенант Наделашин не солгал. Хотя работа его продолжалась только двенадцать часов в двое суток, — она была хлопотлива, полна беготнёй по этажам и в высокой степени ответственна.

Особенно хлопотное дежурство у него выдалось в минувшую ночь. Едва только он заступил на дежурство в девять часов вечера, подсчитал, что все заключённые, числом двести восемьдесят одна голова, на месте, произвёл выпуск их на вечернюю работу, расставил посты (на лестничной площадке, в коридоре штаба и патруль под окнами спец-

тюрьмы), как был оторван от кормления и размещения нового этапа вызовом к ещё не ушедшему домой оперуполномоченному майору Мышину.

Наделашин был человеком исключительным не только среди тюремщиков (или, как их теперь называли — тюремных работников), но и вообще среди своих единоплеменников. В стране, где водка почти и видом слова не отличается от воды, Наделашин и при простуде не глотал её. В стране, где каждый второй прошёл лагерную или фронтовую академию ругани, где матерные ругательства запросто употребляются не только пьяными в окружении детей (а детьми — в младенческих играх), не только при посадке на загородный автобус, но и в задушевных беседах, Наделашин не умел ни материться, ни даже употреблять такие слова, как «чёрт» и «сволочь». Одной приговоркой пользовался он в сердцах — «бык тебя забодай!», и то чаще не вслух.

Так и тут, сказав про себя «бык тебя забодай!», он поспешил к майору.

Оперуполномоченный Мышин, которого Бобынин в разговоре с министром несправедливо обозвал дармоедом, — болезненно ожиревший фиолетоволицый майор, оставшийся *работать* в этот субботний вечер из-за чрезвычайных обстоятельств, дал Наделашину задание:

— проверить, началось ли празднование немецкого и латышского Рождества;

— переписать по группам всех, встречающих Рождество;

— проследить лично, а также через рядовых надзирателей, посылаемых каждые десять минут, не пьют ли при этом вина, о чём между собой говорят и, главное, не ведут ли антисоветской агитации;

— по возможности найти отклонение от тюремного режима и пре-
кратить этот безобразный религиозный разгул.

Не сказано было — прекратить, но — «по возможности прекратить». Мирная встреча Рождества не была прямо запретным действием, однако партийное сердце товарища Мышина не могло её вынести.

Младший лейтенант Наделашин с физиономией бесстрастной зимней луны напомнил майору, что ни сам он, ни тем более его надзиратели не знают немецкого языка и не знают латышского (они и русский-то знали плоховато).

Мышин вспомнил, что он и сам за четыре года службы комиссаром роты охраны лагеря немецких военнопленных изучил только три слова: «хальт!», «цурюк!» и «вэг!» — и сократил инструкцию.

Вслушав приказ и неумело откозыряв (с ними время от времени проходили и строевую подготовку), Наделашин пошёл размещать новоприбывших, на что тоже имел список от оперуполномоченного: кого в какую комнату и на какую койку. (Мышин придавал большое значение плано-централизованному распределению мест в тюремном общежитии, где у него были равномерно рассеяны осведомители. Он знал, что самые откровенные разговоры ведутся не в дневной рабочей суете, а перед сном, самые же хмурые антисоветские высказывания приходятся на утро, и потому особенно ценно следить за людьми около их постели.)

Потом Наделашин зашёл исправно по разу в каждую комнату, где праздновали Рождество — будто прикидывая, по сколько ватт там висят лампочки. И надзирателя послал зайти по разу. И всех записал в списочек.

Потом его опять вызвал майор Мышин, и Наделашин подал ему свой списочек. Особенно Мышина заинтересовало, что Рубин был с немцами. Он внёс этот факт в папку.

Потом подошла пора сменять посты и разобраться в споре двух надзирателей, кому из них больше пришлось отдежурить в прошлый раз и кто кому должен.

Дальше было время отбоя, спора с Прянчиковым относительно кипятка, обхода всех камер, гашения белого света и зажигания синего.

Тут опять его вызвал майор Мышин, который всё не шёл домой (дома у него жена была больна, и не хотелось ему весь вечер слушать её жалобы). Майор Мышин сидел в кресле, а Наделашина держал на ногах и расспрашивал, с кем, по его наблюдению, Рубин обычно гуляет и не было ли за последнюю неделю случаев, чтоб он вызывающе говорил о тюремной администрации или от имени массы высказывал какие-нибудь требования.

Наделашин занимал особое место среди своих коллег, офицеров МГБ, начальников надзирательских смен. Его много и часто ругали. Его природная доброта долго мешала ему служить в Органах. Если бы он не приспособился, давно был бы он отсюда изгнан или даже осуждён. Уступая своей естественной склонности, Наделашин никогда не был с заключёнными груб, с искренним добродушием улыбался им и во всякой мелочи, в какой только мог послабить — послаблял. За это заключённые его любили, никогда на него не жаловались, наперекор ему не делали и даже не стеснялись при нём в разговорах. А он был догадлив и дослышлив, и хорошо грамотен, для памяти записывал всё в особую записную книжечку — и материалы из этой книжечки докладывал начальству, покрывая тем свои другие упущения по службе.

Так и теперь, он достал свою книжечку и сообщил майору, что семнадцатого декабря шли заключённые гурьбой по нижнему коридору с обеденной прогулки — и Наделашин след в след за ними. И заключённые бурчали, что вот завтра воскресенье, а прогулки от начальства не добьёшься, а Рубин им сказал: «Да когда вы поймёте, ребята, что этих гадов вы не разжалобите?»

— Так и сказал: «этих гадов»? — просиял фиолетовый Мышин.

— Так и сказал, — подтвердил луновидный Наделашин с незлобивой улыбкой.

Мышин опять открыл ту папку и записал, и ещё велел оформить отдельным донесением.

Майор Мышин ненавидел Рубина и накапливал на него порочащие материалы. Поступив на работу в Марфино и узнав, что Рубин, бывший коммунист, всюду похваляется, что остался им в душе, несмотря на *посадку*, — Мышин вызвал его на беседу о жизни вообще и о *совместной работе* в частности. Но взаимопонимания не получилось. Мышин поставил перед Рубиным вопрос именно так, как рекомендовалось на инструктивных совещаниях:

— если вы советский человек — то вы нам *поможете*;

— если вы нам не *поможете* — то вы не советский человек;

— если же вы не советский человек, то вы — *антисоветчик* и *достойны* нового срока.

Но Рубин спросил: «А чем надо будет писать доносы — чернилами или карандашом?» — «Да лучше чернилом», — посоветовал Мышин. — «Так вот я свою преданность советской власти уже кровью доказал, а чернилами доказывать — не нуждаюсь».

Так Рубин сразу показал майору всю свою неискренность и своё двуличие.

И ещё раз вызывал его майор. И тогда Рубин явно живо отговорился тем, что раз мол его посадили, значит ему оказали политическое недоверие, и пока это так, он не может вести с оперуполномоченным совместную работу.

С тех-то пор Мышин на него затаил и накапливал, что мог.

Разговор майора с младшим лейтенантом ещё не окончился, как вдруг из министерства госбезопасности пришла легковая машина за Бобыниным. Используя такое счастливое стечение обстоятельств, Мышин как выскочил в кителе, так уж не отходил от машины, звал приехавшего офицера погреться, обращал его внимание, что сидит здесь ночами, торопил и дёргал Наделашина и на всякий случай спросил самого Бобынина, тепло ли тот оделся (Бобынин нарочно надел в до-

рогу не хорошее пальто, которое было ему тут выдано, а лагерную телогрейку).

После отъезда Бобынина тотчас вызвали Прянчикова. Тем более майор не мог идти домой! Чтобы скрасить ожидание, кого ещё вызовут и когда вернутся, майор пошёл проверять, как проводит время отдыхающая смена надзирателей (они лушились в домино), и стал экзаменовывать их по истории партии (ибо нес ответственность за их политический уровень). Надзиратели, хотя и считались в это время на работе, но отвечали на вопросы майора с законной неохотой. Ответы их были самые плачевные: эти воины не только не вспомнили по названию ни одного труда Ленина или Сталина, но даже сказали, что Плеханов был царский министр и расстреливал петербургских рабочих 9-го января. За всё это Мышин выговаривал Наделашину, распустившему свою смену.

Потом вернулись Бобынин и Прянчиков вместе, в одной машине, и, не пожелав ничего рассказать майору, ушли спать. Разочарованный, а ещё больше встревоженный, майор уехал на той же машине, чтобы не идти пешком: автобусы уже не ходили.

Надзиратели, свободные от постов, обругали майора вслед и уже было легли спать, да и Наделашин метил вздремнуть вполглаза, но не тут-то было: позвонил телефон из караульного помещения конвойной охраны, несшей службу на вышках вокруг марфинского объекта. Начальник караула возбуждённо передал, что звонил часовой юго-западной угловой вышки. В густившемся тумане он ясно видел, как кто-то стоял, притаившись у угла дровяного сарая, потом попытался подползти к проволоке предзонника, но испугался окрика часового и убежал в глубину двора. Начальник караула сообщил, что сейчас будет звонить в штаб своего полка и писать рапорт об этом чрезвычайном происшествии, а пока просит дежурного по спецтюрьме устроить облаву во дворе.

Хотя Наделашин был твёрдо уверен, что всё это померещилось часовому, что заключённые надёжно заперты новыми железными дверьми в старинных прочных стенах в четыре кирпича, но сам факт написания начкаром рапорта требовал и от него энергичных действий и соответствующего рапорта. Поэтому он поднял по тревоге отдыхающую смену и с фонарями «летучая мышь» поводил их по большому двору, окутанному туманом. После этого сам пошёл опять по всем камерам и, остерегаясь зажечь белый свет (чтобы не было лишних жалоб), а при синем свете видя недостаточно,— крепко ушиб колено об угол чьей-то кровати, прежде чем, освещая головы спящих арестантов электрическим фонариком, досчитался, что их — двести восемьдесят одна.

Тогда он пошёл в канцелярию и написал почерком круглым и ясным, отражающим прозрачность его души, рапорт о происшедшем на имя начальника спецтюрьмы подполковника Климентьева.

И было уже утро, пора была проверять кухню, снимать пробу и делать подъём.

Так прошла ночь младшего лейтенанта Наделашина, и он имел основание сказать Нержину, что не даром ест свой хлеб.

Лет Наделашину уже было много за тридцать, хотя выглядел он моложе благодаря свежести безусого безбородого лица.

Дед Наделашина и отец его были портные — не роскошные, но мастеровитые, обслуживали средний люд, не брезговали и заказами перелицевать, перешить со старшего на малого или подчинить, кому надо побыстрей. К тому ж предназначали и мальчика. Ему с детства эта обходительная мягкая работа понравилась, и он готовился к ней, присматриваясь и помогая. Но был конец НЭПа. Отцу принесли годовой налог — он его заплатил. Через два дня принесли ещё годовой — отец заплатил и его. С совершенным бесстыдством через два дня принесли ещё один годовой — уже утроенный. Отец порвал патент, снял

вывеску и поступил в артель. Сына же вскоре мобилизовали в армию, откуда попал он в войска МВД, а позже переведен был в надзиратели.

Служил он бледно. За четырнадцать лет его службы другие надзиратели в три или в четыре волны обгоняли и обгоняли его, иные стали уже теперь капитанами, ему же лишь месяц назад со скрипом присвоили первую звёздочку.

Наделашин понимал гораздо больше, чем говорил вслух. Он понимал так, что эти заключённые, не имеющие прав людей, на самом деле часто бывали высшие, чем он сам. И ещё, по свойству каждого человека представлять других подобными себе, Наделашин не мог вообразить арестантов теми кровавыми злодеями, которыми их поголовно раскрашивали во время политзанятий.

С ещё большей отчётливостью, чем он помнил определение работы из курса физики, пройденного в вечерней школе, он помнил каждый изгиб пяти тюремных коридоров Большой Лубянки и внутренность каждой из её ста десяти камер. По уставу Лубянки надзиратели менялись через два часа, переходя из одной части коридора в другую (это делалось из предосторожности, чтобы они не сознакомились со своими арестантами, не были ими уговорены или подкуплены; впрочем, надзиратели оплачивались выше, чем преподаватели или инженеры). И в каждый глазок надзиратель обязан был заглянуть не реже одного раза в три минуты. Наделашину, при его исключительной памяти на лица, казалось: он помнил всех до одного арестантов своего тюремного этажа с 1935 по 1947 год (когда его оттуда перевели в Марфино) — и знаменитых вождей, как Бухарин, и простых фронтовых офицеров, как Нержин. Ему казалось: он любого из них узнал бы теперь на улице в любой одежде — только они не возвращались на улицы никогда. Лишь здесь, в Марфино, он и встретил некоторых старых своих подзаочных — разумеется, не давая им понять, что узнал. Он помнил их цепенеющими от насильственной бессонницы в ослепляюще-ярких боксах площадью в квадратный метр; разрезающими ниткою четырёхсотграммовую сырую хлебную пайку; углублёнными в старинные красивые книги, которыми изобиловала тюремная библиотека; цепочкой выходящими на оправку; закладывающими руки за спину при вызове на допрос; в повеселевших разговорах последние полчаса перед отбоем; и лежащими зимнею ночью при ярком свете с руками поверх одеял, укутанными для тепла полотенцами — режим требовал будить тех, кто спрятал руки под одеяло, и заставлять вынимать.

Наделашин больше всего любил слушать споры и разговоры этих белобородых академиков, священников, старых большевиков, генералов и потешных иностранцев. Ему и по службе полагалось подслушивать, но он слушал также и для себя. Наделашину хотелось бы, но из-за обязанностей службы никогда не удавалось, без перерыву послушать чей-нибудь рассказ от начала до конца: как человек жил раньше и за что его посадили. Его поражало, что люди эти в грозные месяцы ломки своей жизни и решения своей судьбы находили мужество говорить не о своих страданиях, но о чём попало: об итальянских художниках, о нравах пчёл, об охоте на волков или о том, как строит дома какой-то Кар-бу-зе — и дома-то строил он не им.

А однажды пришлось услышать Наделашину разговор, который его особенно заинтересовал. Он сидел в заднем тамбуре воронка и сопровождал запертых внутри двоих арестантов. Их перевозили с Большой Лубянки на Сухановскую гачу — безысходную зловещую подмосковную тюрьму, откуда многие уходили в могилу или в сумасшедший дом. Сам Наделашин там не работал, но слышал, что и кормили там с изодранным мучительством: арестантам не готовили, как везде, грубую тяжёлую пищу, а приносили из соседнего дома отдыха ароматную нежную еду. Пытка состояла в порциях: заключённому приносили полблюдечка бульона, одну восьмую часть котлеты, две стружки жареного картофеля. Не кормили — напоминали об утерянном. Это

было много надсаднее, чем миска пустой баланды, и тоже помогало сводить с ума.

Случилось, что этих двух арестантов в воронках не разделили, а везли почему-то вместе. Что они говорили вначале, Наделашин не слышал за шумом мотора. Но потом с мотором сталась неполадка, шофёр ушёл куда-то, а офицер сидел в кабине. И негромкую арестантскую беседу Наделашин услышал через решётку в задней двери. Они ругали правительство и царя — но не нынешнее, и не Сталина — они ругали... императора Петра Первого. Чем он им помешал? — только разделявали его на все лады. Один из них ругал его между прочим за то, что Пётр искажил и отнял русскую народную одежду, и тем обезличил свой народ перед другими. Арестант этот перечислял подробно, какие были одежды, как они выглядели, в каких случаях надевались. Он уверял, что ещё и теперь не поздно воскресить отдельные части этих одежд, достойно и удобно сочетав их с одеждой современной, а не копировать слепо Париж. Другой арестант пошутил — они ещё могли шутить! — что для этого нужно двух человек: гениального портного, который сумел бы всё это сочетать, и модного тенора, который носил бы эти одежды и фотографировался в них, после чего вся Россия быстро бы их переняла.

Разговор этот особенно заинтересовал Наделашина потому, что портняжество оставалось его тайной страстью. После дежурств в накаливаемых безумием коридорах главной политической тюрьмы его успокаивал шорох ткани, податливость складок, беззлобность работы.

Он обшивал ребятишек, шил платья жене и костюмы себе. Только скрывал это.

Военнослужащему — считалось стыдно.

29

У подполковника Климентьева волосы были — то, что называется смоль: блестяще-чёрные, как отлитые, они лежали гладко на голове, разделялись пробором, и будто слипались в круглых усах. Брюшка у него не было, и в сорок пять лет он держался стройным молодым военным. Ещё — он не улыбался на службе никогда, и это усиливало черноватую мрачность его лица.

Несмотря на воскресенье, он приехал даже раньше обычного. В разгар арестантской прогулки пересек прогулочный двор, с полувзгляда заметив беспорядки на нём — но не роняя своего чина, ни во что не вмешался, а вошёл в здание штаба спецтюрьмы, на ходу велел дежурному Наделашину вызвать заключённого Нержина и явиться самому. Пересекая двор, подполковник особенно уследил, как встречные арестанты старались одни — пройти быстрее, другие — замедлиться, отвернуться, чтобы только не сойтись с ним и лишний раз не поздороваться. Климентьев холодно заметил это и не обиделся. Он знал, что здесь только отчасти — истое пренебрежение его должностью, а больше — стеснение перед товарищами, боязнь показаться услужливым. Почти каждый из этих заключённых, вызванный в его кабинет в одиночку, держался приветливо, а некоторые даже заискивающе. За решёткой содержались люди разные, и стояли они разное. Климентьев понял это давно. Уважая их право быть гордыми, он неколебимо стоял на своём праве быть строгим. Солдат в душе, он, как думал, внёс в тюрьму не издевательскую дисциплину палачей, а разумную военную.

Он отпер кабинет. В кабинете было жарко, и стоял спёртый неприятный дух от краски, выгоравшей на радиаторах. Подполковник открыл форточку, снял шинель, сел, закованный в китель, за стол и оглядел его свободную поверхность. На субботнем неперевернутом листке календаря была запись:

«Ёлка?»

Из этого полупустого кабинета, где средства производства состояли ещё только из железного шкафа с тюремными *гелами*, полудюжины стульев, телефона и кнопки звонка, подполковник Климентьев без всякого видимого сцепления, тяг и шестерёнок успешно управлял внешним ходом трёх сотен арестантских жизней и службой пятидесяти надзирателей.

Несмотря на то, что он приехал в воскресенье (его он должен был отгулять в будни) и на полчаса раньше, Климентьев не утратил обычного хладнокровия и уравновешенности.

Младший лейтенант Наделашин предстал, робея. На щеках его выступило по круглому румяному пятну. Он очень боялся подполковника, хотя тот за его многочисленные упущения ни разу не испортил ему личного дела. Смешной, круглолицый, совсем не военный, Наделашин тщетно пытался принять положение «смирно».

Он доложил, что ночное дежурство прошло в полном порядке, нарушений никаких не было, чрезвычайных же происшествий два: одно изложено в рапорте (он положил перед Климентьевым рапорт на угол стола, но рапорт тотчас же сорвался и по замысловатой кривой скользил под дальний стул. Наделашин кинулся за ним туда и снова принёс на стол), второе же состояло в вызове заключённых Бобынина и Пряничкова к министру Госбезопасности.

Подполковник сдвинул брови, расспросил подробнее об обстоятельствах вызова и возвращения. Новость была, разумеется, неприятная и даже тревожная. Быть начальником Спецтюрьмы № 1 значило — всегда быть на вулкане, и всегда на глазах у министра. Это не был какой-нибудь отдалённый лесной лагпункт, где начальник лагеря мог иметь гарем, скоморохов и, как феодал, выносить сам приговоры. Здесь надо было быть законником, ходить по струнке инструкции и не обронить капельки личного гнева или милосердия. Но Климентьев таким и был. Он не думал, чтобы Бобынину или Пряничкову сегодня ночью нашлось на что незаконное пожаловаться в его действиях. Клеветы же по долговому опыту службы он со стороны заключённых не опасался. Оклеветать могли сослуживцы.

Затем он пробежал рапорт Наделашина и понял, что всё — чушь. За то он и держал Наделашина, что тот был грамотен и толков.

Но сколько же у него было недостатков! Подполковник прочёл ему выговор. Он обстоятельно напомнил, какие были упущения ещё в прошлое дежурство Наделашина: на две минуты был задержан утренний вывод заключённых на работу; многие койки в камерах были запроважены небрежно, и Наделашин не проявил твёрдости вызвать соответствующих заключённых с работы и перезаправить. Обо всём этом ему говорилось тогда же. Но Наделашину сколько ни говори — всё как об стенку горох. А сейчас на утренней прогулке? Молодой Доронин неподвижно стоял на самой черте прогулочной площадки, пристально рассматривал зону и пространство за зоной в сторону оранжерей — а ведь там местность пересечённая, идёт овражек, ведь это очень удобно для побега. А Доронину срок — двадцать пять лет, за спиной у него — подделка документов и всесоюзный розыск два года! И никто из наряда не потребовал, чтобы Доронин, не задерживаясь, проходил по кругу. Потом — где гулял Герасимович? От всех отбившись, за большими липами в сторону мехмастерских. А какое дело у Герасимовича? У Герасимовича — второй срок, у него «пятьдесят восемь один-А через девятнадцатую», то есть измена родине через намерение. Он не изменил, но и не доказал также, что приехал в Ленинград в первые дни войны не для того, чтобы дожидаться немцев. Наделашин помнит ли, что надо постоянно изучать заключённых и непосредственным наблюдением и по личным делам? Наконец, какой вид у самого Наделашина? Гимнастёрка не одёрнута (Наделашин одёрнул), звёздочка на шапке перекосилась (Наделашин поправил), приветствие

отдаёт, как баба,— мудро ли, что в дежурство Наделашина заключённые не заправляют коек? Незаправленные же койки — это опасная трещина в тюремной дисциплине. Сегодня коек не заправили, а завтра взбунтуются и на работу не пойдут.

Затем подполковник перешёл к приказаниям: надзирателей, назначенных сопровождать свидание, собрать в третьей комнате для инструктажа. Заключённый Нержин пусть ещё постоит в коридоре. Можно идти.

Наделашин вышел распаренный. Слушая начальство, он всякий раз искренне сокрушался о справедливости всех упрёков и указаний и зарекался их нарушать. Но служба шла, он сталкивался опять с десятками арестантских воль, все тянули в разные стороны, каждому хотелось какого-то кусочка свободы, и Наделашин не мог отказать им в этом кусочке, надеясь — авось, да пройдёт незамеченным.

Климентьев взял ручку и зачеркнул запись «ёлка?» на календаре. Решение он принял вчера.

Ёлок никогда в спецтюрьмах не бывало. Но заключённые — и не раз, и очень солидные из них, упорно просили в этом году устроить ёлку. И Климентьев стал думать — а почему бы и в самом деле не разрешить? Ясно было, что от ёлки ничего худого не случится, и пожару не будет — по электричеству все тут профессора. Но очень важно в новогодний вечер, когда вольные служащие института уедут в Москву веселиться, дать разрядку и здесь. Ему известно было, что предпраздничные вечера — самые тяжёлые для заключённых, кто-нибудь может решиться на поступок отчаянный, бессмысленный. И он звонил вчера в Тюремное Управление, которому непосредственно подчинялся, и согласовывал ёлку. В инструкциях написано было, что запрещаются музыкальные инструменты, но о ёлках нигде ничего не нашли, и потому согласия не дали, но и прямого запрета не наложили. Долгая безупречная служба придавала устойчивость и уверенность действиям подполковника Климентьева. И ещё вечером, на эскалаторе метро, по дороге домой, Климентьев решил — ладно, пусть ёлка будет!

И, входя в вагон метро, он с удовольствием думал о себе, что ведь по сути он же умный деловой человек, не канцелярская пробка, и даже добрый человек, а заключённые никогда этого не оценят и никогда не узнают, кто не хотел разрешить им ёлку, а кто разрешил.

Но самому Климентьеву почему-то хорошо стало от принятого решения. Он не спешил втолкнуться в вагон с другими москвичами, зашёл последний перед смыком дверей и не старался захватить место, а взялся за столбик и смотрел на своё мужественное неясно-отсветляющее изображение в зеркальном стекле, за которым пронеслась чернота туннеля и бесконечные трубы с кабелем. Потом он перевёл взгляд на молодую женщину, сидящую подле него. Она была одета старательно, но недорого: в черной шубе из искусственного каракуля и в такой же шапочке. На коленях у неё лежал туго набитый портфель. Климентьев посмотрел на неё и подумал, что у неё приятное лицо, только утомлённое, и необычный для молодых женщин взгляд, лишённый интереса к окружающему.

Как раз в этот момент женщина взглянула в его сторону, и они смотрели друг на друга столько, сколько без выражения задерживаются взгляды случайных попутчиков. И за это время глаза женщины насторожились, как будто тревожный неуверенный вопрос промелькнул в них. Климентьев, памятный по своей профессии на лица, при этом узнал женщину и не успел во взгляде скрыть, что узнал, она же заметила его колебание и, видно, утвердилась в догадке.

Это была жена заключённого Нержина, Климентьев видел её на свиданиях в Таганке.

Она нахмурилась, отвела глаза и опять взглянула на Климентьева. Он уже смотрел в туннель, но уголком глаза чувствовал, как она

смотрит. И тотчас она решительно встала и подвинулась к нему, так что он был вынужден опять на неё обернуться.

Она встала решительно, но, встав, всю эту решительность потеряла. Потеряла всю независимость самостоятельной молодой женщины, едущей в метро, и так это выглядело, будто она со своим тяжёлым портфелем собиралась уступить место подполковнику. Над ней тяготел несчастный жребий всех жён политических заключённых, то есть жён *врагов народа*: к кому б они ни обращались, куда б ни приходили, где известно было их безудачливое замужество — они как бы влачили за собой несмываемый позор мужей, в глазах всех они как бы делили тяжесть вины того чёрного злодея, кому однажды неосторожно верили свою судьбу. И женщины начинали ощущать себя действительно виновными, какими сами *враги народа* — их обтерпевшиеся мужья, напротив, себя не чувствовали.

Приблизясь, чтобы пересилить громохание поезда, женщина спросила:

— Товарищ подполковник! Я очень прошу вас меня простить! Ведь вы... начальник моего мужа? Я не ошибаюсь?

Перед Климентьевым за много лет его службы тюремным офицером вставало и стояло множество всяких женщин, и он не видел ничего необыкновенного в их зависимом робком виде. Но здесь, в метро, хотя спросила она в очень осторожной форме, — на глазах у всех эта просительная фигура женщины перед ним выглядела неприлично.

— Вы... зачем же встали? Сидите, сидите, — смущённо говорил он, пытаясь за рукав посадить её.

— Нет, нет, это не имеет значения! — отклоняла женщина, сама же настойчивым, почти фанатическим взглядом смотрела на подполковника. — Скажите, почему уже целый год нет сви... не могу его увидеть? Когда же можно будет, скажите?

Их встреча была таким же совпадением, как если бы песчинкой за сорок шагов попасть в песчинку. Неделю назад из Тюремного Управления МГБ пришло между другими разрешение ээ-ка Нержину на свидание с женой в воскресенье двадцать пятого декабря тысяча девятьсот сорок девятого года в Лефортовской тюрьме. Но при этом было примечание, что по адресу «до востребования», как просил заключённый, посылать жене извещение о свидании запрещается.

Нержин тогда был вызван и спрошен об истинном адресе жены. Он пробормотал, что не знает. Климентьев, сам приученный тюремными уставами никогда не открывать заключённым правды, не предполагал искренности и в них. Нержин, конечно, знал, но не хотел сказать, и ясно было, почему не хотел — по тому самому, почему Тюремное Управление не разрешало адресов «до востребования»: извещение о свидании посылалось открыткой. Там писалось: «Вам разрешено свидание с вашим мужем в такой-то тюрьме». Мало того, что адрес жены регистрировался в МГБ — министерство добивалось, чтобы меньше было охотниц получать эти открытки, чтоб о жёнах врагов народа было известно всем их соседям, чтобы такие жёны были выявлены, изолированы и вокруг них было бы создано здоровое общественное мнение. Жёны именно этого и боялись. А у жены Нержина и фамилия была другая. Она явно скрывалась от МГБ. И Климентьев сказал тогда Нержину, что, значит, свидания не будет. И не послал извещения.

А сейчас эта женщина при молчаливом внимании окружающих так унизила встала и стояла перед ним.

— Нельзя писать до востребования, — сказал он с той лишь громкостью, чтобы за грохотом услышала она одна. — Надо дать адрес.

— Но я уезжаю! — живо изменилось лицо женщины. — Я очень скоро уезжаю, и у меня уже нет постоянного адреса, — очевидно лгала она.

Мысль Климентьева была — выйти на первой же остановке, а если она последует за ним, то в вестибюле, где малолюдней, объяснить, что недопустимы такие разговоры на внеслужебной почве.

Жена врага народа как будто даже забыла о своей неискупимой вине! Она смотрела в глаза подполковнику сухим, горячим, просящим, неменяемым взглядом. Климентьев поразился этому взгляду — какая сила приковала её с таким упорством и с такой безнадежностью к человеку, которого она годами не видит и который только губит всю её жизнь?

— Мне это очень, очень нужно! — уверяла она с расширенными глазами, ловя колебание в лице Климентьева.

Климентьев вспомнил о бумаге, лежавшей в сейфе спецтюрьмы. В этой бумаге, в развитие «Постановления об укреплении тыла», на носился новый удар по родственникам, уклоняющимся от дачи адресов. Бумагу эту майор Мышин предполагал объявить заключённым в понедельник. Эта женщина, если не завтра и если не даст адреса, не увидит своего мужа впредь и может быть никогда. Если же сейчас сказать ей, то формально извещения не посылалось, в книге оно не регистрировалось, а она как бы сама пришла в Лефортово наугад.

Поезд сбавлял ход.

Все эти мысли быстро пронеслись в голове подполковника Климентьева. Он знал главного врага заключённых — это были сами заключённые. И знал главного врага всякой женщины — это была сама эта женщина. Люди не умеют молчать даже для собственного спасения. Уже бывало в его карьере, что проявлял он глупую мягкость, разрешал что-нибудь недозволенное, и никто бы никогда не узнал — но те самые, кто пользовались поблажкой, сами же умудрялись и разболтать о ней.

Нельзя было проявлять уступчивости и теперь!

Однако, при смягчённом грохоте поезда, уже в виду замелькавшего цветного мрамора станции, Климентьев сказал женщине:

— Свидание вам разрешено. Завтра к десяти часам утра приезжайте... — он не сказал «в Лефортовскую тюрьму», ибо пассажиры уже подходили к дверям и были рядом, — Лефортовский вал — знаете?

— Знаю, знаю, — радостно закивала женщина.

И откуда-то в её глазах, только что сухих, уже было полно слёз. Оберегаясь этих слёз, благодарностей и иной всякой болтовни, Климентьев вышел на перрон, чтобы пересест в следующий поезд.

Он сам удивлялся и досадовал, что так сказал.

Подполковник оставил Нержина дожидаться в коридоре штаба тюрьмы, ибо вообще Нержин был арестант дерзкий и всегда доискивался законов.

Расчёт подполковника был верен: долго простояв в коридоре, Нержин не только обезнадёжился получить свидание, но и, привыкший ко всяким бедам, ждал чего-нибудь нового плохого.

Тем более он был поражён, что через час едет на свидание. По кодексу высокой арестантской этики, им самим среди всех насаждаемому, надо было ничуть не выказать радости, ни даже удовлетворения, а равнодушно уточнить, к какому часу быть готовым — и уйти. Такое поведение он считал необходимым, чтобы начальство меньше понимало душу арестанта и не знало бы меры своего воздействия. Но переход был столь резок, радость — так велика, что Нержин не удержался, осветился и от сердца поблагодарил подполковника.

Напротив, подполковник не дрогнул в лице.

И тут же пошёл инструктировать надзирателей, едущих сопровождать свидание.

В инструктаж входили: напоминание о важности и сугубой секретности их объекта; разъяснение о закоренелости государственных

преступников, едущих сегодня на свидание; об их единственном упрямом замысле использовать нынешнее свидание для передачи доступных им государственных тайн через своих жён — непосредственно в Соединённые Штаты Америки. (Сами надзиратели даже приблизительно не ведали, что разрабатывается в стенах лабораторий, и в них легко вселялся священный ужас, что клочок бумажки, переданный отсюда, может погубить всю страну.) Далее следовал перечень основных возможных тайников в одежде, в обуви и приёмах их обнаружения (одежда, впрочем, выдавалась за час до свидания — особая, показная). Путём собеседования уточнялось, насколько прочно усвоена инструкция об обыске; наконец, прорабатывались разные примеры, какой оборот может принять разговор свидующихся, как вслушиваться в него и прерывать все темы, кроме лично-семейных.

Подполковник Климентьев знал устав и любил порядок.

30

Нержин, едва не сбив с ног в полутёмном коридоре штаба младшину Наделашина, побежал в общежитие тюрьмы. Всё так же болталось на его шее из-под телогрейки короткое вафельное полотенце.

По удивительному свойству человека всё мгновенно преобразилось в Нержине. Ещё пять минут назад, когда он стоял в коридоре и ожидал вызова, вся его тридцатилетняя жизнь представлялась ему бессмысленной удручающей цепью неудач, из которых он не имел сил выбарахтаться. И главные из этих неудач были — вскоре после женитьбы уход на войну, и потом арест, и многолетняя разлука с женой. Их любовь ясно виделась ему роковой, обречённой на растоптание.

Но вот ему было объявлено свидание сегодня к полудню — и в новом солнце предстала ему тридцатилетняя жизнь: жизнь, натянутая тетивой; жизнь, осмысленная в мелком и в крупном; жизнь от одной дерзкой удачи к другой, где самыми неожиданными ступеньками к цели были уход на войну, и арест, и многолетняя разлука с женой. Со стороны по видимости несчастливый, Глеб был тайно счастлив в этом несчастье. Он испивал его, как родник, он вызнал тут тех людей и те события, о которых на Земле больше нигде нельзя было узнать, и уж конечно не в покойной сытой замкнутости домашнего очага. С молодости больше всего боялся Глеб погрязнуть в повседневной жизни. Как говорит пословица: не море топит, а лужа.

А к жене он вернётся! Ведь связь их душ непрерывна! Свидание! Именно в день рождения! Именно после вчерашнего разговора с Антоном! Больше ему никогда здесь не дадут свидания, но сегодня оно важнее всего! Мысли вспыхивали и проносились огненными стрелами: об этом не забыть! об этом сказать! об этом! ещё об этом!

Он вбежал в полукруглую камеру, где арестанты сновали, шумели, кто возвращался с завтрака, кто только шёл умываться, а Валентуля сидел в одном белье, сбросив одеяло, и рассказывал, размахивая руками и хохоча, о своём разговоре с ночным начальником, оказавшимся, как потом выяснилось, министром! Надо и Валентулю послушать! — была та изумительная минута жизни, когда изнутри разрывает поющую клетку рёбер, когда, кажется, ста лет мало, чтобы всё переделать. Но нельзя было пропустить и завтрака: арестантская судьба далеко не всегда дарит такое событие как завтрак. К тому же рассказ Валентули подходил к бассейвному концу: комната произнесла ему приговор, что он — дешёвка и мелкота, раз не высказал Абакумову насущных арестантских нужд. Теперь он вырывался и визжал, но человек пять палачей-добровольцев стащили с него кальсоны и под общее улюлюканье, вой и хохот прогнали по комнате, нажаривая ремнями и поливая горячим чаем из ложек.

На нижней койке лучевого прохода к центральному окну, под койкой Нержина и против опустевшей койки Валентули, пил свой утренний чай Андрей Андреевич Потапов. Наблюдая за общей забавой, он смеялся до слёз и вытирал их под очками. Кровать Потапова была ещё при подъёме застелена в форме жёсткого прямоугольного параллелепипеда. Хлеб к чаю он маслил очень тонким слоем: он не прикупал ничего в тюремном ларьке, отсылая все зарабатываемые деньги своей «старухе». (Платили же ему по масштабам шарашки много — сто пятьдесят рублей в месяц, в три раза меньше вольной уборщицы, так как был он незаменимым специалистом и на хорошем счету у начальства.)

Нержин на ходу снял телогрейку, зашвырнул её к себе наверх, на ещё не стеленную постель, и, приветствуя Потапова, но не дослышавая его ответа, убежал завтракать.

Потапов был тот самый инженер, который признал на следствии, подписал в протоколе, подтвердил на суде, что он лично продал немцам и притом задешево первенец сталинских пятилеток ДнепроГЭС, правда — уже во взорванном состоянии. И за это невообразимое, не имеющее себе равных злодейство, только по милости гуманного трибунала, Потапов был наказан всего лишь десятью годами заключения и пятью годами последующего лишения прав, что на арестантском языке называлось «десять и пять *по рогам*».

Никому, кто знал Потапова в юности, а тем более ему самому, не могло бы пригрезиться, что, когда ему стукнет сорок лет, его посадят в тюрьму за политику. Друзья Потапова справедливо называли его роботом. Жизнь Потапова была — только работа; даже трёхдневные праздники томили его, а отпуск он взял за всю жизнь один раз — когда женился. В остальные годы не находилось, кем его заменить, и он охотно от отпуска отказывался. Становилось ли худо с хлебом, с овощами или с сахаром — он мало замечал эти внешние события: он сверлил в поясе ещё одну дырочку, затягивался потуже и продолжал бодро заниматься единственным, что было интересного в мире — высоковольтными передачами. Он, кроме шуток, очень смутно представлял себе других, остальных людей, которые занимались не высоковольтными передачами. Тех же, кто вообще руками ничего не создавал, а только кричал на собраниях или писал в газетах, Потапов и за людей не считал. Он заведовал всеми электроизмерительными работами на Днепрострое, и на Днепрострое женился, и жизнь жены, как и свою жизнь, отдал в ненасытный костёр пятилеток.

В сорок первом году они уже строили другую станцию. У Потапова была броня от армии. Но узнав, что ДнепроГЭС, творение их молодости, взорван, он сказал жене:

— Катя! А ведь надо идти.

И она ответила:

— Да, Андрюша, иди!

И Потапов пошёл — в очках минус три диоптрии, с перекрученным поясом, в складчато-сморщенной гимнастёрке и с кобурой пустой, хотя носил один кубик в петлице — на втором году хорошо подготовленной войны ещё не хватало оружия для офицеров. Под Касторной, в дыму от горящей ржи и в июльском зное, он попал в плен. Из плена бежал, но, не добравшись до своих, второй раз попал. И убежал во второй раз, но в чистом поле на него опустился парашютный десант — и так попал он в третий раз.

Он прошёл каннибальские лагеря Новоград-Волынска и Ченстохова, где ели кору с деревьев, траву и умерших товарищей. Из такого лагеря немцы вдруг взяли его и привезли в Берлин, и там человек («вежливый, но сволочь»), прекрасно говоривший по-русски, спросил, можно ли верить, что он тот самый днепростроевский инженер Потапов. Может ли он в доказательство начертить, ну скажем, схему включения тамошнего генератора?

Схема эта когда-то была распубликована, и Потапов, не колеблясь, начертил её. Об этом он сам же потом и рассказал, мог и не рассказывать, на следствии.

Это и называлось в его деле — выдачей тайны ДнепроГЭСа.

Однако, в дело не было включено дальнейшее: неизвестный русский, удостоверив таким образом личность Потапова, предложил ему подписать добровольное изъявление готовности восстанавливать ДнепроГЭС — и тотчас получить освобождение из лагеря, продукты, карточки, деньги и любимую работу.

Над этим заманчивым подложенным ему листом тяжёлая дума прошла по многоморщинному лицу робота. И не бия себя в грудь, и не выкрикивая гордых слов, никак не претендуя стать посмертно героем Советского Союза, — Потапов своим южным говорком скромно ответил:

— Вы ж понимаете, я ведь присягу подписывал. А если это пишу — вроде противоречие, а?

Так мягко, не театрально, Потапов предпочёл смерть благополучию.

— Что ж, я уважаю ваши убеждения, — ответил неизвестный русский и вернул Потапова в каннибальский лагерь.

Вот за это самое советский трибунал Потапова уже не судил и дал только десять лет.

Инженер Маркушев, наоборот, такое изъявление подписал и пошёл работать к немцам — и ему тоже трибунал дал десять лет.

Это был почерк Сталина! — то слепородное уравнивание друзей и врагов, которое выделяло его изо всей человеческой истории!

И ещё за то не судил трибунал Потапова, что в сорок пятом году, посаженный на советский танк десантником, он в тех же своих надколотых и подвязанных очёчках с автоматом ворвался в Берлин.

Так Потапов легко отделался, получив только *десять и пять по рогам*.

Нержин вернулся с завтрака, сбросил ботинки и взлез наверх, раскачивая себя и Потапова. Ему предстояло выполнить ежедневное акробатическое упражнение: застелить постель без помятостей, стоя на ней ногами. Но едва он откинул подушку, как обнаружил портсигар из тёмно-красной прозрачной пластмассы, наполненный впритирочку в один слой двенадцатью папиросами «Беломорканал» и перевитый полоской простой бумаги, на которой чертёжным шрифтом было выведено:

Вот как убил он десять лет,
Утрата жизни лучший цвет.

Ошибиться было нельзя. Один Потапов на всей шарашке совмещал в себе способности к мастерским изделиям и к цитатам из «Евгения Онегина», вынесенным ещё из гимназии.

— Андреич! — свесился Глеб головой вниз.

Потапов уже кончил пить чай, развернул газету и читал её, не лоясь, чтоб не мять койку.

— Ну, что вам? — буркнул он.

— Ведь это ваша работа?

— Не знаю. А вы нашли? — он старался не улыбаться.

— Андре-еич! — тянул Нержин.

Лукаво-добрая морщинистость углубилась, умножилась на лице Потапова. Поправив очки, он отозвался:

— Когда я сидел на Лубянке с герцогом Эстергази вдвоём в камере, вынося, вы ж понимаете, парашу по чётным числам, а он по нечётным, и обучал его русскому языку по «Тюремным правилам» на стене, — я подарил ему в день рождения три пуговицы из хлеба — у него

было всё начисто обрезано, — и он клялся, что даже ни от кого из Габсбургов не получал подарка более своевременного.

Голос Потапова по «Классификации голосов» был определён как «глухой с потрескиванием».

Всё так же свесясь вниз головой, Нержин приязненно смотрел на грубовато высеченное лицо Потапова. В очках он казался не старше своих сорока пяти лет и имел ещё вид даже напористый. Но когда он очки снимал — обнажались глубокие тёмные глазные впадины, чуть ли не как у мертвеца.

— Но мне неловко, Андреич. Ведь я вам ничего подобного подарить не смогу, у меня рук таких нет... Как вы могли запомнить мой день рождения?

— Ку-ку, — ответил Потапов. — А какие ж ещё знаменательные даты остались в нашей жизни?

Они вздохнули.

— Чаю хотите? — предложил Потапов. — У меня особая заварка.

— Нет, Андреич, не до чаю, еду на свидание.

— Здрово! — обрадовался Потапов. — Со старушкой?

— Ага.

— Да не генерируйте вы, Валентуля, над самым ухом!

— А какое право имеет один человек издеваться над другим?..

— Что в газете, Андреич? — спросил Нержин.

Потапов, щурясь с хохлацкой хитрецей, посмотрел вверх на свесившегося Нержина:

Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы.

Эти наг-ле-цы утверждают, что...

Тому уже шёл четвёртый год, как Нержин и Потапов встретились в гудящей, тревожной, избыточно переполненной, даже в июльские дни полутёмной бутырской камере второго послевоенного лета. Там скрещались тогда пёстрые жизни и непохожие пути. Очередной тогдашний поток был — из Европы. Проходили камеру новички, ещё убедевшие крошки европейской свободы. Проходили камеру ядрёные *русские пленники*, едва успевшие сменить германский плен на отечественную тюрьму. Проходили камеру битые калёные лагерники, пересылаемые из пещер ГУЛага на оазисы шарашек. Войдя в камеру, Нержин вполз чёрным лазом под нары по-пластунски (так они были низки), и там, на грязном асфальтовом полу, ещё не разглядысь в темноте, весело спросил:

— Кто последний, друзья?

И глухой надтреснутый голос ответил ему:

— Ку-ку! За мной будете.

Потом день ото дня, по мере того, как из камеры выхватывали на этап, они передвигались под нарами «от параша к окну», и на третьей неделе перешли назад «от окна к параше», но уже на нары. И позже по деревянным нарам двигались снова к окну. Так спаялась их дружба, несмотря на различие возрастов, биографий и вкусов.

Там-то, в затянувшееся многомесячное размышление после суда, Потапов признался Нержину, что отроду бы он не заинтересовался политикой, если б сама политика не стала драть и ломать ему бока.

Там, под нарами Бутырской тюрьмы, робот впервые стал недоуменным, что, как известно, противопоказано роботам. Нет, он по-прежнему не раскаивался, что отказался от немецких хлебов, он не жалел трёх лет своих погибших в голодном смертном плену. И по-прежнему он считал исключенным представлять наши внутренние неурядицы на суд иностранцев.

Но искра сомнения была заронена в него и затлелась.

Недоуменный робот впервые спросил: а на чёрта, собственно, строился ДнепроГЭС?..

Без пяти девять по комнатам спецтюрьмы шла поверка. Операция эта, занимающая в лагерях целые часы, со стоянием эзков на морозе, перегонном их с места на место и пересчётом то по одному, то по пяти, то по сотням, то по бригадам,— здесь, на шарашке, проходила быстро и безболезненно: эски пили чай у своих тумбочек, двое дежурных офицеров — сменный и заступающий, входили в комнату, эски вставали (а иные и не вставали), новый дежурный сосредоточенно пересчитывал головы, потом делались объявления и неохотно выслушивались жалобы.

Заступающий сегодня дежурный по тюрьме старший лейтенант Шустерман был высокий, черноволосый и не то чтобы мрачный, но никогда не выражающий никакого человеческого чувства, как и положено надзирателям лубянской выгучки. Вместе с Наделашиным он тоже был прислан в Марфино с Лубянки для укрепления тюремной дисциплины здесь. Несколько эзков шарашки помнили их обоих по Лубянке: в звании старшин они оба служили одно время выводными, то есть, приняв арестанта, поставленного лицом к стене, проводили его по знаменитым *стёртым ступенькам* в междуэтажье четвёртого и пятого этажа (там был прорублен ход из тюрьмы в следственный корпус, и этим ходом вот уж треть столетия водили всех заключённых центральной тюрьмы: монархистов, анархистов, октябристов, кадетов, эсеров, меньшевиков, большевиков, Савинкова, Кутепова, Местоблюстителя Петра, Шульгина, Бухарина, Рыкова, Тухачевского, профессора Плетнёва, академика Вавилова, фельдмаршала Паулюса, генерала Краснова, всемирно-известных учёных и едва вылезавших из скорлупы поэтов, сперва самих преступников, потом их жён, потом их дочерей); подводили к женщине в мундире с Красной Звездой на груди, и у неё в толстой книге Регистрируемых Судеб каждый проходящий арестант расписывался сквозь прорезь в жестяном листе, не видя фамилий ни до, ни после своей; взводили по лестнице, где против арестантского прыжка были натянуты частые сетки как при воздушном полёте в цирке; вели долгими-долгими коридорами лубянского министерства, где было душно от электричества и холодно от золота полковничьих погонов.

Но как подследственные ни были тогда погружены в бездну первого отчаяния, они быстро замечали разницу: Шустерман (его фамилии тогда, конечно, не знали) угрюмой молнией взглядывал из-под срослых густых бровей, он как когтями впивался в локоть арестанта и с грубой силой влёл его, в задышке, вверх по лестнице. Лунообразный Наделашин, немного похожий на скопца, шёл всегда поодаль, не прикасаясь, и вежливо говорил, куда поворачивать.

Зато теперь Шустерман, хотя моложе, носил уже три звёздочки на погонах.

Наделашин объявил: едущим на свидание явиться в штаб к десяти утра. На вопрос, будет ли сегодня кино, ответил, что не будет. Раздался лёгкий гул недовольства, но отозвался из угла Хоробров:

— И совсем не возите, чем такое говно, как «Кубанские казаки».

Шустерман резко обернулся, засекая говорящего, из-за этого сбился и начал считать снова.

В тишине кто-то незаметно, но слышно сказал:

— Всё, в личное дело записано.

Хоробров с подёргиванием верхней губы ответил:

— Да драть их вперегрёб, пусть пишут. На меня там уже столько написано, что в папку не помещается.

С верхней койки свесив ещё голые волосатые длинные ноги, непричёсанный и в белье, крикнул Двоетёсов с хулиганским хрипом:

— Младший лейтенант! А что с ёлкой? Будет ёлка или нет?

— Будет ёлка! — ответил младшина, и видно было, что ему само-

му приятно объявить приятную новость.— Вот здесь, в полукруглой, поставим.

— Так можно игрушки делать? — закричал с другой верхней койки весёлый Руська. Он сидел там, наверху, по-турецки, поставил на подушку зеркало и завязывал галстук. Через пять минут он должен был встретиться с Кларой, она уже прошла от вахты по двору, он видел в окно.

— Об этом спросим, указаний нет.

— Какие ж вам указания?

— Какая ж ёлка без игрушек?.. Ха-ха-ха!

— Друзья! Делаем игрушки!

— Спокойно, парниша! А как *насчёт* *кипятка*?

— Министр обеспечит?

Комната весело гудела, обсуждая ёлку. Дежурные офицеры уже повернулись уходить, но вслед им Хоробров перекрыл гуденье резким вятским говором:

— Причём доложите там, чтоб ёлку нам оставили до православного Рождества! Ёлка — это Рождество, а не новый год!

Дежурные сделали вид, что не слышат, и вышли.

Говорили почти все сразу. Хоробров ещё не досказал дежурным и теперь молча, энергично высказывал кому-то невидимому, двигая кожей лица. Он никогда не праздновал ни Рождества, ни Пасхи, но в тюрьме из духа противоречия стал их праздновать. По крайней мере эти дни не знаменовались ни усиленным обыском, ни усиленным режимом. А на октябрьскую и на первое мая он придумывал себе стирку или шитьё.

Сосед Абрамсон допил чай, утёрся, протёр вспотевшие очки в квадратной пластмассовой оправе и сказал Хороброву:

— Илья Терентьич! Забываешь вторую арестантскую заповедь: не залупайся.

Хоробров очнулся от невидимого спора, резко оглянулся на Абрамсона, будто укушенный:

— Это — старая заповедь, гиблого вашего поколения. Были вы смиренные, всех вас и переморили.

Упрёк был как раз несправедлив. Именно те, кто садились с Абрамсоном, устраивали на Воркуте забастовку и голодовку. Но конец был и у них тот же, всё равно. А заповедь — сама распространилась. Реальное положение вещей.

— Будешь скандалить — ушлют, — только пожал плечами Абрамсон. — В каторжный лагерь какой-нибудь.

— А я, Григорий Борисыч, этого и добиваюсь! В каторжный так в каторжный, драть его вперегрёб, по крайней мере в весёлую компанию попаду. Может, хоть там свобода слова, стукачей нет.

Рубин, у которого чай ещё был не допит, стоял со взъерошенной бородой около койки Потапова-Нержина и дружелюбно произносил на её второй этаж:

— Поздравляю тебя, мой юный Монтень, мой несмышлёныш пирронид...

— Я очень тронут, Лёвчик, но зачем...

Нержин стоял на коленях у себя наверху и держал в руках бювар. Бювар был арестантской частной работы, то есть самой старательной работы в мире — ведь арестанты никуда не спешат. В бордовом коленкоре изящно были размещены кармашки, застёжки, кнопки и пачки отличной трофейной немецкой бумаги. Всё это было сделано, конечно, в казённое время и из казённого материала.

— ...К тому же на шарашке практически ничего не дают писать, кроме доносов...

— И желаю тебе... — большие толстые губы Рубина вытянулись смешной трубочкой, — чтобы скептико-эклетиические мозги твои осиял свет истины.

— Ах, какой ещё истины, старик! Разве кто-нибудь знает, что есть истина?.. — Глеб вздохнул. Лицо его, помолодевшее в предсвиданных хлопотах, опять осунулось в пепельные морщины. И волосы разваливались на две стороны.

На соседней верхней койке, над Пряничковым, плешивый полный инженер степенных лет использовал последние секунды свободного времени для чтения газеты, взятой у Потапова. Широко развернув её и читая немного издали, он то хмурился, то чуть шевелил губами. Когда же в коридоре раскатисто зазвенел электрический звонок, он с досадой сложил газету как попало, заламавши углы:

— Да что это всё, лети его мать, заладили про мировое господство, да про мировое господство?..

И оглянулся, куда бы поприличнее зашвырнуть газету.

Громадный Двоетёсов, на другой стороне комнаты, уже натянув свой неряшливый комбинезон и выставив громадную же задницу, пока топтал и стелил под собою верхнюю постель, откликнулся басом:

— Кто заладил, Земеля?

— Да все они там.

— А ты к мировому господству не стремишься?

— Я-то? — удивился Земеля, как бы принимая вопрос всерьёз. — Не-е-ет, — широко улыбнулся он. — На хрена мне оно? Не стремлюсь. — И кряхтя стал слезать.

— Ну, тогда пойдём вкалывать! — решил Двоетёсов и всею тушею своей гулко спрыгнул на пол. Он шёл на воскресную работу непричесанный, неумытый и не достёгнутый.

Звонок звенел продолжительно. Звенел, что проверка окончена и раскрыты «царские врата» на лестницу института, через которые ээки густой толпой успевали быстро выйти.

Большинство ээков уже выходило. Доронин выбежал первый. Сологдин, закрывавший окно на время вставания и чая, теперь вновь приоткрыл его, заклинил томом Эренбурга и поспешил в коридор залучить профессора Челнова, когда тот будет выходить из «профессорской» камеры. Рубин, как всегда, не успевший утром ничего сделать, поспешно составил всё недоодеенное и недопитое в тумбочку (что-то там перевернулось) и хлопотал около своей горбатой, растерзанной, невозможной постели, тщетно пытаясь заправить её так, чтобы его не вызывали потом перезаправлять.

А Нержин прилаживал *маскарадный* костюм. Когда-то, в давние времена, шарашечные ээки ходили повседневно в хороших костюмах и пальто, ездили в них же и на свидания. Теперь для удобства охраны их переодели в синие комбинезоны (чтобы часовые на вышках ясно отличали ээков от вольных). На свидания же тюремное начальство заставляло переодеваться, давая чьи-то не новые костюмы и рубашки, могло статься, что и — конфискованные из частных гардеробов по описи имущества. Одним арестантам нравилось видеть себя хорошо одетыми хотя бы короткие часы, другие охотно бы избегли этого гнусного переодевания в платье мертвецов, но в комбинезонах на свидания наотрез не брали: родственники не должны были подумать ничего плохого о тюрьме. Отказаться же увидеть родственников — такого непреклонного сердца не было ни у кого. И поэтому — переодевались.

Полукруглая комната опустела. Остались двенадцать пар коек, наваренных двумя этажами и застланных больничным способом; с выворачиванием наружу пододеяльника, дабы он принимал на себя всю пыль и скорее пачкался. Этот способ мог быть придуман только в казённой и обязательно мужской голове, его не применила бы дома даже жена избобретателя. Однако, так требовала инструкция тюремного санитарного надзора.

В комнате наступила хорошая, редкая здесь, тишина, которую не хотелось нарушать.

Остались в комнате четверо: обряжавшийся Нержин, Хоробров, Абрамсон и лысенкинский конструктор.

Конструктор был из тех робких зэков, которые и годами сидя в тюрьме, никак не могут набраться арестантской наглости. Он ни за что не посмел бы не пойти даже на воскресную работу, но сегодня прибавив, специально запасся от тюремного врача освобождением на выходной день, — и теперь на своей койке разложил множество рваных носков, нитки, самодельный картонный гриб, и напрягши чело, соображал, с чего начинать.

Григорий Борисович Абрамсон, законно оттянувший уже одну десятку (не считая шести лет ссылки перед тем) и посаженный на вторую десятку, — не то чтобы совсем не выходил по воскресеньям, но старался не выходить. Когда-то, в комсомольское время, его за уши было не оторвать от воскресников. Но эти воскресники понимались тогда как порыв, чтобы наладить хозяйство: год-два, и всё пойдёт великолепно, и начнётся всеобщее цветение садов. Однако шли десятилетия, пыльные воскресники стали нудьгой и барщиной, а посаженные деревья всё не зацветали и даже большей частью были переломаны гусеницами тракторов. В долголетних тюрьмах, наблюдением и размышлением, Абрамсон пришёл к обратному выводу: что человек по природе враждебен труду и ни за что бы не работал, если б не заставляла его палка или нужда. И хотя из соображений общих, соотнося с неуверенной и единственно-возможной коммунистической целью человечества, все эти усилия и даже воскресники были несомненно нужны, — сам Абрамсон потерял силы участвовать в них. Теперь он был из немногих тут, кто уже отсидел и пересидел эти страшные полные десять лет и знал, что это не миф, не бред трибунала, не анекдот до первой всеобщей амнистии, в которую всегда верят новички, — а это полные десять, и двенадцать, и пятнадцать изнурительных лет человеческой жизни. Он давно научился экономить на каждом движении мышцы, на каждой минуте покоя. И он знал, что самое лучшее, как надо проводить воскресенье — это неподвижно лежать в постели раздетому до белья.

Сейчас он высвободил томик, которым Сологдин заклинил окно, окно закрыл, неторопливо снял комбинезон, лёг под одеяло, обернулся конвертиком, протёр очки специальным лоскутком замши, положил в рот леденец, подправил подушку и достал из-под матраца какую-то толстенную книжицу, из предосторожности обёрнутую. Только смотреть на него со стороны — и то было уютно.

Хоробров, напротив, томился. В невесёлом бездействии лежал он одетый поверх застеленного одеяла, уставив ноги в ботинках на перильца кровати. По характеру он переживал болезненно и долго то, что легко сходило с других. Каждую субботу, по известному принципу полной добровольности, всех заключённых, даже не спросив их об этом, записывали как добровольно желающих работать в воскресенье — и подавали заявку в тюрьму. Если бы запись была действительно добровольная, Хоробров всегда бы записывался и охотно проводил бы выходные дни за рабочим столом. Но именно потому, что запись была открыто издевательская, Хоробров должен был лежать и дуреть в запертой тюрьме.

Лагерный зэк может только грезить о том, чтобы пролежать воскресенье в закрытом тёплом помещении, но у шарашечного зэка поясница ведь не болит.

Решительно нечем было заняться! Все газеты, какие были, он прочёл ещё вчера. На табуретке около его кровати лежали кучкою в раскрытом и закрытом виде книги из библиотеки спецтюрьмы. Одна была публицистическая — сборник статей маститых писателей. Хоробров поколебался, но всё-таки открыл статью того Толстого, который, будь посовестливей, не посмел бы этой фамилией и подписываться. Статья была от июня сорок первого года, а в ней: «немецкие солдаты,

гонимые террором и безумием, напоролась на границе на стену железа и огня». Хоробров шёпотом выматерился, захлопнул и отложил. В какую б книгу он ни заглядывал, всегда ему попадало по больному месту, потому что всё вокруг было больное место. На хорошо оборудованных подмосковных дачах эти властители умов слушали только радио и видели только свои цветники. Полуграмотный колхозник знал о жизни больше них.

Остальные книги в кучке были художественные, но читать их было Хороброву так же мерзко. Одна — боевик «Далеко от Москвы», которой зачитывались теперь на воле. Но сколько-то прочтя вчера и сейчас попытавшись, Хоробров почувствовал, что его мутит. Эта книга была — пирог без начинки, вытекшее яйцо, чучело убитой птицы: в ней говорилось о строительстве руками зэков, о лагерях — но нигде не названы были лагеря, и не сказано, что это — зэки, что им дают пайку и сажают в карцер, а подменили их комсомольцами, хорошо одетыми, хорошо обутыми и очень воодушевлёнными. И тут же чувствовалось опытного читателю, что сам автор знает, видел, трогал правду, может быть даже — был в лагере оперуполномоченным, но со стеклянными глазами брешет.

Те же три слова того же ругательства, хотя в другом порядке, легли привычно, и Хоробров откинул боевик.

Ещё книга была — «Избранное» известного Галахова. Несколько отличая имя Галахова и чего-то всё-таки ожидая от него, Хоробров уже читал этот том, но прервал с ощущением, что над ним так же издеваются, как когда составляли добровольный список на выходной. Даже Галахов, неплохо умевший писать о любви, давно сполз на эту принятую манеру писать как бы не для людей, а для дурачков, которые жизни не видели и по слабоумию рады любой побрякушке. Всё, что действительно рвало сердца человеческие, отсутствовало в книгах. Если б не началась война — писателям только оставалось перейти на акафисты. Война открыла им доступ к общепонятным чувствам. Но и тут выдвигали они какие-то небылые конфликты — вроде того, что комсомолец в тылу у врага десятками пускает под откосы эшелоны с боеприпасами, но не состоит на учёте ни в какой первичной организации и день и ночь терзается, подлинный ли он комсомолец, если не платит членских взносов.

Ещё раз переставил Хоробров то же ругательство — и опять легло.

И ещё была книга на табуретке — «Американские рассказы», прогрессивных писателей. Этих рассказов Хоробров не мог проверить сравнением с жизнью, но удивителен был их подбор: в каждом рассказе обязательно какая-нибудь гадость об Америке. Ядоносно собранные вместе, они составляли такую кошмарную картину, что можно было только удивляться, как американцы ещё не разбежались или не перевешались.

Нечего было читать!

Хоробров придумал покурить. Он вынул папиросу и стал её разминать. В совершенной тишине комнаты слышно было, как шелестела под его пальцами туго набитая гильза. Покурить ему хотелось тут же, не выходя, не снимая ног с перилец кровати. Курильщики-арестанты знают, что истинное удовольствие доставляет лишь папироса, выкуренная лёжа — на своей полоске нар, на своей вагонке, — неторопливая папироса со взором, уставленным в потолок, где проплывают картины невозвратного прошлого и недостижимого будущего.

Но ласый конструктор не курил и не любил дыму, а Абрамсон, хоть и сам курильщик, придерживался ошибочной теории, что в комнате должен быть чистый воздух. В тюрьме усвоив прочно, что свобода начинается с уважения прав других, Хоробров со вздохом спустил ноги на пол и направился к выходу. При этом он увидел толстенькую книгу в руках Абрамсона и сразу же определил, что такой книги в

тюремной библиотеке нет, значит, она с воли, а оттуда плохую не попросят.

Но Хоробров не спросил вслух, как фраер: «Что читаешь?» или «Откуда взял?» (ответ Абрамсона мог услышать конструктор или Нержин). Он подошёл к Абрамсону вплотную и сказал тихо:

— Григорий Борисыч. Дай на оголовочек зирнуть.

— Ну, зирни, — нехотя позволил Абрамсон.

Хоробров раскрыл титульный лист и прочёл, потрясённый: «Граф Монте Кристо».

Он только свистнул.

— Борисыч, — ласково спросил он. — За тобой никого? Я — не успею?

Абрамсон снял очки и подумал.

— Подывыюсь. А ты меня сегодня подстрижёшь?

Зэки не любили приходящего парикмахера-стахановца. Свои доброзванные мастера стригли ножницами под все капризы и медленно, потому что срок впереди у них был большой.

— А у кого ножницы возьмём?

— У Зяблика достану.

— Ну, так подстригу.

— Добрэ. Тут кусок вынимается до сто двадцать восьмой, скоро дам.

Заметив, что Абрамсон читал на сто десятой, Хоробров уже совсем в другом, весёлом настроении вышел курить в коридор.

А Глеб всё больше наполнялся праздничным чувством. Где-то — наверно, в студенческом городке на Стромынке, этот последний час перед свиданием волнуется и Надя. На свидании разбегаются мысли, теряешь, что хотел сказать, надо сейчас записать на бумажке, выучить, уничтожить (бумажку с собой взять нельзя), и только помнить: восемь пунктов, восемь — о том, что возможен отъезд; о том, что срок не кончится на сроке — ещё будет ссылка; о том, что...

Он сбегал в каптёрку, разгладил манишку. Манишка была изобретение Руськи Доронина и принята многими. Это был белый лоскуток (от простыни, разодранной на шестнадцать частей, но каптёр этого не знал) с пришитым к нему белым воротничком. Лоскутка этого хватало только, чтобы в распахе комбинезона покрыть нижнюю сорочку с чёрным штампом «МГБ-Спецтюрьма № 1». И ещё были две тесёмки, которые перебрасывались на спину и там завязывались. Манишка помогала создать видимость всеми желаемого благополучия. Незатейливая в стирке, она верно служила и в будни, и в праздники, не стыдно было перед вольными сотрудницами института.

Потом на лестнице чьим-то высохшим раскрошившимся гуталином Нержин тщетно пытался придать блеск своим потёртым ботинкам (ботинок тюрьма к свиданию не меняла, так как они не были видны под столом).

Когда он вернулся в комнату, чтобы бриться (бритвы тут разрешались, даже опасные, такова была игра инструкций), Хоробров уже запоем читал. Конструктор своей обильной штопкой захватил кроме кровати и часть пола, кроил там и перекладывал, отмечая карандашом, Абрамсон же, чуть отвалив голову на бок от книги, щурился с подушки и поучал его так:

— Штопка только тогда эффективна, когда она добросовестна. Боже вас упаси от формального отношения. Не торопитесь, кладите к стежку стежок и каждое место проходите крест накрест дважды. Потом распространённой ошибкой является использование гнилых петель у края рваной дыры. Не дешевитесь, не гонитесь за лишними ячейками, обрежьте дыру вокруг. Вы фамилию такую — Беркалов, слышали?

— Что? Беркалов? Нет.

— Ну, ка-ак же! Беркалов — старый артиллерийский инженер, изобретатель этих, знаете, пушек БС-3, замечательные пушки, у них

начальная скорость сумасшедшая. Так вот Беркалов так же в воскресенье, так же на шарашке сидел и штопал носки. А включено радио. «Беркалову, генерал-лейтенанту, сталинскую премию первой степени». А он до ареста всего генерал-майор был. Да. Ну, что ж, носки заштопал, стал на электроплитке олады жарить. Вошёл надзиратель, накрыл, плитку незаконную отнял, на трое суток карцера составил рапорт начальнику тюрьмы. А начальник тюрьмы сам бежит как мальчик: «Беркалов! С вещами! В Кремль! Калинин вызывает!»... Такие вот русские судьбы...

32

Известный на многих шарашках старик профессор математики Челнов, писавший в графе «национальность» не «русский», а «зэк», и кончавший к 1950 году восемнадцатый год заключения, приложил острый своего карандаша ко многим техническим изобретениям от прямого котла до реактивного двигателя, а в некоторые из них вложил и душу.

Впрочем, профессор Челнов утверждал, что выражение это — «вложить душу», должно употребляться с осторожностью, что только зэк наверняка имеет бессмертную душу, а вольняшке бывает за суетою отказано в ней. В дружеской зэчьей беседе над миской остывшей баланды или над стаканом дымящегося какао Челнов не скрывал, что это рассуждение он заимствовал у Пьера Безухова. Когда французский солдат не пустил Пьера через дорогу, известно, что Пьер расхохотался: — «Ха-ха! Не пустил меня солдат. Кого — меня? Мою бессмертную душу не пустил!»

На шарашке Марфино профессор Челнов был единственный зэк, которому разрешалось не надевать комбинезона (по этому вопросу обращались лично к Абакумову). Главное основание такой льготы лежало в том, что Челнов не был постоянный зэк шарашки Марфино, а зэк переезжий: в прошлом член-корреспондент Академии Наук и директор математического института, он состоял в особом распоряжении Берии и перебрасывался всякий раз на ту шарашку, где вставала самая неотложная математическая проблема. Решив её в главных чертах и указав методику расчётов, он был перебрасываем дальше.

Но своей свободой выбирать одежду профессор Челнов не воспользовался как обычные тщеславные люди: костюм он надел недорогой, и даже пиджак и брюки не совпадали по цвету; ноги он держал в валенках; на голову, где сохранились седые очень редкие волосы, натягивал какую-то вязаную шерстяную шапочку, то ли лыжную, то ли девичью; особенно же отличал его дважды захлестнутый вокруг плеч и спины чудаковатый шерстяной плед, тоже отчасти похожий на тёплый женский платок.

Однако, этот плед и эту шапочку Челнов умел носить так, что они делали его фигуру не смешной, а величественной. Долгий овал его лица, острый профиль, властная манера разговаривать с тюремной администрацией и ещё тот едва голубоватый свет выцветших глаз, который даёт только абстрактным умам, — всё это странно делало Челнова похожим не то на Декарта, не то на Архимеда.

В Марфино Челнов был прислан для разработки математических оснований абсолютного шифратора, то есть прибора, который своим механическим вращением мог бы обеспечить включение и переключение множества реле, так запутывающих порядок посылки прямоугольных импульсов изуродованной речи, чтобы даже сотни людей, поставив аналогичные приборы, не могли бы расшифровать разговора, идущего по проводам.

В конструкторском бюро своим чередом шли поиски конструктивного решения подобного шифратора. Этим занимались все конструкторы, кроме Сологодина.

Едва приехав с Инты на шарашку и оглядясь тут, Сологдин сразу же заявил всем, что память его ослаблена длительным голоданием, способности притуплены, да и от рождения ограничены, и что выполнять он в состоянии только подсобную работу. Так смело он мог сыграть потому, что на Инте был не на общих, а на хорошей инженерной должности и не боялся возврата туда. (Именно поэтому он на шарашке в служебных разговорах с начальством мог разрешить себе подыскивать заменители иностранных слов, даже таких, как «инженер» и «металл», заставляя ждать, пока придумает. Это было бы невозможно, если б он стремился выслужиться или хотя бы получить повышенную категорию питания.)

Его, однако, не отослали, — на пробу оставили. Из главного русла работы, где царили напряжение, спешка, нервность, Сологдин таким образом выбился в тихое боковое русло. Там, без почёта и без укора, он контролировался начальством слабо, располагал достаточным свободным временем и — безнадзорно, тайно, по вечерам, — стал по своему разумению разрабатывать конструкцию абсолютного шифратора.

Он считал, что большие идеи могут родиться только озарением одинокого ума.

И действительно, за последние полгода он нашёл такое решение, которое никак не давалось десяти инженерам, специально на то назначенным, но непрерывно погоняемым и дёргаемым. (А уши его были открыты, он слышал, как ставится задача, и в чём их неуспех.) Два дня назад Сологдин дал свою работу на просмотр профессору Челнову — тоже неофициально. Теперь он поднимался по лестнице рядом с профессором, почтительно поддерживая его под локоть и ожидая приговора своей работе.

Но Челнов никогда не смешивал работы и отдыха.

Тот недолгий путь, который они прошли по коридорам и лестницам, он ни слова не проронил на оценке, жадно ожидаемой Сологдиным, а беззаботно рассказывал об утренней прогулке со Львом Рубиным. После того, как Рубина не пустили «на дрова», он читал Челнову своё стихотворение на библейский сюжет. В ритме стихотворения всего один-два срыва, есть свежие рифмы, например «Озирис — озирись», и вообще стихотворение надо признать недурным. По содержанию же — это баллада о том, как Моисей сорок лет вёл евреев через пустыню в лишениях, жажде, голоде, как народ безумно бредил и бунтовал, но не был прав, а прав был Моисей, знавший, что в конце концов они придут в землю обетованную. Рубин особенно подчёркивал слушателю, что сорока лет ведь ещё нет!

Что же ответил Челнов?

Челнов обратил внимание Рубина на географию моисеева перехода: от Нила до Иерусалима евреям никак не нужно было идти более четырёхсот километров и, значит, даже отдыхая по субботам, свободно можно было дойти за три недели! Не следует ли предположить поэтому, что остальные сорок лет Моисей не вёл, а *вогил* их по Аравийской пустыне, чтобы вымерли все, кто помнил сытое египетское рабство, а уцелевшие лучше бы оценили тот скромный рай, который Моисей мог им предложить?..

У вольнонаёмного дежурного по институту перед дверьми кабинета Яконова профессор Челнов взял ключ от своей комнаты. Такое доверие оказывалось ещё только Железной Маске — и больше никому из эков. Никакой ээк не имел права ни секунды оставаться в своём рабочем помещении без присмотра со стороны вольного, ибо бдительность подсказывала, что эту безнадзорную секунду заключённый обязательно употребит на взлом железного шкафа при помощи карандаша и фотографирование секретных документов с помощью пуговицы от штанов.

Но Челнов работал в комнате, где стоял только несекретный шкаф и два голых стола. И вот решились (согласовав, разумеется, в министерстве) санкционировать выдачу ключа лично профессору Челнову. С тех пор его комната стала предметом постоянных волнений оперуполномоченного института майора Шикина. В часы, когда арестантов запирали в тюрьме двойной окованной дверью, этот высокооплачиваемый товарищ с ненормированным рабочим днём собственноручно приходил в комнату профессора, выстукивал стены, плясал на половицах, заглядывал в пыльную промежность за шкафом и жмуро качал головой.

Впрочем, получение ключа — это было ещё не всё. После четырёх-пяти дверей третьего этажа в коридоре находился контрольный пост Совсекретного отдела. Контрольный пост был — тумбочка и стул около неё, а на стуле уборщица, да не просто уборщица, чтобы подметать пол или кипятить чай (на то были другие) — уборщица особого назначения: проверять пропуска у идущих в Совсекретный отдел. Пропуска, отпечатанные в главной типографии министерства, были трёх родов: постоянные, разовые и недельные по образцам, разработанным майором Шикиным (ему же принадлежала и сама идея сделать тупик коридора Совсекретным).

Работа контрольного поста не была лёгкой: люди проходили редко, но вязать носки категорически было запрещено и инструкцией, тут же вывешенной, и неоднократно изустными указаниями майора товарища Шикина. И уборщицы (их сменялось в сутки две) в продолжение дежурства мучительно боролись со сном. Самому полковнику Яконову так же очень неудобен был этот контрольный пост, ибо его весь день отрывали подписывать пропуска.

Тем не менее пост существовал. А чтобы покрыть оплату этих уборщиц, — вместо трёх дворников, положенных по штату, держали одного, того самого Спиридона.

Хотя Челнов прекрасно знал, что сидевшая сейчас на посту женщина звалась Марья Ивановна, а она пропускала этого седого старика много раз на дню, — теперь она, вздрогнув, спросила:

— Пропуск.

И Челнов показал картонный пропуск, а Сологдин достал бумажный.

Миновав пост, ещё пару дверей, заколоченную и мелом замазанную стеклянную дверь на заднюю лестницу, где размещалось ателье крепостного живописца, затем дверь личной комнаты Железной Маски, они отперли дверь Челнова.

Тут была уютная комнатка с одним окном, открывавшим вид на арестантский прогулочный дворик и рощу столетних лип, которых судьба тоже не пощадила и вкrojила в зону, охраняемую автоматным огнём. Удлиненные высокие овершья лип были всё в том же щедром инее.

Мутно-белое небо осеняло землю.

Левее лип, за зоною, виднелся посеревший от времени, а сейчас убелённый тоже, двухэтажный с кораблевиной кровлей старинный домик когда-то жившего подле семинарии архиерея, по которому и подходящая сюда дорога называлась Владыкинской. Дальше проглядывали крыши деревушки Марфино, потом развёртывалось поле, а ещё дальше, на линии железной дороги, в мутности поднимался хорошо заметный ярко-серебряный парок паровоза, идущего из Ленинграда.

Но Сологдин и не посмотрел в окно. Не следуя приглашению сесты, гибкий, чувствуя под собой твёрдые молодые ноги, он прислонился плечом к оконному косяку и впился глазами в свой рулон, лежащий на столе Челнова.

Челнов попросил открыть форточку. Сел в жёсткое кресло с прямой высокой спинкой; поправил плед на плече; открыл тезисы, на-

писанные на листке из блокнота; взял в руки длинный отточенный карандаш, подобный копьё; строго посмотрел на Сологодина — и сразу стал невозможен тон шуточного разговора, только что бывшего между ними.

Как будто большие крылья всплеснули и ударили в маленькой комнате. Челнов говорил не более двух минут, но так сжато, что между его мыслями некогда было вздохнуть.

Смысл был тот, что Челнов сделал больше, чем Сологдин просил. Он провёл теоретико-вероятностную и теоретико-числовую прикидку возможностей конструкции, предлагаемой Сологдиным. Конструкция обещала результат, не очень далёкий от требуемого, по крайней мере до тех пор, пока не удастся перейти к чисто-электронным устройствам. Однако необходимо:

— продумать, как сделать её нечувствительной к импульсам неполной энергии;

— уточнить значения наибольших инерционных сил в механизме, чтобы убедиться в достаточности маховых моментов.

— И потом...— Челнов облучил Сологодина мерцанием своего взгляда,— потом не забывайте: ваша шифровка строится по хаотическому принципу, это хорошо. Но хаос, однажды выбранный, хаос застывший — есть уже система. Сильнее было бы усовершенствовать решение так, чтобы хаос ещё хаотически менялся.

Здесь профессор задумался, перегнул листок пополам и смолк. А Сологдин сомкнул веки, как от яркого света, и так стоял, невидящий.

Ещё при первых словах профессора он ощутил ополоснувшую его горячую волну. А сейчас плечом и боком налегал на оконный косяк, чтобы, кажется, не взмыть к потолку от ликования. Его жизнь выходила, может быть, на свою зенитную дугу.

...Он происходил из старинной дворянской семьи, уже и без того таявшей как восковая, а в полые революции разбрызнутой без остатка — одних расстреляли, другие эмигрировали, третьи схоронились, даже кожу себе сменив. Юношей Сологдин долго колебался, не понимая сам, как ему отнестись к революции. Он ненавидел её как бунт раззадоренной завистливой черни, но в её беспощадной прямолинейности и не устающей энергии он чувствовал себе родное. С древнерусским пыланием глаз он молился в угасающих московских часовенках. В юнгштурмовке, как все носили, с пролетарски расстёгнутым воротом поступал в комсомольскую ячейку. Кто мог бы сказать ему верно: искать ли обрез на эту шайку или пробиваться в комсомольские главари? Он был искренне набожен и захваченно тщеславен. Он был жертвенен, но и сребролюбив. Где то сердце молодое, которому не хочется земных благ? Он разделял убеждение безбожника Демокрита: «Счастлив тот, кто имеет состояние и ум». Ум у него всегда был, — не было состояния.

И восемнадцать лет отроду (а был это последний год НЭПа!) Сологдин положил себе как первую несомненную задачу: приобрести миллион, именно, обязательно и точно — миллион, во что бы то ни стало — миллион. Дело даже не в богатстве, не в свободных средствах: нажить миллион — это экзамен на делового человека, это докажет, что ты не пустой фантазёр, а дальше можно ставить себе следующие деловые задачи.

Он предполагал найти этот путь к миллиону через какое-нибудь ослепительное изобретение, но не отказался бы и от другого остроумного пути, пусть не инженерного, зато короче. Однако, нельзя было выискать более враждебной обстановки для задачи о миллионе, чем сталинская пятилетка. Из конструкторской доски выколачивал Сологдин только хлебную карточку да жалкую зарплату. И если бы завтра он предložил государству изумительный вздох или выгодную реконструкцию всей промышленности, — это не принесло б ему ни миллиона, ни славы, а пожалуй даже — недоверие и травлю.

Но дальше всё решилось тем, что Сологдин по размеру стал больше стандартной ячейки невода, и захвачен был в одну из ловель, получил первый срок, а в лагере ещё и второй.

Уже двенадцать лет он не выходил из лагеря. Он должен был забросить и забыть задачу о миллионе. Но вот каким странным петлистым путём снова выведен к той же башне и дрожащими руками уже подбирал из связки ключ к её стальной двери!

Кому? Кому??— неужели ему этот Декарт в девичьей шапочке говорит такие лестные слова?!..

Челнов свернул листок тезисов вчетверо, потом ввосьмеро:

— Как видите, работы ещё тут немало. Но эта конструкция будет оптимальная из пока предложенных. Она даст вам свободу, снятие судимости. А если начальство не перехватит — так и кусок сталинской премии.

Челнов улыбнулся. Улыбка у него была острая и тонкая, как вся форма лица.

Улыбка его относилась к самому себе. Ему самому, сделавшему на разных шарашках в разное время много больше, чем собирался Сологдин, не угрожала ни премия, ни снятие судимости, ни свобода. Да и судимости у него не было вовсе: когда-то он выразился о Мудром Отце как о мерзкой гадине — и вот восемнадцатый год сидел без приговора, без надежды.

Сологдин открыл сверкающие голубые глаза, молодо выпрямился, сказал несколько театрально:

— Владимир Эрастович! Вы дали мне опору и уверенность! Я не нахожу слов отблагодарить вас за внимание. Я — ваш должник!

Но рассеянная улыбка уже играла на его губах.

Возвращая Сологдину рулон, профессор ещё вспомнил:

— Однако, я виноват перед вами. Вы просили, чтобы Антон Николаевич не видел этого чертежа. Но вчера случилось так, что он вошёл в комнату в моё отсутствие, развернул по своему обычаю — и, конечно, сразу понял, о чём речь. Пришлось нарушить ваше инкогнито...

Улыбка сошла с губ Сологодина, он нахмурился.

— Это так существенно для вас? Но почему? Днём раньше, днём позже...

Сологдин озадачен был и сам. Разве не наступало время теперь нести лист Антону?

— Как вам сказать, Владимир Эрастович... Вы не находите, что здесь есть некоторая моральная неясность?.. Ведь это — не мост, не кран, не станок. Это заказ — не промышленный, а тех самых, кто нас посадил. Я это делал пока только... для проверки своих сил. Для себя.

Для себя.

Эту форму работы Челнов хорошо знал. Вообще это была высшая форма исследования.

— Но в данных обстоятельствах... это не слишком большая роскошь для вас?

Челнов смотрел бледными спокойными глазами.

— Простите меня, — подобрался и исправился Сологдин. — Это я только так, вслух подумал. Не упрекайте себя ни в чём. Я вам благодарен и благодарен!

Он почтительно подержался за слабую нежную кисть Челнова и с рулоном подмышкой ушёл.

В эту комнату он только что вошёл ещё свободным претендентом.

И вот выходил из неё — уже обременённым победителем. Уже больше не был он хозяин своему времени, намерениям и труду.

А Челнов, не прислоняясь к спинке кресла, прикрыл глаза и долго посидел так, выпрямленный, тонколицый, в шерстяном острокопачке.

Всё с тем же ликованием, с несоразмерной силою распахнув дверь, Сологдин вошёл в конструкторское бюро. Но вместо ожидаемого многолюдья в этой большой комнате, вечно гудящей голосами, он увидел только одну полную женскую фигуру у окна.

— Вы одна, Лариса Николаевна?— удивился Сологдин, проходя через комнату быстрым шагом.

Лариса Николаевна Емина, копировщица, дама лет тридцати, обернулась от окна, где стоял её чертёжный стол, и через плечо улыбнулась подходящему Сологдину.

— Дмитрий Александрович? А я думала, мне целый день скучать одной.

Сологдин обежал взглядом её избыточную фигуру в ярко-зелёном шерстяном костюме — вязаной юбке и вязаной кофте, чёткой походкой прошёл, не отвечая, к своему столу, и сразу, ещё не садясь, поставил палочку на отдельно лежащем розовом листе бумаги. После этого, стоя к Еминой почти спиной, он прикрепил принесенный чертёж к подвижной наклонной доске «кульмана».

Конструкторское бюро — просторная светлая комната третьего этажа с большими окнами на юг, была, вперемежку с обычными конторскими столами, уставлена десятком таких кульманов, закреплённых то почти вертикально, то наклонно, то вовсе горизонтально. Кульман Сологдина близ крайнего окна, у которого сидела Емина, был установлен отвесно и развёрнут так, чтобы отгораживать Сологдина от начальника бюро и от входной двери, но принимать поток дневно-го света на наколотые чертежи.

Наконец, Сологдин сухо спросил:

— Почему ж никого нет?

— Я хотела об этом узнать у вас,— услышал он певучий ответ.

Быстрым движением отвернув к ней одну лишь голову, он сказал с насмешкой:

— У меня вы можете только узнать, где четыре бесправных зэ-ка, зэ-ка, работающих в этой комнате. Извольте. Один вызван на свидание, у Хуго Леонардовича — латышское Рождество, я — здесь, а Иван Иванович отпросился штопать носки. Но мне, встречно, хотелось бы знать, где шестнадцать вольных — то есть, товарищей, значительно более ответственных, чем мы?

Он оказался в профиль к Еминой, и ей хорошо была видна его снисходительная улыбка между небольшими аккуратными усами и аккуратной французской бородкой.

— Как? Вы разве не знаете, что наш майор вчера вечером договорился с Антон' Николаичем — и конструкторское бюро сегодня выходное? А я, как на зло, дежурная...

— Выходное?— нахмурился Сологдин.— По какому же случаю?

— Как по какому? По случаю воскресенья.

— С каких это пор у нас воскресенье — и вдруг выходной?

— Но майор сказал, что у нас сейчас нет срочной работы.

Сологдин резко повернулся в сторону Еминой.

— У нас нет срочной работы?— едва ли не гневно воскликнул он.— Ничего себе! У нас нет срочной работы!— Нетерпеливое движение проскользнуло по розовым губам Сологдина.— А хотите, я сделаю так, что с завтрашнего дня вы все шестнадцать будете сидеть здесь — и день и ночь копировать? Хотите?

Эти «все шестнадцать» он почти прокричал со злорадством.

Несмотря на жуткую перспективу копировать день и ночь, Емина сохраняла спокойствие, шедшее к её покойной крупной красоте. Сегодня она ещё даже не подняла кальки, прикрывавшей чуть наклонный её рабочий стол, так и лежал поверх кальки ключ, которым она отперла комнату. Удобно облокотясь о стол (обтягивающий вязанный рукав

очень передавал полноту её предплечья), Емина чуть заметно покачивалась и смотрела на Сологдина большими дружелюбными глазами:

— Бож-же упаси! И вы способны на такое злодейство?

Глядя холодно, Сологдин спросил:

— Зачем вы употребляете слово «Боже»? Ведь вы—жена чекиста?

— Что за важность? — удивилась Емина.— Мы и куличи на Пасху пекём, так что такого?

— Ку-ли-чи?!

— А тó!

Сологдин сверху вниз смотрел на сидящую Емину. Зелень её вязаного костюма была резкая, дерзкая. И юбка, и кофточка, облекая, выявляли раздобревшее тело. На груди кофточка была расстёгнута, и воротник лёгкой белой блузки выложен поверх.

Сологдин поставил палочку на розовом листке и враждебно сказал:

— Но ведь ваш муж, вы говорили,— подполковник МВД?

— Так то муж!.. А мы с мамой — что? бабы! — обезоруживающе улыбалась Емина. Толстые белые косы её были обведены величественным венцом вкруг головы. Она улыбалась — и была, действительно, похожа на деревенскую бабу, но в исполнении Эммы Цесарской.

Сологдин, больше не отзываясь, сел боком за свой стол,— так, чтобы не видеть Еминой, и щурясь, стал оглядывать наколотый чертёж. Он чувствовал себя осыпанным цветами триумфа, они как будто ещё держались на его плечах, на груди, и ему не хотелось рассеивать этой настроенности.

Когда-то же надо начинать настоящую Большую Жизнь.

Именно теперь.

Дуга зенита...

Хотя застряло какое-то сомнение...

А вот какое. Нечувствительность к импульсам неполной энергии и достаточность маховых моментов были обеспечены, как Сологдин угадывал внутренним чутьём, хотя нужно будет, разумеется, везде до считать знака по два. Но последнее замечание Челнова о застывшем хаосе смущало его. Это не указывало на порок работы, но на разность его от идеала. Одновременно он смутно ощущал, что где-то есть в его работе непочувствованный и Челновым, неуловленный и им самим, недоделанный «последний вершок». Важно было сейчас в удачно сложившейся воскресной тишине определить, в чём он состоит, и приступить к его доделке. Только после этого можно будет открыть свою работу Антону и начать пробивать ею бетонные стены.

Поэтому он сейчас предпринял усилие выключиться из мыслей о Еминой и удержаться в круге мыслей, созданных профессором Челновым. Емина уже полгода сидела рядом с ним, но никогда им не случилось говорить подолгу. Оставаться же с глазу на глаз, как сегодня, и вовсе не приходилось. Сологдин иногда подтрунивал над ней, когда по плану разрешал себе пятиминутный отдых. По служебному положению — копировщица при нём, она по общественному положению была дама из слоя власти. И естественным и достойным отношением между ними должна была быть враждебность.

Сологдин смотрел на чертёж, а Емина, всё так же чуть покачиваясь на локте,— на него. И вдруг прозвучал вопрос:

— Дмитрий Александрович! А — вам? Кто вам штопает носки?

У Сологдина поднялись брови. Он даже не понял.

— Носки? — Он всё так же смотрел на чертёж.— А-а. Иван Иванович носит носки потому, что он ещё новичок, трёх лет не сидит. Носки — это отрывка так называемого... (он поперхнулся, ибо вынужден был употребить птичье слово) ...капитализма. Носков я просто не ношу.— И поставил палочку на белом листе.

— Но тогда... что же вы носите?

— Вы переступаете границы скромности, Лариса Николаевна, — не мог не улыбнуться Сологдин. — Я ношу гордость нашего русского убранства — портянки!

Он произнёс это слово смачно, отчасти уже находя удовольствие в разговоре. Его внезапные переходы от строгости к насмешке всегда пугали и забавляли Емину.

— Но ведь их... солдаты носят?

— Кроме солдат ещё два разряда: заключённые и колхозники.

— И потом их тоже надо... стирать, латать?

— Вы ошибаетесь! Кто же нынче стирает портянки? Их просто носят год, не стирая, а потом выбрасывают, от начальства новые получают.

— Неужели? Серьёзно? — Емина смотрела почти испуганно.

Сологдин молодо беспечно расхохотался.

— Во всяком случае, такая точка зрения существует. Да и на какие шиши я бы стал покупать носки? Вот вы прозрачно-обводчица МГБ — сколько вы получаете в месяц?

— Полторы тысячи.

— Та-ак! — торжествующе воскликнул Сологдин. — Полторы тысячи! А я, *зиждитель* — (на Языке Предельной Ясности это значит — инженер) — тридцать рублишек! Не разгонишься? На носки?

Глаза Сологодина весело лучились. Это совсем не относилось к Еминой, но она рдела.

Муж Ларисы Николаевны был тюлень. Семья для него давно стала мягкой подушкой, а он для жены — принадлежностью квартиры. Придя с работы он долго, с наслаждением обедал, потом спал. Потом, прочухиваясь, читал газеты и крутил приёмник (приёмники свои прежние он то и дело продавал и покупал новейшей марки). Только футбольный матч, где по роду службы он всегда болел за «Динамо», вызывал в нём возбуждение и даже страсть. Во всём он был тускл, однообразен. Да и у других мужчин её окружения досуг был рассказывать о своих заслугах, наградах, играть в карты, пить до багровости, а в пьяном образе лезть и лапать.

Сологдин опять устался в свой чертёж. Лариса Николаевна продолжала, не отрываясь, смотреть на его лицо, ещё и ещё раз на его усы, на бородку, на сочные губы.

Об эту бородку хотелось уколоться и потереться.

— Дмитрий Александрович! — опять прервала она молчание. — Я вам очень мешаю?

— Да есть немножко... — ответил Сологдин. Последние вершки требовали ненарушимой углублённой мысли. Но соседка мешала. Сологдин оставил пока чертёж, развернулся к столу, тем самым и к Еминой, и стал разбирать незначительные бумаги.

Слышно было, как мелко тикали часы у неё на руке.

По коридору прошла группа людей, сдержанно разговаривая. Из дверей соседней Семёрки раздался немного шепелявый голос Мамурина: «Ну, скоро там трансформатор?» и раздражённый выкрик Маркушева: «Не надо было им давать, Яков Иваныч!..»

Лариса Николаевна положила руки перед собой на стол, скрестила, утвердила на них подбородок и так снизу вверх растомчиво смотрела на Сологодина.

А он — читал.

— Каждый день! каждый час! — почти шептала она, благоговейно. — В тюрьме и так заниматься!.. Вы — необыкновенный человек, Дмитрий Александрович!

На это замечание Сологдин сразу поднял голову.

— Что ж с того, что тюрьма, Лариса Николаевна? Я сел двадцати пяти лет, говорят, что выйду сорока двух. Но я в это не верю. Обязательно ещё набавят. У меня пройдёт в лагерях лучшая часть жизни,

весь расцвет моих сил. Внешним условиям подчиняться нельзя, это оскорбительно.

— У вас всё по системе!

— На свободе или в тюрьме — какая разница? — мужчина должен воспитывать в себе непреклонность воли, подчинённой разуму. Из лагерных лет я семь провёл на баланде, моя умственная работа шла без сахара и без фосфора. Да если вам рассказать...

Но кому это было доступно из непереживших?

Внутрилагерная следственная тюрьма, выдолбленная в горе. И кум — старший лейтенант Камышан, одиннадцать месяцев крестивший Сологодина на второй срок, на новую десятку. Бил он палкой по губам, чтоб сыпались зубы с кровью. Если приезжал в лагерь верхом (он хорошо сидел в седле) — в этот день бил рукояткой хлыста.

Шла война. Даже на воле нечего было есть. А — в лагере? Нет, а — в Горной закрытке?

Ничего не подписал Сологдин, наученный первым следствием. Но предназначенную десятку всё равно получил. Прямо с суда его отнесли в стационар. Он умирал. Уже ни хлеба, ни каши, ни баланды не принимало его тело, обречённое распасться.

Был день, когда его свалили на носилки и понесли в морг — разбивать голову большим деревянным молотком перед тем, как отвозить в могильник. А он — пошевелился...

— Расскажите!..

— Нет, Лариса Николавна! Это решительно невозможно описать! — легко, радостно уверял теперь Сологдин.

И оттуда! — и оттуда! — о, сила обновления жизни! — через годы неволи, через годы работы! — к чему он взлетел?!

— Расскажите! — клячила раскормленная женщина всё так же снизу вверх, со скрещенных рук.

Разве только вот что было ей доступно понять: в той истории замешалась и женщина. Выбор Камышана ускорился оттого, что он приревновал Сологодина к медицинской сестре, зэчке. И приревновал не зря. Ту медсестру Сологдин и сегодня вспоминал с такой внятной благодарностью тела, что отчасти даже не жалел, получив из-за неё срок.

Было и сходство той медсестры и этой копировщицы: они обе — колосились. Женщины маленькие и худенькие были для Сологодина уроды, недоразумение природы.

Указательным пальцем с очень вымытой кожей, с круглым ногтем, малиновым от маникюра, Емина бесцельно и безуспешно разглаживала измятый уголок застилающей кальки. Она почти совсем опустила на скрещенные руки голову, так что обратила к Сологдину крутой венец могучих кос.

— Я очень виновата перед вами, Дмитрий Александрович...

— В чём же?

— Один раз я стояла у вашего стола, опустила глаза и увидела, что вы пишете письмо... Ну, как это бывает, знаете, совершенно случайно... И в другой раз...

— ...Вы опять совершенно случайно скосили глаза...?

— И увидела, что вы опять пишете письмо, и как будто то же самое...

— Ах, вы даже различили, что — то же самое?! И ещё в третий раз? Было?

— Было...

— Та-ак... Если, Лариса Николавна, это будет продолжаться, мне придётся отказаться от ваших услуг как прозрачно-обводчицы. А жаль, вы неплохо чертите.

— Но это было давно! С тех пор вы не писали.

— Однако, вы тогда же немедленно донесли майору Шикиниди?

— Почему — Шикиниди?

— Ну, Шикину. Донесли?

— Как вы могли это подумать!

— А тут и думать нечего. Неужели майор Шикиниди не поручил вам шпионить за моими действиями, словами и даже мыслями? — Сологдин взял карандаш и поставил палочку на белом листе. — Ведь поручал? Говорите честно!

— Да... поручал...

— И сколько вы написали доносов?

— Дмитрий Александрович! Я, наоборот, — самые лучшие характеристики!

— Гм... Ну, пока поверим. Но предупреждение моё остаётся в силе. Очевидно, здесь непреступный случай чисто-женского любопытства. Я удовлетворю его. Это было в сентябре. Не три, а пять дней подряд я писал письмо своей жене.

— Вот это я и хотела спросить: у вас есть жена? Она ждёт вас? Вы пишете ей такие длинные письма?

— Жена у меня есть, — медленно углублённо ответил Сологдин, — но так, что как будто её и нет. Даже писем я ей теперь писать не могу. Когда же писал — нет, я писал не длинные, но я подолгу их оттачивал. Искусство письма, Лариса Николаевна, это очень трудное искусство. Мы часто пишем письма слишком небрежно, а потом удивляемся, что теряем близких. Уже много лет жена не видела меня, не чувствовала на себе моей руки. Письма — единственная связь, через которую я держу её вот уже двенадцать лет.

Емина подвинулась. Она локтями дотянулась до обреза стола Сологодина и оперлась так, обжав ладонями своё бесстрашное лицо.

— Вы уверены, что держите? А — зачем, Дмитрий Александрович, зачем? Двенадцать лет прошло, да пять ещё осталось — семнадцать! Вы отнимаете у неё молодость! Зачем? Дайте ей жить!

Голос Сологодина звучал торжественно:

— Среди женщин, Лариса Николаевна, есть особый разряд. Это — подружки викингов, это — светлолицие Изольды с алмазными душами. Вы не могли их знать, вы жили в пресном благополучии.

Она жила среди чужаков, среди врагов.

— Дайте ей жить! — настаивала Лариса Николаевна.

Нельзя было узнать в ней той важной дамы, какую она проплывала по коридорам и лестницам шарашки. Она сидела, прильнув к столу Сологодина, слышно дышала, и — в заботе о неведомой ей жене Сологодина? — разгорячённое лицо её стало почти деревенское.

Сологдин сощурился. Знал он это всеобщее свойство женщин: острое чутьё на мужской взлёт, на успех, на победу. Внимание победителя вдруг нужно каждой. Ничего не могла знать Емина о разговоре с Челновым, о конце работы — но чувствовала всё. И летела, и толкалась в натянутую между ними железную сетку режима.

Сологдин покосился в глубину её разошедшейся блузки и поставил палочку на розовом листе.

— Дмитрий Александрович! И вот это. Я уже много недель мучаюсь — что за палочки вы ставите? А потом через несколько дней зачёркиваете? Что это значит?

— Я боюсь, вы опять проявляете доглядательские наклонности. — Он взял в руки белый лист. — Но извольте: палочки я ставлю всякий раз, когда употребляю без крайней необходимости иноземное слово в русской речи. Счёт этих палочек есть мера моего несовершенства. Вот за слово «капитализм», которое я не нашёл сразу заменить «толстосумством», и за слово «шпионить», которое я сгоряча поленился заменить словом «доглядать», — я и поставил себе две палочки.

— А на розовом? — добивалась она.

— А вы заметили, что и на розовом?

— И даже чаще, чем на белом. Это тоже — мера вашего несовершенства?

— Тоже,— отрывисто сказал Сологдин.— На розовом я ставлю себе *пеневые*, по-вашему будет — штрафные, палочки и потом наказываю себя по их числу. Отрабатываю. На дровах.

— Штрафные — за что?— тихо спросила она.

Так и должно было быть! Раз он вышел на зенитную дугу — в тот же миг с извинением даже женщину посылает ему капризная судьба. Или всё отнять, или всё дать, у судьбы так.

— А зачем вам?— ещё строго спрашивал он.

— За что?..— тихо, тупо повторяла Лариса.

Здесь было отмщение им всем, их клану МВД. Отмщение и обладание, истязание и обладание — они в чём-то сходятся.

— А вы замечали, когда я их ставлю?

— Замечала,— как выдох ответила Лариса.

Дверной ключ с алюминиевой бирочкой, с выбитым номером комнаты лежал на её застилающей кальке.

И — большой зелёный шерстяной тёплый ком дышал перед Сологдиным.

Ждал распоряжения.

Сологдин сощурился и скомандовал:

— Пойди запри дверь! Быстро!

Лариса отпрянула от стола, резко встала — и с грохотом упал её стул.

Что он наделал, зарвавшийся раб! Она идёт жаловаться?

Она сгребла ключ и с перевалкою пошла запирать.

Торопливой рукой Сологдин поставил на розовом листе пять палочек кряду.

Больше не успел.

34

Никому не хотелось работать в воскресенье — и вольным тоже. Они притянулись на работу вяло, без обычной будней давки в автобусах, и строили, как бы им тут только пересидеть до шести вечера.

Но воскресный день выдался тревожной буднего. Около десяти часов утра к главным воротам подошли три очень длинных и очень обитаемых легковых автомобиля. Стража на вахте взяла под козырёк. Миновав ворота, а затем сощурившегося на них рыжего дворника Спиридона с метлой, автомобили по обесснежевшим гравийным дорожкам подкатили к парадному подъезду института. Изю всех трёх стали выходить большие чины, блестя золотом погонов,— и не медля, и не ожидая встречи, сразу подниматься на третий этаж, в кабинет Яконова. Их не успели как следует рассмотреть. По одним лабораториям пронёсся слух, что приехал сам министр Абакумов и с ним восемь генералов. В других лабораториях продолжали сидеть спокойно, не ведая о нависшей грозе.

Правда была наполовину: приехал только замминистра Селивановский и с ним четыре генерала.

Но случилось небывалое — инженер-полковника Яконова всё ещё не было на работе. Пока испуганный дежурный по объекту (проворно задвинувший ящик стола, в котором, маскируясь, читал детектив) звонил на квартиру к Яконову, а потом докладывал замминистру, что полковник Яконов лежит дома в сердечном припадке, но уже одевается и едет,— заместитель Яконова, майор Ройтман, худенький, с перехватом в талии, оправляя неловко сидящую на нём портупею и цепляясь за ковровые дорожки (он был очень близорук), поспел из Акустической лаборатории и представился начальству. Он спешил не только потому, что так требовал устав, но и для того, чтоб успеть отстаивать интересы возглавляемой им внутриинститутской оппозиции: Яконов всегда оттеснял его от разговоров с высоким начальством. Уже

зная подробности ночного вызова Пряничкова, Ройтман спешил исправить положение и убедить высокую комиссию, что состояние вокодера не так безнадежно, как, скажем, клиппера. Несмотря на свои тридцать лет, Ройтман был уже лауреатом сталинской премии — и без страха ввергал свою лабораторию в самый смерч государственных невзгод.

Его стали слушать до десятка приехавших, из которых двое кое-что понимали в технической сути дела, остальные же только приосанились. Однако, вызванный Осколуповым жёлтый, заикающийся от бешенства Мамурин успел прибыть вскоре за Ройтманом и вступился за клиппер, уже почти готовый к выпуску в свет. Невдалге прибыл и Яконов — с подведенными впалыми глазами, с лицом, побелевшим до голубизны, — и опустился на стул у стены. Разговор раздробился, запутался, и вскоре никому уже не было понятно, как вытаскивать загубленное предприятие.

И надо же было так несчастно случиться, что сердце института и совесть института — оперуполномоченный товарищ Шикин и парторг товарищ Степанов в это воскресенье разрешили себе вполне естественную слабость — не приехать на службу и не возглавить коллектива, руководимого ими в будни. (Поступок тем более простительный, что, как известно, при правильно поставленной разъяснительной и организационно-массовой работе — присутствие в процессе труда самих руководителей вовсе не обязательно.) Тревога и сознание внезапной ответственности охватили дежурного по институту. С риском для себя он оставил телефоны и побежал по лабораториям, шёпотом сообщая их начальникам о приезде чрезвычайных гостей, дабы они могли удвоить бдение. Он так был взволнован и так спешил вернуться к своим телефонам, что не придавал значения запертой двери конструкторского бюро и не успел сбегать в Вакуумную лабораторию, где дежурила Клара Макарыгина и из вольных больше не было сегодня никого.

Начальники лабораторий в свою очередь ничего не объявили вслух, — ибо нельзя же было вслух просить принять рабочий вид из-за приезда начальства, но обошли все столы и стыдливим шёпотом предупреждали каждого в отдельности.

Так весь институт сидел и ждал начальства. Начальство же, посоветовавшись, частью осталось в кабинете Яконова, частью пошло в Семёрку, и лишь сам Селивановский и майор Ройтман спустились в Акустическую: чтоб избавиться ещё от этой новой заботы, Яконов порекомендовал Акустическую как удобную базу для выполнения поручения Рюмина.

— Каким же образом вы думаете обнаружить этого человека? — спросил по дороге Селивановский Ройтмана.

Ройтман ничего не мог думать, так как сам узнал о поручении пять минут назад: подумал за него прошлой ночью Осколупов, когда взялся за такую работу, не думая. Но уже и за пять минут Ройтман кое-что успел сообразить.

— Видите ли, — говорил он, называя замминистра по имени-отчеству и безо всякой угодливости, — у нас ведь есть прибор видимой речи — ВИР, печатающий так называемые звуковиды, и есть человек, читающий эти звуковиды, некто Рубин.

— Заключённый?

— Да. Доцент-филолог. Последнее время он у меня занят тем, что ищет в звуковидах индивидуальные особенности речи. И я надеюсь, что, развернув этот телефонный разговор в звуковиды, и сличая со звуковидами подозреваемых...

— Гм... Придётся этого филолога ещё согласовывать с Абакумовым, — покачал головой Селивановский.

— В смысле секретности?

— Да.

В Акустической тем временем, хотя все уже знали о приезде на-

чальства, но решительно не могли в себе преодолеть мучительной инерции бездействия, поэтому темнили, лениво копались в ящиках с радиолампами, проглядывали схемы в журналах, зевали в окно. Вольнонаёмные девушки сбились в кучку и шёпотом сплетничали, помощник Ройтмана их разгонял. Симочки, на её счастье, на работе не было — она отгуливала переработанный день и тем была избавлена от терзаний видеть Нержина разодетым и сияющим перед свиданием с женщиной, имевшей на него больше прав, чем Симочка.

Нержин чувствовал себя именинником, в Акустическую заходил уже третий раз, без дела, просто от нервности ожидания слишком запоздавшего воронка. Сел он не на стул к себе, а на подоконник, с наслаждением затягивался дымом папиросы и слушал Рубина. Рубин же, не найдя в профессоре Челнове достойного слушателя баллады о Моисее, теперь с тихим жаром читал её Глебу. Рубин не был поэтом, но иногда набрасывал стихи задушевные, умные. Недавно Глеб очень хвалил его за широту взглядов в стихотворном этюде об Алёше Карамзове — одновременно в шинели юнкера отстаивающем Перекоп и в шинели красноармейца берущем Перекоп. Сейчас Рубину очень хотелось, чтобы Глеб оценил балладу о Моисее и вывел бы для себя тоже, что ждать и верить сорок лет — разумно, нужно, необходимо.

Рубин не существовал без друзей, он задыхался без них. Одиночество было до такой степени ему невыносимо, что он даже не давал мыслям дозревать в одной своей голове, а, найдя в себе хотя бы полмысли, — уже спешил делиться ею. Всю жизнь он был друзьями богат, но в тюрьме складывалось как-то так, что друзья его не были его единомышленниками, а единомышленники — друзьями.

Итак, никто ещё в Акустической не занимался работой, и только неизменно жизнерадостный и деятельный Пряничков, уже одолевший в себе воспоминание о ночной Москве и о шальной поездке, обдумывал новое улучшение схемы, напевая:

Бендзи-бендзи-бендзи-ба-ар,
Бендзи-бендзи-бендзи-ба-ар..

И тогда-то вошли Селивановский с Ройтманом. Ройтман продолжал:

— На этих звуковидах речь развёртывается сразу в трёх измерениях: по частоте — поперёк ленты, по времени — вдоль ленты, по амплитуде — густотой рисунка. При этом каждый звук вырисовывается таким неповторимым, оригинальным, что его легко узнать, и даже по ленте прочесть всё сказанное. Вот...—

он вёл Селивановского вглубь лаборатории,

— ...прибор ВИР, его сконструировали в нашей лаборатории (Ройтман и сам уже забывал, что прибор тягнули из американского журнала), а вот...—

он осторожно развернул замминистра к окну,

— ...кандидат филологических наук Рубин, единственный в Советском Союзе человек, читающий видимую речь. (Рубин встал и молча поклонился.)

Но ещё когда в дверях было произнесено Ройтманом слово «звуковид», Рубин и Нержин встрепенулись: их работа, над которой все до сих пор большей частью смеялись, выплывала на божий свет. За те сорок пять секунд, в которые Ройтман довёл Селивановского до Рубина, Рубин и Нержин с остротой и быстротой, свойственной только экам, уже поняли, что сейчас будет смотр — как Рубин читает звуковиды, и что произнести фразу перед микрофоном может только один из «эталонных» дикторов — а такой присутствовал в комнате лишь Нержин. И так же они отдали себе отчёт, что хотя Рубин действительно читает звуковиды, но на экзамене можно и сплоскать, а сплоскать нельзя — это значило бы кувырнуться с шарашки в лагерную преисподнюю.

И обо всём этом они не сказали ни слова, а только понимающе глянули друг на друга.

И Рубин шепнул:

— Если — ты, и фраза твоя, скажи: «Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону».

А Нержин шепнул:

— Если фраза его — угадывай по звукам. Глажу волосы — верно, поправляю галстук — неверно.

И тут-то Рубин встал и молча поклонился.

Ройтман продолжал тем извиняющимся прерывистым голосом, который, если б услышать его даже отвернувшись, можно было бы приписать только интеллигентному человеку:

— Вот нам сейчас Лев Григорьич и покажет своё умение. Кто-нибудь из дикторов... ну, скажем, Глеб Викентьич... прочтёт в акустической будке в микрофон какую-нибудь фразу, ВИР её запишет, а Лев Григорьич попробует разгадать.

Стоя в одном шаге от замминистра, Нержин уставился в него нахальным лагерным взглядом:

— Фразу — вы придумаете? — спросил он строго.

— Нет, нет, — отводя глаза, вежливо ответил Селивановский, — вы что-нибудь там сами сочините.

Нержин покорился, взял лист бумаги, на миг задумался, затем в наитии написал и в наступившей общей тишине подал Селивановскому так, что никто не мог прочесть, даже Ройтман.

«Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону».

— И это действительно так? — удивился Селивановский.

— Да.

— Читайте, пожалуйста.

Загудел ВИР. Нержин ушёл в будку (ах, как позорно выглядела сейчас обтягивающая её мешковина!.. вечная эта нехватка материалов на складе!), непроницаемо заперся там. Зашумел механизм, и двухметровая мокрая лента, испещрённая множеством чернильных полосок и мазаных пятен, была подана на стол Рубину.

Вся лаборатория прекратила работу и напряжённо следила. Ройтман заметно волновался. Нержин вышел из будки и издала безразлично наблюдал за Рубиным. Стояли вокруг, один Рубин сидел, посвечивая им своей просветляющейся лысиной. Щадя нетерпение присутствующих, он не делал секрета из своей жреческой премудрости и тут же производил разметку по мокрой ленте красно-синим карандашом, как всегда плохо очиненным.

— Вот видите, некоторые звуки не составляет ни малейшего труда отгадать, например, ударные гласные или сонорные. Во втором слове отчётливо видно — два раза «р». В первом слове ударный звук «и» и перед ним смягчённый «в» — здесь твёрдого быть и не может. Ещё ранее — форманта «а», но следует помнить, что в первом предударном слоге как «а» произносится так же и «о». Зато «у» сохраняет своеобразие даже и вдали от ударения, у него вот здесь характерная полоска низкой частоты. Третий звук первого слова безусловно «у». А за ним глухой взрывной, скорей всего «к», итак имеем: «укови» или «укави». А вот твёрдое «в», оно заметно отличается от мягкого, нет в нём полоски свшше двух тысяч трёхсот герц. «Вукови...» Затем новый звонкий твёрдый взрывок, на конце же — редуцированный гласный, это я могу принять за «ды». Итак, «вуковиды». Остаётся разгадать первый звук, он смазан, я мог бы принять его за «с», если бы смысл не подсказывал мне, что здесь — «з». Итак, первое слово — «звуковиды»! Пойдём дальше. Во втором слове, как я уже сказал, два «р» и, пожалуй, стандартное глагольное окончание «ает», а раз множественное число, значит, «ают». Очевидно, «разрывают», «разрешают»... сейчас уточню, сейчас... Антонина Валерьяновна, не вы ли у меня взяли лупу? Нельзя ли попросить на минутку?

Лупа была ему абсолютно не нужна, так как ВИР давал записи самые разляпистые, но делалось это, по лагерному выражению, *для понта*, и Нержин внутренне хохотал, рассеянно поглаживая и без того приглаженные волосы. Рубин мимолётно посмотрел на него и взял принесенную ему лупу. Общее напряжение возрастало, тем более, что никто не знал, верно ли отгадывает Рубин. Селивановский пораженно шептал:

— Это удивительно... это удивительно...

Не заметили, как в комнату на цыпочках вошёл старший лейтенант Шустерман. Он не имел права сюда заходить, поэтому остановился вдалеке. Дав знак Нержину идти побыстрее, Шустерман, однако, не вышел с ним, а искал случая вызвать Рубина. Рубин ему нужен был, чтобы заставить его пойти и перезаправить койку, как положено. Шустерман не первый раз изводил Рубина этими перезаправками.

Тем временем Рубин уже разгадал слово «глухим» и отгадывал четвёртое. Ройтман светился — не только потому, что делил триумф: он искренне радовался всякому успеху в работе.

И тут-то Рубин, случайно подняв глаза, встретил недобрый исподобный взгляд Шустермана. И понял, зачем тут Шустерман. И подарил его злорадным ответным взглядом: «Сам заправишь!»

— Последнее слово — «по телефону», это сочетание настолько часто у нас встречается, что я к нему привык, сразу вижу. Вот и всё.

— Поразительно! — повторял Селивановский. — Вас, простите, как по имени-отчеству?

— Лев Григорьич.

— Так вот, Лев Григорьич, а индивидуальные особенности голов вы можете различать на звуковидах?

— Мы называем это — индивидуальный речевой лад. Да! Это представляет как раз теперь предмет нашего исследования.

— Очень удачно! Кажется, для вас есть ин-те-ресное задание. И Шустерман вышел на цыпочках.

35

Испортился мотор у воронка, который имел наряд везти заключённых на свидание, и пока созванивались и выясняли, как быть, — вышла задержка. Около одиннадцати часов, когда Нержин, вызванный из Акустической, пришёл на *шмон*, — шестеро остальных, ехавших на свидание, были уже там. Одних дошманивали, другие были прошмонены и ожидали в разных телоположениях — кто грудью припавши к большому столу, кто разгуливая по комнате за чертою шмона. На самой этой черте у стены стоял подполковник Климентьев — весь выблещенный, прямой, ровный, как кадровый вояка перед парадом. От его чёрных слитых усов и от чёрной головы сильно пахло одеколоном.

Заложив руки за спину, он стоял как будто совершенно безучастно, на самом же деле своим присутствием обязывая надзирателей обыскивать на совесть.

На черте обыска Нержина встретил протянутыми руками один из самых злопридирчивых надзирателей — Красногубенький, и сразу спросил:

— В карманах — что?

Нержин давно уже отстал от той угодливой суетливости, которую испытывают арестанты-новички перед надзирателями и конвоем. Он не дал себе труда отвечать и не полез выворачивать карманы в этом необычном для него шевиотовом костюме. Своему взгляду на Красногубенького он придал сонность и чуть-чуть отстранил руки от боков, предоставляя тому лезть по карманам. После пяти лет тюрьмы и после многих таких приготовлений и обысков, Нержину совсем не казалось, как кажется понову, что это — грубое насилие, что гряз-

ные пальцы шарят по израненному сердцу, — нет, его нарастающе-светлое состояние не могло омрачить ничто, делаемое с его телом.

Красногубенький открыл портсигар, только что подаренный Потаповым, просмотрел мундштуки всех папирос, не запрятано ли что в них; поковырялся меж спичек в коробке, нет ли под ними; проверил рубчики носового платка, не зашито ли что — и ничего другого в карманах не обнаружил. Тогда, просунув руки между нижней рубашкой и расстёгнутым пиджаком, он обхлопал весь корпус Нержина, нащупывая, нет ли чего засунутого под рубашку или между рубашкой и манишкой. Потом он присел на корточки и тесным обхватом двух горстей провёл сверху вниз по одной ноге Нержина, затем по другой. Когда Красногубенький присел, Нержину стало хорошо видно нервно-расхаживающего гравёра-оформителя — и он догадался, почему тот так волнуется: в тюрьме гравёр открыл в себе способность писать новеллы и писал их — о немецком плене, потом о камерных встречах, о трибуналах. Одну-две такие новеллы он уже передал через жену на волю, но и там — кому их покажешь? Их и там надо прятать. Их и здесь не оставишь. И никогда нельзя будет ни клочка написанного увезти с собой. Но один старичок, друг их семьи, прочёл и передал автору через жену, что даже у Чехова редко встречается столь законченное и выразительное мастерство. Отзыв сильно подбодрил гравёра.

Так и к сегодняшнему свиданию у него была написана новелла — как ему казалось, великолепная. Но в самый момент шмона он струсил перед тем же Красногубеньким и комочек кальки, на которую новелла была вписана микроскопическим почерком, проглотил, отвернувшись. А теперь его изнимала досада, что он съел новеллу — может быть мог и пронести?

Красногубенький сказал Нержину:

— Ботинки — снимите.

Нержин поднял ногу на табуретку, расшнуровал ботинок и движением, как будто лягался, сошвырнул его с ноги, не глядя, куда он полетел, при этом обнажая продранный носок. Красногубенький поднял ботинок, рукой обшарил его внутри, перегнул подошву. С тем же невозмутимым лицом Нержин сошвырнул второй ботинок и обнажил второй продранный носок. Потому ли что носки были в больших дырках, Красногубенький не заподозрил, что в носках что-нибудь спрятано и не потребовал их снять.

Нержин обулся. Красногубенький закурил.

Подполковника косо передёргивало, когда Нержин сошвыривал с ног ботинки. Ведь это было намеренное оскорбление его надзирателя. Если не заступаться за надзирателей — арестанты сядут на голову и администрации тюрьмы. Климентьев опять раскаивался, что проявил доброту, и почти решил найти повод придрататься и запретить свидание этому наглецу, который не стыдится своего положения преступника, а даже как бы упиивается им.

— Внимание! — сурово заговорил он, и семеро заключённых и семеро надзирателей повернулись в его сторону. — Порядок известен? Родственникам ничего не передавать. От родственников ничего не принимать. Все передачи — только через меня. В разговорах не касаться: работы, условий труда, условий быта, распорядка дня, расположения объекта. Не называть никаких фамилий. О себе можно только сказать, что всё хорошо и ни в чём не нуждается.

— О чём же говорить? — крикнул кто-то. — О политике?

Климентьев даже не затруднился на это ответить, так это было явно несуразно.

— О своей вине, — мрачно посоветовал другой из арестантов. — О раскаянии.

— О следственном деле тоже нельзя, оно — секретное, — невозмутимо отклонил Климентьев. — Расспрашивайте о семье, о детях.

Дальше. Новый порядок: с сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и поцелуи.

И Нержин, оставшийся вполне равнодушным и к шмону, и к тупой инструкции, которую знал, как обойти,— при запрещении поцелуев почувствовал тёмный взлёт в глазах.

— Раз в год видимся... — хрипло выкрикнул он Климентьеву, и Климентьев обрадованно повернулся в его сторону, ожидая, что Нержин выпалит дальше.

Нержин почти предуслышал, как Климентьев рявкнет сейчас: — Лишаю свидания!!

И задохнулся.

Свидание его, в последний час объявленное, выглядело полузаконным и ничего не стоило лишиться...

Всегда какая-нибудь такая мысль останавливает тех, кто мог бы выкрикнуть правду или добыть справедливость.

Старый арестант, он должен был быть господином своему гневу.

Не встретив бунта, Климентьев бесстрастно и точно довесил:

— В случае поцелуя, рукопожатия или другого нарушения, — свидание немедленно прекращается.

— Но жена-то не знает! Она меня поцелует! — запальчиво сказал гравёр.

— Родственники также будут предупреждены! — предусмотрел Климентьев.

— Никогда такого порядка не было!

— А теперь — будет.

(Глупцы! И глупо их возмущение — как будто он сам, а не свежая инструкция придумала этот порядок!)

— Сколько времени свидание?

— А если мать придёт — мать не пустите?

— Свидание тридцать минут. Пускаю только того одного, на кого написан вызов.

— А дочка пяти лет?

— Дети до пятнадцати лет проходят со взрослыми.

— А шестнадцати?

— Не пропустим. Ещё вопросы? Начинаем посадку. На выход!

Удивительно! — везли не в воронке, как всё последнее время, а в голубом городском автобусе уменьшенных размеров.

Автобус стоял перед дверью штаба. Трое надзирателей, каких-то новых, переодетых в гражданскую одежду, в мягких шляпах, держа руки в карманах (там были пистолеты), вошли в автобус первыми и заняли три угла. Двое из них имели вид не то боксёров в отставке, не то гангстеров. Очень хороши были на них пальто.

Утренний иней уже изникал. Не было ни морозца, ни оттепели.

Семеро заключённых поднялись в автобус через единственную переднюю дверцу и расселись.

Зашли четыре надзирателя в форме.

Шофёр захлопнул дверцу и завёл мотор.

Подполковник Климентьев сел в легкову.

К полудню в бархатистой тишине и полированном уюте кабинета Яконова самого хозяина не было — он был в Семёрке занят «венчанием» клиппера и вокодера (идея соединить эти две установки в одну родилась сегодня утром у корыстного Маркушева и была подхвачена многими, у каждого был на то свой особый расчёт; сопротивлялись только Бобынин, Пряничков и Ройтман, но их не слушали).

А в кабинете сидели: Селивановский, генерал Бульбанюк от Рюмина, здешний марфинский лейтенант Смолосидов и заключённый Рубин.

Лейтенант Смолосидов был тяжёлый человек. Даже веря, что в каждом живом творении есть что-то хорошее, трудно было отыскать это хорошее в его чугунном никогда не смеющемся взгляде, в безрадостной нескладной пожимке толстых губ. Должность его в одной из лабораторий была самая маленькая — чуть старше радиомонтажника, получал он как последняя девчёнка — меньше двух тысяч в месяц, правда, ещё на тысячу воровал из института и продавал на чёрном рынке дефицитные радиодетали, — но все понимали, что положение и доходы Смолосидова не ограничиваются этим.

Вольные на шарашке боялись его — даже те его приятели, кто играл с ним в волейбол. Страшно было его лицо, на которое нельзя было вызвать озарения откровенности. Страшно было особое доверие, оказываемое ему высочайшим начальством. Где он жил? и вообще был ли у него дом? и семья? Он не бывал в гостях у сослуживцев, ни с кем из них не делил досуга за оградой института. Ничего не было известно о его прошлой жизни, кроме трёх боевых орденов на груди и неосторожного хвастовства однажды, что за всю войну маршал Рокоссовский не произнёс ни единого слова, которого бы он, Смолосидов, не слышал. Когда его спросили, как это могло быть, он ответил, что был у маршала личным радистом.

И едва встал вопрос, кому из вольных поручить обслуживание магнитофона с обжигающе-таинственной лентой, из канцелярии министра скомандовали: Смолосидову.

Сейчас Смолосидов пристраивал на маленьком лакированном столике магнитофон, а генерал Бульбанюк, вся голова которого была как одна большая непомерно разросшаяся картошка с выступами носа и ушей, говорил:

— Вы — заключённый, Рубин. Но вы были когда-то коммунистом и, может быть, когда-нибудь будете им опять.

«Я и сейчас коммунист!» — хотелось воскликнуть Рубину, но было унижительно доказывать это Бульбанюку.

— Так вот, советское правительство и наши органы считают возможным оказать вам доверие. С этого магнитофона вы сейчас услышите государственную тайну мирового масштаба. Мы надеемся, что вы поможете нам изловить этого негодяя, который хочет, чтоб над его родиной трясла атомной бомбой. Само собой разумеется, что при малейшей попытке разгласить тайну вы будете уничтожены. Вам ясно?

— Ясно, — отсек Рубин, больше всего сейчас боясь, чтоб его не отстранили от ленты. Давно растеряв всякую личную удачу. Рубин жил жизнью человечества как своей семейной. Эта лента, ещё не прослушанная, уже лично задевала его.

Смолосидов включил на прослушивание.

И в тишине кабинета прозвучал с лёгкими примесями шорохов диалог нерасторопного американца и отчаянного русского.

Рубин впился в пёструю драпировку, закрывающую динамик, будто ища разглядеть там лицо своего врага. Когда Рубин так устремлённо смотрел, его лицо стягивалось и становилось жестоким. Нельзя было вымолить пощады у человека с таким лицом.

После слов:

— А кто такой вы? Назовите ваш фамилия, —

Рубин откинулся к спинке кресла уже новым человеком. Он забыл о чинах, здесь присутствующих, и что на нём самом давно не горят майорские звёзды. Он поджёг погасшую папиросу и коротко приказал:

— Так. Ещё раз.

Смолосидов включил обратный перемот.

Все молчали. Все чувствовали на себе касание огненного колеса.

Рубин курил, жуя и сдавливая мундштук папиросы. Его переполняло, разрывало. Разжалованный, обесцещенный — вот понадобился и он! Вот и ему сейчас доведётся посылно поработать на старуху-

Историю. Он снова — в строю! Он снова — на защите Мировой Революции!

Угрюмым псом сидел над магнитофоном ненавистливый Смолошидов. Чванливый Бульбанюк за просторным столом Антона с важностью подпёр свою картошистую голову, и много лишней кожи его воловьей шеи выдавилось поверх ладоней. Когда и как они распленились, эта самодовольная непробиваемая порода? — из лопуха комчванства, что ли? Какие были раньше живые сообразительные товарищи! Как случилось, что именно этим достался весь *аппарат*, и вот они всю остальную страну толкают к гибели?

Они были отвратительны Рубину, смотреть на них не хотелось. Их рвануть бы прямо тут же, в кабинете, ручной гранатой!

Но так сложилось, что *объективно* на данном перекрестке истории они представляют собою её положительные силы, олицетворяют диктатуру пролетариата и его отечество.

И надо стать выше своих чувств! И им — помочь!

Именно такие же хряки, только из армейского политотдела, за толкали Рубина в тюрьму, не снеся его талантливости и честности. Именно такие же хряки, только из главной военной прокуратуры, за четыре года бросили в корзину десятков жалоб-воплей Рубина о том, что он не виновен.

И надо стать выше своей несчастной судьбы! Спасать — идею. Спасать — знамя. Служить передовому строю.

Лента кончилась.

Рубин скрутил голову окурку, утопил его в пепельнице и, стараясь смотреть на Селивановского, который выглядел вполне прилично, сказал:

— Хорошо. Попробуем. Но если у вас нет никого в подозрении, как же искать? Не записывать же голоса всех москвичей. С кем сравнивать?

Бульбанюк успокоил:

— Четверых мы накрыли тут же, около автомата. Но вряд ли это они. А из министерства иностранных дел могли знать вот эти пять. Я не беру, конечно, Громыко и ещё кое-кого. Этих пять я записал тут коротенько, без званий, и не указываю занимаемых постов, чтобы вы не боялись, обвинить кого.

Он протянул ему листик из записной книжки. Там было написано:

1. Петров.
2. Сяговитый.
3. Володин.
4. Щевронок.
5. Заварзин.

Рубин прочёл и хотел взять список себе.

— Нет-нет! — живо предупредил Селивановский. — Список будет у Смолошидова.

Рубин отдал. Его не обидела эта предосторожность, но рассмешила. Как будто эти пять фамилий уже не горели у него в памяти: Петров! — Сяговитый! — Володин! — Щевронок! — Заварзин! Долгие лингвистические занятия настолько въелись в Рубина, что и сейчас он мимолётно отметил происхождение фамилий: «сяговитый» — далеко прыгающий, «щевронок» — жаворонок.

— Попрошу, — сухо сказал он, — от всех пятерых записать ещё телефонные разговоры.

— Завтра вы их получите.

— Ещё: проставьте около каждого возраст. — Рубин подумал. — И — какими языками владеет, перечислите.

— Да, — поддержал Селивановский, — я тоже подумал: почему он не перешёл ни на какой иностранный язык? Что ж он за дипломат? Или уж такой хитрый?

— Он мог поручить какому-нибудь простачку! — шлёпнул Бульбанюк по столу рыхлой рукой.

— Та к о е — кому доверишь?..

— Вот это нам и надо поскорей узнать, — толковал Бульбанюк, — преступник среди этих пяти или нет? Если нет — мы ещё пять возьмём, ещё двадцать пять!

Рубин выслушал и кивнул на магнитофон:

— Эта лента мне будет нужна непрерывно и уже сегодня.

— Она будет у лейтенанта Смолосидова. Вам с ним отведут отдельную комнату в совсекретном секторе.

— Её уже освобождают, — сказал Смолосидов.

Опыт службы научил Рубина избегать опасного слова «когда?», чтобы такого вопроса не задали ему самому. Он знал, что работы здесь — на неделю и на две, а если ставить фирму, то пахнет многими месяцами, если же спросить начальство «когда надо?» — скажут: «завтра к утру». Он осведомился:

— С кем ещё я могу говорить об этой работе?

Селивановский переглянулся с Бульбанюком и ответил:

— Ещё только с майором Ройтманом. С Фомой Гурьяновичем. И с самим министром.

Бульбанюк спросил:

— Вы моё предупреждение всё помните? Повторить?

Рубин без разрешения встал и смеженными глазами посмотрел на генерала как на что-то мелкое.

— Я должен идти думать, — сказал он, не обращаясь ни к кому.

Никто не возразил.

Рубин с затенённым лицом вышел из кабинета, прошёл мимо дежурного по институту и, никого не замечая, стал спускаться по лестнице красными дорожками.

Надо будет и Глеба затянуть в эту новую группу. Как же работать, ни с кем не советуюсь?.. Задача будет очень трудна. Работа над голосами только-только у них началась. Первая классификация. Первые термины.

Азарт исследователя загорался в нём.

По сути, это новая наука: найти преступника по отпечатку его голоса.

До сих пор находили по отпечатку пальцев. Назвали: дактилоскопия, наблюдение пальцев. Она складывалась столетиями.

А новую науку можно будет назвать голосо-наблюдение (так бы Сологдин назвал), *фоноскопия*. И создать её придётся в несколько дней.

Петров. Сяговитый. Володин. Щевронок. Заварзин.

37

На мягком сиденьи, ослонясь о мягкую спинку, Нержин занял место у окна и отдался первому приятному покачиванию. Рядом с ним на двухместном диванчике сел Илларион Павлович Герасимович, физик-оптик, узкоплечий невысокий человек с тем подчёркнуто-интеллигентским лицом, да ещё в пенсне, с каким рисуют на наших плакатах шпионов.

— Вот, кажется, ко всему я привык, — негромко поделился с ним Нержин. — Могу довольно охотно садиться голой задницей на снег, и двадцать пять человек в купе, и конвой ломает чемоданы — ничто уж меня не огорчает и не выводит из себя. Но тянется от сердца на волю ещё вот эта одна живая струнка, никак не отомрёт — любовь к жене. Не могу, когда её касаются. В год увидеться на полчасика — и не поцеловать? За это свидание в душу наплюют, гады.

Герасимович сдвинул тонкие брови. Они казались скорбными даже когда он просто задумывался над физическими схемами.

— Вероятно, — ответил он, — есть только один путь к неуязвимости: убить в себе все привязанности и отказаться от всех желаний.

Герасимович был на шарашке Марфино лишь несколько месяцев, и Нержин не успел близко познакомиться с ним. Но Герасимович нравился ему неизъяснимо.

Дальше они не стали разговаривать, а замолчали сразу: поездка на свидание — слишком великое событие в жизни арестанта. Приходит время будить свою забытую милую душу, спящую в усыпальнице. Подымаются воспоминания, которым нет ходу в будни. Собираешься с чувствами и мыслями целого года и многих лет, чтобы влить их в эти короткие минуты соединения с родным человеком.

Перед вахтой автобус остановился. Вахтенный сержант поднялся на ступеньки, всунулся в дверцу автобуса и дважды пересчитал глазами выезжавших арестантов (старший надзиратель ещё прежде того расписался на вахте за семь голов). Потом он полез под автобус, проверил, никто ли там не уцепился на рессорах (бесплотный бес не удержался бы там минуты), ушёл на вахту — и только тогда отворились первые ворота, а затем вторые. Автобус пересек зачарованную черту и, прищёптывая весёлыми шинами, побегал по обындевевшему Владыкинскому шоссе мимо Ботанического сада.

Глубокоитайности своего объекта обязаны были марфинские зэки этими поездками на свидания: приходящие родственники не должны были знать, где живут их живые мертвецы, везут ли их за сто километров или вывозят из Спасских ворот, привозят ли с аэродрома или с того света, — они могли только видеть сытых, хорошо одетых людей с белыми руками, утерьявших прежнюю разговорчивость, грустно улыбающихся и уверяющих, что у них всё есть и им ничего не надо.

Эти свидания были что-то вроде древнегреческих стелл — плит-барельефов, где изображался и сам мертвец и те живые, кто ставили ему памятник. Но была на стеллах всегда маленькая полоса, отделявшая мир тусторонний от этого. Живые ласково смотрели на мёртвого, а мёртвый смотрел в Аид, смотрел не весёлым и не грустным — прозрачным, слишком много узнавшим взглядом.

Нержин обернулся, чтобы с пригорка увидеть, чего почти не приходилось ему: здание, в котором они жили и работали, тёмно-кирпичное здание семинарии с шаровым тёмно-ржавым куполом над их полу-круглой красавицей-комнатой и ещё выше — шестериком, как звали в древней Руси шестиугольные башни. С южного фасада, куда выходили Акустическая, Семёрка, конструкторское бюро и кабинет Яконова, — ровные ряды безоткрытых окон выглядели равномерно-бесстрастно, и окраинные москвичи и гуляющие Останкинского парка не могли бы представить, сколько незаурядных жизней, растоптанных порывов, взметённых страстей и государственных тайн было собрано, стиснуто, сплетено и докрасна накалено в этом подгороднем одиноком старинном здании. И даже внутри пронизывали здание тайны. Комната не знала о комнате. Сосед о соседе. А оперуполномоченные не знали о женщинах — о двадцати двух неразумных, безумных женщинах, вольных сотрудницах, допущенных в это суровое здание, — как эти женщины не знали друг о друге и как могло знать о них одно небо, что все они двадцать две под занесенным мечом и под постоянное наговаривание инструкций или нашли здесь себе потаённую привязанность, кого-то любили и целовали украдкой, или пожалели кого-то и связали с семьёй.

Открыв тёмно-красный портсигар, Глеб закурил с тем особенным удовольствием, которое приносят папиросы, зажжённые в нерядовые минуты жизни.

И хоть мысль о Наде была сейчас высшая, поглощающая мысль, — его телу, наслаждённому необычностью поездки, хотелось только ехать, ехать и ехать... Чтобы время остановилось, а шёл бы автобус, шёл бы и шёл, по этой оснеженной дороге с проложенными чёрными

прокатинами от шин, мимо этого белого парка в инее, густо закуржавших его ветвей, мелькающих детишек, говора которых Нержин не слышал, кажется, с начала войны. Детских голосов не приходится слышать ни солдатам, ни арестантам.

Надя и Глеб жили вместе один единственный год. Это был год — на бегу с портфелями. И он, и она учились на пятом курсе, писали курсовые работы, сдавали государственные экзамены.

Потом сразу пришла война.

И вот у кого-то теперь бегают смешные коротконогие малыши. А у них — нет...

Один малышок хотел перебежать шоссе. Шофёр резко вильнул, чтоб его объехать. Малыш испугался, остановился и приложил ручёнок в синей vareжке к раскраснелому лицу.

И Нержин, годами не думавший ни о каких детях, вдруг ясно понял, что Сталин обокрал его и Надю на детей. Даже кончится срок, даже будут они снова вместе — тридцать шесть, а то и сорок лет будет жене. И — поздно для ребёнка...

Оставив слева Останкинский дворец, а справа — озеро с разноцветными ребятишками на коньках, автобус углубился в мелкие улицы и подрагивал на булыжнике.

В описании тюрем всегда старались сгущать ужасы. А не ужаснее ли, когда ужаса нет? Когда ужас — в серенькой методичности недель? В том, что забываешь: единственная жизнь, данная тебе на земле — изломана. И готов это простить, уже простил тупорылым. И мысли твои заняты тем, как с тюремного подноса захватить не серединку, а горбушку, как получить в очередную баню нервное и немаленькое бельё.

Это всё надо пережить. Выдумать этого нельзя. Чтобы написать

Сижу за решёткой, в темнице сырой

или — отворите мне темницу, дайте черноглазую девицу — почти и в тюрьме сидеть не надо, легко всё вообразить. Но это — примитив. Только непрерывными бесконечными годами воспитывается подлинное ощущение тюрьмы.

Надя пишет в письме: «Когда ты вернёшься...». В том и ужас, что *возврата* не будет. *Вернуться* — нельзя. За четырнадцать лет фронта и потом тюрьмы ни единой клеточки тела, может быть, не останется той, что была. Можно только прийти заново. Придёт новый незнакомый человек, носящий фамилию прежнего мужа, прежняя жена увидит, что того, её первого и единственного, которого она четырнадцать лет ожидала, замкнувшись, — того человека уже нет, он испарился — по молекулам.

Хорошо, если в новой, второй, жизни они ещё раз полюбят друг друга.

А если нет?..

Да через столько лет захочется ли самому тебе выйти на эту волю — оголтелое внешнее коловращение, враждебное человеческому сердцу, противное покою души? На пороге тюрьмы ещё остановишься, прижмуришься — идти ли туда?

Окраинные московские улицы тянулись за окнами. Ночами по рассеянному зареву в небе им казалось в их заточении, что Москва вся — блещет, что она — ослепительна. А здесь чередили одноэтажные и двухэтажные давно не отремонтированные, с облеслой плиткатуркой дома, наклонившиеся деревянные заборы. Верно с самой войны так и не притрагивались к ним, на что-то другое потратив усилия, не доставшие сюда. А где-нибудь от Рязани до Рузаевки, где иностранцев не возят, там триста вёрст проезжай — одни подгнившие соломенные крыши.

Прислонясь головой к запотевающему, подрагивающему стеклу и едва слыша сам себя под мотор, Глеб в четверть голоса нашёптывал:

Русь моя... жизнь моя... долго ль нам маяться?..

Автобус выскочил на обширную многолюдную площадь Рижского вокзала. В мутноватом инеисто-облачном дне сновали трамваи, троллейбусы, автомобили, люди, — но кричащий цвет был один: яркие красно-фиолетовые мундиры, каких никогда ещё не видел Нержин.

Герасимович среди своих дум тоже заметил эти попугайские мундиры и, вскинув брови, сказал на весь автобус:

— Смотрите! Городовые появились! Опять — городовые.

Ах, это они?.. Вспомнил Глеб, как в начале тридцатых годов кто-то из комсомольских вожаков говорил: «Вам, товарищи юные пионеры, никогда уже не придётся увидеть живого городского».

— Пришлось... — усмехнулся Глеб.

— А? — не понял Герасимович.

Нержин наклонился к его уху:

— До того люди задурены, что стань сейчас посреди улицы, кричи «долой тирана! да здравствует свобода!» — так даже не поймут, о каком таком тиране и о какой ещё свободе речь.

Герасимович прогнал морщины по лбу снизу вверх.

— А вы уверены, что вы, например, понимаете?

— Да полагаю, — кривыми губами сказал Нержин.

— Не спешите утверждать. Какая свобода нужна разумно-построенному обществу — это очень плохо представляется людьми.

— А разумно-построенное общество — представляется? Разве оно возможно?

— Думаю, что — да.

— Даже приблизительно вы мне не нарисуете. Это ещё никому не удалось.

— Но когда-то же удастся, — со скромной твёрдостью настаивал Герасимович.

Испытно они посмотрели друг на друга.

— Послушать бы, — ненастойчиво выразил Нержин.

— Как-нибудь, — кивнул Герасимович маленькой узкой головой.

И — опять оба тряслись, вбирали улицу глазами и отдались ребойчатым мыслям.

...Непостижимо, как Надя может столько лет его ждать? Ходить среди этой суетливой, всё что-то настигающей толпы, встречать на себе мужские взгляды — и никогда не покачнуться сердцем? Глеб представлял, что если бы наоборот, Надю посадили в тюрьму, а он сам был бы на воле — он и года, может быть, не выдержал бы. Как же бы он мог миновать всех этих женщин?.. Никогда он раньше не предполагал в своей слабой подруге такой гранитной решимости. Первый, и второй, и третий год тюрьмы он уверен был, что Надя сменится, перебросятся, рассеется, отойдёт. Но этого не случилось. И вот уже Глеб стал понимать её ожидание как единственно-возможное. Так ощущал, будто для Нади стало ждать уже и нетрудно.

Ещё с краснопресненской пересылки, после полугода следствия впервые получив право на письмо, — обломком грифеля на истрёпанной обёрточной бумаге, сложенной треугольником, без марки, Глеб написал:

«Любимая моя! Четыре года войны ты ждала меня — не кляни, что ждала напрасно: теперь будут ещё десять лет. Всю жизнь я буду, как солнце, вспоминать наше недолгое счастье. А ты будь свободной с этого дня. Нет нужды, чтобы гибла и твоя жизнь. Выходи замуж».

Но изо всего письма Надя поняла только одно:

«Значит ты меня разлюбил! Как ты можешь отдать меня другому?»

Он вызывал её к себе даже на фронт, на заднепровский плацдарм — с поддельным красноармейским билетом. Она добиралась через проверки заградотрядов. На плацдарме, недавно смертном, а тут, в тихой обороне, поросшем беззаботными травами, они урывали короткие денёчки своего разворованного счастья.

Но армии проснулись, пошли в наступление, и Наде пришлось ехать домой — опять в той же неуклюжей гимнастёрке, с тем же поддельным красноармейским билетом. Полторка увозила её по лесной просеке, и она из кузова ещё долго-долго махала мужу.

...На остановках грудились беспорядочные очереди. Когда подходил троллейбус, одни стояли в хвосте, другие проталкивались локтями. У Садового кольца полупустой заманчивый голубой автобус остановился при красном светофоре, миновав общую остановку. И какой-то ошалевший москвич бросился к нему бегом, вскочил на подножку, толкал дверь и кричал:

— На Котельническую набережную идёт? На Котельническую?!

— Нельзя! Нельзя! — махал ему рукой надзиратель.

— Идём-от! Садись, паря, подвезём! — кричал Иван-стеклодув и громко смеялся. Иван был бытовик, и на свидание запросто ездил каждый месяц.

Засмеялись и все эски. Москвич не мог понять, что это за автобус и почему нельзя. Но он привык, что во многих случаях жизни бывает нельзя — и соскочил. И тогда отхлынул пяток ещё набежавших пассажиров.

Голубой автобус свернул по Садовому кольцу налево. Значит, ехали не в Бутырки, как обычно. Очевидно, в Таганку.

...Идя на запад с фронтом, Нержин в разрушенных домах, в разорённых городских книгохранилищах, в каких-то сараях, в подвалах, на чердаках собирал книги, запрещённые, проклятые и сжигаемые в Союзе. От их тлеющих листов к читателю восходил непобедимый немой набат.

Это в «Девяносто третьем», у Гюго. Лантенак сидит на дюне. Он видит несколько колоколен сразу, и на всех на них — смятение, все колокола гудят в набат, но ураганный ветер относит звуки, и слышит он — безмолвие.

Так каким-то странным слухом ещё с отрочества слышал Нержин этот немой набат — все живые звоны, стоны, крики, клики, вопли погибающих, отнесенные постоянным настойчивым ветром от людских ушей.

В численном интегрировании дифференциальных уравнений безмятежно прошла бы жизнь Нержина, если бы родился он не в России и не именно в те годы, когда только что убили и вынесли в Мировое Ничто чьё-то большое дорогое тело.

Но ещё было тёплое то место, где оно лежало. И, никем никогда на него не возложенное, Нержин принял на себя бремя: по этим ещё не улетевшим частицам тепла воскресить мертвеца и показать его всем, каким он был; и разуверить, каким он не был.

Глеб вырос, не прочтя ни единой книги Майн Рида, но уже двенадцати лет он развернул громадные «Известия», которыми мог бы укрыться с головой, и подробно читал стенографический отчёт процесса инженеров-вредителей. И этому процессу мальчик сразу же не поверил. Глеб не знал — почему. Он не мог охватить этого рассудком, но он явственно различал, что всё это — ложь, ложь. Он знал инженеров в знакомых семьях — и не мог представить себе этих людей, чтобы они не строили, а вредили.

И в тринадцать, и в четырнадцать лет, сделав уроки, Глеб не бежал на улицу, а садился читать газеты. Он знал по фамилиям наших послов в каждой стране и иностранных послов у нас. Он читал все речи на съездах. Да ведь и в школе им с четвёртого класса уже толко-

вали элементы политэкономии, а с пятого обществоведение едва ли не каждый день, и что-то из Фейербаха. А там пошли истории партии, сменяющиеся что ни год.

Неуимчивое чувство на отгадку исторической лжи, рано зародясь, развивалось в мальчишке остро. Всего лишь девятиклассником был Глеб, когда декабрьским утром протиснулся к газетной витрине и прочёл, что убили Кирова. И вдруг почему-то, как в пронзающем свете, ему стало ясно, что убил Кирова — Сталин, и никто другой. И одиночество ознобило его: взрослые мужчины, столпленные рядом, не понимали такой простой вещи!

И вот те самые старые большевики выходили на суд и необъяснимо каялись, многословно поносили себя самыми последними ругательствами и признавались в службе всем на свете иностранным разведкам. Это было так чрезмерно, так грубо, так через край — что в ухе визжало!

Но со столба перекатывал актёрский голос диктора — и горожане на тротуаре сбивались доверчивыми овцами.

А русские писатели, смеявшие вести свою родословную от Пушкина и Толстого, удручающе-приторно хвалословили тирана. А русские композиторы, воспитанные на улице Герцена, толкаясь, совали к подножью трона свои угодливые песнопения.

Для Глеба же всю его молодость гремел немой набат! — и неисторжимо укоренялось в нём решение: узнать и понять! откопать и напомнить!

И вечерами на бульвары родного города, где приличнее было бы вздыхать о девушках, Глеб ходил мечтать, как он когда-нибудь проникнет в самую Большую и самую Главную тюрьму страны — и там найдёт следы умерших и ключ к разгадке.

Провинциал, он ещё не знал тогда, что тюрьма эта называется Большая Лубянка.

И что если желание наше велико — оно обязательно исполнится.

Шли годы. Всё сбылось и исполнилось в жизни Глеба Нержина, хотя это оказалось совсем не легко и не приятно. Он был схвачен и привезен — именно туда, и встретил тех самых, ещё уцелевших, кто не удивлялся его догадкам, а имел в сотню раз больше, что рассказать.

Всё сбылось и исполнилось, но за этим — не осталось Нержину ни науки, ни времени, ни жизни, и даже — любви к жене. Ему казалось — лучшей жены не может быть для него на всей земле, и вместе с тем — вряд ли он любил её. Одна большая страсть, занявши раз нашу душу, жестоко измещает всё остальное. Двум страстям нет места в нас.

...Автобус продребезжал по мосту и ещё шёл по каким-то кривым неласковым улицам.

Нержин очнулся:

— Так нас и не в Таганку? Куда такое? Ничего не понимаю.

Герасимович, отрываясь от таких же невесёлых мыслей, ответил:

— Подъезжаем к Лефортовской.

Автобусу открыли ворота. Машина вошла в служебный дворик, остановилась перед пристройкой к высокой тюрьме. В дверях уже стоял подполковник Климентьев — молодо, без шинели и шапки.

Было, правда, маломорозно. Под густым облачным небом распростёрлась безветренная зимняя хмури.

По знаку подполковника надзиратели вышли из автобуса, выстроились рядом (только двое в задних углах всё так же сидели с пистолетами в карманах) — и арестанты, не имея времени оглянуться на главный корпус тюрьмы, перешли вслед за подполковником в пристройку.

Там оказался длинный узкий коридор, а в него — семь распахнутых дверей. Подполковник шёл впереди и распорядился решительно, как в сражении:

— Герасимович — сюда! Лукашенко — в эту! Нержин — третья!..

И заключённые сворачивали по одному.

И так же по одному распределил к ним Климентьев семерых надзирателей. К Нержину попал переодетый гангстер.

Все как одна комнатки были — следственные кабинеты: и без того дававшее мало света ещё обрешеченное окно; кресло и стол следователя у окна; маленький столик и табуретка подследственного.

Кресло следователя Нержин перенёс ближе к двери и поставил для жены, а себе взял неудобную маленькую табуретку со щелью, которая грозила защемить. На подобной табуретке, за таким же убогим столиком, он отсидел когда-то шесть месяцев следствия.

Дверь оставалась открытой. Нержин услышал, как по коридору простучали лёгкие каблучки жены, раздался её милый голос:

— Вот в эту?

И она вошла.

38

Когда побитый грузовик, подпрыгивая на обнажённых корнях сосен и рыча в песке, увозил Надю с фронта — а Глеб стоял вдали на просеке, и просека, всё длиннее, темнее, уже, поглощала его — кто бы сказал им, что разлука их не только не кончится с войной, а едва лишь начинается?

Ждать мужа с войны — всегда тяжело, но тяжелее всего — в последние месяцы перед концом: ведь осколки и пули не разбираются, сколько провоевано человеком.

Именно тут и прекратились письма от Глеба.

Надя выбегала высматривать почтальона. Она писала мужу, писала его друзьям, писала его начальникам — все молчали, как заговоренные.

Но и похоронное извещение не приходило.

Весной сорок пятого, что ни вечер — лупили в небо артиллерийские салюты, брали, брали, брали города — Кёнигсберг, Бреслау, Франкфурт, Берлин, Прагу.

А писем — не было. Свет мерк. Ничего не хотелось делать. Но нельзя было опускаться! Если он жив и вернётся — он упрекнёт её в упущенном времени! И всеми днями она готовилась в аспирантуру по химии, учила иностранные языки и диалектический материализм — и только ночью плакала.

Вдруг военкомат впервые не оплатил Наде по офицерскому аттестату.

Это должно было значить — убит.

И тотчас же кончилась четырёхлетняя война! И безумные от радости люди бегали по безумным улицам. Кто-то стрелял из пистолетов в воздух. И все динамики Советского Союза разносили победные марши над израненной, голодной страной.

В военкомате ей не сказали — убит, сказали — пропал без вести. Смелое на аресты, государство было стыдливо на признания.

И человеческое сердце, никогда не желающее примириться с необратимым, стало придумывать небылицы — может быть заслан в глубокую разведку? Может быть, выполняет *спецагание*? Поколению, воспитанному в подозрительности и секретности, мерещились тайны там, где их не было.

Шло знойное южное лето, но солнце с неба не светило молоденькой вдове.

А она всё так же учила химию, языки и диамат, боясь не понравиться ему, когда он вернётся.

И прошло четыре месяца после войны. И пора было признать, что Глеба уже нет на земле. И пришёл потрёпанный треугольник с Красной Пресни: «Единственная моя! Теперь будет ещё десять лет!»

Близкие не все могли её понять: она узнала, что муж в тюрьме — и осветилась, повеселела. Какое счастье, что не двадцать пять и не пят-

надцать! Только из могилы не приходят, а с каторги возвращаются! В новом положении была даже новая романтическая высота, возвышавшая их прежнюю рядовую студенческую женитьбу.

Теперь, когда не было смерти, когда не было и страшной внутренней измены, а только была петля на шее — новые силы прихлынули к Наде. Он был в Москве — значит, надо было ехать в Москву и спасти его! (Представлялось так, что достаточно оказаться рядом, и уже можно будет спасти.)

Но — ехать? Потомкам никогда не вообразить, что значило ехать тогда, а особенно — в Москву. Сперва, как и в тридцатые годы, гражданин должен был документально доказать, зачем ему не сидится на месте, по какой служебной надобности он вынужден обременить собою транспорт. После этого ему выписывался пропуск, дававший право неделю таскаться по вокзальным очередям, спать на заплёванном полу или совать пугливую взятку у задних дверей кассы.

Надя изобрела — поступать в недостижимую московскую аспирантуру. И, переплатив на билете втрое, самолётом улетела в Москву, держа на коленях портфель с учебниками и валенки для ожидавшей мужа тайги.

Это была та нравственная вершина жизни, когда какие-то добрые силы помогают нам, и всё нам удаётся. Высшая аспирантура страны приняла безвестную провинциалочку без имени, без денег, без связей, без телефонного звонка...

Это было чудо, но и это оказалось легче, чем добиться свидания на пересылке Красная Пресня! Свидания не дали. Свиданий вообще не давали: все каналы ГУЛага были перенапряжены — лился из Европы поток арестантов, поражавший воображение.

Но у досчатой вахты, ожидая ответа на свои тщетные заявления, Надя стала свидетелем, как из деревянных некрашенных ворот тюрьмы выводили колонну арестантов на работу к пристани у Москва-реки. И мгновенным просветлённым загадыванием, которое приносит удачу, Надя загадала: Глеб — здесь!

Выводили человек двести. Все они были в том промежуточном состоянии, когда человек расстаётся со своей «вольной» одеждой и вживается в серо-чёрную трёпаную одежду зэка. У каждого оставалось ещё что-нибудь, напоминавшее о прежнем: военный картуз с цветным околышем, но без ремешка и звёздочки, или хромовые сапоги, до сих пор не проданные за хлеб и не отнятые урками, или шёлковая рубашка, расплзшаяся на спине. Все они были наголо стрижены, кое-как прикрывали головы от летнего солнца, все небриты, все худы, некоторые до изнурения.

Надя не обегала их взглядом — она сразу почувствовала, а затем и увидела Глеба: он шёл с расстёгнутым воротником в шерстяной гимнастёрке, ещё сохранившей на обшлагах красные выпушки, а на груди — невылинявшие подорденские пятна. Он держал руки за спиной, как все. Он не смотрел с горки ни на солнечные просторы, казалось бы столь манящие арестанта, ни по сторонам — на женщин с передачами (на пересылке не получали писем, и он не знал, что Надя в Москве). Такой же жёлтый, такой же исхудавший, как его товарищи, он весь сиял и с одобрением, с упоением слушал соседа — седобородого статного старика.

Надя побежала рядом с колонной и выкрикивала имя мужа — но он не слышал за разговором и залившимся лаем охранных собак. Она, задыхаясь, бежала, чтобы ещё и ещё впитьвать его лицо. Так жалко было его, что он месяцами гниёт в тёмных вонючих камерах! Такое счастье было видеть вот его, рядом! Такая гордость была, что он не сломлен! Такая обида была, что он совсем не горюет, он о жене забыл! И прозрела боль за себя — что он её обездолил, что жертва — не он, а она.

И всё это был один только миг!.. На неё закричал конвой, страшные дрессированные человекоядные псы прыгали на сворках, напрягались и лаяли с докрасна налитыми глазами. Надю отогнали. Колонна втянулась на узкий спуск — и негде было протолкнуться рядом с нею. Последние же конвойные, замыкавшие запрещённое пространство, держались далеко позади, и, идя вслед им, Надя уже не нагнала колонны — та спустилась под гору и скрылась за другим сплошным забором.

Вечером и ночью, когда жители Красной Пресни, этой московской окраины, знаменитой своей борьбой за свободу, не могли того видеть, — эшелоны телячьих вагонов подавались на пересылку; конвойные команды с болтанием фонарей, густым лаем собак, отрывистыми выкриками, матом и побоями рассаживали арестантов по сорок человек в вагон и тысячами увозили на Печору, на Инту, на Воркуту, в Сов-Гавань, в Норильск, в иркутские, читинские, красноярские, новосибирские, среднеазиатские, карагандинские, джеказганские, прибалхашские, иртышские, тобольские, уральские, саратовские, вятские, вологодские, пермские, сольвычегодские, рыбинские, потьминские, сухобезводнинские и ещё многие безымянные мелкие лагеря. Маленькими же партиями, по сто и по двести человек, их отвозили днём в кузовах машин в Серебряный Бор, в Новый Иерусалим, в Павшино, в Ховрино, в Бескудниково, в Химки, в Дмитров, в Солнечногорск, а ночами — во многие места самой Москвы, где за сплотками досок деревянных заборов, за оплёткой колючей проволоки они строили достойную столицу непобедимой державы.

Судьба послала Наде неожиданную, но заслуженную ею награду: случилось так, что Глеба не увезли в Заполярье, а выгрузили в самой Москве — в маленьком лагерьке, строившем дом для начальства МГБ и МВД — полукруглый дом на Калужской заставе.

Когда Надя неслась к нему туда на первое свидание, — ей было так, будто уже наполовину его освободили.

По Большой Калужской улице сновали лимузины, порой и дипломатические; автобусы и троллейбусы останавливались у конца решётки Нескучного Сада, где была вахта лагеря, похожая на простую проходную строительства; высоко на каменной кладке копошились какие-то люди в грязной рваной одежде — но строители все имеют такой вид, и никто из прохожих и проезжих не догадывался, что это — зэки.

А кто догадывался — тот молчал.

Стояло время дешёвых денег и дорогого хлеба. Дома продавались вещи, и Надя носила мужу передачи. Передачи всегда принимали. Свидания же давали не часто; Глеб не вырабатывал нормы.

На свиданиях нельзя было его узнать. Как на всех заносчивых людей, несчастье оказало на него благое действие. Он помягчел, целовал руки жены и следил за искрами её глаз. Это была ему не тюрьма! Лагерная жизнь, своей беспощадностью превосходящая всё, что известно из жизни людоедов и крыс, гнула его. Но он сознательно вёл себя к той грани, за которой себя не жалко, и с упорством повторял:

— Милая! Ты не знаешь, за что берёшься. Ты будешь ждать меня год, даже три, даже пять — но чем ближе будет конец, тем трудней тебе будет его дожидаться. Последние годы будут самые невыносимые. Детей у нас нет. Так не губи свою молодость — оставь меня! Выходи замуж.

Он предлагал, не вполне веря. Она отрицала, веря не вполне:

— Ты ищешь предлога освободиться от меня?

Заключённые жили в том же доме, который строили, в его неотделанном крыле. Женщины, привозившие передачи, сойдя с троллейбуса, видели поверх забора два-три окна мужского общежития и толпящихся у окон мужчин. Иногда там вперемешку с мужчинами пока-

зывались лагерные *шалашовки*. Одна шалашовка в окне обняла своего лагерного мужа и закричала через забор его законной жене: — Хватит тебе шлаться, проститутка! Отдавай последнюю передачу — и уваливай! Ещё раз на вахте тебя увижу — морду расцарапаю!

Приближались первые послевоенные выборы в Верховный Совет. К ним в Москве готовились усердно, словно действительно кто-то мог за кого-то не проголосовать. Держать Пятьдесят Восьмую статью в Москве и хотелось (работники были хороши) и кололось (притуплялась бдительность). Чтоб напугать всех, надо было хоть часть отправить. По лагерям ползли грозные слухи о скорых этапах на Север. Заключённые пекли в дорогу картошку, у кого была.

Оберегая энтузиазм избирателей, перед выборами запретили все свидания в московских лагерях. Надя передала Глебу полотенце, а в нём зашитую записочку:

«Возлюбленный мой! Сколько бы лет ни прошло, и какие бы бури ни пронеслись над нашими головами (Надя любила выражаться возвышенно), твоя девочка будет тебе верна, пока она только жива. Говорят, что вашу «статью» отправят. Ты будешь в далёких краях, на долгие годы оторван от наших свиданий, от наших взглядов, украдкой брошенных через проволоку. Если в той безысходно-мрачной жизни развлечения смогут развеять тяжесть твоей души — что ж, я смиряюсь, я разрешаю тебе, милый, я даже настаиваю — изменяй мне, встречайся с другими женщинами. Только бы ты сохранил бодрость! Я не боюсь: ведь всё равно ты вернёшься ко мне, правда?»

39

Ещё не узнав и десятой доли Москвы, Надя хорошо узнала расположение московских тюрем — эту горестную географию русских женщин. Тюремь оказалось в Москве во множестве и расположены по столице равномерно, продуманно, так что от каждой точки Москвы до какой-нибудь тюрьмы было близко. То с передачами, то за справками, то на свидания, Надя постепенно научилась распознавать всеобщую Большую Лубянку и областную Малую, узнала, что следственные тюрьмы есть при каждом вокзале и называются КПЗ, побывала не раз и в Бутырской тюрьме, и в Таганской, знала, какие трамваи (хоть это и не написано на их маршрутных табличках) идут к Лефортовской и подвозят к Красной Пресне. А с тюрьмой Матросская Тишина, в революцию упразднённой, а потом восстановленной и укреплённой, она и сама жила рядом.

С тех пор, как Глеба вернули из далёкого лагеря снова в Москву, на этот раз не в лагерь, а в какое-то удивительное заведение — спецтюрьму, где их кормили превосходно, а занимались они науками, — Надя опять стала изредка видеться с мужем. Но не полагалось жёнам знать, где именно содержатся их мужья — и на редкие свидания их привозили в разные тюрьмы Москвы.

Веселей всего были свидания в Таганке. Тюрьма эта была не политическая, а воровская, и порядки в ней поощрительные. Свидания происходили в надзирательском клубе; арестантов подвозили по безлюдной улице Каменщиков в открытом автобусе, жёны сторожили на тротуаре, и ещё до начала официального свидания каждый мог обнять жену, задержаться около неё, сказать, чего не полагалось по инструкции, и даже передать из рук в руки. И само свидание шло непринуждённо, сидели рядышком, и слушать разговоры четырёх пар приходился один надзиратель.

Бутырки — эта, по сути, тоже мягкая весёлая тюрьма, казалась жёнам леденящей. Заключённым, попадавшим в Бутырки с Лубянок, сразу радовала душу общая расслабленность дисциплины: в боксах не

было режущего света, по коридорам можно было идти, не держа рук за спиной, в камере можно было разговаривать в полный голос, подглядывать под *намордники*, днём лежать на нарах, а под нарами даже спать. Ещё было мягко в Бутырках: можно было ночью прятать руки под шинель, на ночь не отбирали очков, пропускали в камеру спички, не выпотрашивали из каждой папиросины табак, а хлеб в передачах резали только на четыре части, не на мелкие кусочки.

Жёны не знали обо всех этих поблажках. Они видели крепостную стену в четыре человеческих роста, протянувшуюся на квартал по Новослободской. Они видели железные ворота между мощными бетонными столпами, к тому же ворота необычайные: медленно-раздвижные, механически открывающие и закрывающие свой зев для воронок. А когда женщин пропускали на свидание, то вводили сквозь каменную кладку двухметровой толщины и вели меж стен в несколько человеческих ростов в обход страшной Пугачёвской башни. Свидания давали: обыкновенным зэкам — через две решётки, между которыми ходил надзиратель, словно и сам посаженный в клетку; зэкам же высшего круга, шарашечным, — через широкий стол, под которым глухая разгородка не допускала соприкоснуться ногами и сигналить, а у торца стоял надзиратель, недреманной статуей вслушивался в разговор. Но самое угнетающее в Бутырках было, что мужья появлялись как бы из глубины тюрьмы, на полчасы они как бы выступали из этих сырых толстых стен, как-то призрачно улыбались, уверяли, что живётся им хорошо, ничего им не надо — и опять уходили в эти стены.

В Лефортове же свидание было сегодня первый раз.

Вахтер поставил птичку в списке и показал Наде на здание пристройки.

В голой комнате с двумя длинными скамьями и голым столом уже ожидало несколько женщин. На стол были выставлены плетёная корзинка и базарные сумки из кирзы, как видно полные всё-таки продуктами. И хотя шарашечные зэки были вполне сыты, Наде, пришедшей с невесомым «хворостом» в кулёчке, стало обидно и совестно, что даже раз в год она не может побаловать мужа вкусеньким. Этот хворост, рано вставши когда в общежитии ещё спали, она жарила из оставшейся у нее белой муки и сахара на оставшемся масле. Подкупить же конфет или пирожных она уже не успела, да и денег до получки оставалось мало. Со свиданием совпал день рождения мужа — а подарить было нечего! Хорошую книгу? но невозможно и это после прошлого свидания: тогда Надя принесла ему чудом достанную книжечку стихов Есенина. Такая точно у мужа была на фронте и пропала при аресте. Намекая на это, Надя написала на титульном листе:

«Так и всё утерянное к тебе вернётся».

Но подполковник Климентьев при ней тут же вырвал заглавный лист с надписью и вернул его, сказав, что никакого *текста* в передачах быть не может, текст должен идти отдельно через цензуру. Узнав, Глеб проскрежетал и попросил не передавать ему больше книг.

Вокруг стола сидело четверо женщин, из них одна молодая с трёхлетней девочкой. Никого из них Надя не знала. Она поздоровалась, те ответили и продолжили оживлённо разговаривать.

У другой же стены на короткой скамье отдельно сидела женщина лет тридцати пяти-сорока в очень не новой шубе, в сером головном платке, с которого ворс начисто вытерся, и всюду обнажилась простая клетка вязки. Она заложила ногу за ногу, руки свела кольцом и напряжённо смотрела в пол перед собой. Вся поза её выражала решительное нежелание быть затронутой и разговаривать с кем-либо. Ничего похожего на передачу у неё не было ни в руках, ни около.

Компания готова была принять Надю, но Наде не хотелось к ним — она тоже дорожила своим особенным настроением в это утро. Подой-

дя к одиноко сидящей женщине, она спросила её, ибо негде было на короткой скамье сесть поодаль:

— Вы разрешите?

Женщина подняла глаза. Они совсем не имели цвета. В них не было понимания — о чём спросила Надя. Они смотрели на Надю и мимо неё.

Надя села, кисти рук свела в рукавах, отклонила голову набок, ушла щекой в свой лжекаракулевый воротник. И тоже замерла.

Она хотела бы сейчас ни о чём другом не слышать, и ни о чём другом не думать, как только о Глебе, о разговоре, который вот будет у них, и о том долгом, что нескончаемо уходило во мглу прошлого и мглу будущего, что было не он, не она — вместе он и она, и называлось по обычаю затёртым словом «любовь».

Но ей не удавалось выключиться и не слышать разговоров у стола. Там рассказывали, чем кормят мужей — что утром дают, что вечером, как часто стирают им в тюрьме бельё — откуда-то всё это знали! неужели тратили на это жемчужные минуты свиданий? Перечисляли, какие продукты и по сколько грамм или килограмм принесли в передачах. Во всём этом была та цепкая женская забота, которая делает семью — семьёй и поддерживает род человеческий. Но Надя не подумала так, а подумала: как это оскорбительно — обыденно, жалко разменивать великие мгновения! Неужели женщинам не приходило в голову задуматься лучше — а кто смел заточить их мужей? Ведь мужья могли бы быть и не за решёткой и не нуждаться в этой тюремной еде!

Ждать пришлось долго. Назначено им было в десять, но и до одиннадцати никто не появлялся.

Позже других, опоздав и запыхавшись, пришла седьмая женщина, уже седоватая. Надя знала её по одному из прошлых свиданий — то была жена гравёра, его третья и она же первая жена. Она сама охотно рассказывала свою историю: мужа она всегда боготворила и считала великим талантом. Но как-то он заявил, что недоволен её психологическим комплексом, бросил её с ребёнком и ушёл к другой. С той, рыжей, он прожил три года, и его взяли на войну. На войне он сразу попал в плен, но в Германии жил свободно и там, увы, у него тоже были увлечения. Когда он возвращался из плена, его на границе арестовали и дали ему десять лет. Из Бутырской тюрьмы он сообщил той, рыжей, что сидит, что просит передач, но рыжая сказала: «лучше б он изменил мне, чем Родине! мне б тогда легче было его простить!» Тогда он взмолился к ней, к первенькой — и она стала носить ему передачи, и ходить на свидания — и теперь он умолял о прощении и клялся в вечной любви.

Наде отозвалось, как при этом рассказе жена гравёра с горечью предсказывала: должно быть, если мужья сидят в тюрьме, то вернее всего — изменять им, тогда после выхода они будут нас ценить. А иначе они будут думать — мы никому не были нужны это время, нас просто никто не взял. Отозвалось, потому что сама Надя думала так иногда.

Пришедшая и сейчас повернула разговор за столом. Она стала рассказывать о своих хлопотах с адвокатами в юридической консултации на Никольской улице. Консультация эта долго называлась «Образцовой». Адвокаты её брали с клиентов многие тысячи и часто посещали московские рестораны, оставляя дела клиентов в прежнем положении. Наконец в чём-то они где-то не угодили. Их всех арестовали, всем нарезали по десять лет, сняли вывеску «Образцовая», но уже в качестве необразцовой консультация наполнилась новыми адвокатами, и те опять начали брать многие тысячи, и опять оставляли дела клиентов в том же положении. Необходимость больших гонораров адвокаты с глаз на глаз объясняли тем, что надо делиться, что они берут

не только себе, что дела проходят через много рук. Перед бетонной стеной закона беспомощные женщины ходили как перед четырёхростовой стеной Бутырок — взлететь и перепорхнуть через неё не было крыльев, оставалось кланяться каждой открывающейся калиточке. Ход судебных дел за стеной казался таинственными проворотами грандиозной машины, из которой — вопреки очевидности вины, вопреки противоположности обвиняемого и государства, могут иногда, как в лотерее, чистым чудом выскакать счастливые выигрыши. И так не за выигрыш, но за мечту о выигрыше, женщины платили адвокатам.

Жена гравёра неуклонно верила в конечный успех. Из её слов было понятно, что она собрала тысяч сорок за продажу комнаты и пожертвований от родственников, и все эти деньги переплатила адвокатам; адвокатов сменилось уже четверо, подано было три просьбы о помиловании и пять обжалований по существу, она следила за движением всех этих жалоб, и во многих местах ей обещали благоприятное рассмотрение. Она по фамилиям знала всех дежурных прокуроров трёх главных прокуратур и дышала атмосферой приёмных Верховного Суда и Верховного Совета. По свойству многих доверчивых людей, а особенно женщин, она переоценивала значение каждого обнадеживающего замечания и каждого невраждебного взгляда.

— Надо писать! Надо всем писать! — энергично повторяла она, склоняя и других женщин ринуться по её пути. — Мужья наши страдают. Свобода не придёт сама. Надо писать!

И этот рассказ тоже отвлёк Надю от её настроения и тоже больно задел. Стареющая жена гравёра говорила так воодушевленно, что верилось: она опередила и обхитрила их всех, она непременно добудет своего мужа из тюрьмы! — И рождался упрёк: а я? почему я не смогла так? почему я не оказалась такой же верной подругой?

Надя только один раз имела дело с «образцовой» консультацией, составила с адвокатом только одну просьбу, заплатила ему только две с половиной тысячи — и, наверное, мало: он обиделся и ничего не сделал.

— Да, — сказала она негромко, как бы почти про себя, — всё ли мы сделали? Чиста ли наша совесть?

За столом её не услышали в общем разговоре. Но соседка вдруг резко повернула голову, как будто Надя толкнула её или оскорбила.

— А что можно сделать? — враждебно отчётливо произнесла она. — Ведь это всё бред! Пятьдесят Восьмая это — хранить вечно! Пятьдесят Восьмая это — не преступник, а враг! Пятьдесят Восьмую не выкупишь и за миллион!

Лицо её было в морщинах. В голосе звенело отстоявшееся очищенное страдание.

Сердце Нади раскрылось навстречу этой старшей женщине. Тонким, извинительным за возвышенность своих слов, она возразила:

— Я хотела сказать, что мы не отдаём себя до конца... Ведь жёны декабристов ничего не жалели, бросали, шли... Если не освобождение — может быть можно выхлопотать ссылку? Я б согласилась, чтоб его сослали в какую угодно тайгу, за Полярный круг — я бы поехала за ним, всё бросила...

Женщина со строгим лицом монахини, в облезшем сером платке, с удивлением и уважением посмотрела на Надю:

— У вас есть ещё силы ехать в тайгу?? Какая вы счастливая! У меня уже ни на что не осталось сил. Кажется, любой благополучный старик согласись меня взять замуж — и я бы пошла.

— И вы могли бы бросить?.. За решёткой?..

Женщина взяла Надю за рукав:

— Милая! Легко было любить в девятнадцатом веке! Жёны декабристов — разве совершили какой-нибудь подвиг? Отделы кадров — вызывали их заполнять анкеты? Им разве надо было скрывать

своё замужество как заразу? — чтобы не выгнали с работы, чтобы не отняли эти единственные пятьсот рублей в месяц? В коммунальной квартире — их бойкотировали? Во дворе у колонки с водой — шипели на них, что они враги народа? Родные матери и сёстры — толкали их к трезвому рассудку и к разводу? О, напротив! Их сопровождал ропот восхищения лучшего общества! Снисходительно дарили они поэтам легенды о своих подвигах. Уезжая в Сибирь в собственных дорожных каретах, они не теряли вместе с московской пропиской несчастные девять квадратных метров своего последнего угла и не задумывались о таких мелочах впереди, как замаранная трудовая книжка, чуланчик, и нет кастрюли, и чёрного хлеба нет!.. Это красиво сказать — в тайгу! Вы, наверно, ещё очень недолго ждёте!

Её голос готов был надорваться. Слёзы наполнили надины глаза от страстных сравнений соседки.

— Скоро пять лет, как муж в тюрьме, — оправдывалась Надя. — Да на фронте...

— Эт-то не считайте! — живо возразила женщина. — На фронте — это не то! Тогда ждать легко! Тогда ждут — все. Тогда можно открыто говорить, читать письма! Но если ждать, да ещё скрывать, а??

И остановилась. Она увидела, что Наде этого разъяснить не надо.

Уже наступила половина двенадцатого. Вошёл, наконец, подполковник Климентьев и с ним толстый недоброжелательный старшина. Старшина стал принимать передачи, вскрывая фабричные пачки печенья и ломая пополам каждый домашний пирожок. Надин хворост он тоже ломал, ища запечённую записку, или деньги, или яд. Климентьев же отобрал у всех повестки, записал пришедших в большую книгу, затем по-военному выпрямился и объявил отчётливо:

— Внимание! Порядок известен? — Свидание — тридцать минут. Заключённым ничего в руки не передавать. От заключённых ничего не принимать. Запрещается расспрашивать заключённых о работе, о жизни, о распорядке дня. Нарушение этих правил карается уголовным кодексом. Кроме того с сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и поцелуи. При нарушении — свидание немедленно прекращается.

Присмирившие женщины молчали.

— Герасимович Наталья Павловна! — вызвал Климентьев первой.

Соседка Нади встала и, твёрдо стуча по полу фетровыми ботами довоенного выпуска, вышла в коридор.

40

И всё-таки, хотя и всплакнуть пришлось, ожидая, Надя входила на свидание с ощущением праздника.

Когда она появилась в двери, Глеб уже встал ей навстречу и улыбался. Эта улыбка длилась один шаг его и один шаг её, но всё возликовало в ней: он показался так же близок! он к ней не изменился!

Отставной гангстер с бычьей шеей в мягком сером костюме приблизился к маленькому столику и тем перегородил узкую комнату, не давая им встретиться.

— Да дайте, я хоть за руку! — возмутился Нержин.

— Не положено, — ответил надзиратель, свою тяжёлую челюсть для выпуска слов приопуская лишь несколько.

Надя растерянно улыбнулась, но сделала знак мужу не спорить. Она опустилась в подставленное ей кресло, из-под кожаной обивки которого местами вылезало мочало. В кресле этом пересидело несколько поколений следователей, сведших в могилу сотни людей и скоротечно сошедших туда сами.

— Ну, так поздравляю тебя! — сказала Надя, стараясь казаться оживлённой.

— Спасибо.

— Такое совпадение — именно сегодня!

— Звезда...

(Они привыкали говорить.)

Надя делала усилие, чтоб не чувствовать взгляда надзирателя и его давящего присутствия. Глеб старался сидеть так, чтоб расшатанная табуретка не защемляла его.

Маленький столик подследственного был между мужем и женой.

— Чтоб не возвращаться: я там тебе принесла погрызть немного, хвороста, знаешь, как мама делает? Прости, что ничего больше.

— Глупенькая, и этого не нужно! Всё у нас есть.

— Ну, хворосту-то нет? А книг ты не велел... Есенина читаешь?

Лицо Нержина омрачилось. Уже больше месяца, как был донос Шикину о Есенине, и тот забрал книгу, утверждая, что Есенин запрещён.

— Читаю.

(Всего полчаса, разве можно уходить в подробности!)

Хотя в комнате было вовсе не жарко, скорее — нетоплено, Надя расстегнула и распахнула воротник — ей хотелось показать мужу кроме новой, только в этом году сшитой шубки, о которой он почему-то молчал, ещё и новую блузку, и чтоб оранжевый цвет блузки оживил ее лицо, наверно землистое в здешнем тусклом освещении.

Одним непрерывным переходящим взглядом Глеб охватил жену — лицо, и горло, и запах на груди. Надя шевельнулась под этим взглядом — самым важным в свидании, и как бы выдвинулась навстречу ему.

— На тебе кофточка новая. Покажи больше.

— А шубка? — состроила она огорчённую гримаску.

— Что шубка?

— Шубка — новая.

— Да, в самом деле, — понял, наконец, Глеб. — Шуба-то новая! — И он обежал взглядом чёрные завитушки, не ведая даже, что это — каракуль, там уж поддельный или истинный, и будучи последним человеком на земле, кто мог бы отличить пятисотрублёвую шубу от пятитысячной.

Она полусбросила шубку теперь. Он увидел её шею, по-прежнему девически-точёную, неширокие слабые плечи, и, под сборками блузки, — грудь, уныло опавшую за эти годы.

И короткая укорная мысль, что у неё своей чередой идут новые наряды, новые знакомства, — при виде этой уныло опавшей груди сменилась жалостью, что скаты серого тюремного воронка раздавили и её жизнь.

— Ты — худенькая, — с состраданием сказал он. — Питайся лучше. Не можешь — лучше?

«Я — некрасивая?» — спросили её глаза.

«Ты — всё та же чудная!» — ответили глаза мужа.

(Хотя эти слова не были запрещены подполковником, но и их нельзя было выговорить при чужом...)

— Я питаюсь, — солгала она. — Просто жизнь беспокойная, дёрганая.

— В чём же, расскажи.

— Нет, ты сперва.

— Да я — что? — улыбнулся Глеб. — Я — ничего.

— Ну, видишь... — начала она со стеснением.

Надзиратель стоял в полуметре от столика и, плотный, бульдоговидный, сверху вниз смотрел на свидавшихся с тем вниманием и презрением, с каким у подъездов изваяния каменных львов смотрят на прохожих.

Надо было найти недоступный для него верный тон, крылатый язык полунамёков. Превосходство ума, которое они легко ощущали, должно было подсказать им этот тон.

— А костюм — твой? — перепрыгнула она.

Нержин прижмурился и комично потряс головой.

— Где мой? Потёмкинской функции. На три часа. Сфинкс пусть тебя не смущает.

— Не могу, — по-детски жалобно, кокетливо вытянула она губы, убедаясь, что продолжает нравиться мужу.

— Мы привыкли воспринимать это в юмористическом аспекте.

Надя вспомнила разговор с Герасимович и вздохнула.

— А мы — нет.

Нержин сделал попытку коленями охватить колени жены, но неуместная переводинка в столе, сделанная на такой высоте, чтобы подследственный не мог выпрямить ног, помешала и этому прикосновению. Столик покачнулся. Опираясь на него локтями, наклонясь ближе к жене, Глеб с досадой сказал:

— Вот так — всюду препоны.

«Ты — моя? Моя?» — спрашивал его взгляд.

«Я — та, которую ты любил. Я не стала хуже, поверь!» — лучились её серые глаза.

— А на работе с препонами — как? Ну, рассказывай же. Значит, ты уже в аспирантах не числишься?

— Нет.

— Так защитила диссертацию?

— Тоже нет.

— Как же это может быть?

— Вот так... — И она стала говорить быстро-быстро, испугавшись, что много времени уже ушло. — Диссертацию никто в три года не защищает. Продляют, дают дополнительный срок. Например одна аспирантка два года писала диссертацию «Проблемы общественного питания», а ей тему отменили...

(Ах, зачем? Это совсем не важно!..)

— ...У меня диссертация готова и отпечатана, но очень задерживают переделки разные...

(Борьба с низкопоклонством — но разве тут объяснишь?..)

— ...и потом светоконии, фотографии... Ещё как с переплётом будет — не знаю. Очень много хлопот...

— Но стипендию тебе платят?

— Нет.

— На что ж ты живёшь?!

— На зарплату.

— Так ты работаешь? Где?

— Там же, в университете.

— Кем?

— Внештатная, призрачная должность, понимаешь? Вообще, всюду птичьи права... У меня и в общежитии птичьи права. Я, собственно...

Она покосилась на надзирателя. Она собиралась сказать, что в милиции её давно должны были выписать со Стромьинки и совершенно по ошибке продлили прописку ещё на полгода. Это могло обнаружиться в любой день! Но тем более нельзя было этого сказать при сержанте МГБ...

— ...Я ведь и сегодняшнее свидание получила... это случилось так...

(Ах да в полчаса не расскажешь!..)

— Подожди, об этом потом. Я хочу спросить — препон, связанных со мной, — нет?

— И очень жёсткие, милый... Мне дают... хотят дать спецтему... Я пытаюсь не взять.

— Это как — спецтему?

Она вздохнула и покосилась на надзирателя. Его лицо, настороженное, как если б он собирался внезапно гавкнуть или откусить ей голову, нависало меньше, чем в метре от их лиц.

Надя развела руками. Надо было объяснить, что даже в университете почти уже не осталось незасекреченных разработок. Засекречивалась вся наука сверху донизу. Засекречивание же значило: новая, ещё более подробная анкета о муже, о родственниках мужа и о родственниках этих родственников. Если написать там: «муж осуждён по пятьдесят восьмой статье», то не только работать в университете, но и защитить диссертацию не дадут. Если солгать — «муж пропал без вести», всё равно надо будет написать его фамилию — и стоит только проверить по картотеке МВД, и за ложные сведения её будут судить. И Надя выбрала третью возможность, но убегая сейчас от неё под внимательным взором Глеба, стала оживлённо рассказывать:

— Ты знаешь, я — в университетской самодеятельности. Посылают всё время играть в концертах. Недавно играла в Колонном зале в один даже вечер с Яковом Заком.

Глеб улыбнулся и покачал головой, как если б не хотел верить.

— В общем, был вечер профсоюзов, так случайно получилось, — ну, а всё-таки... И ты знаешь, смех какой — моё лучшее платье забраковали, говорят на сцену нельзя выходить, звонили в театр, привезли другое, чудное, до пят.

— Поиграла — и сняли?

— У-гм. Вообще, девчénки меня ругают за то, что я музыкой увлекаюсь. А я говорю: лучше увлечься чем-нибудь, чем кем-нибудь...

Это — не между прочим было, это звонко она сказала, это — был удачно сформулированный её новый принцип! — И она выставила голову, ожидая похвалы.

Нержин смотрел на жену благодарно и беспокожно. Но этой похвалы, этого подбодрения тут не нашёл сказать.

— Подожди, так насчёт спецтемы...

Надя сразу потупилась, обвисла головой.

— Я хотела тебе сказать... Только ты не принимай этого к сердцу — nicht wahr! — ты когда-то настаивал, чтобы мы... развелись... — совсем тихо закончила она.

(Это и была та третья возможность, — одна, дающая путь в жизни!.. — чтобы в анкете стояло не «разведена», потому что анкета всё равно требовала фамилию бывшего мужа, и нынешний адрес бывшего мужа, и родителей бывшего мужа, и даже их годы рождения, занятия и адрес, — а чтоб стояло «не замужем». А для этого — провести развод, и тоже таясь, в другом городе.)

Да, когда-то он настаивал... А сейчас дрогнул. И только тут заметил, что обручального кольца, с которым она никогда не расставалась, на её пальце нет.

— Да, конечно, — очень решительно подтвердил он.

Этой самой рукою, без кольца, Надя втирала ладонь в стол, как бы раскатывала в лепёшку чёрствое тесто.

— Так вот... ты не будешь против... если... придётся... это сделать?... — Она подняла голову. Её глаза расширились. Серая игольчатая радуга её глаз светилась просьбой о прощении и понимании. — Это — псевдо, — одним дыханием, без голоса добавила она.

— Молодец. Давно пора! — убеждённо твёрдо соглашался Глеб, внутри себя не испытывая ни убеждённости, ни твёрдости — отталкивая на после свидания всё осмысление происшедшего.

— Может быть и не придётся! — умоляюще говорила она, надвигая снова шубку на плечи, и в эту минуту выглядела усталой, замученной. — Я — на всякий случай, чтобы договориться. Может быть не придётся.

— Нет, почему же, ты права, молодец, — затверженно повторял Глеб, а мыслями переключался уже на то главное, что готовил по списку и что теперь было в пору опрокинуть на неё. — Важно, родная, чтобы ты отдавала себе ясный отчёт. Не связывай слишком больших надежд с окончанием моего срока!

Сам Нержин уже вполне был подготовлен и ко второму сроку и к бесконечному сидению в тюрьме, как это было уже у многих его товарищей. О чём нельзя было никак написать в письме, он должен был высказать сейчас.

Но на лице Нади появилось боязливое выражение.

— Срок — это условность, — объяснял Глеб жёстко и быстро, делая ударения на словах невпопад, чтобы надзиратель не успевал схватывать. — Он может быть повторён по спирали. История богата примерами. А если даже и чудом он кончится — не надо думать, что мы вернемся с тобой в наш город к нашей прежней жизни. Вообще, пойми, уясни, затверди: в страну прошлого билеты не продаются. Я вот, например, больше всего жалею, что я — не сапожник. Как это необходимо в каком-нибудь таёжном посёлке, в красноярской тайге, в низовьях Ангары! К этой жизни одной только и надо готовиться.

Цель была достигнута: отставной гангстер не шелохался, успевая только моргать вслед проносящимся фразам.

Но Глеб забыл — нет, не забыл, он не понимал (как все они не понимали), что привыкшим ходить по тёплой серой земле — нельзя вспарить над ледяными кряжами сразу, нельзя. Он не понимал, что жена продолжала и теперь, как и вначале, изощённо, методично отсчитывать дни и недели его срока. Для него его срок был — светлая холодная бесконечность, для неё же — оставалось двести шестьдесят четыре недели, шестьдесят один месяц, пять лет с небольшим — уже гораздо меньше, чем прошло с тех пор, как он ушёл на войну и не вернулся.

По мере слов Глеба боязнь на лице Нади перешла в пепельный страх.

— Нет, нет! — скороговоркой воскликнула она. — Не говори мне этого, милый! — (Она уже забыла о надзирателе, она уже не стыдилась.) — Не отнимай у меня надежды! Я не хочу этому верить! Я не могу этому верить! Да это просто не может быть!.. Или ты подумал, что я действительно тебя брошу?!

Её верхняя губа дрогнула, лицо исказилось, глаза выражали только преданность, одну преданность.

— Я верю, я верю, Надюшенька! — переменялся в голосе Глеб. — Я так и понял.

Она смолкла и осела после напряжения.

В раскрытых дверях комнаты стал молодцеватый чёрный подполковник, зорко осматрел три головы, сдвинувшиеся вместе, и тихе позвал надзирателя.

Гангстер с шеей пикадора нехотя, словно его отрывали от киселя, отодвинулся и направился к подполковнику. Там, в четырёх шагах от надиной спины, они обменялись фразой-двумя, но Глеб за это время, приглуша голос, успел спросить:

— Сологдину, жену — знаешь?

Натренированная в таких оборотах, Надя успела перенестись:

— Да.

— И где живёт?

— Да.

— Ему свиданий не дают, скажи ей: он...

Гангстер вернулся.

— ...любит! — преклоняется! — боготворит! — очень раздельно уже при нём сказал Глеб. Почему-то именно при гангстере слова Сологдина не показались слишком приподнятыми.

— Любит-преклоняется-боготворит, — с печальным вздохом повторила Надя. И пристально посмотрела на мужа. Когда-то наблю-

дённого с женским тщанием, ещё по молодости не полным, когда-то как будто известного — она увидела его совсем новым, совсем незнакомым.

— Тебе — идёт, — грустно кивнула она.

— Что — идёт?

— Вообще. Здесь. Всё это. Быть здесь, — говорила она, маскируя разными оттенками голоса, чтоб не уловил надзиратель: этому человеку идёт быть в тюрьме.

Но такой ореол не приближал его к ней. Отчуждал.

Она тоже оставляла всё узнанное передумать и осмыслить потом, после свидания. Она не знала, что выведется из всего, но опережающим сердцем искала в нём сейчас — слабости, усталости, болезни, мольбы о помощи, — того, для чего женщина могла бы принести остаток своей жизни, прождать хоть ещё вторые десять лет и приехать к нему в тайгу.

Но он улыбался! Он так же самонадеянно улыбался, как тогда на Красной Пресне! Он всегда был полон, никогда не нуждался ни в чём сочувствии. На голой маленькой табуретке ему даже, кажется, и сиделось удобно, он как будто с удовольствием поглядывал вокруг, собирая и тут материалы для истории. Он выглядел здоровым, глаза его искрились насмешкой над тюремщиками. Нужна ли была ему вообще преданность женщины?

Впрочем, Надя ещё не подумала этого всего.

А Глеб не догадался, близ какой мысли она проходила.

— Пора кончать! — сказал в дверях Климентьев

— Уже? — изумилась Надя.

Глеб собрал лоб, сияясь припомнить, что же ещё было самого важного в том списке «сказать», который он вытвердил наизусть к свиданию.

— Да! Не удивляйся, если меня отсюда увезут, далеко, если прервутся письма совсем.

— А могут? Куда?? — вскричала Надя.

Такую новость — и только сейчас!!

— Бог знает, — пожав плечами, как-то значительно произнёс он.

— Да ты уж не стал ли верить в бога??!

(Они ни о чём не поговорили!!)

Глеб улыбнулся:

— А почему бы и нет? Паскаль, Ньютон, Эйнштейн...

— Кому было сказано — фамилий не называть! — гаркнул надзиратель. — Кончаем, кончаем!

Муж и жена поднялись разом и теперь, уже не рискуя, что свидание отнимут, Глеб через маленький столик охватил Надю за тонкую шею и в шею поцеловал и впился в мягкие губы, которые совсем забыл. Он не надеялся быть в Москве ещё через год, чтоб их ещё раз поцеловать. Голос его дрогнул нежностью:

— Делай во всём, как тебе лучше. А я...

Не договорил.

Они смотрелись глаза в глаза.

— Ну, что это? что это? Лишняя свидания! — мычал надзиратель и оттягивал Нержина за плечо.

Нержин оторвался.

— Да лишай, будь ты неладен, — еле слышно пробормотал он.

Надя отступала спиной до двери и одними только пальцами поднятой руки без кольца помахивала на прощанье мужу.

И так скрылась за дверным косяком.

(Продолжение следует)

ЛЕОН ТООМ

(1921—1969)

*

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Соратникам

К чему напрасный страх, молодчики?
Он вызван мнимой причиной.
Зачем машины-переводчики,
Раз переводчик стал машиной?

Бездушье первых — вещь условная.
Глядишь, и вдруг в одно мгновение
Внесет в них что-нибудь духовное
Очередное усложнение.

Глядишь, и ляпнет кибернетика
Писателю из депутатов,
Что ей не позволяет этика
Переводить лауреатов.

Возьмет и выдаст гипертонику
Определение гробовое:
Мол, дорогую электронику
Не тратят на дерьмо такое.

Другое дело — наша братия:
Лишь посули нам пети-мети,
И без отказа, без изъятия
Мы зарифмуем все на свете.

Переведем любого автора,
Любого переложим чисто —
Ремесленника и новатора,
Доносчика и альтруиста.

1958.

Из поэмы, преданной огню

Тут было все: тут был салат, и сыр, и кильки, и колбасы. Тут семга рдела, как закат, а поросенок улыбался. Лежал он тихо в заливном и был улыбчив так и розов, как будто бы не под ножом он отошел, а под наркозом.

Тут лук лежал, а хрен стоял, верней — не хрен, а с хреном банка, и даже пьяный понимал, что тут не выпивка, а пьянка. Чтоб не соврать, стояло здесь одних приправ на килограммы: и провансаль, и майонез,

и перчик с уксусом, и — дамы. Те дамы были первый класс, а не последнего разбора, и потому стыдливых глаз мы не сводили с их прибора.

Кто был с правами, кто — без прав, кто были жены, кто — девицы, но все они, попив-пожрав, поглаживали ягодицы. Красноречивей острых слов и слов признательных уместней, тот жест печальный был таков, что ждал не помыслов, а — действий.

Мужей пронзали взоры дев, и вот они, не ждя поблажек, вонзили зубы, присмирив, в окорока девичьих ляжек. И тут с начала же игры открылось разом каждой паре, насколько свойственной сырым питаться людям вместо варев.

Но говорить об этом лень, к тому же не уснули детки. Опять же — утро и мигрень, слабительное и таблетки, бюджет и прочая мура, изученная нами всеми.

Короче говоря, пора нам перейти к серьезной теме.

1952.



Плод в материнской утробе, прежде чем стать человеком, должен пройти все ступени жизни простейших существ. Мы же, чтоб стать наравне, вровень с идеями века, чтоб обозначились кости в каждом дрожащем хряще, чтоб человеческий мозг, чтоб обостренные чувства стали бы не трагедией — множеством маленьких дел, чтоб не трагедия — жизнь стала ведущим искусством, трижды должны умереть мы. Трижды — таков наш удел.

Первая смерть — от любви. Ибо ее не бывает. Это приходит потом. После того, как умрешь. Что ж до того, что — сначала, это ведь — просто такая дрожь эпидермы и нервов и прочая разная дрожь, то есть не пламя...

Затем — нас убивает работа. Знания мы получаем, славу, умение, успех. Зависть растет, а для нас все не хватает чего-то, и сыновей разбирает неуважительный смех. Гложет червяк по ночам, душу твою пожирая. Если его и себя нам умертвить суждено, значит, открылась тебе красочная и простая истина. И человеком стать тебе, значит, дано.

Публикация А. ТООМА.



ВЛАДИМИР КРУПИН

*

ДВА РАССКАЗА

Дети кочегара

Еще ни разу у меня так не было, чтобы каким-то рассказом я угодил всем. Успеешь обрадоваться хорошему отзыву, как тут же его глушит отзыв отрицательный. Но не для того я ссылаюсь на личный опыт, чтоб кто-то ободрил меня фразой, что хвалу и клевету надо принимать равнодушно, это я давно взял за правило. Истина, что ни на кого не угодишь, давно растеклась по всей нашей жизни. Когда много и напористо кричат о покаянии, то как-то забывают, что в покаяние, а лучше говорить — в раскаяние входит прежде всего смирение.

Но хватит теории.

Мой отец сменил после выхода на пенсию огромное количество работ. «Горький,— замечал он,— свои университеты в детстве и отрочестве прошел, а я под старость: десять пятилеток я в одном министерстве отработал, а за одиннадцатую пятилетку десять министерств сменил!» Работы у отца были незамысловатые: вахтер, гардеробщик, кочегар, разнообразный дежурный, дневной и ночной. Причина частой смены работ — нарушение трудовой дисциплины. Доходило до смешного: брата моего, доцента, заведующего кафедрой, вызывали на отцовскую работу и делали выговоры за отца. Конечно, брат мой обещал администрации строго поговорить с нарушителем трудовой дисциплины. И поговорил. Нарушитель, то есть мой отец, отвечал, что раз администрация им не дорожит, то он ею тем более.

Мама наша каждый раз требовала, чтобы отец вообще прекратил всякие работы, сидел бы на пенсии, смотрел бы телевизор. Отец отвечал, что стране нужны трудовые руки, стране надо помогать, а по телевизору смотреть нечего, одна болтовня, сплошной разврат, вранье и провокации, а кроме того, что пенсия мала и идет на питание, а остальное он может тратить по усмотрению, что ему деньги не в гроб класть, что дети не разорятся, если на свои деньги похоронят, и что поминки им обойдутся недорого, ибо его следует поминать, ему подражая, то есть не заботясь о закуске. А телевизор — что? Телевизор — сокращение жизни без радости взамен. Ну вот смотришь его — и что? Эта же дикость потом и лезет в глаза, снится потом всю ночь. А тут еще твои упреки, горьки, горьки они мне, твои упреки. Говоришь, что я по ночам кричу, а как не кричать, если такая международная обстановка. Нет уж, мамочка, я выпью, я покурю, потом еще приму для возбуждения сна и посплю. А если еще на утро останется, так это уже целый рай. А телевизор для чертей выдуман, то-то они в нем и скажут, да еще голые девки изгибаются, нет, мамочка, я хоть и любил в парнях в бани подсматривать да как купаются подглядеть, так ведь это было временно, кратко, и разглядеть в банное

окошко ничего не разглядишь, оно маленькое, оно закопченное, оно паром затуманено, а в реке девушки по шейку сидят, и больше визгу, чем смотрения. А тут, прости, Господи, сплошное прости господи.

Прослушав такой речитатив и арию, мама отворачивалась, махала рукой, что означало, что она даже и слов на отца не собирает тра- тить, пусть делает что хочет, лишь бы ей остатки нервов не мотал, над ней бы не издевался, на старости лет ее бы не позорил, а сам пусть позорится сколько хочет. Она уже устала с ним бороться, его уже не переделать, да у них вся порода такая, а вы, ребята, не рас- страивайтесь и внимание на него не обращайтесь.

Последняя работа отца была кочегаром в Северных банях. Она могла быть и в Южных, ибо кочегарки в банях нашего и не нашего Нечерноземья неразличимы. Просто Северные были поближе, а ко- чегары всегда требуются. Мы не какие-нибудь капиталисты, мы безработицы не допустим.

Кочегарка работала на газу, никакого сравнения с теми кочегар- ками, которые я прошел в армии и в студентах. В ней не кидали уголь лопатой, не качали вручную воду, не выгребали раскаленный шлак, не дышали горячей пылью, в ней вода качалась насосом, насос включался кнопкой, уровень воды и температура означались на при- борах, словом, кочегар в данной котельной справедливо именовался оператором газовой установки. Но котельная есть котельная, и в нее привычно сбредался знакомый друг другу народ, знающий как ли- цевую, так и изнаночную сторону жизни.

Отец наш обычно первенствовал в этих временных, но спаян- ных коллективах. Надо сказать, его любили, ибо он и к работе отно- сился ответственно, и умел поговорить, залечить душевные раны. В его популярности, в его авторитетности я убедился, когда в один из давних приездов по просьбе, как говорят, трудящихся искал питье. Где там! Город был сух, как позапрошлогоднее сено. Мне вообще иногда кажется, что вятичи существуют для того, чтобы на них ис- пытывать, что еще могут вынести русские люди. Их лишают масла и колбасы, сигарет и мыла, они никогда не знают расписания работы винных магазинов, безропотность вятичей изумительна. Вот отчего мы непобедимы — мы терпеливы. Но, видимо, кто-то исследует пре- делы этого терпения, и надо сказать, что вятские для такого иссле- дования выбраны безошибочно. Итак, я искал питье. Конечно, я боюсь, что академик Углов прочтет эти строки и меня осудит, но что ж делать, если питье требовалось до зарезу. Искал я тайком от отца, но его гениальное чутье вычислило мои заботы: «Ищешь?» «Ре- бята очень просили», — отвечал я. «Пойди в кафе на угол Свободы и Коммуны, скажи заведующей: я сын гардеробщика — и попроси что тебе надо». Не веря в чудеса, я пошел на угол улиц Коммуны и Сво- боды, сказал волшебную фразу. Мне вынесли просимое.

На этот раз мы с братом были детьми кочегара. И как раз соб- рались к нему на работу. Собственно, мы шли в баню. В этот суб- ботний день был день рождения у нашей сестры, они с мамой гото- вились, а нам было строго-настрого приказано сохранить отца до ве- чера, не допустить его до первой рюмки, ибо именно она — начало всех начал, остальные, много их или мало, только приложение.

Отец ждал нас у кассы. Просил спуститься к нему в котельную.

— Может, после бани?

— Я сказал товарищам, что зайдете.

Мы сошли по серым железным ступеням. Человек пять или шесть подали нам руки.

— Который доцент-то? — спросили отца.

— Этот, — показал отец, — завкафедрой.

Я заметил, что мудреное слово «доцент», пред которым и сам я робею, произвело на мужиков сильное впечатление. А выражение «завкафедрой» их поразило окончательно.

— А ты,— спросили меня,— при штабе, что ли, каком?

Думаю, что они умысленно спутали писателя и писаря, но и то сказать, какое может быть сравнение — доцент и писатель? Писать любой может, писать в начальной школе учат, а на доцента пойдика выучись, чай, надорвешься.

— Так чего, парни,— осторожно спросил отец,— может, по кружечке?

— Нет! — воскликнули мы, помня приказ мамы.— Нет! И тебе нельзя!

— Вам-то, может, до бани и ни к чему,— рассудил один из собравшихся на смотрины детей кочегара,— а отцу-то кружка не повредит. Тоже посиди-ка в кочегарке, это ведь не кафедра, не штаб.

— От кружечки-то, я думаю, не обеднеете,— добавил другой.

— Не обеднеем,— ответил брат.— Но отец на работе.

— Да-к это же не кафедра! — закричали все.— Это же, посмотрите, это же кочегарка.

— Да эту-то работу,— сказал отец,— я могу во сне делать.

— Кружку пива отцу родному пожалели,— проворчал кто-то в сторону, но так проворчал, чтоб нам было слышно.

Что ты будешь делать? Мы выдали денег на весь коллектив, но отцу, отозвав его в сторону, объявили свой и материнский вердикт: ни капли даже пива. Это нам было торопливо обещано, и мы, провожаемые пожеланиями легкого пара, пошли в баню. Еще нам не велели мыться шампунем, а то, сказали, потом как свиньи будем чесаться обо все косяки. «Я свой барак весь расшатал,— сказал один.— В войну делали сами, было мыло как мыло».

Баня эта, как, собственно, все почти общественные бани, была, конечно, суррогатом по сравнению с настоящей русской баней, так сказать, кастрюлей-скороваркой на городской плите по сравнению с котелком ухи на костре, когда костер горит на берегу, когда даже зудение комаров — музыка, когда размягченная душа позволяет расслабиться телу; лежишь разморенный, кажется, что все силы тебя покинули, а на самом деле они именно в такие часы копят для новых битв и свершений.

Северная баня была конвейерной, в парилке только первые минуты после перерывов на просушку можно было дышать, потом воздух перенасыщался водяными парами. «Чего это,— возмущались мужики,— кочегар-то с ума сошел, этак поддает!» «А не поддавал бы, опять бы нам неладно», — защищали мы кочегара. Мылись мы на скорую руку, ибо очень уж не внушал доверия коллектив, который в эти минуты, находясь под нами в немом состоянии, пропивал наше капиталовложение. Но как ни спешили, прошло полчаса. За эти полчаса компания в котельной повеселела и сплотилась. Мы с братом, думаю, сбросили своего веса, а они, по всему видно было, наоборот, в весе изрядно прибавили. Нас дружно поздравили с легким паром и вернулись к шумному, начатому без нас разговору, а мы сели в сто-ронке.

Один из мужиков делился опытом сидения в тюрьме.

— Там лучше,— говорил он,— там я человек. Вышел — никому не нужен, на работу не берут, что делать? Я витрину высадил, я ученый, по хулиганству неохота, мало дадут, но и до кражи не довел, чтоб не было со взломом, чтоб только года на два.

Другой, уже совсем старик, небритый и слабый, внезапно громко вздохнул.

— Не вздыхай тяжело, не отдадим далеко,— откликнулся отец.

— Как не вздыхать,— сказал старик,— скоро помру, и зарюют как собаку, неужели я даже отпевания не заслужил? Лежу ночью, ангелы поют. «Херувимскую!» Да разве вы слышали! А распевы! «Благословен, Грядый!» Или: «Во Христа креститесь, во Христа обле-

кохтеся!» Э-э-эх! Мне уже «Со святыми упокой» не дожидаться. Да уж хоть бы платок кто в гроб сунул, на том свете сопли утереть.

— Почему сопли? — вытаращился сидевший мужик. Не в смысле сидевший, хоть он и сидел на слабеньком стуле, а в смысле сидевший ранее в тюрьме.

— Как почему? Встретят меня там — и бац по морде. Тебя тоже. Заслужили.

Мужики приняли еще, принял и весело подмигнувший нам отец. Мы вздохнули, отказавшись от предложения участвовать в очередной здравице во славу раскрепощенного времени. Сидевший все матерился, все припоминал следователю старые обиды. Совал всем открытую пачку «Беломорканала», приговаривая, что это фирменные папиросы всех эзков.

— Кури, кури, ворошиловские стрелки! Ну и вот, и он мне кулаком по морде. Говорит: как по тюфяку бью. Я утираюсь, думаю, ладно, а ведь и ты сдохнешь. И так получилось, что я вроде как в бреду это вслух сказал. Нет, он говорит, вначале ты сдохнешь, вначале я тебя в лагере сгною. Я ему: нет, я не сдохну, я временно умру, а ты сдохнешь навсегда.

— Сейчас хоть писать стали, как над нами издеваются, — встал еще один мужик, которого я определил для себя как правдолюбца. В подтверждение прозвища он добавил: — А преступность будет расти, потому что сажают мелюзгу, а на крупных и законов нет. Грабьте, милые, на здоровье. Смотри, Медунова посадили? А наш Беспалов? А не при нем ли Вятку вконец отравили? На это есть законы? Вот сейчас нас придут заберут, и никому ничего не докажешь.

— Так бьют, чтоб следов не оставалось.

— А вот грузин на рынке мне говорит... — сказал еще один безымянный собеседник, — плесни... хорошо! Говорит: я бастовать не буду. Это я ему сказал: чего ты тут торгуешь, слышал, что в Тбилиси? Он говорит, если отделимся, кому я гвоздики буду продавать, кто их там у меня купит.

— Смотри, какой любопытный экономический подход, — прокомментировал только для меня брат-доцент.

— Мы слабо развитый рынок сбыта, — вступил наш отец. — Купим все, чего ни выкинь. Нас держать в нищете выгодно. Поэтому нам все время вдубаривают, что у нас низкий жизненный уровень. Но живала Русь и хуже. Смотри, штаны без заплат некому отдать доносить, это называется — ни хрена себе, дожили!

— Зависимость от иностранного капитала повлечет зависимость нравственную, — это снова мне брат-доцент.

Мужички еще тягнули, и вновь зашумел под ветром градусов разговор.

— Там рвануло, тут рвануло, какой-то СПИД, еще какого-то лешего, нет, пойду за решетку, там безопаснее! А тут вас все равно уморят. Все отравлено, и вас отравят, вы и не заметите.

— Он затрагивает, обрати внимание, вот какую тему, — оживился брат. — Мы вступили в период, когда природа начинает мстить за вторжение в нее. Причем у нас нет философии новых видов энергии...

— Нас голыми руками научились брать! — закричал безымянный мужичок. — Ты пахал и будешь пахать. И не пикнешь. Вот сейчас по пьянке поорешь тут и доволен. Сейчас признали, что борьба с вином была убыточна, на нас все держалось, на наших рублях, и с нами же боролись, нас же презирали, нас же за людей не считали. Поили столько лет и опохмелиться не дают. И хоть ты что, хоть заматерись хоть в трон, хоть в закон, хоть по матушке. За свои же деньги и трясешься. И кругом виноват. Все правы: и жена, и партком, и местком, один ты живешь Ваня Ваней.

— Сравнения с нэпом никакого! — давил свое отец. — Никакого. Какой нэп, когда еще анархию не прошли. А еще вдобавок пропаган-

да новой революции, будто не хватило еще. Лионские ткачи! — неизвестно зачем добавил он, видно, проблеснуло в памяти выражение из политграммоты давних лет.

— Живала Русь и хуже? — вспомнил выражение отца старик. — Живала. Но почему раньше она хорошо жила? Она была на своем месте, а ее со всех мест сорвали. И живем хуже всех, и все на нас свою вину сваливают, во всем русские виноваты. Ведро водки стоило полтину, и пьяных не было.

— Кому немного надо, тот победит, — сказал отец афоризмом, — а кому много надо, тот и злобствует и в желчи умрет.

— «Идем неизвестными путями!» — передразнил кого-то правдолюбец. — Конечно, пойдешь неизвестными, если известные разрушили.

— Пение это, «Херувимская», такое было, что никакого сравнения! — проговорил наставительно старик, перед тем как впасть в забытье. — Это пение было между соловьем и ангелом. А татарье и монголье иго мы победили и немту победили на одной картошке, а они на шоколаде не смогли.

— На кой хрен такая гласность, пусть бы ее и не было, гласности, да мыло б было.

— Спекулянты, — вступил отец, — перевернулись в кооператоров. Мыло скупают, расплавляют в формы зверей и животных, такусенькие, — он показал полмизинца, — и продают за рубль. Хоть ешь, хоть мойся. Взяли моду правду говорить, и мы опять вышли дураками. — Тут он нечаянно уронил крылатую фразу: — Если правду не скрывать, ее и говорить не надо. Заменяли ТЮЗы на колхозы, и началась гибель народа на корню. Кабы не было зимы, не было бы холоду, кабы не было колхозов, не было бы голоду. В колхозы гребли подчистую. Хотя до войны некоторые выровнялись, приближались к уровню нэпа, стремились к уровню тринадцатого года, уже начали кормить зерном Германию, и она разлакомилась. Нет, с нэпом никакого сравнения. Тогда цены падали, сейчас под потолок. Тогда о качестве не говорили. Продают чего — значит, качественно. А совести не стало, заговорили о качестве. Знак придумали, везде штампуют. Только на капусте его нет — расползется. У-у, спекуляторы, — закончил отец, объединив спекулянтов и кооператоров.

Заговорили о выборах.

— А кого бы ни выбрали, нам по бутылке не поставят, — заявил один из мужиков. — Так ведь, товарищ профессор?

— Да-а, — протянул отец, — а раньше, ох раньше! Земство после выборов бочку-сорокаведерку выкатывало.

Так же целенаправленно, подстрекательски мужики вспомнили, как ходили по вагонам в белых фартуках, с графинчиком, с закуской официанты, как это все было дешево, культурно, какое уважение было к людям, а если к людям стали относиться как к скотам — чего тогда от людей ждать.

— Может, домой пойдем? — спросил я отца. — Пока не поздно. Но мужики зашумели:

— Чего это из-за двух часов смену терять?

— Мы заплатим сменщику.

— Вот ведь как доценты-то! — ехидно сказал въедливый мужик. — Денег не считают, деньгами швыряются.

— И отца рады от людей оттянуть, — поддержали его.

— Мужики, а мы ведь их вроде с легким паром проздравляли.

Мы с братом, как воспитанные люди, не дожидаясь напоминания, что после бани последнюю рубаху продай, да выпей, выдали им на поллитру. Кто-то побежал. Мы отозвали отца в сторону, напомнили про день рождения сестры, что дома всего полно, что там закуска замечательная, что хорошо ли это — рукавом утираться после рюмки. Отец курил, нетерпеливо поглядывал на лестницу. Нас, однако, похвалил:

— Это вы, парни, правильно на бутылку дали. А то вы ушли мыться, они очень вас осуждали: говорили, вот какие нынче доценты пошли, отец их выучил, вырастил, на ноги поставил, а они ему сунули на кружку пива и рады — отделались, выполнили сыновний долг.

Принесенная посуда вмиг опустела и произвела такой эффект, что нас вновь решительно осудили.

— Мужики говорят: с нами выпить брезгуют, сами-то небось коньяк икрой заедают, а отцу родному кинули, как нищему, на бутылку,— сообщил отец, подойдя к нам.— Не могу же я им сказать, что вы мало зарабатываете. Зачем тогда, скажут, учились, катали бы бревна, самое малое — три сотни.

— Хорошо,— согласился наиболее терпеливый из нас.— Вот, возьми на коньяк, но это последнее. И сам не пей.

— А разве я пил?

Кончилось тем, что мужики вместо коньяку опять купили белого. Отец, поддерживаемый нами, покинул котельную и добрался до дому, где был лишен ближайших прав на участие в дне рождения, где мама велела ему немедленно ложиться в постель, что он и сделал. Лежа закурил и, засыпая с горящей сигаретой в руке, сообщил нам, что, по общему мнению его товарищей, мы все же дураки.

— Почему?

— Хоть вы их и поили, и все равно дураки.

— Но почему?

— Говорят, кто же в баню с деньгами ходит. Говорят, всех не напоишь. И меня, это тоже на вашей совести, из строя вывели. Сами-то сейчас пойдете за столы сядете. Мне хоть чекушку принесите перед сном выпить. Для возбуждения сна.

В завершение скажу, что отец пока сидит дома, но не исключено, что мы с братом будем сыновьями еще кого-нибудь. Потому что отец внимательно читает объявления о приеме на работу. «Я везде требуюсь»,— говорит он.

Паперть

Церковные паперти, если кто обращал внимание, весьма разнообразны по архитектуре: просторные и тесные, высокие и низкие, с затейливой резьбой и совсем простые, иногда соответствуют стилю самого храма, иногда вовсе не зависимы от него и так далее. Интересна и повседневная жизнь паперти, ее обитателей. Вот временные — деточки, которых несут крестить, и если служба затягивается, деточек выносят на паперть и разворачивают, освобождают головку из кулечка, вот жених и невеста, их родители, свидетели, вот они застыли для фотографии и сбегают через секунду по чугунным ступеням, а вослед их крестят старухи; а вот и постоянные обитатели — нищенки и нищие. Я многих у нас в селе знал, с ними здоровался, разговаривал. Я у них ходил просить монетки для телефона-автомата. От них узнавал церковные новости: и кто сегодня служит, и кого это привезли отпевать, то есть чья последняя крыша, голубая или красная, прислонена к стене. Хотелось исследовать еще вот какое место папертной жизни — милостыню. Ведь в милостыне есть тайна. Когда мы даем копеечку, то вольно или невольно, даже сострадая нищете, от чего-то как бы откупаемся. Принявший же милостыню берет на себя ответственность молиться за давшего подаяние. Я, например, много раз нарывался на отказ принять протянутую мной мелочь. Стоит старуха на паперти, думаешь, подаяния ждет, нет, совсем другое. Есть и такие, что собирают, просят даже подать, даже сердятся друг на друга, даже я знал и таких, собирают не на кусок хлеба, а на выпивку,— но что из того? Встаньте-ка на их место. Разве

случайно сказано: «Вели, Господи, подать, не вели, Господи, принять». Подал и радуйся, что в силах подать, а грех или обязанность на том, кто принял милостыню. Знал я там ясноглазую, веселую нищенку Марию, она звала меня братом, всегда у нее были для меня наготове двухкопеечные монеты, и она очень сердилась, что я, взяв монеты, не иду в церковь. Даже кулачком толкала в спину: «Иди слушай». И именно здесь, на паперти, я встретил Степана. На вид ему было под пятьдесят, волосы черные, густые, а большая растрепанная борода вся седая. Он продавал маленькие круглые образочки Богоматери с младенцем.

— Казанская,— говорил он старухам,— заступница наша небесная, кто на нее надеется, тот не погибнет.

— Истинно,— подтверждали старухи.

Марии что-то не было, я попросил его разменять мои серебряшки по две копейки.

— Выбирай,— ответил он и достал из кармана тяжелый целлофановый пакет с мелочью. Я набрал побольше в запас и наугад высыпал в его большую ладонь свои монеты.

— Вам сколько образочков?

— Нет, это за обмен.

— Принимаю с благодарностью. А что ж образочек не купите? Для защиты от бед, а умрете — попросите с собой положить. Мы ведь все на том свете будем сиротами казанскими.

Взял я и образочек. Он сыпал в пакет мелочь и сказал:

— Не подумайте, что это пойдет на плохое, я со дня смерти жены не пью, это пойдет на вечный двигатель.

Я посмотрел в его темные немигающие глаза.

— Зачем же тратить деньги на утопию?

— Еще один Фома неверующий! — воскликнул он.— Да у меня шесть проектов вечного двигателя! И не говорите мне о трении, я его убираю, и вовсе не за счет подшипников.

— Но убрать трение невозможно, это же азбука физики.

— У меня в основе не физика, а биология. Я развожу биологических бацилл движения. Двух видов — весомых и невесомых. Сейчас делаю невесомых бацилл реактивных. Им трение не угрожает.

— Хорошо. Вы можете объяснить принцип, показать хотя бы один проект? Самый простой хотя бы,— попросил я.

— И этот в соавторы! — объявил он в пространство.— Но хорошо, поможете пробить стены Комитета по делам изобретений, будете соавтором.

— Согласен,— весело сказал я, но споткнулся о его прямой взгляд.

— Уж бочку-то с водой вы найдете? — спросил он.

— Найду.

— И пружину.

— А зачем? Ну найду.

— Ставите бочку на пружину, в пружине стержень, на нем поршень, бочка сверху давит на поршень, поршень по пути вращает колесо и выдавливает воду. Дойдет до конца, пружина поднимает бочку без воды в исходное положение. по пути она наполняется — и весь принцип.

— Это невозможно,— решительно сказал я.

— Почему? Аппарат мой построен на основе природы, кто же может противостоят законам природы? Смотри: поршень идет вниз самовольно, а вверх принудительно. И это называется что? Ра-бо-та.

— Может быть, я бы на схеме понял? — попросил я.— Может, нарисуешь? Пойдем ко мне, я тут рядом.

— А участковый к тебе ходит?

— Нет. Я не постоянно тут, у одной бабки временно снимаю,

— А икона есть в доме?

— Есть.

— Приду. Приготовь бумагу и карандаш. Но чтоб тайно. А то участковый мне не верит. Я испытывал вечный двигатель, тоже на воде. Из-под крана. Когда участковый пришел, двигатель работал. Весогруз ходил, как маятник. Он не тронул, пошел за свидетелями, а у меня трубка лопнула, вода разлилась, а он трех привел.— Без паузы и в той же тональности он продолжил: — я и лодку изобрел. Чем глубже, тем быстрее идет. Выходит из воды и летит над чем угодно. Авторство скрыть не удалось, дошло до генерального конструктора. Он посмотрел и тоже как ты: «Это же вечный двигатель, о, я боюсь!»

— Как тебя зовут?

— Степан,— отвечал он.— Цыгане назвали, а свое настоящее имя не могу говорить, узнают потом.

— Степан, вот мой дом,— я показал дом, где снимал боковушку,— буду ждать. Чай поставлю.

— Обедня отойдет, и приду,— пообещал он.

Вскоре он пришел, перекрестился, снял пальто, а портфель, севши на стул, зажал между ног. Все на нем, и пиджак, и рубашка, и брюки, было чистым и крепким. Я об этом потому упоминаю, что он похвалил мой закуток, а о себе сказал, что живет в подвале из милости дворника.

— Непохоже, чтоб ты ночевал в подвале.

— Там воды много, стираю. И трубы горячие, быстро сохнет.

Я угостил его картофельной похлебкой, положив перед ним две ложки на выбор, деревянную и железную. Он ел железной, но ел плохо, а все говорил и говорил.

— В чем причина долголетия? Не надо создавать в организме излишнюю теплоту. И не надо потеть. Пот выедаёт волосы на голове, и даже лошадь стареет. А лошадь рассчитана на сто лет.

— Но как не потеть? Как же тогда работать?

— Как? Начались перегрузки — встать. Возьми старушек — умный народ. Ходят спокойно, теплоту берут из внешнего мира, свою берегут. Свою энергию для тепла не расходуют. Ноги озябли — кладут грелку. Но если женщина полная, как ей быть? Не бегать ни в коем случае, не курить, в еде не ограничиваться, тут нужно другое,— и через два месяца будет как пружинка.

— А что именно ей делать?

— Но я же изобрел,— отвечал он и безо всякой последовательности, не рассказав ни мне, ни полным женщинам, как им похудеть, похвалил картошку в моей похлебке: — Такая же была в Сасово, я хотел там жить, но не было прописки, подали в милицию под скулу, с этой стороны зубов нет, и в живот. Отвезли в Мичуринск, во вшивый спецприемник, держали два месяца. Начальник входит по утрам, на руках злая собачка. Он ее гладит: ну что, хотите работать? Я говорю: да кто же не захочет от такой жизни? Работа человеку не полезна,— тут же сказал он, принимаясь за налитый мною чай,— полезно только одно — чертить в конструкторском бюро. Я за шесть лет все теории раскидал, дошел до того места, где остановился Исаак Ньютон. Пошел дальше, взялся за твердые и мягкие металлы, за соленые жидкости...

Не знаю как кому, а мне слушать было интересно, я его не перебивал.

— Меня отнесли к тунеядцам, а некоторые к больным. Я больным быть не могу, я изобрел здоровье. Но никто этого не понимает, что больных нет, все здоровые, только разные. Ребенку сразу дается большая голова, и под ее управлением растет остальное тело. Мозг всегда здоровый, но есть глупцы, и их надо обучать. У мозга есть свои выходы в космос, и есть своя невесомость внутри черепа.

— А как обучать?

— Начинать с вопросов: почему мухи просыпаются в одно время, почему? птицы улетают почему? инстинкт или Божья воля? Могли бы и не петь нам, букашек можно есть и молча. Почему фокус света солнца разный? Я люблю природу, но вначале надо дать бой чиновникам. На эту тему я записал мысли на магнитофон. Кому отправить? К ним же и попадет.

— Еще налить чаю?

Он подумал и кивнул. Пока я наливал, он говорил:

— Надо было с детства прицепиться к государству, а я шел своим путем и остался без паспорта. Тут и цыгане играли роль.— Он принял чашку с чаем и, размешивая сахар, вдруг предложил мне: — Вот возьми и кинься во вселенную и дай по ней напрямик лет двести со скоростью света — и что?

— И что? — спросил я.

— И попадешь в постоянную температуру. А вселенная, ну это теперь все знают, бесконечна, лети и лети. Только мозг может все обогнать. Ты вот подумай, что достиг края вселенной. Подумал?

— Подумал.

— Но нет же края! А мозг достиг.

Поддельваясь под его рассуждения, я спросил:

— Значит, и ты достиг края?

— Достиг. Но на краю я снова подумаю. Вот посмотришь — пройдет два-три триллиона лет, и земля расколется на несколько живых планет, для того и живем. Мы рождены, чтоб делать почву. Больше от нас космос ничего не просит, в космосе почва не рождается. Мы себя выращиваем, используем водород и кислород и увеличиваем землю. Только не надо сжигать себя. Вырежь кусок почвы — вся живая, а мы на ней сжигаем. Я дошел до высшей конечности материи — не надо сжигать результатов жизни. На горелом не вырастет, а на кладбище растет.

Меня он ни о чем не расспрашивал и моих вопросов не ждал, а сам все говорил и говорил. Можно было подумать, что он чокнутый, когда его завихривало, но взгляд его был ясен, и если его мысли были сбивчивы, то есть как-то не сопрягались милиционеры, паспорт и космос, то внутри каждой отдельной мысли была своя логика, причем совершенно понятная, и если спорная с нашей точки зрения, то бесспорная по его мнению. Вот он отодвинул чашку, перекрестился после еды и продолжил:

— Жил я нормально, цензурно, нецензуры на заборах не печатал. Ведь ты же не скажешь, что я из табора, сразу заметно по моим мыслям. Цыган интересуется конский базар шесть раз в неделю. За лошадь ребенка отдадут. У них к детям силовое понятие. И вины нет, а ходил в шишках.— Вдруг он строго посмотрел на меня.— Мысли мои не пропадают, они у других, как пар, испаряются, а у меня закреплено за счет рефлексов.— И сразу без перехода спросил: — Что такое свет? Что перед тобой? Кислород? Мы живем как в прозрачных чернилах, в них можно двигаться только со скоростью света, не больше, подумай сам. Со скоростью света в свете. Подумал? То-то... А что такое вера? Вера — это свободное мышление. А что такое квартира? Это заблуждение от климата. Возьми Африку, зачем им отопление и зачем им разводить зверосовхоз для мехов? Не надо квартир, надо убрать мороз, но никто же меня не слушает.

— Я слушаю.

— Потому что мыслящее существо. А вот убрать твои мозговые клетки, их аннулировать, и будешь как чурка, мать родная в камеру зайдет, и не узнаешь.

— А можно узнать твое полное имя?

— Меня в таборе звали Степан Дунаев.

— Ты вроде не похож на цыгана.

— Украли. В милиции украли,— уточнил он и вернулся к теме разума и изобретений: — Я изобрел такое — вот ты идешь, я на тебя навожу свой тепловой луч и отражаю на свой экран — и вижу твои мысли; возбуждаю твою память — и вижу твоё прошлое. Вообще память много, мозг такой, что в него все можно впихнуть, всю продукцию институтов, ни одна ЭВМ столько не выдержит. В мозгу есть такие клетки организма, их хоть к железу привари — жить будут. Но мозг один, вот что не продумано. Вот человек пьет, его голову присоединить непьющему туловищу, и тело запыет. А как не пить? Надо принять постороннюю энергию и ходить шагом.

Я решил вернуть его к тому, о чем мы говорили при первом знакомстве.

— Степан, у тебя в портфеле проекты вечного двигателя?

Он испуганно стиснул портфель ногами, даже рукой пощупал.

— Не бойся, мне не надо, я в них ничего не понимаю, в школе мне доказали, что такие двигатели невозможны.

— В школе учат одно, а когда очистишь себя от грязи чужих мыслей да когда Господь вразумит, тут и невозможного нет. Мы ждем гостей и дом чистим и убираем, так же надо и мыслей ждать. А то придут мысли, смотрят, зайти-то некуда, и повернут к другому порогу. Я закон открыл, но я его скрываю. А то дети начнут строить по моим чертежам — на каждом углу вечные двигатели будут валяться. Но лет через десять—пятнадцать открою, пусть в каждой школе будет генератор. А что такое генератор? Надо в него загнать явление природы. Аппарат загружаю явлением природы, и он работает. Я начал с двух явлений, сейчас загружаю аппарат четвертым. Аппарат мой пользуется явлениями, как печка дровами.

— Какие явления? — простодушно спросил я.

— Двигательные,— отвечал он еще простодушнее.— А знаешь, что Советский Союз ожидает, не знаешь? Мои двигатели наберут силу, и нефть и политика будут не нужны, и все пачками побегут в церковь. Труда не будет, лошади будут жить по желанию сотни лет, сосредоточатся по рекам, плотины я уберу, вода потечет своим ходом. Лошадей не надо будет красть и менять на детей. А жару я перемешаю с холодом, и совершится температура постоянства. Сейчас верблюды идут к реке Нил, а будут ходить безразлично где.

— А крокодилы? — спросил я. Честно говоря, тут я, хоть оно и грешно, подсмеялся над ним, но он серьезно отвечал, что и крокодилам будет одинаково хорошо и в тундре и в Африке.

Тем временем закипел и второй чайник. Я заварил свежий чай, выждал минут десять и налил покрепче и Степану и себе. Степан не отказался, вновь крестя лоб и вновь размещивая сахар. Он сообщил все новые и новые открытые им идеи и изобретения. Сказал, что у него готов вечный двигатель и для космоса.

— Он на бациллах движения работает? — спросил я.— На реактивных? — Я сознательно хотел проверить, помнит ли он то, что недавно говорил.

— Может и на реактивных,— отвечал Степан.— Но это-то самое элементарное, там же нет трения, это же не земля, по ней ходишь в тесных ботинках и чувствуешь трение. Разуешься — сразу легко. Вот тебе пример, как от трения освободиться. Тут только равновесие преодолеть.

— Но у тебя хоть один двигатель работал? Кроме того, который участковый видел? Он за свидетелями пошел, а у тебя трубка разорвалась.

— Теория выше практики,— отвечал на это Степан.— Практику и баран сделает. Собирай детали по чертежам и ходи в кассу. У меня два приоритета, когда будет третий, буду паспорт просить. Все

изобрел, даже вечность изобрел, а живу как шпана в подвале, на трубе рубаху сушу... — Здесь, впервые за весь разговор, он задумался — я почувствовал, что он думает, что сказать, — и сказал: — А все идеи в хижинах, а война во дворцах. Кто из хижин пришел во дворец, тот для космоса умирает. Христос к бедным шел, а Понтий Пилат руки умыл. Я вчера Понтия материализовал и поговорил, сильно кается. — Далее Степан вновь сбился: — Участковый сказал: оформляй заявку, а кого поймем по макету твоей идеи — привлечем. Мне сейчас главное — узнать, сколько водорода и кислорода уходит на изготовление одного кубического метра земли. Когда я отвечу на это, я замерю всю будущую почву земли.

— А мне кажется, что для тебя нет ничего невозможного.

— Это я тоже изобрету, — серьезно отвечал Степан.

— Изобретешь что?

— Исключу невозможное.

— Но есть же невозможное! — воскликнул я.

Степан вскочил и перекрестился на видневшийся в окне купол церкви.

— Я на Божеское, упаси Бог, не смею и взглянуть, я только подчиняю природу.

— Мы уже однажды ее подчинили.

— Не мы, а бесы подчинили. Я вхожу с ней в сотрудничество как старшее существо: для природы подчинение мне — ее законная работа, без работы она простаивает. А бесы ее лишают воды, а вода — кровь земли, бесы переливают кровь, заражают и опять переливают. Чем меньше воды, тем меньше жизни. Сила природы сякнет.

— Ты про мелиорацию? Про Министерство водного хозяйства?

Степан отбежал в угол к рукомоинику и долго отплевывался в поганое ведро. Но и оттуда в перерывах говорил:

— Сила природы естественна, природа может делать то, что мы разучились. Смотри на примере: ребенок попадает в гнездо волчицы и через год превращается в волчонка, бегаёт на четвереньках, и обратно не переделать. А дай волчонка женщине, она из него и за десять лет человека не сделает. — Он вернулся к столу, снова зажал портфель в ногах. — У меня заявок только подавай и подавай. На все отрасли науки и техники. Только нельзя, чтоб за границу ушло. В случае чего ты должен будешь подтвердить мою гравитацию, сможешь?

— Смогу.

— Я и стихи пишу. Другой пишет все гладенькое, а я все жизненное влаживаю.

— Наизусть не помнишь?

Он сжал бороду в ладонях и поднял сразу сузившееся лицо к потолку.

— Нет, не помню... — Еще подумал. — «О, сколько нужно мук, чтоб пересилить боль!» А еще раньше я читал наизусть про аппарат «Ураган», я его изобрел ловить волны, чтоб морское волнение не пропадало. Для кручения лопастного колеса. Потом был аппарат «Зыбь». У меня есть такие аппараты — никому не построить. Хочу построить земной шар, будет даже вращаться.

— Глобус? — спросил я.

Он совершенно спокойно сказал:

— На глобусе как жить? Он только для указки. Уж строить земной шар — так уж строить. Только я на нем Шиловский район Рязанской области не обозначаю. Хозяйка хотела прописать, не дали. Били вшестером, я вьюном крутился у ног, уполз в кукурузу, лежал два дня и истекал кровью. У нас скоро триста миллионов человек, но накинь на каждый миллион по две тысячи бродяг, накинь, прибавь и тогда кое-что поймешь.

— А кто тебя бил? Опять милиционеры?

— Строители. Я им сказал, что луна скоро свалится, будет новая комета Галлея, будет лететь при холоде двести восемьдесят градусов по Цельсию, ее захватит тепловое трение, все произойдет в одну миллионную века.

— А что вы строили?

— Баню у Григорьича. Меня пугали: не строй баню, разрушим. Написали в сельсовет, оттуда в район и область. Приказали явиться. «Где проект?» — «Строю из ума». — «Сделать». Сделал, показал. «О, это же проект коммунальной бани, тут склад, парная, раздевалка на двадцать четыре человека...» Думали, думали... «Строй!»

— Но зачем же такая баня Григорьичу?

— Велели строить по проекту, но я захандрил, а Григорьич умер. Жена его написала легендарному полководцу, тот приехал, разогнал всех: «Где Григорьич?» «Вон, где баня, там просил похоронить». Подошел к могиле, он был чуть ли не маршал, постоял в молчании. «Это был мой командир, спас мне жизнь». Положил на могилу генеральскую шапку. А я уехал в Кучино на горьковскую дорогу, там, где московская свалка, жил с Галей на свалке. Вот я весь оттуда оделся и обулся, и портфель — чистая кожа — оттуда. Еще в подвале японская одежда, куртка, в Японии есть патриотизм — камикадзе. А есть подвиг со страха — хочется жить. Я изобрел бы изобретение от страха, но оно уже есть.

— Какое?

— А бессмертие-то? Душа-то бессмертна, чего тогда бояться? — Тут он встал и перекрестился.

И второй чайник закончили. Степан пересел на диван, откинулся. На секунду прикрыл глаза, я думал, что задремлет, нет, вновь заговорил:

— Я не виноват, что родился в век дураков, что никто не верит. А вот машина моя закрутится — как они на меня посмотрят? Как будто я не могу деньги зарабатывать, по полторы тысячи за ночь, по пятьсот за день.

— Ночью дороже?

— Еще бы! Могилу раскапывать с фонарем или при солнышке? Он приходит: «Ах, ох, отца в моем пиджаке схоронили, в пиджаке все документы, помоги!» «Пиши расписку на пятьсот рублей». Написал. Пошли к сторожу Ахмету, тот уперся. «Только ночью». Тогда я: «Пиши расписку на тысячу». Написал. Ночью пришли. «Держи фонарь». Держит, я копаю. Ящик вина привез, сам выпил для смелости и еще сильнее трясется. Он же загрузил психологию. Выкопал гроб, крышку поддел, в сторону. Покойник весь уже дутый, глаза открытые. Тот в обморок. Фонарь упал. Я его обрызгал вином, очнулся. Говорю: «Пиши расписку на полторы тысячи». Трясется, пишет. На крышке гроба пишет, неудобно, карандаш на материи проседает, бумагу рвет. Да и рука, а как ты думаешь, трясется.

— А еще какие заработки бывали?

— Ведьму раз в Тульской области отпевал, старухи наняли. На болоте, на острове, в колоде, иконы из ее избы горелые. Меня с вечера приводят пятнадцать бабок: «Оставайся». Уходят, за собой разберут кладку, чтоб я не сбежал. Псалтырь читал. Гроб подымался, она в нем сидит, головой приветствует. Я самогонки махну, еще махну и все равно как не пил. Гроб летает.

— Это ты Гоголя начитался.

— У него в церкви отпевали, а у меня намного сложнее. По пятисот за ночь, полторы тысячи дали без удержания бездетности. Там еще был почтальон Косяк, на корове ездил. Пьем — пистолет на столе. А то и стрельбу устроим. Идешь по деревне — головы из окон. «Сколько лет?» — «Семьдесят». Стрелять бесполезно. «Живи!» Там хороший народ. — Он секунду помолчал и сделал неожиданный, но логичный вывод: — Глухой сильнее, потому что умственный

потенциал берет больше энергии, но я всегда побеждал морально.— Степан говорил безостановочно и все о разном и о разном, вот что он вещал далее: — Воровали и будут воровать, выход один — сделать человека полковником, тогда ему воровать будет неудобно.

— Всех же не сделаешь полковниками.

— Тогда и не судить.— И — без паузы: — Делаю невесомость в быту. Вот приходит муж домой, входит в комнату, и разуваться не надо — летает над женой, а та моет пол. Он над ней летает. Или изобрел еще дирижабль, чтобы не тратить самолетами кислород и водород. Дирижабль грузишь углем, тысячу тонн, две, три, это не принципиально, я их сжимаю и лишаю веса, уплотнить ничего не стоит, дирижабль летит налегке. Привез, вывалил.— И снова без паузы: — Ты хочешь долго жить?

— Когда как.

— Ну это ясно. Знаешь, для чего я тебя держу?

— Для чего? — изумился я.

— Ты будешь свидетелем изобретений.

— Хорошо. Но как же жить долго?

— Длительность жизни создана в детях. Детей мы держим не для потомства, а в них мы пересядем. Пересядешь в сына и женишься на молодой, так же и жена поступит с дочерью. У женщин психология на рефлексах, а у мужчин вечность, у них анатомная энергия.

— Анатомная?

— Да. Живая клетка бежит от холода и жара. Проверь на простейшем червяке. Он ползет, положи на его дороге горячий уголь, он его обогнет. Надо еще вернуть активную воду, тогда травы и деревья будут расти по одному циклу за ночь. А для человека я изобрел попутное освещение. Вот он ночью идет, и свет в этом месте загорается. Он прошел — гаснет. Это экономит энергию и освещает бесконечность мысли. Я десять лет задавался этим вопросом.

Я подошел к окну, поглядел на колокольню и встряхнул головой. Скоро зазвонят к вечерне. Пойдет ли он к вечерне? Если он еще часа два поговорит, наверное, и я заговорю, как он. Я спросил, бросаясь в крохотную щель меж бациллами движения и тренировками живой клетки:

— Значит, ты был женат?

— Да. Жил на свалке с Галей. Родился ребенок — Светочка. Когда были морозы, подъехала милиция, выгнали. Облили нашу хибару бензином и подожгли. Заохотали и уехали. В двух километрах строились склады бетонные, пошли туда, там жили свалочные собаки, они меня знали. Я развел на полу костер, выгнал стаю огнем, глядим, а ребенок замерз.

— Замерз?

— Да, умер совсем.— Вообще Степан говорил о чем угодно одинаково.— Умер. Галя руку обморозила, пока его несла, тряпочки тонкие. Трясет Светочку над костром, греет, умерла Светочка. Я утром взял лом, рядом там Пашинское кладбище, долбил, долбил, и в этих тряпочках Свету похоронили, присыпали. Стали под целлофаном ночевать, сверху снегу нанесло, внутри тепло. Нас свалочник обманул, брал у нас на сохранение деньги, тысячу рублей, и обманул, исчез. Мы деньги копили, чтоб к лету в сельской местности домик купить и со Светочкой жить. Я банки и бутылки собирал, Галя их мыла, надо все перемыть на холоде, да шоферу дать пятерку, отвезти да за половину сдать. Вернулся, от Гали записка: «Ушла, жду на кладбище, на могиле дочери, все узнаешь». Я туда, сам сверток, в нем портвейн и сигареты «Астра», я тогда курил. И кусочек хлеба и колбасы. Я обратно. Утром говорят: «В Реутове женщина под поезд попала». Я туда. В милиции гонят: «Много их таких, иди в морг». Пришел, нет, среди всех не опознал.

— И так и не нашел?

— Нет. Но пить и курить навсегда перестал. К церкви прилепился, старухам псалтырь читал. Не гнали, кормили. Стал изобретать. Изобрел прибор, как часы на руке. На ремешке. Как только краснеет — бросай работу.

— И стал ходить со своими изобретениями, да?

— А чего ходить, если все переучены на другой бок. Говорят: «Формулы, формулы», — а глаза пустые. Какие формулы? Мне откровение дано. Еще изобрел трату тепла от животных, зимовал над хлевом коровы, рассчитал площадь хлева, добавил электричества, еще и куриц к себе взял, хозяйка просила. Одна курица на меня все садилась, вместо насеста. Выждет, пока я усну, и сядет. Еще я вывел закон рождения. От большой может родиться здоровый, а здоровая может брать здоровье от ребенка, за счет его жить, и рождается задохлик. Я знаю, в Саратове от одной, совсем завернутой, родился нормальный. Надо готовиться к рождению с одной радостью.

— А как ты в Саратов попал?

— Из Воронежа. От цыган ушел. Потом был в Тамбове, завод «Комсомолец», арестовали у станка. Били: «Где пистолет?» «Какой? Мне его дайте, не знаю, как выстрелить». Потом во мне дар открылся. Он с детства открылся, цыгане на время закрывали, заставляли плясать и воровать. Я в детстве в двухлетнем возрасте мать обличил за связь с офицером. Она закрыла меня в доме умирать. Я все цветы на окнах обьял. Соседи сказали в милицию. Меня туда, а там были беспаспортные цыгане, они меня украли, назвали Дунаев Степан. Потом я открыл энергию, потом понял вселенную.

— Послушай, — я решил хоть чуточку с ним не согласиться, — ты говоришь, что у вселенной нет конца?

— Нет.

— Но она материальна?

— Конечно.

— Но ведь любое материальное, как ни растягивай, конечно. И по размерам и по времени, я так думаю.

Тут раздался первый удар в колокол.

— К вечерне звонят, — сказали мы враз.

Степан засобирался, я пошел его провожать. Портфель свой он так и не открыл. На паперти мы встретили Марию.

— На вечернюю службу пришел? — радостно спросила она, — молодец, брат!

— Да нет, Степана пришел провожать.

— Ты Степана не слушай, ты иди батюшку слушай. Иди, иди! — Она стала толкать меня за порог.

— Образочек не купите? — спросил меня Степан, как совершенно незнакомого. — Казанской Божией матери.

— Я же утром купил.

— Еще. На том свете мы все будем сиротами казанскими.

— Хорошо, давай. — Я протянул руку.

А Мария как раз подавала мне приготовленные монетки для телефона-автомата. И тут проходила в церковь старушка, которая сочла, очевидно, что я нищий, и тоже положила мне в ладонь пятак. Я нерешительно постоял, приняв подаяние, потом переадресовал его Степану.

Над нами гремели колокола. Мария радостно сказала, что срок ее послушания, оглашения кончается и скоро она будет подходить прикладываться ко кресту.

— И ты, брат, тоже ходи, — сказала она Степану. — Испроси у батюшки послушание по силам, отбудь и ходи.

Степан только покосился, он продавал образец подошедшей старухе и назидал ей:

— Мы — свободные граждане без кавычек и без паспорта, а на том свете все будем сироты казанские.

Мне досадно было, что он начисто меня забыл, я подошел к нему.

— Значит, у тебя все изобретено?

— Все природа изобрела, — отвечал он совершенно вразумительно, — а Бог воодушевил, нам только пользоваться. Вот пример: болеют раком, а это не заболевание, а психология. Клетки на себя замыкаются, до пересадки мозга дошли, а дать энергию клетке для разрыва блокады не можем.

— А как?

— Создать энергию питания, долго ли!

— А как с остальными болезнями?

— Сахар не допускать. Сахар нужен только для питания мозга, остальное он засахаривает, возьми прошлогоднее варенье и попитайся им неделю. Невесомости не добьешься, еще Ломоносов изучал: летит туча по небу, тысячи тонн воды тащит, а на землю не падает — почему? И не поймут! К месту приставлены, ведут полемику, а нет КПД, полезного действия нет.


— У кого?

— У лейтенантов. На работу устроить, квартиру дать — это долго, и ему выгоды нет, а оформить в тюрьму быстро и выгодно, тут стараются.

Колокола стихли, я поднял голову — прорезались в небе звезды. А и в самом деле — выйти бы во вселенную да дать бы по ней лет двести со скоростью света.

Было видно, как внутренность церкви освещается все сильнее, это зажигались новые свечи. Мария решительно развернула меня по направлению к свету и стала толкать через церковный порог.

Автор переводит гонорар в фонд восстановления храма Христа Спасителя на счет № 100700939 в Дзержинском отделении Жильсоцбанка Москвы.



ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

*

ПОТАЕННЫЙ ЛИК

В край Киреевских...

В край Киреевских, серых
 зарниц,
под шатер карамазовских сосен,
где Алеша, поверженный ниц,
возмужал, когда умер Амвросий,
исцелявший сердца на крыльце,
ибо каждое чем-то блазнится,
куда Лев Николаич в конце
то раздумает, то постучится,
я приехал в октябрьскую мгу
посидеть, наподобье калеки,

у руин и никак не могу
приподнять задубевшие веки.

...Надо встать, да пойти, да купить
настоящей отравы бутылку,
карамели какой — закусить,
чтобы стало лицу и затылку

сразу весело, жарко. А то
в шарф упрятать простывшую выю.
Все я думаю: «Братя! За что
изувечили нашу Россию?»

1978.

Черный лебедь

I

Черный лебедь сухо шуршит крылом,
окунает клюв в патриарший ил.
Мне сегодня страшно — и поделом.
Не скажу, чтоб сильно тебя любил,
но чего-то медлится на скамье.
В десяти минутах ходьбы — Арбат,
где когда-то пили пивко в фойе
до начала сеанса сестра и брат.
А чего смотрели? По чьей вине?
Не припомню да и тогда не знал.
Никого вокруг. Лишь откуда не-
известно взявшийся генерал
бычью шею мнет пятерней — озяб
и идет в ворота к себе домой,
представляя, верно, что там Генштаб,
где дурные сводки лежат горой.

...Никогда уже в пестроватый ворс
твоего жакета не ткнуться лбом.
На заросший ровной травой откос
вышел лебедь, черным шурша крылом.

II

...Я один пройду меж кусковских пихт
на голландский пруд сквозь сырой туман.
Будет мне о чем расспросить у них
в октябре, топыря вином карман.
Вновь припомню рамы барочной крем
и графини с круглым брюшком халат...

Я сжимал здесь руку Елены М.
 лет пятнадцать с лишком тому назад,
 в год, когда почти пустовал престол,
 толковали что-то про новый нэп,
 хоть и было видно: король-то гол.
 Нет в земле родимой надежных скреп.
 Вот и вспомнил — челку, тугой платок
 и холщовый крепкий ремень сумы...
 Но когда студенческий наш урок
 оборвался, редко встречались мы.
 А когда и встретимся — что с того?
 Посудачим, не возвращаясь вспять.
 Но ведь было что-то у моего
 сердца? Кто теперь может знать...

Потому и сутолки похорон
 я не видел и не спешу туда,
 где в высоких терниях грай ворон
 над всего однажды сказавшей «да».

13.VIII.1979.

* * *

Всякий день, как гляжу в окно,
 вижу, что день тот — черный.
 ..То рассыпавшийся на рядно,
 то сфокусированный в одно
 пламени диск упорный,
 необратимо вобравший нас
 в тягу своей орбиты,
 долго катился, пока погас,
 к клюквенным сопкам в еловый
 северной Фиваиды.

Ирод из отчей меня земли
 вытащил что из люльки,

дабы один на один вдали,
 как воробей в водяной пыли,
 ждал оловянной пульки

и, в чужеродном раю мирском
 на полотне ночуя,
 переносился одним броском —
 и припадал восковым виском
 вдруг к твоему плечу я
 там, где идти — все равно что жить
 долгую жизнь вторую,
 ибо — сдувая паучью нить,
 надо на каждом шагу творить
 понову отходную.

Июнь 1985.

* * *

Молочко осиное.
 Ветер солодящ.
 Смоляная синяя
 темь сосновых чащ.

На тропе петляющей
 шишки да песок.
 Парохода лающий
 тающий свисток.

С мором на юродивых,
 странников, калик —
 как увидишь родины
 потаенный лик?

В дуплах пня сохатого
 у чужой казны?
 В Волге от Саратова
 до болот Шексны?

На могильной яме ли,
 где бурьян вырос?
 В разможенном храме ли,
 где слепой Христос?

Спи, земля лесистая,
 вправленная в твердь...
 Жертвенная, чистая,
 ласковая смерть.

1978.

ЯН САТУНОВСКИЙ
(1913—1982)

*

МИРУМИРГОРОД

Он скрывал, что он пишет лирические стихи. Не из застенчивости, а из-за того, что среди его стихотворений многое было не ко времени и он не хотел привлекать к себе ничье внимание. О том, что он пишет стихи для детей, собирает считалки и переводит детскую поэзию зарубежных стран,— об этом говорил охотно и в редакциях и со знакомыми. А вот о своей лирике — почти ни с кем.

В начале 60-х годов он предпринял труд вспомнить и записать все сочиненное еще с довоенных лет и перепечатал это на машинке. На половине машинописной страницы, в трех-четыре экземплярах, и вторые, третьи и четвертые экземпляры, когда собирался десяток-другой новых стихотворений, он относил на хранение двум-трем своим знакомым. Мне в том числе.

Однажды я написал ему о своем впечатлении от очередной стопки: что нравится, что — меньше. Он попросил больше не писать ему об этом. Он отдавал стихи на хранение.

Друзья звали его Ян, а полное его имя было — Яков Абрамович Сатуновский. Он воевал в Отечественную войну, которую окончил в Вене и в Праге. Долго жил в подмосковной Электростали, работал инженером-химиком в НИИ. А в Москву наезжал часто — в редакции, на выставки, к друзьям.

Он помнил многое из литературного быта довоенной поры, когда и сам был молод. И знал многих из тех, о ком мало уже кому было известно, только позже он повстречал Маршака, Эренбурга, Шкловского...

У него не было длинных стихотворений, поэтическая тема разрабатывалась в считанных строчках, где прямота высказыванья не заглушала музыкальности, подчеркнута лесенкой своих, тянущих тему слов. Однако тянущих ровно столько, чтобы поэтическое высказыванье сделалось недвусмысленным и враждебным обывательскому чувству. Поэтому каждое его стихотворение воспринимаешь как жест.

Печатая стихотворные детские книжки, он никак не рассчитывал на скорую публикацию своих лирических стихов. Но он ее, конечно, предвидел.

Перед вами — некоторые стихи Яна Сатуновского.

* * *

Ах, как пахнет, как пахнет сирень...
Ну и пусть ее, знаешь,
Бог с ней.
Ведь такое
только затронешь —
и опять заведешься,
и вспомнишь
берег,
вспомнишь Потемкинский сад,
как ты в дом наш
букет принесла —
мокрый,
в звездах,
со звоном,
со стоном...
Хватит:
дальше
запретная зона.

* * *

Человек, которого я обидел,
был убит на фронте в рот навывлет.

Не взвалили, не выволокали с поля.
Растворился в калужской земле осколок.

Я живучий.
Я пережил войну.
Я живой.
Я живу с женой.
Я живу.

Что он помнит, этот человек, обо мне?
Что он смотрит
из-под козырьков бровей?

1947.

* * *

Во имя отца и сына и святого духа
оживела
летошняя муха,
не летает еще,
только ползает полозом
по газетным полосам,
по колхозам,
по соцсоревнованию,
по Всемирному Сосуществованию!

6 апр<еля 19>66.

* * *

Нет никого на свете
желанней
этой дурнушки,
золушки нашей, Эльки.

Взял бы
и съел бы
изюминки-веснушки
с Элькиной шейки.

А где ее дом?
За бродом.
А чем она пахнет?
Медом,
Элька-конопелька.

Играйте,
жидовские дети!
На скрипке!
На флейте!
Еще не зажгли
для вас
освенцимские свечки.

1 мар<та 19>65.

* * *

Вчера, опаздывая на работу,
я встретил женщину, ползавшую по льду,
и поднял ее, а потом подумал: — Ду-
рак, а вдруг она враг народа?

Вдруг! — а вдруг наоборот?
Вдруг она друг? Или, как сказать, обыватель?
Обыкновенная старуха на вате,
шут ее разберет.

Днепропетровск. <19>39.

* * *

Весна, весна! —
лопоча, заплетаясь,
струясь,
виясь,
от Христа отрекаясь,
вериги свергая,
ломая кости,
на дубе,
на дыбе,
на старом погосте,
в Калуге,
в овраге,
в Клину и на Пресне,
свергая вериги —
воскресни!
воскресни! —

из глена,
из плена,
из-подо льда,
в снегу по колено,
уходит вода
из плена,
из глена...

27 янв<аря 19>65.

* * *

Кто помнил,
того зарыли,
а мы,
а мы забыли

о Тайне
открытых процессов,
когда не доцент,
не профессор,
не вырванный с мясом
крестьянин,
а
Каменев,
Рыков,
Бухарин...

Кто помнил,
того зарыли,
а кто забыл —
в Нарыме.

7 дек<абря 19>67.

* * *

Чужая, чужая, чужая
 пробралась обманом в мой сон,
 и мучит,
 и точит,
 и жалит,
 и жизнь мою
 ставит вверх дном.

Бесстыдница, руки мне лижет,
 теперь присосалась к груди.
 Уйди, я тебя ненавижу.
 Куда же ты? Не уходи.

26 марта <19>62.

* * *

Эта видимость смысла в стихах современных советских поэтов —
 свойство синтаксиса,
 свойство великого русского языка
 управлять государством;

и ты
 не валяй дурака:
 пока
 цел,
 помни об этом!

12 июля <19>67.

* * *

Чудный денек!

Пришел
 и — лег.

Того коснусь,
 к другому сунусь;
 ленюсь,
 бранюсь —
 впадаю в юность.

13 янв<аря 19>69.

* * *

Я теперь работаю в Главке:
 Глав-упр-прод-лапки.

Главное дело — дело есть:
 для дальнейшего подъема куроводства
 обеспечить
 оборачиваемость
 оборотных средств
 производства
 средств производства.

27 окт<ября 19>66.

ПУБЛИЦИСТИКА

ВИКТОР ЯРОШЕНКО

*

ПАРТИИ ИНТЕРЕСОВ

Среди многих заблуждений, с которыми мы давно свыклись, есть заблуждение о наличии у нас одной партии. В определенном, строго формальном смысле так оно, конечно, и есть. Так, да не совсем так. В давнишнем уже фильме «Премия» по пьесе А. Гельмана секретарь парткома говорил на заседании примерно следующее: «Мы члены КПСС, а не партии треста номер...» И посрамил оппонента.

Зададимся вопросом, которым обычно не задаемся: что есть партия? В социологическом (не строго политическом) смысле партия — это совокупность людей, объединенных общими интересами, общими целями (в политическом смысле еще и программой, уставом, особой структурой, но нам это пока не так важно), совокупность, организационно связанная, ощущающая свою общность среди других, «чужих», исповедующая некие общие ценности.

Предполагается, что единство интересов и воли членов КПСС, объединяющей рабочих и колхозников, художников и сталеваров, физиков и «зеленых», узбеков и эстонцев, зиждется на идейной убежденности, организационном единстве, партийной дисциплине — словом, возвышенных, но не всегда решающих факторах.

Здесь все наоборот. Не ты платишь партийные взносы, но «партия» платит тебе зарплату, премию, обувает, одевает, кормит, представляет к правительственной награде (фактически награждает), выдвигает и проводит в депутаты, дает квартиру и оформляет пенсию. Будем говорить здесь о партии в старом, русском смысле слова. «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля так определяет это популярнейшее слово XX века: «**Партия** — ж., фрн.— о людях: сторонники, сторона, общество, защитники, одномышленники, соумышленники, собраты, товарищи по мнениям, убеждениям, стремлениям своим; союз одних лиц противу других, у коих иные побуждения». (Последнее уже близко к нашему, так сказать, предмету.)

Однако почитаем дальше Владимира Ивановича. Приводит он пример: «Дворянское собрание разделилось на партии, и заседания прошли в пререканиях. Партия недовольных». Есть и другие смыслы: «Партия рекрут прошла. Казаки в партию ушли, на военный поиск. Разбойники целыми партиями расхаживают, шайками». Еще: «Состав игроков, участников в игре». И даже неожиданное вычитали мы у Даля: «Партизан, приверженец партии, сторонник, соучастник».

Как сильно изменилось содержание слова за прошедший век! В третьем издании БСЭ о политических партиях написано так: «**Партия политическая** — политич. организация, выражающая интересы обществ. класса или его слоя, объединяющая их наиболее активных представителей и руководящая ими в достижении определенных целей и идеалов. П. п.— высшая форма классовой организации».

В. И. Ленин писал: «Чтобы разобраться в партийной борьбе, не надо верить на слово, а изучать действительную историю партий, изучать не столько то, что партии о себе говорят, а то, что они *делают*, как они поступают при решении разных политических вопросов, как они *ведут себя* в делах, затрагивающих жизненные интересы разных классов общества, помещиков, капиталистов, крестьян, рабочих и так далее»¹.

Наличие у нас безраздельной власти «политического авангарда» — коммунистической партии, усредняющей интересы в «общенародном интересе», устраивает не афиширующие себя ведомственные партии: им так удобно править — из-под руки.

Есть в КПСС своя, по выражению Оруэлла, «внутренняя партия» — номенклатура та, которая, как и в ведомственных партиях, не ей платит (нет, взносы-то и она пла

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 276.

тит), но кому она платит, так называемый аппарат. И у этого аппарата безусловно есть (не могут не быть) свои интересы, и связаны эти интересы напрямую с интересами ведомственных партий, влиятельных на данной территории. Из их актива рекрутируются партийные кадры и к ним — в случае выпадения из обоймы — возвращаются.

Директивные органы распоряжаются, постановляют, но не несут ответственности. Такое положение устраивает всех. Устраивает Совет Министров, потому что он становится как бы «органом с ограниченной ответственностью»; устраивает партии интересов (поскольку через директивный канал они проводят свои планы); устраивает толкователей директивных указаний; устраивает партийный аппарат, потому что многочисленность его директивных указаний не подразумевает сколько-нибудь полного их выполнения и всегда можно взыскать с виновного, будь то кабинет министров или ведомство, завод или институт.

У нас очень много партий ведомственных интересов — машиностроительная, военно-промышленная, военная, сельскохозяйственная, мелиоративная. Не забудем энергетическую, газовую, нефтяную, химическую, строительную, торговую (и внешнеторговую), издательскую, медицинскую... Иные из этих партий интересов достаточно многочисленны и влиятельны, они — реальность, за каждой из них миллионы людей.

При обсуждении кандидатуры председателя Комитета Верховного Совета СССР по вопросам обороны и государственной безопасности В. Л. Лапыгина депутаты высказывали беспокойство о засилье представителей военно-промышленного комплекса в этом комитете. Цитирую по газетной стенограмме. Депутат Собчак: «Я хотел бы обратить внимание депутатов на то, каким образом был сформирован Комитет по вопросам обороны и государственной безопасности. Я подсчитал, что большая часть этого комитета — 19 из 38 человек — это представители военно-промышленного комплекса. И нам предлагают в качестве председателя этого комитета ярко выраженного представителя этого военно-промышленного комплекса, потому что из справки, представленной на Лапыгина Владимира Лаврентьевича, ясно, что он занимается разработкой вооружений». Депутат И. Н. Грязин: «Я хотел бы... обратить внимание на один принцип. Не полагается ли нам вывести из состава этого комитета тех профессиональных военных, которые находятся на действительной службе и которые сейчас работают в военно-промышленном комплексе? Военные-профессионалы, вышедшие в отставку, конечно, нам нужны... Но военные, находящиеся на действительной военной службе, по-моему, входить в состав комитета не должны. Это комитет, осуществляющий гражданский контроль над армией».

Пожалуй, 11 июня 1989 года, на Первой сессии Верховного Совета СССР, возникла реальная возможность сформулировать механизм борьбы с лоббизмом партий интересов, возможность, увы, не реализованная. А. И. Лукьянов сказал откровенно: «Товарищи, тогда нарушается вообще система создания комитетов. Тогда людей, работающих активно в сельском хозяйстве, не надо включать в сельское хозяйство (имеется в виду соответствующий комитет.— В. Я.) и так далее». Сессия пошла по пути предложенной «системы создания комитетов», основу которой составили люди, скажем так, представляющие частичные интересы.

Формирование комиссий и комитетов было в центре задач Первой сессии Верховного Совета. Персональный состав комитетов наперед определял многое. Здесь энергично действовали все те же партии интересов, сделавшие все для достижения цели. Пишу об этом, потому что есть и другое понимание происходящих событий. В. Егоров, например, пишет в «Литературной газете» (25.10.89): «Следовало бы подчеркнуть такую отмененную уже в печати опасность, как возможность замены монополии министерств и ведомств (старые бюрократические структуры) новыми монополиями структурами — комитетами и комиссиями Верховного Совета. Там тоже могут возобладать концепции не потому, что они лучше, а поскольку сил у «проталкивающих» больше».

Еще раз повторюсь: партия интересов — это реальная, массовая, осознающая свою отдельную общность людей. Она может называться Минводхозом или Минводстроем, Минэнерго или Минатомэнерго, Агропромом или Минсельхозом, Средмашем или как-то еще — суть от этого не меняется, интересы этих людей не перестают существовать, как не перестает существовать множество способов проводить эти интересы. Один из способов, вероятно наиболее эффективный на нынешнем этапе, — контроль за соответствующими комитетами и комиссиями Советов.

При обсуждении в Верховном Совете бюджета на 1990 год председатель Плановой и бюджетно-финансовой комиссии Совета Союза депутат В. Г. Кучеренко сказал 30 октября 1989 года (цитирую, как записал в блокнот, сидя у телевизора): «В комитетах и комиссиях не всегда брали верх государственные интересы, часто преобладали региональные и отраслевые подходы».

Партии интересов, как мы уже говорили, часто весьма многолюдны. Еще несколько лет назад общее число работников, занятых «производством, транспортировкой и потреблением топлива и энергии», оценивалось цифрой 15—17 миллионов человек В «строительной партии» — больше 12 миллионов. Хотя порой они и противостоят друг другу, партии интересов объединяются в альянсы и тесно координируют свои действия. Новинка сегодняшнего бюрократического творчества — возникновение мощных комплексов ведомств химико-лесного, топливно-энергетического, агропромышленного и других. Члены одного альянса согласовывают интересы — химикам тоже нужны и нефть, и газ, и трубы, и капиталовложения, и энергия.

Небезынтересно, что по доле в инвестициях, по гигантским капиталовложениям партия энергоальянса долгие годы лидирует в стране. Сюда же идет и львиная доля валютных средств, вырученных за нефтедоллары. Мы тратим колоссальные средства, предпринимаем огромные усилия всего лишь для того, чтобы из экспортера первичной продукции (энергосносителей, сырья) стать экспортером полуфабрикатов. Эту роль, кажется, Запад нам готов уступить, тем более что ведущие страны Запада активно выносят за пределы своих национальных территорий энергоемкие и грязные производства, перекачивают капиталы в более оборачиваемые, более обещающие наукоемкие отрасли, в новые технологии.

Зачем мы говорим здесь о партиях интересов? Ведь если убрать эти слова, останется вполне привычное по нынешним временам разоблачение ведомственности. Мне кажется, убрать их никак нельзя, потому что само по себе слово «ведомство» маскирует широкий социальный контекст, который оно обеспечивает своим существованием. Партии интересов обслуживают жизненные запросы многих миллионов людей, и упразднить или хотя бы ограничить их владычество можно, только если государство и общество смогут обеспечить эти запросы другими способами, иначе, чем через нынешние структуры. Бесплезно призывать к сокращению сверхнормативного строительства, если у нас по-прежнему землекопов будет больше, чем отделочников и монтажников; наивно ожидать прекращения строительства новых ГЭС и АЭС, новых корпусов и каналов, если мы не обеспечим работой миллионы строителей, энергетиков, мелиораторов. Трудно надеяться на снижение ведомственного напора, пока сотни тысяч проектировщиков творят ведомственную идеологию и вычерчивают завтрашний день по своему усмотрению. И они, люди заинтересованные, получают свои проценты от сметной стоимости объекта, и строитель положит в свой карман солидную часть освоенных капиталовложений — большая экономика, мужские игры.

«Мы строим БАМ — БАМ строит нас!» — был такой лозунг в 70-е годы. Да, это так. Люди строили систему, а система управления строила социальные связи, которые так переплелись с экономическими, что одно от другого стало неотделимо.

«Перестройка» — слово точное. Нам нужна глубокая, коренная, структурная перестройка всего нашего дома. Дело это болезненное. Предстоит целые отрасли создавать вновь — например, создать по-настоящему эффективную радиоэлектронную промышленность, производство компьютеров и информационной техники. Мы этого не делаем, но знаем, что надо бы делать. Еще труднее с другим. Нам не только новые отрасли надо заново создать, но и старые производства модифицировать и даже целые отрасли нужно прекратить, множество убыточных, устаревших, обветшавших производств закрыть. Нас, похоже, ждут тяжелые времена. Потому что бесперспективными окажутся не хутора, не села, как это было в 50-е годы, а целые экономические районы, отрасли промышленности, промышленные агломерации. От многого придется отказываться, по-иному рассматривать, казалось бы, неизменные ценности. Труднее всего выходящим из окружения «бросить обоз».

Экологический императив безошибочно показывает, где и с чего надо начать. Десятки миллионов человек должны быть высвобождены — этим эвфемизмом у нас заменяют жесткое понятие «потерять прежнюю работу и привычные источники к существованию». Но люди, все мы, действительно должны быть освобождены от обязанности быть прикрепленными к какой-нибудь бессмысленной конторе под угрозой обвинения в туеядстве.

Вчерашние землекопы, хлопкоробы или сталевары не сразу придут в радиоэлектронные цехи. Мы должны трезво представить себе, чем, каким делом они реально смогут заниматься. Мы должны понять, что работа — это не ритуал, за соблюдение которого платят зарплату.

Возможно, часть людей и организаций, потерявших гарантированную перспективу, будет искать себе работу за границей, другая — получать пенсию со значительно более сниженного возрастного порога, особенно следует снизить этот порог для женщин, имеющих детей и работающих на вредных производствах. Мы вступаем в долгую и смутную полосу больших изменений, негарантированного будущего, а значит, и политически нестабильного общества. Успех или неуспех глубокой структурной перестройки нашего бесхозяйства (хозяйством назвать его никак не могу) будет зависеть от того, сумеем ли мы нейтрализовать партии интересов, раздробить их монолитность, объединить интересы большинства людей в гражданском интересе.

Могут возразить: о чем это вы, нам ведь нужны и газ, и нефть, и пластмассы, и электроэнергия — не может же автор всерьез призывать отказаться от всего этого! Не может, конечно. Но ни с чем не сообразные темпы роста вложений в эти, по существу, вспомогательные, сервисные отрасли пугают мыслящих специалистов даже внутри партий интересов.

В Газпроме (теперь это не министерство, а концерн) отнюдь не все заражены энтузиазмом безудержного экспансионизма. Ответственные люди предупреждают: отрасль на форсаже! Отнюдь не все в восторге от перспективы наращивать до предела (не зря, видимо, слово из уголовного мира «беспредел»), характеризующее высшую степень беззакония, власти зла, перешло в профессиональный язык специалистов) добычу нефти и газа, предрекают срыв запасов, энергетическую катастрофу. Им в ультимативно-утражающем тоне отвечают министры и коллегии.

Аналогично обстоит дело и с «агропромовской партией», интересы которой находятся в тесной увязке с интересами производителей удобрений, сельхозмашин, внешнеторговыми конторами, задача которых не столько продавать, сколько покупать и покупать. Эта партия выступила уже на Первом съезде народных депутатов мощной и организованной депутатской группой. Нет, это никакие не мафии, как называют их некоторые публицисты. Вообще подозреваю, что слово это слишком легко срывается с губ. Называть эти структуры мафиями неверно и в социологическом, и в экономическом, и в правовом, и в политическом смысле. Наши партии интересов отнюдь не закрытые, не конспиративные, не криминальные организации. Все усилия они направляют на рост и в этом смысле на расширение своего влияния. Политически они опираются не на немногочисленные вооруженные отряды мафиози, террор и насилие, а на трудовые массы, на коллективы внутри своей системы.

Сказанное, разумеется, не отрицает возможности возникновения внутри партий интересов мафиообразных структур, особенно там, где затруднен контроль над результатами деятельности, за конечной продукцией, где считают не физические единицы полученных изделий, а тонно-километры, объемы освоенных средств, так, как это происходит в мелиорации, строительстве, нефтяном и газовом бизнесе, автосервисе и т. п. Но это уже другая тема, связанная с нашей, может быть, сильнее, чем мы подозреваем, но другая, и для ее серьезного обсуждения у нас нет достаточных данных.

Деятельность того же Минводхоза вызвала такое раскаленное негодование общественности, что, казалось, от одного этого он должен исчезнуть, испариться, замереть, — но не тут-то было! Дело в том, что общественность тут, как справедливо огрызается Минводхоз, ни при чем: она не финансирует, не контролирует, не назначает, не снимает. До недавнего времени здесь под одной крышей был и заказчик, и проектировщик, и подрядчик.

Почему пылкие аграрии поддерживают мелиораторов, почему ведут политику выкручивания рук, манипуляции с экспертизами одиозных проектов? Ну, во-первых, из солидарности. Это действительно одна команда (сегодня мы вам поможем, завтра вы нам — этого не надо недооценивать!). Выделенные на мелиорацию миллиарды и ачае в сферу АПК не попадут. Заберут их куда-нибудь в нашем напряженном бюджете, прокладывая остаточный принцип, вырвут из рук. Это во-вторых. И наконец, потому, что мелиоративная рать, получив свой контракт, что-то на эти деньги, как бы и чужие, все-таки сделает для совхоза или колхоза.

Власть держится за власть — это аксиома. А власть она потому, что сначала все у всех отбирает, а потом всем выделяет, уже по своему усмотрению. Так завелось

у нас с самого начала, с хлебной монополии, введенной для завоевания власти. Монополия — это власть!..

Интересы отдельных групп ведомственных партий не всегда совпадают с интересами низовых структур, производственных коллективов. Последние вполне могут быть вписаны в другие структуры, а сделавшись автономными, тем более способны эффективно включиться в смысловое государственное строительство.

Мелиоративная колонна, или ПМК, включенная в систему Минводстроя РСФСР (и СССР), в областной трест ...водстрой, заинтересована в исправном финансировании ведущихся ею работ по строительству, скажем, проклятых общественностью и упорно сооружаемых каналов. Почему? Потому что заинтересованы экскаваторщики, бульдозеристы, водители «БелАЗов», мастера, бетонщики, проектировщики, тысячи людей. Канал их кормит. Они — за канал. У организации есть план, объем работ, есть деньги, которые надо освоить, а у рабочих есть семьи, которые нужно кормить.

Можно ли, как требовали мы, уничтожить Минводхоз? Тысячи заводов, предприятий, строек, институтов, колонн, КБ, лабораторий, экспедиций, ПМК, трестов, главков, мастерских — как уничтожить? Взорвать, как ракеты СС-20 взрывали в Сарыозеке? Кто унаследует Минводхоз? Неужели можно поверить, что землеройная структура, перейдя под другую вывеску, лишится своих специальных навыков и интересов и не будет искать повода рыть, копать, получать деньги и рапортовать об объеме освоения?

М. С. Горбачев говорил о начале конверсии военного производства. Сдается, это только начало более широкой конверсии ведомственного производства для ведомственного же потребления, точнее «освоения средств». А пока что, если не найдем лучшего применения деньгам, пусть так получают, не работая, зато остальные средства целы будут — и машины, и бензин, и солярка, и цемент, и многое-многое другое.

Влияние ведомств можно упразднить, лишь произведя глубокое дробление интересов на интересы предприятий, первичных коллективов, отделяя их от интересов чиновников.

В декабре 1987 года, когда только начались общественные баталии вокруг канала Волга—Чограй, вместе с группой государственной экспертизы поехал и я в Пятигорск, где расположен институт Кавгипроводхоз, создавший проект. Привезли нас, нескольких экспертов, в лучший район Ставропольского края по умению использовать преимущества орошения. В кабинете первого секретаря райкома обычная в таких случаях прощачка мозгов экспертов — сыплются цифры избылиа, благополучия, все как водится; вывод один: канал необходим. Я сидел в конце стола рядом с несколькими председателями, и у нас зашел свой разговор, вполголоса. Я спросил: «А если бы те миллионы да под них технику, материалы, людей и прочее вам дали на ваше усмотрение — канал бы вы строили или иначе распорядились?» Председатели, люди тертые, рассмеялись: «Да мы ж не сумасшедшие! Конечно иначе! У нас складов нет, хранить негде продукцию, перерабатывать, мясо, фрукты негде хранить, холодильников нет, грузовиков, всякой прочей там техники, жилья для людей... Зачем бы нам тот канал, если бы мы сами гроби делили...»

Вот и ответ, вот и разгадка.

* * *

Употребление понятия «экология» стремительно расширяется. Это не дань моде, а признание эффективности нового способа мышления, названного экологическим. Не случайно говорят сегодня об экологии истории, экологии культуры, экологии искусства, экологии человека. Попытаемся этот подход применить и к политике и к экономике.

Одно из ключевых понятий классической экологии — сукцессия, которая предельно широко определяется как развитие экосистемы: «Последовательность сообществ, сменяющих друг друга в данном районе, называется сукцессией».

В результате первой мировой войны, голода, разрухи, революции, гражданской войны, правовых и административных преобразований естественное развитие нашего социоценоза было остановлено. Его сукцессия носила катастрофический характер, сходный с сукцессией леса после пожара, вырубки или бурелома. («После бури» — не случайно назвал С. Залыгин свой роман, осмысляющий состояние общества послереволюционных лет.) Оценочные категории тут не помогут делу; важнее понять, что произошло. А произошло следующее.

В результате радикальной сукцессии («Весь мир насилья мы разрушим...») в нашей стране образовалась очень простая политическая экосистема. После 5 января 1918 года, когда «караул устал» и Учредительное собрание «приказало долго жить», она еще более

упростились. После июля 1918 года (разгрома ПЛСР — партии левых социалистов-революционеров) она стала монокультурной. Резолюция X съезда РКП(б), запрещающая фракционную деятельность, закрепила эту монокультурность на будущее. Для того чтобы она могла существовать долго и была устойчивой, нужно было резко упростить и социальную систему, чему и были посвящены десятилетия, называемые сейчас сталинской.

Началось все раньше, с радикальной сукцессии. Все это напоминало химическую мелиорацию щедринского водоема. Есть такой излюбленный нашими рыбоведами прием — химическая мелиорация, или «облагораживание». В озеро или пруд бухают изрядную дозу яда — столько, сколько нужно (и больше), чтобы убить все живое. Всплывают кверху брюхом и карась с его завиральными мыслями о том, что-де в рыбах с малых лет гражданское чувство воспитывать надо, и ерш с его «отрицательным направлением», и пескари, и лениво-безжалостные щуки, и хваткие окуни, и прислужливые голавли, и даже вялая вобла, у которой ни лишних чувств, ни лишней совести, ни лишних мыслей. Рыбовод стремится создать новую, облагоороженную, управляемую экосистему. Взамен сорной рыбы завести, скажем, пелядь...

В платоновском «Котловане» активист Сафронов изъясняется на сей счет следующим образом: «Поставим вопрос: откуда взялся русский народ? И ответим: из буржуазной мелочи! Он бы и еще откуда-нибудь родился, да больше места не было. А потому мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтобы с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классово-вой борьбы и произошел бы энтузиазм!..»

В результате таких пертурбаций наша экосистема значительно упростилась. Заполнили сей водоем большие, жирные, мягкобрюхие, растительноядные толстолобики, способные питаться непосредственно планктоном. Вся-то экосистема — планктон и толстолобики. Есть, конечно, попадает с со стороны всякая сорная мелочь — плотва, гольцы, окунята, но они погоды не делают, товарной ценности не представляют...

Так это мыслилось. Были уничтожены целые классы, социальные группы, сословия, перемещены и рассеяны нации. В 70-е годы официальные социологи с удовлетворением писали о скором достижении социальной однородности общества. Выступать против этого считалось крамолкой.

С экологической точки зрения все это было трагической ошибкой, если не сказать большего. Простота искусственно созданной экосистемы никогда не является ее достоинством. Высокая продуктивность ее относительна и временна. Напротив, естественная, сложная экосистема устойчива, способна к саморазвитию и самоподдержанию, а в зрелых своих формах — к высочайшей производительности.

Природный луг, состоящий из множества разных растений, находящихся в сложнейшей взаимосвязи с почвой, ее обитателями, насекомыми — жуками, шмелями, пчелами, — всегда богаче, живее, устойчивее, красивее, чем капустное поле или лесополоса. Живое сложно устроено; смерть — это разложение живого на первичные элементы. Жизнь — это борьба с простотой. Свести сложнейшую жизнь общества к борьбе классов на уничтожение — злая ересь упрощения, которая многим не простится и из которой многое вытекает.

Новые экосистемы, как правило, подвержены резким колебаниям, спадам, кризисам, потому что их элементы не выработали механизмов приспособления друг к другу. Простая политическая система вызвала к жизни простую экономическую систему, иерархическую, жестко централизованную, лишенную горизонтальных связей и степеней свободы, способную лишь к формированию партий интересов. Нэп усложнил ее, но не выжил и не мог выжить — это правильно поняли руководители эксперимента.

Либо политическая система должна была усложниться, либо упроститься экономическая. Последнее и было сделано, а к началу 30-х годов было проведено и быстрое упрощение экосистем культуры и образования. В результате общество немало преуспело в реализации прокламированной десятилетиями цели — воспитании «нового» человека, называемого еще в газетах и песнях «простым советским человеком». Этот «новый» («простой») человек действительно воспитан, он реальность, которая в значительной степени определяет сукцессию политической экосистемы.

«Простой» человек предпочитает простые технологии, простые идеи, простые книги, простые фильмы, простую работу, простые радости, простые, но эффективные решения вроде тех, что испробованы в Тбилиси. Он не меняет своих привычек, не может отказаться от не заработанных денег, от мелкого и крупного воровства, от халтуры,

от хамства, социального равнодушия и пассивности. В каждом есть этот «новый простой человек». Не хочет (или не может) он напряженно работать и отвечать за судьбы страны. Отчужденный от власти и определяющих решений, простой, то есть лишенный сложной системы реальных общественных связей, социально голый, одинокий, атомизированный и амбивалентный, он агрессивно-равнодушен: «Да пошли вы с вашей перестройкой!»

Перемолотое в шаровых мельницах тоталитаризма, общество не скоро образует живую структуру почвы, на которой прорастут ростки гражданственности. Теперь система, даже такая искусственно вычищенная, профильтрованная, усложняется — жизнь берет свое. Эволюция одних зависит от эволюции других. Кооперация, неформалы, народные фронты... Конечно, высокоорганизованное общество, где человек чувствует себя комфортно и защищенно, не возникнет сразу. К нему ведет долгий и мучительный путь, требующий деликатности и терпения, к которым мы не приучены.

Пора понять, что страны и народы не бабочки-поденки, не обитатели аквариумов, они живут в «больших временах», и сегодняшний посев не завтрашним обернется урожаем — ведь не только картошку, но и лес надо сажать.

Простое общество, простой человек, простая экономика, простые технологии... Все просто. Жить сложно.

* * *

Те немногие отрасли нашего народного хозяйства, которые занимают лидирующее положение в мире, имеют одну особенность: они используют, как правило, простые технологии, требующие огромных объемов работ по перемещению грунта, руды, бетона, металла, воды.

(Оставим в стороне состояние дел в военно-космических областях, о них особый разговор.)

Отчего так? Секрета никакого нет, все просто. Отраслям и предприятиям-передовикам для обеспечения производственной деятельности почти ничего не надо, кроме горючего, землеройной техники, цемента да запчастей. Им легче всего израсходовать, или, как у нас любовно говорят, «освоить средства». Они и осваивают, немалую (все большую) часть перевода в зарплату.

Андрей Платонов гениально угадал склонность формировавшейся системы к рытью котлованов: «Чиклин взял лом и новую лопату и медленно ушел на дальний край котлована. Там он снова начал развезать неподвижную землю, потому что плакать не мог, и рыл, не в силах устать, до ночи и всю ночь, пока не услышал, как трескаются кости в его трудящемся туловище. Тогда он остановился и глянул крутом. Колхоз шел вслед за ним и не переставая рыл землю; все бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована».

Если уж начали у нас копать канал или насыпать дамбу, плотину, можно быть уверенным, что построят, дорожат, досыпают.

Не зря говорят у нас, что деньги текут, как вода. Не экономика, а «гидрономика». Да, средства у нас имеют обыкновенные течь не туда, где они нужнее всего с точки зрения интересов народа (туда их насосами надо нагнетать), а туда, куда проще, вниз по склону, по наименьшему сопротивлению, заполняя понижения, котлованы и каналы. Чем меньше поставщиков, тем лучше, надежнее. Еще лучше, когда все в одних руках. Так создаются «государства в государстве», вполне автономные (даже за соблюдением законности в иных следит «спецпрокуратура») ведомственные структуры со своей сырьевой, энергетической, строительной, продовольственной базой, своими целями.

Одна из глав солженицынского «Архипелага ГУЛАГ» называется «История нашей канализации». Писатель имеет в виду репрессии — одну за другой, — вакханалию насилия и убийств, потоки крови, «распиравшие мрачные зловонные трубы нашей тюремной канализации»... И здесь гидрономика, и здесь потоки: «По трубам была пульсация — напор то выше проектного, то ниже, но никогда не оставались пустыми тюремные каналы. Кровь, пот и моча — в которые были выжаты мы — хлестали по ним постоянно. История этой канализации есть история непрерывного заглата и течения, только половодья сменялись меженьями и опять половодьями, потоки сливались то большие, то меньшие, ещё со всех сторон текли ручейки, ручеечки, стоки по желобкам и просто отдельные захваченные капельки...»

А ведь это все, думаю я, имеет непосредственное отношение к действительной истории «нашей канализации», наших исполняемых планов «преобразования природы».

* * *

Идея строительства больших каналов, плотин сама по себе старая, почтенная, имеющая историю. Но в нашем веке, и особенно в нашей стране в эпоху укрепления лагерного социализма, на переломе 20—30-х годов, теплившаяся в среде инженеров-гидротехников и некоторых ученых-аграрников идея получила новую жизнь, поднявшись до уровня государственной программы, превратившись в одну из мифологем сталинского режима, дав идейное и вслед технико-экономическое обоснование массовым репрессиям, созданию могущественной империи ГУЛАГ, основанной на подневольном труде миллионов лишенных свободы и впроголодь содержавшихся людей. Так формировались партии интересов, влиятельные и сегодня. Идея давно витала в воздухе и реализовываться начала задолго до Френкеля и Ягоды. Не будь Френкеля, ТЭО ГУЛАГа сделал бы кто-нибудь другой. Нетерпеливое ожидание большого скачка, быстрого преодоления вековой отсталости, предложения Троцкого и других «левых» (вполне одобрявшиеся ЦК РКП(б)) о трудовых армиях требовали организационного оформления. Зерна будущего можно разглядеть и в официальном документе — докладе «План электрификации РСФСР. Доклад VIII Съезду Советов Государственной Комиссии по электрификации России», изданном в Москве в 1920 году («План ГОЭЛРО». Изд. 2-е. М. 1955).

В нашей литературе, по-моему, несправедливо мало внимания уделяется созданию плана ГОЭЛРО и той роли, которую он имел в формировании существующего механизма планирования и принятия стратегически важных решений для жизни страны. А ведь В. И. Ленин придавал плану ГОЭЛРО чрезвычайно большое значение. В докладе на VIII съезде Советов (декабрь 1920) он говорил: «На мой взгляд, это — наша вторая программа партии... Наша программа партии не может оставаться только программой партии. Она должна превратиться в программу нашего хозяйственного строительства, иначе она не годна и как программа партии».

В тех условиях, в обстановке гражданской войны, разрухи, блокады, вероятно, это был единственный путь. Но вступая на него тогда, партия еще не потеряла демократические механизмы принятия решений, еще серьезным демократическим институтом были съезды Советов (на VIII съезде меньшевики и эсеры еще выступали с критикой большевистской программы), да и в самой партии дискуссионность не была еще заменена единогласием. Но в обстановке «исторически сложившейся однопартийной политической системы» принятие хозяйственной программы как политической программы могло вызвать и вызвало через десятилетие сталинский переворот: ведь провозглашая от своего имени конкретные хозяйственные рубежи и пути их решения, партия ставила их на приоритетный политический уровень, выводя из обсуждения. Отсюда недалеко уже было и до ГУЛАГа: коль скоро хозяйственные решения становились политическими, то и способы их достижения становились прерогативой политических органов, таких, как ОГПУ. Это и не скрывалось. Дзержинский стал председателем ВСНХ, в системе ОГПУ появились политические отделы, инженерные центры. ОГПУ взяло на себя восстановление и строительство ряда важнейших объектов.

На карте 1920 года схема электрификации России. Здесь и Волго-Балт, и Беломорско-Балтийский канал, Повенец, Кемь, Тулома, Кола — названия, которые скоро превратятся в названия лагунктов. Экономика стала политической, а преступная политика вошла в жизнь экономики. ОГПУ (потом НКВД, НКГБ) получило важнейшие государственные и хозяйственные функции — на них, этих органах, лежала ныне ответственность за выполнение важнейших, названных стратегическими планами. В одних руках и следствие, и суд, и исполнение приговора, и использование труда заключенных, и оценка собственных трудов. Созданная система стала немедленно саморазвиваться, она требовала для своего утверждения все новых и новых планов, все новых и новых строек, все новых и новых лагерей, все новой и новой рабочей силы.

Разумеется, ничего этого нет в плане ГОЭЛРО, но там уже есть опасное, ставшее трагическим объединение политического движения с хозяйственными задачами, невиданная прежде концентрация сил и средств в одном сверху заданном направлении. При удачном выборе цели эта невиданная кумуляция сулила быстрые результаты. При неудачном — катастрофические последствия, которые с неизбежностью наступили.

Произошло весьма опасное для общества объединение трех сил: научной (или квазинаучной в данном случае, не важно) идеи — в виде скоординированного плана, — политической власти и монополистической концентрации сил и средств.

* * *

В 1898 году в Германии вышла небольшая книжка «Государство будущего, производство и потребление в социалистическом государстве», подписанная загадочным псевдонимом Атлантикус. Написал ее некий профессор К. Баллод. Книгу эту знал В. И. Ленин. Внимательно читал. Ленин писал: «...ученый Баллод... составил научный план социалистической перестройки всего народного хозяйства Германии. В капиталистической Германии план повис в воздухе, остался литературщиной, работой одиночки».

В плане ГОЭАРО много ссылок на работу Баллода. Уже на второй странице «Введения» сочувственно рассказывается о предложениях и выводах Атлантикуса. «По его подсчетам, — пишут авторы, — проверкой которых он занимался целый 20-летний период, социалистическая Германия, даже при территориальных ограничениях Версальского договора, через 3—4 года спокойной созидательной работы превращается в счастливую страну всеобщего довольства и благополучия». (Всякая утопия должна обещать рай, и в краткие, умопредставимые сроки — три, пять лет. В этом смысле план ГОЭАРО, рассчитанный на десять — пятнадцать лет, был слишком растянут.)

Как этого достигнуть (авторы ГОЭАРО цитируют Баллода): «Примерно до 17-летнего возраста молодежь страны впитывает в себя в созданных по единому плану расширенных народных школах те основы положительного знания, не ведая которых человек не может быть признан гражданином XX века. По достижении 17-летнего возраста на 5-летний срок каждый немецкий гражданин вступает в армию труда. Эта армия труда разбивается на регулярные трудовые колонны в строго определенных количественных соотношениях для всех подразделений германского народного хозяйства. К 23 годам обязательная трудовая повинность кончается, и, как показывают подсчеты Баллода, является полная возможность обеспечить каждому гражданину полный простор индивидуальной жизни с предоставлением от государства соответствующего пенсионера, вполне достаточного для удовлетворения всех культурных потребностей».

Авторы нашего плана пишут:

«Как известно, этот план Баллода повис в воздухе, нашел себе крайне слабые отголоски даже и в научно-технической прессе Германии, но не потому, что он недостаточно научно обоснован, а лишь по той простой причине, что в Германии существуют предпосылки социализма, а не самый социализм».

В этом отношении мы оказались гораздо более счастливыми, чем наши европейские собратья...»

Миссионерское, избранническое сознание вело тогда страну: «Мы работаем не только для себя и для наших современников или, вернее, не столько для них, сколько для трудящихся всего мира и для его грядущих судеб».

Правда, авторы ГОЭАРО оговариваются, что попытка составить аналогичный Баллодову план для России обречена на провал из-за неразвитости и руинированности экономики. Была сделана поправка: «Еще более или менее значительный период на поле нашего мирного труда мы неизбежно должны будем считаться не с регулярными трудовыми колоннами, разбитыми на стройные, количественно строго определенные колонны труда, а лишь с народным ополчением труда».

Читаешь пространные труды ГОЭАРО с интересом и порой с восхищением — продуманные, выверенные аргументы, колонки цифр, карты, графики, ссылки и отсылки, конструктивный и аналитичный тон. Только, пожалуй, раздел по сельскому хозяйству выбивается из общего тона книги своей неконкретностью и — риску сказать — ненаучностью. Предложения по ирригации, осушению, особенно электрификации сельского хозяйства оказались нереалистичными. Многим это было ясно с самого начала.

Авторы плана предлагали всемерно сократить поголовье лошадей для экономии кормовой базы и использовать освободившиеся земли под другие культуры; заменить лошадей — это все по Баллоду — механической и электрической тягой. Мы знаем, что получилось из обезлошадившей деревни. Они выступали против чистых паров, против использования органических удобрений (навоза), за замену его искусственными минеральными удобрениями. Говорили об электрическом орошении, электролизе почв, ночном освещении культур сильными источниками света, о пахоте с помощью электрических плугов.

Грядущая коллективизация была творчески позаимствована у Атлантикуса. «Проф. К. Баллод, — сказано в главе «Электрификация и сельское хозяйство», — анализируя вопросы социалистического строительства сельского хозяйства в Германии, ставит на вид апологетам мелкого крестьянского интенсивного земледельца, что при торжестве их док-

трины носителями земледельческого прогресса должны явиться 5 млн. германских мелких крестьян-собственников, среди которых найдется такая масса косных и неделовых элементов (вот она, аргументация в пользу геноцида на селе! — В. Я.). И он доказывает, что поднять технику этих производителей, хотя бы на ту высоту, которая осуществлена в 100 тыс. крупных имений Германии, состоящих в ведении лучших специалистов-агрономов, — задача явно невозможная. Насколько же усложняется эта проблема для нас уже в силу одной несравненно большей численности нашего крестьянства!» (Автор от вдохновения даже поставил редкий в этом труде восклицательный знак.)

И дальше: «Для социализации сельского хозяйства Германии, 3/4 населения которой представляют город и его интересы, основываясь на силах могуче развитой промышленности своей страны, К. Баллод предлагает решительную реформу: разом покончить с мелким крестьянством, преобразовав всю сельскохозяйственную Германию в устроенные по одному плану и типу крупные социалистические и м е н и я» (разрядка моя. — В. Я.).

Впрочем, авторы ГОЭЛРО предупреждали: «Для нас такой путь на предвидимое время исключается уже по одной слабости наших общих, необходимых для осуществления этого плана, технических предпосылок... Приходится иметь в виду более или менее длительную перспективу лет, в течение которых Советская власть должна будет проводить систематическое воздействие на волю и производственную обстановку трудового крестьянства, с разумной последовательностью подводя его ко все более и более высоким типам обобществления сельскохозяйственного труда и высокому уровню сельскохозяйственной техники... если развитие железнодорожного и водного транспорта нанесло первый решительный удар закоснелой отсталости русской деревни, то последним и решительным толчком в приобщении ее к интересам передового, культурного, городского пролетариата послужит электрический провод, который уничтожит пространство, разделяющее новый город от новой деревни».

Уже в плане ГОЭЛРО было сформулировано единство развития электрификации и мелиоративных работ. Профессор А. И. Угримов писал о необходимости «снабдить в самом широком масштабе оборудование районных мелиоративных работ электрической энергией... электрификация должна осуществляться не только в целях обработки почвы и уборки урожая, но и в целях мелиоративных и индустриальных».

Агрономы профессора Дмитриев и Костяков в работе для ГОЭЛРО оценили земли страны, нуждающиеся в осушении, площадью «не менее 30—40 млн. десятин», и около 8 миллионов десятин, по их подсчетам, нуждалось в орошении, то есть речь шла об увеличении культурного пахотного фонда не меньше чем на 30 процентов.

Профессора обещали колоссальный рост заготовки сена на огультуренных, осушенных лугах, предлагали экспортировать сено на Запад, а в первую очередь «широкое снабжение народных масс молочной и мясной пищей и основными продуктами технологии органических веществ, которые связаны с судьбами наших мелиоративных работ».

Профессор А. Дмитриев с бодрой уверенностью видит огромные перспективы разветвления мелиоративных работ в обстановке РСФСР: «Очень часто... луговые угодья, расположенные в какой-нибудь части речной долины или водораздельной низменности, служили источником сена для округа в десятки, а иногда и сотни верст... Эти массивы, имеющие значение как определенный фактор в организации хозяйств целого района, есть достояние государства... возникает необходимость выделения из частного пользования и обобществления крупных луговых массивов, с разделением их по значению на государственные, губернские и волостные... земельные мелиорации, общественные луговые и болотные культуры, общественные пастбищные хозяйства нужно рассматривать как первую ступень к обобществлению сельскохозяйственного производства».

Увы, в реальной обстановке энергетического строительства большинство пойм крупных рек было у нас уничтожено — одни залиты, затоплены, подтоплены, другие превращены в суходолы. Такова судьба пойм Днепра, Дона, Волги, Камы, Оби, Иртыша, Енисея и многих других более мелких рек.

А. Дмитриев прозорливо писал в 1920 году: «...как новый земельный строй, так и все государственное устройство в его целом — с его принципом всеобщей трудовой повинности, стремлением организовать, распределить и направлять в определенном направлении всю финансовую, материальную и техническую мощь государства — открывает для земельно-мелиоративного дела неограниченные возможности, которые и

должны быть использованы со всем напряжением нашей организационной и творческой энергии».

Так оно и пошло.

В 1920 году профессор Баллод посетил революционную Россию. В Москве он был встречен с энтузиазмом, принимался в высших партийных кругах. Было решено срочно издать его книгу «Государство будущего», незадолго перед тем переизданную в Германии. Книга была издана с завидной оперативностью в 1920 году, с предисловием видного большевика Ю. Маржлевского (Карского). Книга Баллода вышла в свет в России, несмотря на уничтожающую критику, которой он подверг в ней большевиков:

«Соседняя с нами обширная Россия вступила (это необходимо признать) в социализм без того, чтобы кто-нибудь выставил какую-либо программу или план производства, без того, чтобы ее социалистические повелители потрудились серьезно продумать все возникающие из занятого ими положения задачи. Вследствие этого вместо наилучшего социализма (который, надо думать, предлагался в его книжке.— В. Я.) проводится наихудший, то есть наиболее глупый.

Вместо организации производства происходит грабеж и расточение ценностей, собранных буржуазным обществом. Наиболее важными средствами русских большевистских повелителей является не труд, образующий ценности, а убийства и насилие...

По моему мнению, злоупотребление властью зависит от того, что злоупотребляющие ею не подумали раньше о разумном употреблении ее, а затем, достигнув власти, сочли себя слишком умными для того, чтобы обратиться за советом к специалистам...»

После того как большевистские руководители России обратились к Баллоду за советом, профессор счел себя удовлетворенным. Побывав в России, он оставил издателям своей книги дополнение «Вопросы социализации в России», которое и было опубликовано.

Атлантикус писал в 1920 году: «Русский пролетариат находится в настоящее время в самом счастливом положении сравнительно с пролетариатом других стран. Он является полновластным хозяином на своей территории, ему, приобретаемому полную победу над буржуазией и крупными землевладельцами, незачем делиться с капиталом в результатах своего труда, незачем выделять прибавочную ценность, поземельную и всякую другую ренту из своего дохода...»

Баллод замечал, конечно, и голод, и разруху экономики, и обнищание народа — «по причине блокады страшный недостаток жизненных потребностей». Главную задачу профессор видел и советовал «держаться новейших приемов науки и техники». Он, правда, сомневался, не сдерживает ли развитие светлого будущего весь склад жизни, вся «психика русского крестьянства», не она ли определяет все аграрное устройство. Но думать так означало отказаться от уникальной роли специалиста-консультанта, заезжего профессора (не зря, может быть, фамилия Баллод похожа на фамилию Воланд). «Пессимисты так и говорят, что победа будет не за научным устройством народного хозяйства, но за стародавней психикой, за грубыми эгоистическими инстинктами темных масс».

Не пройдет и десяти лет после Баллодовой книжки, как Сталин пройдет геноцидом по народам и полям, с о к р а щ а я это темное, не нужное в империи социалистического рая население.

«Но если есть смысл в теории о диктатуре пролетариата, то эта диктатура может только быть диктатурой просвещенного идеализма, светлого гения пролетариата над простой демократией непросвещенных, не понимающих пока своей собственной выгоды широких масс»,— вдохновенно писал Баллод-Атлантикус. «Вопрос еще в том,— продолжал он думать над бумагой,— нужно ли для просвещения народных масс, для приведения их к пониманию задач общего блага весьма продолжительное время, необходим ли долгий срок воспитания или достаточно кратчайшего срока, нескольких лет».

После некоторого размышления у Атлантикуса выходило, что тянуть не следует: «По моему пониманию, перерождение народной психики... может произойти в весьма короткий срок; одновременно с проведением просвещенной диктатурой лучшего устройства народного хозяйства может быть организована и просветительская деятельность над приниженным и оставленным в тупом невежестве умом народных масс, так что настоящая демократия, участие масс в проведении самых широких нововведений может быть достигнуто в самый короткий срок...»

В своей книге Баллод выдвинул идею широчайшей коллективизации, создания сети идеальных национализированных госхозяйств, скрупулезно рассчитал для них все: площади и конфигурацию участков (круглая), размер пашни, севообороты, размещение жилья и животноводства, железнодорожных линий к полям и токам, количество трак-

торов и бензина, потребность в рабочей силе и затраты на обустройство людей — все было им подсчитано в грандиозном плане социализации села. Он, правда, замечал, что «крестьянин пока не понимает, что крупное производство и в сельском хозяйстве имеет громадные преимущества: он знать не хочет о работе в коммунах и желает своего собственного уголка, собственного хозяйства». Впрочем, коммуны Баллод в России видел, и они ему не понравились: «...без машин коммунистическое хозяйство было осуществлено до сих пор только при полном рабстве», — замечает он.

Специалист-консультант не склонился от конкретного вопроса: с чего начать возрождение хозяйственной жизни в России? «Предпринять ли широкие мелиоративные работы: дренаж на севере, искусственное орошение в русских степях?.. на это нужна громадная затрата человеческого труда. Снабдить ли русское сельское хозяйство искусственным удобрением и тем поднять урожайность земли? Но откуда брать это искусственное удобрение? Химических заводов для них в России мало, их пришлось бы еще выстроить. Это займет много времени...» Можно удобрять доменным шлаком, можно утилизировать и перемалывать в муку кости убиваемого скота и удобрять земли, Баллод пускается в расчеты, это даст прибавку, но мало. Можно сажать клевер, люцерну, азотосберегающие травы, но где взять семена... Не лучше ли начать с отвальной обработки почвы, ставит наконец диагноз Баллод. А правильная, по его мнению, обработка черноземов — это глубокая вспашка.

Итак, диагноз — все дело в мелкой вспашке, но «русский крестьянин со своей бедной изнуренной клячей, со своей унаследованной от отцов и дедов сохой» пашет мелко, не в пример Германии. Значит, нужно пахать машинами, «применять моторные плуги... благо у Советской России ныне в руках бакинская нефть». В Америке, вспоминает Баллод, делают сотни тысяч моторных плугов для фермеров, — вот в России и нужен «универсальный трактор» для фермера средней руки.

Баллод беспокоится о снабжении 12 миллионов горожан — по его убеждению, дело пропитания крестьян надо предоставить им самим. Он подсчитывает, что для обеспечения города «нужна пашня всего русского центрального чернозема». Он рассчитал, что для вспашки этих полей нужно всего-то 10 с небольшим тысяч моторных плугов в 50—60 лошадиных сил да 3400 молотилок, паровых и моторных. Конечно, лучше бы построить в России 10—15 заводов, но на первых порах выручит и разовая покупка на 150 миллионов рублей золотом. В поисках этих миллионов грабили церкви и музеи, продавали национальные сокровища.

Удивительное дело — Баллодова методология оказалась очень живучей. Только составляющие переменялись: раньше продавали хлеб, чтобы купить трактора, а теперь продают нефть, чтобы купить хлеб. И тогда и теперь обосновывали эти манипуляции низкой товарной массой промышленности, острым дефицитом потребительских товаров на рынке, незаинтересованностью крестьянина в производстве продукции.

Тогда твердили, что нет мануфактуры, городу нечего предложить селу в обмен на хлеб — и пошли продотряды, ЧОН, продразверстка, раскулачивание, хлебная монополия, хлебная карточка, пошли этапы...

Власть крепнет, монопольно отбирая и распределяя. Нет чтобы эти же 150 миллионов рублей направить на покупку мануфактуры, а не тракторов, которыми предлагалось «помогать крестьянину во вспашке», с тем, конечно, чтобы производственный излишек отошел по твердым ценам к государству для потребностей промышленного пролетариата.

А теперь не так ли? Нам твердят — нет денег, нет валюты для закупки мануфактуры за рубежом, зато десятки миллиардов на трубы, на сверхмощные бульдозеры, на новые химзаводы, на закупки американского зерна находят из года в год. Хлебная карточка по-прежнему имеется в виду.

* * *

Читаем в «Правде» (23.06.89) интервью с О. А. Климовым, директором знаменитой конторы Экспортхлеб: «За все предшествующие годы, вплоть до нынешнего, который в некоторой степени является исключением, половину импорта, а иногда и больше составляла продовольственная пшеница. На нее приходилось от 40 до 70 процентов общего объема. Причем Минхлебпродукт всегда просит нас покупать пшеницу с высоким содержанием протеина. Почему?»

В самом деле, почему? Ответ служит хорошей иллюстрацией к нашим рассуждениям о партиях интересов: «На наших заводах недостаточно совершенна технология мукомольного производства...»

Всего-то мельница прохудилась — так давайте, может, не зерно лучшее покупать для плохой мельницы, а мельницу сделаем или, на худой конец, купим?

«Если на Западе применяют много разных добавок и получают больше хлеба при низком содержании протеина (делают это и для того, чтобы он не черствел), то наша технология пока базируется на природной силе пшеницы.

Поэтому мы по всему свету скупаем высокопротеиновое зерно, а его не так много производят в мире. И все равно полностью заявку на такое зерно удовлетворить не можем».

«— Сколько же мы импортируем зерна?»

— В 1988 году мы ввезли 35 миллионов тонн чистого зерна, кроме этого покупали соевые. В первой половине текущего года мы импортируем довольно активно, объемы больше, чем в прошлом году за тот же период.

— Какие сейчас цены на зерновые?

— Цены сейчас высокие: по официальной котировке, метрическая тонна пшеницы стоит в США 175—180 долларов, кукурузы — 120 долларов, а соевых — 290 долларов».

Кто же принимает решение о закупке хлеба, о гигантских ежегодных валютных тратах? И на этот вопрос ответил товарищ Климов: «Решения принимаются на самом высоком уровне и оформляются в виде постановлений Совета Министров... В прошлом году мы работали по семи постановлениям Совета Министров, в счет плана 1989 года уже вышло пять решений. В них указывается практически все: общий объем, конкретные сроки поставок, ассортимент. Какого и сколько зерна нужно стране — решает Министерство хлебопродуктов. Его заказы мы и выполняем». Так-то вот. Хлеб и сегодня — власть. Как писал Ленин, «потому что, распределяя его, мы будем господствовать над всеми областями труда».

У одного человека была собака по кличке Импорт. Ему доставляло большое удовольствие кричать: «Импорт, ко мне!» И хорошо выдрессированный Импорт тут же прибежал, виляя хвостом.

Мы недооцениваем влияния событий, происходящих на зарубежных рынках, на нашу жизнь. Изолированное строительство в «отдельно взятой стране», в сущности, никогда не было, за исключением, может быть, сравнительно короткого периода. Известно, что в начале 70-х годов после восьмикратного (а в торговле с развитыми капиталистическими странами — пятнадцатикратного!) повышения цен на нефть в нашу страну хлынул поток нефтедолларов. Доходы от реализации нефтепродуктов, составившие за десять лет 176 миллиардов рублей, оказали поразительно скромное влияние на повышение уровня жизни, на структурную перестройку экономики. Последующие пять лет страна со все большим размахом продолжала продавать за границу нефть — увеличивала и увеличивала поставки, стремясь объемом проданного компенсировать падение цен, а из-за этого растущего объема цены падали еще больше.

Правомерен ли вопрос, который задают читатели на многочисленных встречах: где же наш Эль-Кувейт? Где сверхсовременные аэропорты, где шикарные отели, где новейшие больницы и скоростные автострады, где оснащенные как следует университеты? В основном валютные поступления ушли туда, откуда пришли. Они оказали ободряющее влияние более на западную экономику, чем на нашу, послужили эффективной структурной перестройке, модернизации и смене производственных программ сотрудничающих с нами компаний. Не без помощи, конечно, западных банков, правительств международных организаций, их скоординированной политики сдерживания (они зорко следили и грамотно действовали, чтоб Советы на нефтедолларах не сделали решающего технологического рывка). Именно в эти годы укрепилась и достигла совершенства жесткая система КОКОМ — контроля за экспортом в социалистические страны. В состав комитета КОКОМ входят все страны НАТО (кроме Исландии), Япония и Австралия. Запретительные списки КОКОМа, ограничения на экспорт в СССР и другие социалистические страны соблюдались строго, санкции против ослушников применялись жесточайшие — огромные штрафы и даже тюрьма для бизнесменов, посмевших нарушить запрет.

Время от времени устраивают в мировой печати шумные скандалы вроде скандала вокруг японской фирмы «Тосиба», поставившей в СССР несколько фрезерных станков. Словом, когда мы сегодня, в эпоху гласности, клеймим вчерашних наших внешних торговцев, справедливости ради не забудем, что покупали они то, что нам продавали. И не все покупали, что можно было бы купить. И не все продавали, что можно было бы продать. Не случайно, должно быть, М. С. Горбачев не раз уже

говорил о нашем «внутреннем КОКОМе» и его противодействии. В результате действий внешнего и внутреннего КОКОМа цель вполне достигается — советская экономика держится в архаических, неэффективных формах, увековечивается ее отставание, увековечивается и политический режим, замораживающий гражданское общество. Увы, рынок сырья, которое мы продаем, это уже не рынок продавца, а рынок покупателя. Богатеет не тот, кто продает, а кто покупает.

Действуют порой не без умысла. Сколько уж раз заключали наши внешторговцы крупные контракты на сотни миллионов, а то и на миллиарды долларов; поставляли, монтировали оборудование, строили здания и цехи, вели коммуникации, а в последний момент вдруг разразился скандал, выяснялось, что КОКОМ запретил поставку в СССР какого-нибудь компьютера, насосов, реактивов, словом, некоей штучковины, без которой вся комбинация — пыль и прах. Таких примеров я знаю немало. Один из последних — эмбарго на поставку в Советский Союз двух компьютеров фирмы «Хьюлетт—Паккард» для системы управления воздушным движением в аэропорту Шереметьево, сооружаемой по контракту с испанской фирмой «Сесельса». Как сообщалось, основное оборудование, составившее 96 процентов стоимости контракта, уже установлено, но без компьютеров оно как без головы. Для тех, кто следит за ситуацией, ничего необычного в ней нет. Необычным было бы как раз выполнение контракта без сучка и задоринки.

И в 70-х годах нашей внешнеторговой службе противостояла, следует признать, команда высоких профессионалов. Где прямой запрет, где утайка, где проволочка, где взятка, где подкуп, где закулисные игры против слишком уж квалифицированных наших агентов и слишком уж независимых фирм (история этой холодной торговой войны еще ждет своих летописцев). В этих делах выработался и свято соблюдаемый ритуал, отличный от формально обязательных процедур. Быстро, без всякой необходимой экспертизы, без оповещения в прессе, без сравнения с другими предложениями заключаются долговременные масштабные сделки. Начинают у нас строить на компенсационной (то есть самой оскорбительной, самой грабительской) основе химические заводы, тянуть на тысячи километров опаснейшие продуктопроводы, трубы для которых тоже спешно закупаются на валюту. Так создаются у нас один за другим производства, заводы, которые в других странах мира нелегко пристроить из-за противодействия общественности.

...Многие, ох и многие проекты начинались и сейчас начинаются с благожелательных бесед на политическом уровне, во время государственных визитов. Культурный разговор, обмен протокольными вежливостями, посещение подобранной фирмы или завода², вхождение в тяжелое положение солидного предприятия (как правило, со славными традициями рабочего класса), сердечная встреча с многочисленным трудовым коллективом друга советского народа — и вот уж, глядишь, через месяц наши внешнеторговые и прочие организации зажмурив глаза согласовывают проект много-миллионного контракта.

Партии интересов обладают реальной властью, но и уязвимы вполне. Далеко не все «партизаны» (по Далю) исповедуют внутривластный патриотизм. Беда в другом: нужны ли они кому-нибудь, кроме сюзерена-кормильца, будет ли за них не то чтобы борьба, но так, хоть какая-нибудь тревога — что с ними будет, если влиятельная и богатая партия вдруг начнет хиреть? В эпоху глобальных преобразований, структурной перестройки, когда вся страна надолго пришла в движение, кто задумается о проблематичной судьбе отсталых и убыточных отраслей, хилых предприятий, вымороженных городков, загазованных донельзя промышленных гигантов, построенных полвека назад?.. Исторически сложилось (а точнее, они, ведомственные партии, так это сложили), что у нас страшно односторонний производственный комплекс, сгустками предприятий разбросанный по стране, перекошенный донельзя. К нему подступиться-то

² Вот как это делается (цитирую «Известия» от 16.06.89): «М. С. Горбачев направляется на один из заводов концерна «Хёш». Включить и в без того крайне напряженную программу посещение этого предприятия было, конечно, непросто. Однако основания для этого были веские... В 1987 году 35 руководителей производственных советов и профсоюзных организаций металлургических предприятий Гура направили М. С. Горбачеву письмо, в котором приветствовали мирные инициативы Советского Союза. По их убеждению, предложенная советским руководителем идея строительства общеевропейского дома поможет углубить экономическую кооперацию между двумя странами, что, в свою очередь, благотворно скажется на положении трудящихся отрасли, переживающей структурный кризис. (Разрядка моя. — В. Я.). Надо сказать, что в своей речи на заводе «Хёш-Вестфаленхютте» М. С. Горбачев не дал никаких авансов...

страшно, не то что тронуть. Запутанные-перепутанные межведомственные и территориальные связи, неисповедимый клубок поставщиков... С началом перестройки целые отрасли, не говоря уж о предприятиях, почувствовали угрозу, и впервые после начала 20-х годов, когда речь пошла о выживании, на авансцену вышли те, кто создает основу благополучия комплексов,— рабочие. Вышли с новыми структурами — забастовочными комитетами, отказав в доверии отраслевым профсоюзам. Важнейший факт состоит в том, что основу самых многочисленных, самых нединамичных, самых расточительных партий интересов составляют те, кому некуда пойти.

Плохо, когда человеку некуда пойти, когда его динамика равна нулю, когда его держит на работе привычка, покорность, очередь на жилье или ведомственная жилплощадь и — еще надежнее — низкая квалификация, плохие документы... Интересы этих людей, которых много, их политическое давление общество еще только начало ощущать. Невнятно пока еще выраженные, опасения различаются и используются альянсом партий интересов, стремящихся увековечить сырьевое и добывающее лицо страны, экономику «нулевого цикла», основанную на копании каналов и котлованов. Надо сказать, что штабы этих структур вполне могут находить общий язык с зарубежными корпорациями, образуя вместе с ними интерпартий интересов (или интеральянсы партий интересов, что, возможно, точнее). Об этом написал Е. Гайдар в журнале «Коммунист» (1989, № 8): «...цели западных корпораций и отечественных ведомственных структур могут прекрасно дополнять друг друга. Первым необходимо прибыльно реализовать свою продукцию (не находящую сбыта на мировом рынке.— В. Я.), для вторых соображения, связанные с ее ценой, реальной экономической эффективностью, играют второстепенную роль. Важно доказать необходимость контракта, получать под него валютные ресурсы».

Еще бы! Одни стремятся продать, то есть получить деньги, а другим надо получить деньги, чтобы получить, скажем, завод. Естественно, что и у тех и у других цели общие. Коль скоро наши покупатели валюту не сами добывали, получали, зарабатывали, даже не выменивали на черном рынке, не брали в долг. Они ее получали так. (Как же не воевать против кооперативов, против их валютных махинаций, если до сих пор валютой в стране монополично распоряжались они, вожди партий интересов.)

Внешний контракт подразумевает и приятные заграничные поездки, и щедрые подарки (а часто и больше чем подарки), и гарантированные, без тревог поставки, и престиж среди людей своего круга. Тот министр не министр, тот босс не босс, у которого нет валюты! В королях здесь всегда ходили очень важные персоны из хлебной, химической, нефтяной, газовой отраслей, не любящие рекламы скромники из таинственного Центросоюза. Не электронщики, не машиностроители, не авиаконструкторы даже, не создатели «Бурана», нет. Уверен, что в мотивации людей, пробивающих переборку рек, немаловажным обстоятельством был шанс выйти в крупные получатели валюты (копать-то каналы предполагалось новейшими западными роторными экскаваторами, которые вволю поискали по миру и на закупку которых почти уж выхлопотали миллиарды).

Кто не помнит прошумевшие и по нашим газетам скандалы вокруг подкупа фирмой «Локхид» то японского премьера, то европейского принца, то арабского миллиардера. Поскольку наших премьеров за руку не ловили, а принцев у нас нет, то и скандалы наши, если они и были, проистекали куда тише, чем там, у них. И все-таки, кажется мне, нашим парламентариям предстоит немало расследований тихих внешнеторговых сделок, в том числе и тех, о которых лишь иногда сдуру проговариваются газеты.

У советских, вне всякого сомнения, собственная гордость, и на буржуев они смотрят (особенно когда выезжают к ним) внимательно; но нельзя не удивиться и не заподозрить неладное, узнавая, как раз с разом с легкостью необыкновенной, без всякой экспертизы, технико-экономических обоснований, торгов подписываются у нас «соглашения о намерениях»³, а следом и контракты со строгими финансовыми обязательствами. Причем на стадии намерений, как правило, именно западный партнер просит о соблюдении коммерческой тайны, конфиденциальности переговоров. Хо-

³ «Соглашения о намерениях» заключаются обычно на год и теряют силу с момента подписания общих документов или наступления так называемых форсмажорных обстоятельств (запрет правительства или внешнеторгового министерства, признание ТЭО одной из сторон невыгодным и т. д.).

роша конфиденциальность, если она только для советской прессы! На западных биржах акции компаний, обольщающих Советы, тут же идут в гору. Они вступают в финансовые спекуляции, ведут на слухах выгоднейшую игру, а мы молчим! Советская общественность, в том числе и Верховный Совет, узнает обо всем уже тогда, когда поезд ушел, контракты подписаны, обязательства взяты. Примерам несть числа, для экономии места я опускаю их.

* * *

Года два назад был я в Сумах на знаменитом машиностроительном научно-производственном предприятии имени М. В. Фрунзе, одном из крупнейших в стране. Там проходил «круглый стол» производственников и экономистов, посвященный изучению опыта предприятия, одним из первых перешедшего на полный хозрасчет на основе самофинансирования. Участвовали в «круглом столе» ведущие экономисты страны, работники Госплана, руководители предприятий Сумской области. Отчет о встрече был опубликован, благожелательно принят. Не написали мы тогда почему-то вот о чем. Рядом с заводскими цехами возвышалась диковинная, не нашего облика громада. Как нам объяснили, итальянская фирма «Даниэли» (это с ее названием бегают по полю наши футболисты) строила под ключ завод по производству металлических труб. Стройка подходила к концу, и руководители объединения имени М. В. Фрунзе с тревогой посматривали за ограду: завод предполагалось присоединить к ним, что неминуемо должно было усложнить и без того нелегкую жизнь гигантского предприятия. Почему? Да потому что продукция непрофильная, новый шлейф потребителей и поставщиков, новейший иностранный автоматизированный завод плохо состыковывался со структурой, кадрами, психологической средой; рассчитанный на 600 работающих, он, как нам говорили, неизбежно должен был бы принять не меньше 1000 (а скорее и 1200) человек. Почему? А как же, удивлялись нашей непонятливости заводские экономисты, нужно набирать с запасом, не забывая про колхоз, совхоз, работы по нарядам городских властей. По всему городу висели стрелки, показывающие путь к «Даниэли». Иностранцы жили в гостинице, и дружинники охраняли их покой.

Новейший суперзавод под ключ — это не склад посеребривших ящиков, это, конечно, впечатляет. Но и тогда, помню, нас задела сама проблема: а что даст этот завод, купленный за полновесные доллары, стране, народу, не говоря уж о горожанах, чем их обогатит, насколько нужен здесь именно трубный завод, а не какой-нибудь другой? Фрунзенцы показывали нам выпускаемые ими товары народного потребления (простенькие смесительные краны — страшный дефицит). Показывали и разработанную ими установку «биогаз», которой можно было бы оснастить все свиноводческие комплексы страны, получать и энергию и удобрения и резко снизить вреднейшее загрязнение, но нет для той установки ни материалов, ни заказчика («Мы же в Минхиммаше, госзаказ душит, а на что нет госзаказа, на то и фондов нет»).

О сумском гиганте и щегольской новостройке я часто вспоминал с тех пор, особенно когда сталкивался с трубной проблематикой.

Первый бум в закупке стальных труб у нас произошел в начале 70-х годов (как раз тогда, когда на Западе начали ощущаться трудности сбыта этой продукции). С 1980 по 1986 год их производство в США сократилось в 3,3 раза, во Франции на 26, в Японии на 14 процентов. Только в ФРГ (за счет советских закупок) сохранили объем производства. В 1970 году мы покупали труб на 250 миллионов рублей, в 1975-м уже на 1,3 миллиарда, все последующие годы — на уровне выше миллиарда рублей в год. В 1986 году общий объем закупок труб за рубежом уже заметно превысил их совокупный выпуск в США, Великобритании и Франции. Западные металлургии не без нашей помощи перестроили свои производства. В 1970 году около 10 процентов наших потребностей в трубах (не будем обсуждать здесь — подлинных или мнимых) мы удовлетворяли за счет закупок за рубежом. В 1980 году — уже почти 15 процентов, в 1986-м — 22,6 процента. Растут потребности, растет аппетит и на импортную трубу. Трубный бизнес стал у нас отраслеобразующим фактором, на нем целые министерства выросли. Много тут тайн...

Недавно я встречался с группой американских ученых и инженеров — создателей экологических, альтернативных видов продукции, которых привез в нашу страну энтузиаст контактов Фридман. Молодые руководители небольших венчурных фирм захватили с собой в надежде на деловой интерес образцы выпускаемой ими экотехники: солнечные батареи, всякого рода от солнца питающиеся приборы, инфра-

красные экономные выключатели, которые выключают свет в комнате, когда из нее выходят все, кирпичи из соломы и прочих отходов, разлагающиеся в почве полиэтиленовые пленки и многое другое не менее интересное. Были они, правда, несколько обескуражены — с ними не встречался никто из людей, принимающих решения («Что ж, это вам неинтересно?»). Я как мог попытался объяснить им схему партий интересов. О да, кивали американцы, у нас энергетическое лобби тоже не заинтересовано в расширении альтернативных мощностей... А ведь поставленная на серьезную основу солнечная, ветровая (уже промышленно выпускаемая) энерготехника, фильтры способны в несколько раз снизить потребности в энергии, резко улучшить экологическую ситуацию, а выбранные в качестве стратегии — вывести нас к тем рубежам, к которым идет мир.

Но — если б да кабы — у этого нового нет потребителя, нет защитника, нет патрона, оттого и наши изобретатели и создатели экологических новинок затравленно топчутся у дверей Госплана, и даже создатели фантастического «Бурана», мощных солнечных батарей, годами проверенных на наших космических станциях, не становятся во главе «солнечного энергоконцерна», а виновато отбиваются от упреков в дармоедстве. Даже они, казалось бы, баловни военно-космической элитной партии интересов, в попытках выйти из убогого, отведенного ареала чувствуют себя беспомощно.

* * *

В тяжелом, что и говорить, положении наша экономика, об этом столько написано, что не буду повторяться. А ведь шанс есть. Убеден, можем встать быстро, именно поэтому не спешат и投срсить кокомовские запреты наши партнеры, зорко следят за полтикой кредитов и инвестиций: снова трубы, снова заводы — пусть полуфабрикаты здесь производят, пусть гонят в уплату полимеры, окатыши, энергию... Мы сможем встать и войти в мировое сообщество, если трезво оценим свое место в мире среди других, выберем реальные приоритеты и цели и станем их достигать. Академик Велихов говорил, например, о неиспользуемых возможностях нашего авиастроения.

Думаю, что еще один наш шанс, как ни странно, — легковой автомобиль. Он может нам решить проблемы рубля, нормализовать рынок, получить универсальный товар, которым можно расплачиваться с партнерами хотя бы в СЭВ. Сегодня автомобиль на черном рынке — самый дорогой товар. За «Волгу» дают до 70 тысяч, пишут газеты, за новый «Москвич» до 50, «девятка» идет за 35, сообщает телевизор. Автомобиль стал самым криминогенным товаром. Вокруг его купли-продажи клубятся преступные кланы, ночами с машин снимают стекла, цена на которые доходит (не без помощи мафии) до полутора тысяч, их разувают, угоняют, разбирают на запчасти. Сфера автосервиса, несмотря на строгие постановления Политбюро, по-прежнему неприступна для потребителя. По уровню автомобилизации наша страна одна из самых отсталых в мире, далеко за группой развивающихся стран, на пятьдесят восьмом месте. По обеспеченности автомобилями в 3—4 раза отстает от Венгрии, Чехословакии, ГДР, от Японии в 5, от ФРГ — в 10 раз.

Под статью автомобилизации у нас и состояние дорожного строительства.

Автомобиль — самый вожденный товар, только он один способен снять давление неотоваренной денежной массы на рынок, интегральный товар, стоящий 40 (!) зарплат советского человека, — и за эту цену практически недостижим.

Если верить теории Я. Корнаи об «экономике дефицита», будто бы направляющего поток инвестиций в соцстранах, автомобилестроение, область абсолютного дефицита, должно было бы привлекать к себе максимальный поток средств. Однако на деле это не так. Построив ВАЗ (грузовые машины в счет брать не будем), мы практически остановились на уровне 1978 года. Да и с 60-х рыбок осуществлен был лишь однажды, в начале брежневского времени, когда с помощью «Фиата» с уровня 200 тысяч (в 1965 году) мы поднялись до 1 300 тысяч (в 1978-м), да так и застряли. Еще в те годы были подготовлены проработки, по которым к 1990 году в стране нужно было бы производить ежегодно до 6 миллионов легковых автомобилей разных марок. Предполагалось построить несколько автозаводов. Да идеологи встрепенулись, сказали: «Не наш путь» (см. статью Г. Н. Андриенко — «ЭКО», 1988, № 10). Если бы эти планы были реализованы, мы бы жили сегодня в другой стране, без проблемы невесомых денег.

Несколько лет назад мы не без смущения услышали из уст М. С. Горбачева нереалистические призывы сделать нашу автопромышленность законодателем мировых автомобильных мод, но до сих пор не услышали ничего, что бы хоть отдаленно на-

поминало приоритетную государственную программу автомобилизации страны. Не поздно и сейчас, хотя столько лет потеряно.

Автомобиль построил не только Америку — он поднял многие страны, объединил общины, организовал экономические пространства, психологически создал «средний класс», потому что владелец автомобиля и загородного дома люмпеном себя уже не считает. Давно не могу отделаться от мысли, что есть тут какой-то секрет, какая-то тайна, — ну отчего бы не последовать такому простому, всему миру известному опыту, ну в самом деле, кто не знает про дороги и машины. Отчего же у нас не так? В поисках ответа возвращаюсь к Баллодовой идеологии, к Баллодовым тезисам, послужившим идеологической основой создания и укрепления трех могущественных партий интересов: тезис о мелиорации, тезис об электрификации и тезис о тракторах, которые вместе и обеспечат процветание. Созданные еще в те далекие времена структуры в нашем разреженном политическом пространстве оказались необыкновенно устойчивыми.

Дефицит у нас во всем. Все в дефиците. Но дефицит дефициту рознь. Он бывает естественным (из-за недопроизводства), как автомобильный или компьютерный, и искусственным, как дефицит мыла и стиральных порошков. Этот последний дефицит, я думаю, специально был организован. У нас ведь хозяйство плановое, и партии интересов умело планируют то, что им нужно. Недопроизводство, недопоставку — с тем чтобы потом чумазое общество, поставленное на колени отсутствием мыла и талонами на моющие средства, безропотно принимало любые действия, в другой ситуации встретившие бы резкое сопротивление: ведь речь идет о развитии непопулярной химии. А измученных нехватками людей уболтать проще. После хорошо организованного шоу безропотно читаем мы в «Правительственном вестнике» (1989, № 20): «Идея навстречу правительству и деловым кругам Италии, мы провели переговоры с государственным концерном «ЭНИ» о поставке в Италию дополнительно к определенным ранее объемам двух миллиардов кубических метров природного газа ежегодно и подписали соответствующий контракт. Средства, вырученные от этих поставок, будут направлены на закупку у фирм концерна «ЭНИ» товаров народного потребления и оборудования для их выпуска, в частности для реконструкции производств моющих порошков». (Где газ, там и трубы — вот зачем завод «Даниэли».)

Вообще это было примечательное, на редкость откровенное интервью в «Правительственном вестнике» заместителя Председателя Совета Министров СССР по химическому комплексу В. К. Гусева после его поездки в Италию. Его бы стоило привести целиком, но за недостатком места дадим только извлечения.

«Вместе с президентом концернов «Ферруци — Монтэдисон» Раулем Гардини мы определили (интересно уже и то, что с «их» стороны президент концерна, частное лицо, а с советской ни много ни мало зам премьера.— В Я.) новое совместное предприятие, в рамках которого будет удвоена мощность томской установки по выпуску полипропилена. Достигнуто также соглашение о создании в Советском Союзе новых производств полипропилена с использованием эффективной технологии «Сферипол» на базе каталитических систем нового поколения».

Читаю — и не радуюсь. Позвонил брату — и он не рад. И думаю: а что вдохновляющего за последние годы у нас создали или хоть пообещали построить, чего мне, покупателю, ждать, на что деньги откладывать — или вперед, под товар вносить? Кроме завода микролитражек в Елабуге — что?

В. К. Гусев так объясняет финансовую основу солидных сделок: «Подчеркивалась заинтересованность итальянских деловых кругов в расчетах за предоставляемые кредиты и оборудование — химическими продуктами и полуфабрикатами, которые будут производиться на создаваемых с участием итальянских фирм мощностях». Ну, к этому мы привыкли.

Как справедливо писал по сходному поводу журнал «Коммунист»: «...можно с высокой степенью вероятности предположить, что в результате колоссальных усилий страна к началу XXI века получит производственный комплекс колониального типа и затем десятилетиями будет расплачиваться за него наиболее высококачественной продукцией. Все это напоминает давно знакомую по мировому опыту, прекрасно отработанную схему перемещения в развивающиеся страны энерго- и материалоемких, экологически «грязных» производств, воспроизводящих народнохозяйственную структуру вчерашнего дня, гарантирующих снабжение метрополии дешевым сырьем и материалами. Легко представить, что, обхаживая покупателей такого товара, зарубежные поставщики должны соблазнять его самыми разнообразными льготами и выгодами».

Вернемся к автомобилям. Рискну предположить, что широкое развитие легковое автомобилестроение у нас не получило по трем причинам: нашим наиболее влиятельным партиям интересов, к которым не относится автопромышленность, совершенно не улыбается потеря власти и влияния; тем их контрагентам за рубежом, с которыми они имеют дело, бурное развитие советского автостроения не кажется желательным; автомобили строить сложно (сотни смежников, поставщиков), а мы тяготеем к простоте: поставил завод, подвел трубу и провода — и получай полиэтилена столько, что весь мир упаковать можно.

Опыт Бразилии, Тайваня, Сингапура, Южной Кореи говорит о том, что вполне возможен рывок. У нас многое есть для этого — инфраструктура, энергетика, металлургия, специалисты. Но цель должна быть ясная: например, автомобиль каждой семье, — тогда и средства станут понятными.

* * *

Мне, убежденному экологисту, нелегко писать эти слова. Мои друзья, боюсь, вернуться от меня: автомобилизация неизбежно вызовет загрязнения, нашествие на природу, жертвы на дорогах, послужит толчком к развитию химической промышленности, энергетики — какой же ты «зеленый» после этого! И все-таки дерзаю. Мы уже строили коммунизм в одной отдельно взятой стране. Не получилось. Еще менее реалистично построить экологический рай в ней, отдельной, — производить для других полуфабрикаты, когда остальной мир будет потреблять продукты цивилизации.

Мир придет, конечно же, к экологической культуре, к экологической экономике, к сбалансированному развитию, к альтернативной энергетике, безотходным технологиям, электро- и солнечным автомобилям, концепции роста, ограниченного международными соглашениями. Но не сразу и не в отдельности. Пока что мы живем в огромной, тонущей в бездорожье, лишенной современной связи стране. Мы должны поднять ее на уровень достоинства цивилизации и с этой позиции — и только с этой — говорить с партнерами о системе всемирной экологической безопасности. Иначе нас не расслышат и плохо поймут.

Сегодня тема мировой экологической безопасности идет в оркестровке западного эгоизма. Вот отрывки из симпатичной статьи «Кто спасет Землю?», опубликованной в журнале «Шпигель» (цитирую по еженедельнику «За рубежом», 1989, № 35): «Трудно представить последствия, если прорыв в экономике, которого добивается Горбачев, приведет к таким же энергозатратам, как и на Западе. Имея столько же автомобилей, электростанций, холодильников и стиральных машин, Советский Союз может породить драматическое обострение климатического кризиса на планете...»; «Американский жизненный уровень ни в коем случае не должен распространиться на весь мир», — предупреждает профессор Роберт Соколоу; «Мечта о домике на природе с гаражом на две машины не имеет будущего», — говорит Сандра Постел из независимого Вашингтонского института «Уорддуотч».

Западные страны обеспокоены предполагаемым потеплением климата. Г. Х. Брунланд на московском Глобальном форуме по проблемам окружающей среды и развития человечества предлагала создать всемирный фонд климата. Но готов ли Запад, готовы ли мы платить соответственно своему вкладу в деградацию природной среды? Готовы ли делиться новейшими технологиями? «Повсюду преобладает страх, что собственная промышленность может утратить конкурентоспособность и заплатить за природоохранные мероприятия утратой позиции на мировом рынке».

Осознавая драматическую мировую экологическую ситуацию, я тем не менее дерзну поднять голос за массовую автомобилизацию страны, больше того — за автомобильный приоритет в ближайшие десять лет. Убежден, что наша страна должна купить (на конкурентной основе) несколько комплексных, полностью оснащенных автомобильных заводов под ключ, чтобы как можно скорее начать выпуск продукции. На первых порах можно заниматься сборкой автомобилей из деталей.

В мировом разделении труда начала XXI века мы вряд ли станем лидерами в информатике, кибернетике, видео и биотехнологии. А вот космическое, авиа- и автомобилестроение мы вполне можем развить на достойном уровне, учитывая богатые традиции отечественной оборонной промышленности, ее высокий потенциал и возможную проблему конверсии.

Профанация — заводы, вчера еще выпускавшие СС-23, перепрофилировать на стиральные машины или мясорубки...

Не забудем и о дороге. Я уже говорил, что победить партии интересов можно,

только растворив их в большем интересе, дав им другое дело. Для миллионов строителей, мелиораторов, бульдозеристов, водителей государственная дорожная программа действительно реальное дело, на много лет вперед работа и гарантированный заработок, благополучие семьи.

* * *

Слов нет, химические заводы, кредиты и «ноу-хау» охотно предлагают нам зарубежные партнеры. В 1970 году мы купили за рубежом для химической промышленности оборудования на 218 миллионов рублей, в 1975-м — уже на 638 миллионов рублей. Начался контракт века, медовый месяц на двадцать лет с А. Хаммером. В 1976 году закупки оборудования для химической промышленности выросли еще вдвое — до 1,13 миллиарда рублей, в 1977-м — до 1,72 миллиарда, в 1979-м — 1,75 миллиарда, в 1980-м — 1,24 миллиарда, а в 1987-м — 701 миллион. Это одна из особенностей действий партий интересов: прорвавшись к импорту, они, как правило, намертво присасываются к валютной кормушке; требуются чрезвычайные политические усилия, смена приоритетов, чтобы уменьшить валютную квоту тем, кто ее уже имеет.

Что ж, мы развивали большую химию, скажут нам. Отлично, но отчего тогда закупки оборудования на производство продуктов производства органических и синтетических волокон. И для производства пластмасс. Теперь кричат — у нас пластмассы нет! Но ведь тенденция длится десятилетия. Неудивительно, что мы здесь в 3 раза отстали от Соединенных Штатов.

Зато, как пишет на рекламной полосе «Известий» Арманд Хаммер (3.01.89), «пятнадцать лет тому назад от имени «Оксидентал» я подписал с Советским Союзом соглашение об обмене в течение 20 лет суперфосфатной кислоты на аммиак, которые используются для производства удобрений. Проект стоимостью в 20 миллиардов долларов выгоден обеим сторонам, так как позволяет увеличить выпуск продовольствия лучшего качества в Соединенных Штатах и в Советском Союзе». (Ну, от удобрений до урожая путь неблизкий, особенно у нас. Общеизвестно, что Баллодова троица — мелиорация, химизация и механизация нашего сельского хозяйства — не обеспечила нам изобилия, потому что о человеке забыли.) Об этой сделке века поведала «Вечерняя Одесса» (11.10.88) со слов академика Б. Н. Ласкорина:

«Известный американский бизнесмен А. Хаммер приехал в Советский Союз, намереваясь закупить громадное количество нефти. Его давние встречи с Лениным не могли не повлиять на отношение к нему в нашей стране. Но Л. И. Брежнев хоть и расчувствовался, но все же заявил, что Советский Союз и социалистические страны нефть не продают.

Тогда А. Хаммер вторым заходом заключил еще более крупную сделку, принесшую ему миллиарды. Он закупил у нас энергетический химический концентрат в виде аммиака, ведь аммиак — наиболее энергоемкий химический продукт. Причем в США в то время производили аммиака больше, чем у нас... Взамен А. Хаммер предложил нам энергетически самый низкопотенциальный продукт в виде фосфорной кислоты. Сделка эта состоялась на нашей некомпетентности как партнеров.

Так появился специальный аммиакопровод, протянувшийся к Черному морю (от г. Тольятти.—В Я.). Но зачем начали строить на южном курортном берегу еще и завод по синтезу аммиака — при наличии аммиакопровода? Вот загадка»

Сейчас в Одессе кстати, уж раз вспомнили, бушуют страсти вокруг строительства еще одного, Березовского химкомбината для переработки зарубежных, заряженных тяжелыми металлами и кадмием фосфоритов (в то время как фосфаты Кольского полуострова, во много раз более чистые, планируется продавать за рубеж) Вот она, реальная смычка партий интересов — наших и транснациональных.

Обозреватель Г. Герасимов, в «Советской культуре» рассказавший о своих встречах с Хаммером, цитирует такое место из его книги: «Нет таких чиновников в мире, которые бы взяли верх над советскими чиновниками, когда они выстраиваются для упрямого и злого сопротивления. К счастью, у меня есть преимущество; за те почти десять лет деловых отношений, которые прошли у меня в Москве в двадцатые годы, я научился тому, как побеждать или обходить с фланга русскую бюрократическую систему задолго до того, как нынешние чиновники появились на свет. Я знаю все их приемы и всю их стратегию...»

Невольно начинаешь сочувствовать нашим чиновникам, которых обходят по политической кривой,— и попробуй противостоять!

* * *

Сколько за последний год было сказано уничтожительной критики в адрес предлагаемого к строительству комплекса совместных химических предприятий в Тюменской области. Ничего вразумительного на возражения об экономической и экологической необоснованности проекта не говорилось, а дело меж тем продвигалось. Как сообщает Сургутское народное экологическое общество, у него были следующие этапы:

19 мая 1988 года подписано письмо о намерениях между Минхимпромом и рядом западных фирм о возможном сотрудничестве;

31 мая 1988 года принято решение Совмина СССР начать строительные работы по подготовке площадки Нижневартовского химического комплекса и вспомогательных объектов;

1 июня 1988 года согласованы намерения Минхимпрома и западных фирм о создании совместных предприятий;

8 июня 1988 года Промстройбанк СССР письмом разрешает открыть финансирование строительства (без ТЭО и утвержденного проекта);

июль — декабрь 1988 года: открыто финансирование НХК, создана дирекция, начаты работы по строительству промплощадки (без акта отвода земельного участка);

8 сентября 1988 года Минхимпром выдал задание на разработку ТЭО.

Об этой сделке шла речь и на Первом съезде народных депутатов — Н. И. Рыжков категорически поддержал этот проект, а депутаты оказались неподготовленными к дискуссии. Ни Н. И. Рыжков, ни новые министры, выступающие за этот проект, который обойдется стране в десятки миллиардов долларов, не ответили в Верховном Совете ни на один вопрос, задававшийся общественностью: какова будет конъюнктура мирового рынка к тому времени, когда Советский Союз выйдет на него с гигантским количеством полиэтилена и полипропилена? в чем гарантии выгоды этого проекта? насколько актуально для страны сейчас, в обстановке тяжелейшего финансового кризиса, втягиваться в проект, последствия которого если и будут полезны, то через десятки лет? Многие в нынешнем составе Совета Министров с откровенностью дали понять, что будут продолжать прежний курс. Сравнительно экономный бюджет 1990 года принят с извинениями, как особый, чрезвычайный.

При парламентском обсуждении плана и бюджета партии интересов выступали не таясь. Дайте выступить депутату от автомобилистов! Газовики протестуют. 40 депутатов от потребкооперации просят... 70 тысяч человек Мингазстроя останутся без работы... Как быть строителям электростанций?

Механизм проведения выгодного многолетнего контракта не изменился с давних времен. Вывести проблему на политический уровень решения, не дать ее обсуждать государственным структурам, способным противостоять напору партии интересов, избежать (или пойти на минимальные потери) критики экспертизы, дорабатывать проект, перерабатывать, но главное — вносить снова и снова, пока не удастся провести его через высшие политические инстанции.

2 декабря 1988 года постановлением Совмина СССР разрешено выполнять строительство НХК до утверждения ТЭО.

К маю 1989 года разработано ТЭО по двум комплексам из пяти — Сургутскому и Тобольскому.

3 ноября 1989 года в Политбюро ЦК КПСС (цитирую по газете «Травда»): «С учетом многочисленных обращений трудящихся о решении вопросов социального развития и комплексного использования ценнейших сырьевых ресурсов Западной Сибири была заслушана информация Совета Министров СССР по проблемам освоения ресурсов углеводородного сырья в этих районах, в первую очередь попутного нефтяного газа. Поддержано предложение правительства о концентрации усилий по созданию в следующей пятилетке мощностей на Тобольском нефтехимическом комбинате, Сургутском и Новоуренгойском нефтегазохимических комплексах⁴. Ввод этих мощностей позволит

⁴ Тобольский и Сургутский комплексы Миннефтехимпрома собирались соорудить при участии «Комбасчен инжиниринг» («КИ») и «Мак Дермотт интернейшнл корп.» («МИК») — обе США, — «Мицубиси» и «Мицун» (Япония). Предприятия должны производить полипропилен, полиэтилен и стирол. Общие капиталовложения в Сургутский и Тобольский комплексы оцениваются в несколько миллиардов долларов. Эти комплексы будут, вероятно, совместными предприятиями, которые на ближайшие десять лет планируют освободить от налогов, а импорт оборудования для них — от таможенных пошлин. Новоуренгойский проект также подготавливался в сотрудничестве с «МИК». Здесь предполагалось производить полиэтилен, половину которого реализовывать в СССР, а половину на международном рынке. (В 1987 году мы импортировали полиэтилен на 25

улучшить положение с обеспечением химической продукцией производства товаров народного потребления, машиностроения и строительства, положительно скажется на экологической обстановке в стране».

Что же, еще одна победа партий интересов, но победа-то косвенная и неокончательная. В конечном счете такие дела решает не партийное руководство и даже не Верховный Совет — в конечном счете их решать народу.

* * *

Отчего у нас, кстати, никогда не считался приоритетным курс на строительство дорог? Тут есть какая-то загадка, какая-то недосказанность, вытекающая не столько из устройства русской души, сколько из не вполне, может быть, осознанного, но реального ощущения распутицы русских дорог как защиты и охраны, стратегического фактора, лишаться которого не след...

Ну в самом деле, протяженность дорог с твердым покрытием у нас примерно такая, как в Японии. Но Японию, наложенную на карту нашей страны, не сразу найдешь... По протяженности дорог Индия впереди нас.

Из пухлых изданий Госкомстата и в эпоху гласности невозможно узнать, сколько и каких дорог мы строим в стране, какими темпами, какова у нас плотность дорожной сети в сравнении с другими странами, сколько у нас километров автострад, сколько двух-, трехрядных дорог, сколько беззаконков, каков пробег на один автомобиль и сколько дорожного полотна на каждую машину, какова аварийность, сколько километров проезжают по нашим дорогам хлебпродукты и мясо, картофель и овощи, каков средний «тонно-километраж» нашей сельхозпродукции, каковы темпы развития дорог, капитальных вложений в эту сферу, какие дороги строятся из местного бюджета, какие — из центрального.

В 1940 году в стране было, как показывает статистика, 1 531 тысяча километров дорог, в 1986-м — 968 400 километров. Статистика объясняет их уменьшение «более рациональным размещением новых дорог с твердым покрытием, в связи с чем ряд грунтовых дорог с твердым покрытием потеряли свое назначение». Думается, это слишком простое объяснение. Дороги исчезли, прекратились, были брошены из-за исчезновения населенных пунктов, и наоборот — населенные пункты обезлюдели потому, что добраться к ним ныне невозможно. С 1940 года почти вдвое(!!) сократился километраж дорог в РСФСР — с 872 тысяч до 461 тысячи.

С дорогами у нас неблагополучие, ощущаемое каждым автомобилистом, каждым пассажиром автобуса. И неблагополучие прогрессирующее, все растущее. Под дорогами «с твердым покрытием» спрятаны в общей массе все наши разбитые горе-дороги с так называемым асфальтобетонным покрытием — «черные шоссе» и гравийные. Несравнимы затраты на мелиорацию — до последнего времени (по 10 миллиардов в год) — и на автодорожное строительство. Другие масштабы, другие интересы, другие приоритеты...

Перед Первым съездом народных депутатов СССР мы надеялись, что депутаты, Верховный Совет, его постоянные комиссии станут надежным заслоном на пути ведомственной экспансии, но Верховный Совет тогда еще не «сгруппировался». Вспомним, как спокойно, без проблем прошли через Верховный Совет министры тех отраслей, деятельность которых вызывает больше всего вопросов.

Судя по составу ряда комиссий, партии интересов в нашем парламенте по-прежнему уверенно контролируют ситуацию. Они даже и не очень таятся. Получается, что не государство назначает министра, чтобы провести свою, государственную политику, а совокупность предприятий настоятельно требует утвердить приемлемого для них человека, притом что отрасль развивается неудовлетворительно.

Еще один сюжет на ту же тему.

Обсуждает Верховный Совет кандидатуру на пост министра энергетики. Выступа-

миллионов рублей, полистирол — на 1,278 миллиона рублей.) Надо сказать, что всерьез разработанный автомобильный проект, о котором мы грезили выше, стоимостью равный стоимости томенских проектов, позволил бы резко улучшить финансовое положение страны и реально заинтересовать десятки миллионов людей. Автомобильная промышленность наилучшим способом связывает деньги населения. Мало того, что автомобиль класса, выпускаемого ВАЗом, стоит около 40 зарплат среднего советского человека, но и годовая эксплуатация автомобиля обходится как минимум в 800—1000 рублей (бензин, страховка, запчасти). Подсчитано, что на автомобиль за время службы тратится сумма, равная его цене. Итого — 80 зарплат. Наша экономика просто не обойдется без этого шага.

ют в основном свои, представители энергетической партии интересов. Вот на трибуне депутат С. Лашенов, бывший управляющий трестом Таджикгидроэнергострой, руководивший строительством Рогунской ГЭС, так беспокоящей Таджикистан. С энтузиазмом он напустует своего будущего министра, дает ему наказ добиваться принятия Энергетической программы и программы развития гидроэнергетики. (Да, той самой, против которой накануне съезда многократно высказывались видные ученые, многочисленные экологические организации; программы, по которой до 2005 года в стране предстоит построить немало крупных и крупнейших гидроэлектростанций и израсходовать на этот проект многие десятки миллиардов рублей.) Минэнерго наступает таким широким фронтом, что, встретив на каком-нибудь отдельном участке сопротивление, может позволить себе роскошь остановиться, даже отступить, форсируя наступление там, где достигнут наибольший успех. Надо отдать должное этой партии — она научилась считаться с общественностью, очень чутко и реалистично взвешивает все шансы за и против, маневрирует умело и невозмутимо. Энергетики могут пойти и на приостановку и даже на полную остановку строительства, могут, если сложатся так обстоятельства, в крайнем случае и Катунскую ГЭС отдать. И без нее немало останется. Кандидат — а теперь министр — Ю. К. Семенов сказал в своей программной речи главное: что видит свою задачу в увеличении производства энергии в стране до 2005 года в 1,5—2 раза. Именно это от него и хотели услышать. Смело заявленный экспансионистский, экстенсивный рост капиталовложений в энергетикку с необходимостью вызывает и гидроэнергетическую, и атомную, и другие программы. Энергетиков поддержат химики, металлурги — ведь для всех энергоемких отраслей опережающий рост производства энергии действительно необходим, он обеспечивает и для них простор и перспективу. Для них, но не для нас. Для ведомственных интересов, но не для народа. Увековечение безудержного объема примитивного труда, копания котлованов, засыпания дамб делает проблематичной для страны необходимую ей глубокую структурную перестройку. Товарищ Семенов знал, что говорил, — в краткой речи, подгоняемый А. И. Лукьяновым, он сказал то, чего от него ждали услышать те, которые готовят нам новые расточительные проекты, новые замкнутые друг на друга циклы омертвления труда, капитала и ресурсов.

Печально, что в зале не нашлось ни одного депутата, который подверг бы критике выдаваемую за не требующую доказательств аксиому концепцию двукратного энергороста, расточительного, разорительного и экономически катастрофического для страны. Больше того — новый министр сказал, что нужно обсудить энергетическую программу, принять ее и уж потом не вмешиваться в ее выполнение. Прискорбно, что ни одного принципиального вопроса не задали депутаты важнейшему министру, избрав его в едином порыве (против голосовали только два депутата). Впрочем, так же был избран и другой важнейший представитель топливно-энергетического комплекса — министр химпрома Н. В. Лемаев. Ни одного неприятного вопроса — ни про Благовещенский комплекс, ни про миллиарды долларов, предназначенных для созвездия сверхзаводов в Тюменской области. Ни одного! Это дало право еще одному благополучно прошедшему через Верховный Совет министру, Ю. А. Израэлю, простоявшему много дольше других под градом вопросов, не без язвительности заметить, что лучше бы депутаты свою активность проявляли, когда обсуждался вопрос о главных загрязнителях природы — министерствах нефтепрома и энергетики.

Реальность состоит в том, что ведомства гораздо лучше, чем общественность, приспособились к нашей промежуточной демократии, к плюрализму мнений, а не гражданских платформ, к тому, что в такой ситуации блок ведомств окажется сильнее не всегда компетентных и разьединенных представителей народа, поэтому и боятся они возникновения политических фракций, партий — не потому, что против них как таковых, а потому, что хотя, чтоб их фракции и партии господствовали безраздельно.

Возникают и новые формы организации. Читаю в «Правительственном вестнике» (1989, № 19): «В Министерстве энергетики и электрификации СССР создан совет отрасли. В этот совещательный орган вошли руководители министерства и ЦК отраслевого профсоюза, директора электростанций и энергосистем, председатели СТК предприятий, передовые рабочие, мастера, бригадиры. Среди них... генеральный директор объединения «Гидроэнергострой» народный депутат СССР С. Лашенов». Нетрудно предположить возникновение подобных структур и в других отраслях.

Со времен Баллода и ГОЭАРО незыблема методология энергоальянса. Читаю труды ГОЭАРО (1920): «При душевом потреблении топлива в 6 раз меньшем, чем в США,

средняя производительность нашего труда в 4,4 раза ниже американской, причем почти половина всего добываемого нами топлива идет на личное потребление, тогда как в Англии и Америке доля личного потребления сводится всего к 7%... Всюду и везде мы наталкиваемся на крайне слабую производительность нашего труда и на непропорционально большую долю такого потребления продуктов этого труда, которая служит не непосредственно производственным надобностям, а лишь для поддержки элементарных форм существования. (Разрядка моя — В. Я.) Переоценка... с этой точки зрения основных соотношений в главных подразделениях нашей экономики, очевидно, является первоочередной задачей при разработке общегосударственного плана нашего народного хозяйства».

Прошло семьдесят лет, создана гигантская промышленная и энергетическая база, замкнутая на «непосредственно производственные надобности». Трудно сравнивать, но как удержаться?

Уже несколько лет наша промышленность потребляет электроэнергии больше, чем промышленность США (при том что валовая выработка электроэнергии у нас составляет 61 процент от американской). За счет чего у нас так вольготно «производственным надобностям»? За счет населения, конечно. На освещение и бытовые нужды в США расходуется (1985) 791 миллиард киловатт-часов в год, у нас 95 миллиардов киловатт-часов, в 8 раз меньше (в таблице «Энергобаланс» в сборнике «Народное хозяйство» из-за малости и графы такой нет). Сельское население СССР в 1987 году (95,7 миллиона человек, или 34 процента) получило 24,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, или меньше полутора процентов произведенной в стране электроэнергии. При сохранении такой пропорции нам станции строить и строить.

Через семьдесят лет после начала ГОЭЛРО роли поменялись: у нас «домовая» доля опустилась до 7, а у них поднялась выше 30 процентов.

Но идеологи энергоблока твердо стоят на своем Доктор технических наук А Марчук пишет в 1989 году («Коммунист», № 16): «...в Норвегии, например... на душу населения производится 26 тысяч кВт.ч электроэнергии в год, в США — около 12 тысяч кВт.ч, в 4 и в 2 раза больше, чем в нашей стране. Соответственно в несколько раз больше разница во внутриквартирном потреблении» (Ну, лукавит эксперт, разница тут очень несоответственная.) «Почему же украинские крестьяне или колхозники Нечерноземья живущие рядом с атомными электростанциями, должны покупать себе уголь или дрова для отопления вместо того, чтобы включать электропечь? Таким образом, совершенно неправомерно противопоставлять энергетику и потребности человека». В самом деле, почему для того, чтобы иметь электропечь, крестьянин в нагрузку должен получить АЭС рядом с домом? Как и во времена ГОЭЛРО, дело в процентах, в доле, идущей на «поддержание элементарных форм существования». А эту долю партии интересов не собираются нам увеличивать Они требуют «вернуть электрификации ее высокий ленинский смысл», по-прежнему считая всерьез вместе с А. Марчуком ее «наиболее важной из всех великих задач, стоящих перед нами»⁵. Но общество наше за это время поумнело и твердо знает, что на пороге XXI века нам нужно кое-что еще и кроме электростанций...

Этой зимой я побывал в Норвегии в составе делегации общества СССР — Норвегия Под предводительством энергичной и исполненной доброжелательства Гунхильд Шмидт ездили мы по маленьким городам и поселкам Северной Норвегии, жили в домах простых людей Тамонные дома не окружены баррикадами из дров, по берегам фьордов не валяются тысячи ржавых бочек Дома отапливаются электричеством, иногда, впрочем, мазутом. Появились уже и солнечные энергетические установки, это за Полярным-то кругом. Полную систему энергоснабжения, основанного на фотоэлементах, можно купить в обычном магазине. выбрав нужное по каталогам (здесь и солнечная батарея, и кабели, и разъемы, и аккумуляторы, и регуляторы, и процессоры, и широчайший шлейф низкоэнергоемких электроприборов). Электроэнергию, впрочем, здесь экономят — ставят в домах тройное остекление, на всех батареях — регуляторы, в комнатах прохладнее, чем у нас принято.

— Я много раз бывала в Советском Союзе,— сказала как-то Гунхильд.— По-моему, вам, прежде чем строить атомные станции, следовало бы — извини, что я вмешиваюсь,— наладить выпуск регуляторов тепла. Наши энергетики не видят серьезной перспективы в качественном развитии техники и технологии, в наступлении малоэнергоемкой эры. Они, конечно, говорят об этом, но действуют по-старому. А ведь мировая

⁵ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 156.

тенденция — в снижении не только удельной, но и абсолютной энергоемкости! Новые компьютеры, телевизоры, электродвигатели, осветительные приборы, автомобили потребляют энергии во много (иногда в сотни и тысячи) раз меньше, чем старые.

В ряде стран Западной Европы и США после нефтяного кризиса 1973—1974 годов возникли избыточные мощности. В США с 1982 по 1987 год снизились капиталовложения в строительство электростанций всех типов. Помещенный в эти отрасли капитал не дает желаемой нормы прибыли. В развитых странах особое внимание обращают сейчас на экономичное, эффективное использование всех энергоносителей; экономика США выросла на 40 процентов в тот период, когда потребление энергии было постоянным, сообщают Т. Дуайн и Б. Киппин.

Индустриальные страны осуществляют стратегический курс на снижение энергоемкости валового национального продукта (ВНП). Среди специалистов крепнет убеждение, что этот показатель один из важнейших в экономике, своего рода ее кпд, показывающий эффективность и конкурентоспособность экономики страны. Американские экономисты показали, что в Японии в 1973—1985 годах энергоемкость ВНП снизилась на 31 процент, в США — только на 23 процента, что стало причиной проникновения японских товаров на американский рынок. Подсчитано, что в Японии расходы на энергоносители составляют около 4 процентов от ВНП, в США — около 10 процентов. В результате США ежегодно теряют на этой более высокой стоимости энергоносителей около 200 миллиардов долларов.

Позиции СССР по этим важнейшим показателям удручающие. Принципиально не улучшив их, мы не сможем оздоровить нашу экономику. Но и наоборот — улучшить их можно, лишь оздоровив хозяйственный механизм, сделав его более восприимчивым к инновациям, которые непрерывно предлагает научная и конструкторская мысль. Необходимо альтернативная, поданная независимыми экспертами-специалистами и поддержанная общественностью энергопрограмма, суть которой — тотальное энерго- и ресурсосбережение. Здесь нет мелочей: и новые энерго- и капиталоемкие технологии, и новая культура использования энергии — все одинаково важно.

Лоббисты наших ведомств требуют вдвое увеличить энергопроизводство к 2005 году, в этом суть предлагаемой «энергопрограммы». Между тем в мире совсем другие тенденции. По американским прогнозам, среднегодовой темп прироста электрических мощностей в США составит около 0,7 процента. Эта тенденция верна для всех развитых стран. В США в 1985 году было 687 (округляю везде) миллионов киловатт мощностей по производству электроэнергии. К 2005 году ожидается 762 миллиона киловатт (или увеличение на 11 процентов). В Японии ожидается увеличение на 68 процентов (правда, сегодня Япония на душу населения производит энергии меньше, чем СССР), но в Западной Европе — всего на 22,4 процента. А мы снова собираемся направить наши финансы в котлован, на «нулевой цикл», швырнуть сотни миллиардов рублей, то есть труд миллионов людей, металл, цемент, машины и прочее на строительство корпусов, копанье каналов, бетонирование саркофагов над атомными реакторами.

Энергетическая, как и любая иная ведомственная, партия интересов принципиально ненамного, она сама не способна остановиться, сказать — хватит. мы сыты. Пока не лопнет — не скажет. Мы обманываем себя сами. Мы думаем, что направляем миллиарды на обновление, на новейшую технику, на подъем сельского хозяйства. Нет, мы направляем их на котлован. Никуда в другое место они не попадут. Никак иначе мы их не «освоим».

Летом прошедшего года экспертиза и Бюро общественного совета Госкомприроды СССР обсуждали проект строительства Иштуганского водохранилища в Башкирии. Водохранилище стоимостью почти в полмиллиарда рублей предлагалось Минводхозом РСФСР для улучшения экологической обстановки, а попросту говоря, для разбавления загрязненной сверх всякой меры воды. Эксперты предлагали эти немалые средства направить на изменение технологий, снижение выбросов, на создание эффективных очистных систем. Помню, как заместитель предсовмина Башкирии товарищ Максименко сказал, что все альтернативные предложения имеют один крупный недостаток — они нереалистичны. Для создания новых технологических процессов нужны проекты, разработки, нужен, наконец, металл, электронное и энергетическое оборудование, нержавейка, кабели. Ничего этого не достать, все в дефиците, и нет оснований думать, что дефицит скоро прекратится. Но зато есть мелиоративные СМУ, есть опытные кадры, есть скреперы, бульдозеры, экскаваторы, есть бетон и есть проект. Единственное, что действительно можно сделать на эти деньги, это построить плотину и водохранилище.

* * *

Сила партий экономических интересов — в системных факторах, идущих от основания нынешнего устройства общества.

Первый из них, вызывающий сейчас ожесточенную дискуссию в обществе, — вопрос о собственности, а вернее о фактической монополии госсобственности, не только отчуждающей человека от средств производства и результатов труда, но и вынуждающей его строить основу своего существования вне экосистемы государства, включаясь в так называемую теневую экономику. Она, как обратная сторона Луны, всегда в тени и в этой темноте не перестает быть. Осветить ее, вывести из мрака незакония означает в корне изменить условия существования; неизбежно начнутся другие взаимодействия между участниками процесса. Не надо только забывать, что в этой экономике участвуем все мы. И когда приглашаем водопроводчика за пятерку, и когда нанимаем левака, и когда сговариваемся с могильщиками на кладбище, и даже когда помогаем друг другу по-соседски, потому что к теневой экономике относится вся не контролируемая государством и не облагаемая налогом производственная деятельность и сфера оказания услуг. Она была всегда, она сопровождала нашу официальную, поощряемую, занятую собой экономику. Теневая экономика в основу своего существования положила житейские потребности человека — иначе общество просто погибло бы. Государство преследовало рынок, но никогда не могло упразднить его.

Впрочем, «светотеневая» теория экономики была бы слишком проста, чтобы стать верной. Любопытно, конечно, было бы исследовать вопрос о «светах и тенях» или о том месте, которое занимают теневые операции в обеспечении жизнедеятельности официальных предприятий.

Влияние неофициальных (подпольных) экономических центров, их деструктивная перераспределительная деятельность у всех сегодня на устах, потому что стала соразмерной или, как считают многие, превзошла реальные возможности официальных распределительных органов. Это усложняет и картину взаимодействия экономических интересов, их взаимопереплетение; партии интересов, очевидно, имеют и теневые аспекты деятельности, как и мафиозные структуры — свои интересы в пробивании легальных проектов.

Второе обстоятельство, как мне думается, заключается в еще недавно незыблемой государственной монополии на наш труд; государство как генеральный работодатель диктует и долю прибавочного продукта, остающуюся работающим у него по найму, оставляя самый минимум на пропитание. Оправданием этого служит монолитность Политического идеологического режима. Он уже, конечно, не тот, что прежде, фактически, но юридически мало постарел.

Для борьбы с недугом монополизма было выписано много рецептов, прилежное употребление которых могло бы и вовсе успокоить больного. Мои симпатии на стороне тех, кто стремится создать условия для естественного развития нашего социозноза, для самоизлечения страны. Тут не новые рецепты надо прописывать, а прекратить прием старых, явно не способствующих здоровью пилюль. Среди них наивреднейшие пилюли — идеологические. На повестку дня встает деидеологизация.

Компартия Советского Союза провозгласила принцип деидеологизации международных отношений. Вероятно, следующей важнейшей этап — деидеологизация внутренней жизни, во всяком случае государственной и уж прежде всего экономической. Сделать это трудно еще и потому, что затрагивается основа существования довольно многочисленной и влиятельной партии интересов. Людей, считающих идеологическую работу своей профессией и ничего другого делать не умеющих (впрочем, многие из них не умеют делать и то, что им предписано), у нас много.

Оставим в стороне идеологические кадры компартий. (Несмотря на настойчивые вопросы депутата Рыжова, наш министр финансов не прояснил, получают ли общественные организации, и в том числе КПСС, дотации из государственного бюджета. Будем считать, что не получают, что мы, коммунисты, сами содержим свою идеологическую службу.) Оставим в стороне работников отделов пропаганды и агитации партийных комитетов всех уровней, лекторские группы, парткабинеты и дома политпроса, партшколы и т. д. Содержать их или нет — внутреннее дело компартии. Но ими не ограничивается рать идеологических работников страны: тысячи учителей общественного образования, преподаватели истории КПСС, политэкономии, научного коммунизма и атеизма, политработники армии и флота, КГБ, МВД; методисты домов пионеров и домов культуры; идеологи в аппаратах министерств культуры, Госкино, Госкомпечати, Гостелерадио, ТАСС,

АПН, в редакциях газет и журналов. Во многих из них, копируя партийную структуру, отделы так и называются — агитация и пропаганды.

На Второй сессии Верховного Совета как-то возник (и растаял) деликатный вопрос о доходах партийных издательств и почему они не облагаются налогом. Монополия КПСС на право издавать газеты и журналы сейчас несколько пошатнулась, но практически она стоит неприступной стеной. Разрешить или нет какое-либо новое издание, определяют наверху, и тут значение имеет не только идеологический, но и вполне коммерческий интерес. Дело ведь не только в тонкостях трактовки истины, но и в возможном доходе. А доходов наши идеологи никогда не любили лишаться.

Деидеологизация как исторический процесс — это не введение каких-то запретов и не замена принципов идеологической работы, пропаганды и агитации, но выведение ее из сферы экономической жизни, во всяком случае с производственных позиций, из учебной жизни школы, техникума, вуза, воинской части. Истинная свобода совести подразумевает не только отделение церкви от государства, но и прекращение тотальной «промывки мозгов» во всякое время, и отделение от государства и атеизма и всякой идеологии, кроме идеологии правового государства.

Источники силы и живучести партий интересов еще и в жестко закрепленной, почти феодальной корпоративности нашего общества, несвободе предприятий, в неслиянной сегментарности нашей экономики, где межведомственные перегородки самые непробиваемые, в ее делении на плохо взаимодействующие (при этом теряющие на стыках интересов миллиарды) ведомства, в отсутствии свободного движения капиталов, их нетекучести (наши капиталы — не капиталы, они не текучи, а скорее, как песок, сыпучи), неспособности немедленно перетекать из сферы неэффективного вложения в сферу высокоэффективную (у нас это с полным напряжением сил делают Госплан, Политбюро ЦК КПСС, теперь и Верховный Совет).

Это будет, судя по всему, долгий и мучительный процесс для страны, особенно трудный, как всегда, для простых людей. Ведь партии интересов то и дело возникающими дефицитами напоминают о своей важности — мукомолы и пекари, мыловары и химики, лесорубы и шахтеры, хозяева тепла и энергии. Вам прохладно? перебой с электроэнергией? — не ходите на митинги безответственных «зеленых», не подписывайте писем против новых электростанций.

Мы все должны набраться мужества и терпения, чтобы не дать подкупить нас партиями интересов, блокирующимся сейчас в большие и влиятельные армии интересов. Их критика перестройки, подчас весьма жесткая и справедливая, не даст выздоровления и благоденствия, а приведет лишь к новой войне всех против всех, в которой не будет победителей.

Партии интересов — это естественные, живые структуры. Они способны к полному переформированию, они, пожалуй, прекрасно выживут и без министерств и без ведомств. Сейчас крупнейшие предприятия выходят из министерств, создаются межотраслевые комплексы, межведомственные концерны. При отсутствии эффективных ограничителей они могут быть еще более агрессивны, эгоистичны и антиэкологичны, а являясь в своих сферах монополистами, диктовать условия потребителям. Это уже было.

В условиях реформы, перехода на полный хозрасчет и самофинансирование предприятий, республик и регионов при нынешнем товарном и сырьевом голоде синдицирование монопольных производителей (в том числе кооперативов) может произойти очень быстро — кризис ускоряет их объединение, а объединение монополистов усиливает кризис. На эту опасность обратил внимание Второго съезда народных депутатов СССР депутат В. Ф. Николайчук, директор рудника «Заполярный»: «Наибольший протест вызывает вчерашнее заявление Николая Ивановича Рыжкова, что в экономике доля ассоциаций, государственных производственных объединений, концернов будет возрастать... У нас в Норильске создан концерн «Норильский никель»... Концерн монополизировал никелевую промышленность, все производство платины страны. У этого концерна около 13 миллиардов рублей основных фондов... к ним надо прибавить еще оборотные фонды. Такие промышленные монополии — это ведь органы власти! У них сосредоточена вся социальная сфера, они взяли под контроль работу правоохранительных органов. О каком правовом государстве может идти речь? Идет бурный процесс монополизации. И вы думаете, что через два года мы введем рынок? Да ведь эти монополии и правительство сметут, если сейчас мы их не приостановим» («Известия», 16.12.89).

Возражая депутату, Л. И. Абалкин сослался на решения Первого съезда народных депутатов, который записал: «...следует всемерно содействовать добровольному созданию социалистических концернов, межотраслевых объединений, союзов и других ассоциаций». Впрочем, не знаю, как у кого, но у меня Леонид Иванович опасений не разведал...

В 1902 году как следствие кризиса 1901—1902 годов возникли синдикаты специального чугуна, железных сварочных труб, листового железа. В 1922 году образовались первые советские синдикаты как реакция на «главклизм» периода военного коммунизма... Особенно были склонны к синдицированию предприятия сырьевой промышленности. Уже тогда синдикаты были выразителями широких экономических интересов. Как писал В. Я. Канторович в книге «Советские синдикаты» (1925): «Между прочим, весьма характерно, что профессиональные союзы являются всегда защитниками синдикатов. Как представители соответствующих ЦК союзов энергично защищали сохранение текстильного и спичечного синдикатов, крахмалпатбюро».

Т. Собсович в сборнике «На новых путях» в начале 20-х годов писал: «Вскоре обнаружилось, что распадение всей государственной промышленности на отдельные, ничем друг с другом не связанные хозяйственные единицы заключает в себе много отрицательных сторон для трестов. Вредно отражавшаяся на трестах конкуренция и трудность для отдельных трестов овладеть рынком сбыта и снабдить свои предприятия всем необходимым явно требовали известной координации их действий, прежде всего в сферах сбыта продукции и заготовки сырья... Тогда была выдвинута идея добровольного объединения трестов в торговые синдикаты».

Так начиналось объединение производителей против потребителей, завершившееся созданием системы министерств. Так начинался диктат монополистов, на десятилетия затормозивший нашу страну.

В последнее время не случайно оживились еще вчера тихие, сонные, ручные отраслевые профсоюзы, «приводные ремни» системы. Объединенный фронт трудящихся, недавно возникшая организация, требовал уже, чтоб местные Советы состояли «не более чем до двух третей их состава из депутатов трудящихся предприятий и организаций и не менее чем на одну треть из депутатов, избираемых по территориальным округам» («Известия», 25.10.89). Предложения эти подвергались в печати довольно активной критике. Говорили о деятельности «правоконсервативного блока общественных сил», который «представляет собой весьма серьезную угрозу перестройке». Дело тут не только в происках и заигрывании «консервативных сил». Все куда серьезнее и сложнее: требования о достойном представительстве «фабрики» не на пустом месте родились. Они отражают действительные процессы, существующие тревоги, забытые или игнорируемые интересы масс. Лидеры перестройки предупреждают общество, что исторического масштаба преобразования, модернизация страны не дадутся легко, потребуют многих лет, огромных усилий, напряжения, лишений, утрат, что велика будет цена, которую придется уплатить за запоздалое включение, встраивание нашей страны в общеевропейское и мировое экономическое пространство. Предупреждают, но как-то вскользь, скороговоркой.

Слишком многие города и поселки у нас лишь «соцгородки», придатки заводов и фабрик. Села русские — не хочется и говорить. Все общество порой кажется придатком одного усталого и озлобленного, запутавшегося в межцеховой глухой вражде гигантского комбината, о котором когда-то грезил вождем большевизма, — государства как единого предприятия. Построили — и потеряли общество, затворившееся в цехах.

Баллод-Атлантискус предупреждал своих неофитов: война всех профессий против всех — гибель социализма. Однако сдается, что в нынешних тенденциях эта война (пусть даже не война — вражда) — неизбежность. Возврат к предствительствам заводов, к средневековой корпоративности, гильдиям, куриям, тяга к обособлению не сулит ничего хорошего всякому, кто бежит вспять по эскалатору. В сущности, гигантский политический вопрос, который стоит перед нами сейчас, есть вопрос освобождения общества (и граждан) от государства-комбината.

Мы видим уже, как Верховный Совет посерьезнел, пожаднел, заскряжничал — и занервничали министры и те среди депутатов, которые представляют партии интересов; их голоса нервночески громко звучали на Втором съезде. Да и правительство в новой ситуации уже не то, что прежде: планирует (пусть и не до конца осуществимое) многомиллиардное сокращение фондов капитального строительства; консервируются многие долголетние и дорогостоящие стройки; сокращаются статьи государственных расходов, в том числе военных и военно-промышленных программ, впереди наверняка

сокращение, и весьма заметное, денежного дождя на нивы агрокомплекса, металлургии, химии; назревает после драматических забастовок пересмотр угольной программы с глубоким анализом экономической, экологической и социальной ситуации.

В нас еще сильна детская вера в слова. Мы говорим — и верим в них — слова о сильной социальной политике, слова прекрасные, но, увы, трудно и не сразу реализуемые. А пока народ волнуется — какая может быть сильная социальная политика у дырявого бюджета? Ведь каждому ясно! — лукавство.

Трудовые коллективы осознают свои интересы и объединяются, чтобы защитить их, — это естественно, понятно, хотя, может быть, с точки зрения долговременных интересов всего общества, а значит, и этих людей как граждан, действия их деструктивны. Попытка вынести на политический уровень прямое представительство заводов, фабрик и контор, ввести их в Советы как отдельную, властную курию вернет нас на семьдесят лет назад, к войне профессий и классов.

Этой тенденции противостоит, правда, другая — бурное взросление гражданского общества, осознание людьми своих гражданских общих интересов, более широких, чем обеспечиваемых партиями интересов.

Возникающий широкий спектр политических, культурных, национальных, спортивных, просветительских, кооперативных, потребительских, экологических и прочих организаций, существующих, как правило, вне производственных подразделений, — смертный враг обществу экономического и идеологического монополизма, где человек является членом трудового коллектива и здесь же — профсоюза, компартии, комсомола, очереди на жилье, машину и т. п. ...

Партии интересов влиятельны и сильны, способны на многое — реально именно они сегодня контролируют страну.

Монополизм — это власть, она, как и энергия, не исчезает и не появляется, а переходит из одной формы в другую. Ведомственный монополизм вполне может перейти в монополизм концернов, синдикатов, межотраслевых комплексов, альянсов, даже кооперативных ассоциаций, снова диктовать нам свой частичный партийный интерес.

Какова в этой ситуации может быть роль Коммунистической партии, руководство которой является вдохновителем и инициатором перестройки? Партия сама по себе (если говорить о всех ее членах, а не о «кадрах») действительно не имеет отдельных экономических интересов. В этом условии того, что она может повести историческую борьбу против синдикалистских тенденций, против партий интересов. Но чтобы освободиться от диктата частичных экономических интересов, она должна отмежеваться от них — во-первых. Наиболее радикальным решением, вероятно, был бы перенос партийной работы с предприятий в округа на территории, партийные клубы, действительная защита интересов населения, народа, а не предприятий. Во-вторых, деидеологизация производственной деятельности. В-третьих, свободная и равноправная деятельность всех политических сил и структур, не выдвигающих антиконституционных требований. В-четвертых, создание свободных и независимых профсоюзов и партий — крестьянской (колхозной, а может быть, и фермерской), крупной индустрии и мелких производственников, — с тем чтобы перевести существующий конфликт интересов в политический и явный из подспудного и несформулированного.

Кое-какие пути уже опробованы другими; впрочем, в нашей реальности в любом случае придется идти непроторенным путем, видя, однако, главную стратегическую цель — освобождение общества от власти своекорыстного частного интереса.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АНДРЕЙ БИТОВ

*

ЗАПИСКИ ИЗ-ЗА УГЛА

Вы, говорят, слишком молоды... А я говорю: не виноват

Вот сейчас хожу и думаю: вот об этом бы написать и об этом. И вой о том...

А потом, страшное дело, буду ходить и — о чем бы написать? О чем? Мое же дело?! Об этом?.. Но почему же именно об этом? Или о том?.. Тоже ни к чему.

«Автобус» (1961).

УГОЛ

18 июня 1963.

Приснился мне сон. Словно бы какое-то собрание. Помещение, как всегда во сне, было неопределенным, не то зал, не то подвал, то ли мною посещенное, то ли я оказался там впервые,— собрание вроде писательское. Хотя словно бы ни с кем я не знаком... В общем, гибридное из сна и памяти сочетание: чего-то очень хорошо знакомого и чего-то совсем мне неизвестного.

Таковы были публика и зал. Собрание, по всей видимости, носило идеологический характер. Какие-то там кипят страсти, кто-то подличает, кто-то лезет; кто и что — не помню, только — мерзко. В зале (словно бы в нем нет окон или зашторены, заложены и законопачены наглухо) — полутемно, и свет слабый, грязно-желтый, а люди сидят, как в сельском клубе, на длинных простых скамьях — сомкнутые и неразличимые, слитные.

И вот словно бы все оборачиваются ко мне, и я, тихо стоящий где-то вдаль от президиума, у стенки, оказываюсь центром. Словно бы указывает на меня со сцены Председатель, словно кто-то шепчет мне жарко в ухо, подстрекает (никак мне не обернуться к нему — всё он из-за спины...), кто-то очень знакомый, может, из приятелей даже, и все-таки неопределенно — кто. И мне становится понятно, что от меня требуют «высказаться»: вот вы всё молчите, отмалчиваетесь, а сами как думаете? не так? так имейте смелость... Я все не в силах отделиться от стены и уже чувствую, что, если меня вынудят, не могу уйти в кусты: отмычаться, ни да ни нет, не правда и не ложь, — неопределенного желе из страха и желания остаться «честным» на этот раз не получится. И я скажу все, что только в силах сказать, по способности и потребности, состоянию и образованию, страху и упреку.

Я еще стою у стенки, мне шепчут сзади в ухо, подталкивают; что-то холодеет и опускается во мне от страха и решимости; в бешеном темпе мелькают в мозгу, перемежаясь спазмами боязни, обрывки первых фраз и варианты начал... и вдруг я стою на сцене, на этом любительском помосте: передо мною и чуть подо мной — зал, таится в темноте, молчит и дышит, — я его не вижу и говорю. Удивительно говорю, в трансе искренности и слепоты — как решившись прыгнуть, а душа ухает и замирает в полете... Может, и неумно говорю, но, по крайней мере, достаточно, чтобы взволновать себя и зал. Что сказал — и не запомнил, как ни силился потом, — только две фразы:

«...Если Семена Бабаевского переместить сейчас в Китай, он там сыграет роль Василия Аксенова, а если Василия Аксенова переместить в Соединенные Штаты, то чью роль он там сыграет? Так где же литература? Не о том речь...»

Странно до сих пор наткаться на что-то в ящике стола.. Мне было тогда столько же лет, сколько минуло с тех пор Сей «дневник единокорца» писан вслед за «Жизнью в ветреную погоду». повестью, более или менее классически расположенной в своем времени. Неожиданную пару, неожиданную книгу образуют они даже для автора. Можно измерить пропасть между художественной и прямой речью. Можно измерить и время: было ли оно, прошло ли. (1989)

И другая:

«...Если миллионы, несколько, всех, что есть — то ли это евреи, то ли художники, то ли просто живые люди,— собрали и повели куда-то под конвоем к обрыву, к расстрелу, к уничтожению и один из них оказался вдруг (трудно ли допустить ошибку при таких масштабах!..) не еврей, а удмурт, не художник, а слесарь, не живой, а труп, то он кричит: «Какая несправедливость!» Не от его лица говорю...»

И вот я кончил, я иду в узком проходе между скамьями, и кругом такое молчание, напряжение и дыхание, словно там не выход, куда я иду, а могила, обрыв, небытие. Я иду и просыпаюсь с каждым шагом.

А проснувшись, вижу солнце из-за шторы и напротив кроватку моей Аннушки: она проснулась уже, увлеченно и деловито тормозит пеленку и прибулькивает от наслаждения. Почему-то она чувствует, что я смотрю на нее, отвлекается от пеленки и смотрит на меня, узнает—это видимым движением проходит по ее лицу узнавание, — расплывается, обрадованная, и впервые говорит мне: «Па-па».

21 июня.

Когда мы говорим: несправедливость,— всегда подразумеваем какой-либо общественный процесс. То ли тебя посадили, то ли тебя расстреляли, то ли лишили ожидаемых или заслуженных прав или благ, то ли делу твоему помешали—всегда подразумевается какая-то протяженность времени до этого плачевного результата, какое-то количество лиц, участвующих, какие-то силы, посторонние, внешние, в это включившиеся. Все меняет свою окраску, если представить себе результат, нас страшший, пришедшим внезапно и сразу, раздавившим в такую долю секунды, что ты ничего не успел и почувствовать, лишенным предыдущих мытарств, лживой логики, не умещающейся в мозгу, общественного окружения, свирепых бумажек с подписями и протяженности. Тогда оказывается, что именно процесс, приводящий к результату, мы называем: несправедливость,— а не сам результат, который скорее — рок, судьба, конец, и, не будь этого изматывающего вращения в неких общественных сферах, когда мы осознаем приближение страшного результата, когда познаем силы зла в этой, общественной же, сфере, их неумолимую логику, заключающуюся лишь в отсутствии логики, в бесповоротной силе утверждения предписанного (когда такое утверждение совпадает с нашими интересами, обычно не ведется речь о несправедливости, а ведь механизм тот же у этих сил: одинаково, что они совпадают, что не совпадают с нашими интересами), не будь этого осознанного лишь как внешняя механика неумолимых сил, то есть не помещающегося в сознании, вращения,—все превратилось бы в случай.

Представьте, к вам подходит человек, вы его никогда не видели, вы его не узнаете, с ним у вас ничего не связано (как, впрочем, и с любым исполнителем),— и, поравнявшись, пристреливает вас... Может, смерть наступит мгновенно—тогда ваши близкие будут говорить: какая нелепость, нелепая случайность, еще вчера шутил... если смерть придет не сразу, то и вы, страдая, будете говорить себе: как досадно умереть так вдруг, по какой-то глупой случайности,—и все равно покинете мир отлученным от причины задолго до смерти.

И вот теперь, в представлении, я часто опускаю процесс, который мы ощущаем как несправедливость, сокращаю его, как краткую дробь, и представляю себе непосредственно результат: нелепо, страшно, дико, глупо, случайно — ладно! — но при чем тут несправедливость?

В том ли, что не было приговора, или в том, что тебе его не зачитали? В том ли, что ты не согласен с ним, или в том, что ты не признаешь права именно этого суда выносить его тебе? В том ли, что ты боишься умереть, или в том, что ты не готов к этому? В том ли, что нет причины, или в том, что ты не понял ее?

Но даже если отказать себе в возможности постигать суть вещей, спуститься на порядок ниже и удовлетворяться лишь внешними и социальными категориями, то тем более несправедливость окажется понятием слишком тонким и разумным для мира, выстроенного и понятого на этом уровне (или, как мы в таком случае скажем: для современного мира), и суть вдруг окажется в том (если сократить все прочие вариации, на этом уровне качественно неразличимые), что может подойти незнакомый человек и пристрелить тебя в любое время дня и ночи в любой точке пространства—и уничтожить твои параметры.

(Удивительно это случилось у Кафки, хотя это и внешнее было бы для него рассуждение. У него это—как бы между прочим и само собой: одно из сечений созданного им объема...

Так вот, роман называется «Процесс», и все движение, вся мука героя — процесс, а развязка — просто рок, просто убийство, и, на верхний взгляд, даже не взаимосвязано одно с другим.)

ИЗ-ЗА УГЛА

10 августа 1963.

Упрешься в старые слова... Несколько месяцев назад я вдруг захотел написать стихи и, конечно же, не рискнул, а вчера они снова вспомнились мне. Слов не хватает, потому и не написал и не напишу, но вот что-то вроде подстрочника: «Ты увидишь вдруг то, что видел каждый день, и это пронзит и наполнит отчаяньем—приступ жалости, беспомощности и любви. Люди, маленькие, трогательные, вдруг побегут перед тобой по своим, казалось бы, делам, сходим «по-маленькому» и сходим «по-большому», они садятся в автобус и выходят из него, одни едут в одну сторону, другие — в обратную, одни останавливаются у газеты, другие становятся в очередь, кто-то что-то строит — кладет свой кирпич, а кто-то пьян совсем, тут еще и дождик пойдет, люди бегут, траектории их сходятся, пересекаются, расходятся, автобусы и трамваи стригут паутину их движений, переезжают твой неостывший след, можно даже поразиться той акробатической четкости, с которой каждый бежит по своей дорожке и всё цел, всё невредим, и эта подсмотренная тобой ловкость усилит тогда твое ощущение до невыносимости: Боже, зачем, куда!—и ты остановишься, парализованный, ощутишь неподчинение рук, ног, и почти всерьез придет тебе мысль, что и не восстановятся больше эти связи, закупорился канал, по которому павловские приказы коры приводят твое тело в движение, и люди продолжают свой хаотичный бег перед тобой, озабоченные, устремленные, и никуда они не идут на самом деле. «Как муравьи,— скажешь ты себе,— как муравьи...» И придешь домой, и если это чувство задержится в тебе так долго, что ты донесешь его до дома, то, может, сядешь и напишешь, будешь испытывать при этом подъем и словно бы озарение и напишешь: как муравьи, как муравьи... Будешь жить дальше и перечитаешь однажды и воскликнешь, усмехнувшись криво и победно: Господи, какой же я был дурак! ведь я ничего, ничегошеньки не понимал... и как же это я умудрился хоть что-то понять теперь? если настолько не понимал совсем не так давно! ведь это совсем не так, и слова не те, и беспомощно до стыда! Некая гордость разопрет тебя, и ты будешь жить дальше и думать дальше и однажды умудришься настолько, что невыносима станет тебе твоя же мудрость, и, словно бы усталый, с опущенными руками, взглянешь ты как бы с ее вершины, не уверенный, что сможешь уже хоть когда-нибудь приказать хоть что-либо своей руке или своей ноге, и увидишь, как побегут перед тобой люди, пересекая и путая свои траектории, вдруг увидишь, что это молекулы скачут под несильными толчками, короткими прямыми отрезками гасят они инерцию, а толчок-то был: купить колбаски, затем зайти в аптеку — и под острым углом в другую сторону... и так они скачут и пересекаются, короткими черточками обозначая прямые свои отрезки, а потом назад, а потом вбок и еще раз вбок, один толчок, другой, пятый — и уже никакого направления не определишь ты в их движении — лабиринт, хаос,— а каждый цел и невредим, и красота их движений, их уже природность, как бы в джунглях, среди зверей и лиан, усилит твое ощущение: зачем, куда? — скажешь ты. Броуновское движение, броуновское движение...—будешь повторять ты. И вернешься домой и, если мозг твой еще способен удерживать ощущения в памяти, запишешь: броуновское движение, броуновское движение... «Как муравьи,— запросится тебе на перо,— как муравьи...»

Одна из лжей, обрекающих человека на несоответствие и мучение, заключается в том, что идея способна изменить мир. Мир изменяется, а не идея. Идеи же существуют всегда. Их потребляют люди, не знающие слов, и им кажется тогда, что поступки их наполняются содержанием и направленностью. Всегда существовала одна легендарная личность, которая породила идею, которой мы, товарищи, дышим и счастливы сейчас... и так все складывается и получается, что все человечество развивалось направленно и осмысленно, плодом этого развития и явилась идея той выдающейся личности, и из этой идеи возник тот прекрасный и наконец осмысленный и справедливый мир, в котором мы, благодарные идее, живем... Так было всегда, во все. так сказать, времена и народы. И даже честные люди, выросшие в этой атмосфере подтасовок и стихийного шулерства, научились свободно перемещать в очередности действия и размышления о них так, чтобы сначала была мысль, а потом действие и ни в коем случае не наоборот, и в этом обмане ощущать себя существом разумным, и в этом же обмане словно бы власть над миром его подчиненность тебе, а ты — царь природы, вершина, венец, венчик ты.

Упрешься в старые слова... Человечество живет так: обманывая себя. Некоторые обманывают только себя — это честные люди, некоторые себя и других или других, а потом себя — это люди нечестные, это эксплуататоры и экспроприаторы, политики и властители дум, тираны и фанатики. Человек живет так: обманывая себя. Опереточный, романтический тиран: обманывает только других. Это внечеловечно, так, впрочем, и не бывает. Обычный, житейский тиран: для начала немножко обманывает себя, потом очень много других и в конце снова себя — чуть-чуть. Мудрец не обманывает ни себя, ни других, он знает, он ничего не может сделать поэтому, даже слова сказать, он неизвестно где, потому что, неспособный к действию, не обнаруживает себя, он невидим, его и нет. Он тоже внечеловечен, и поэтому его тоже не бывает. Художник, бедняга: жар и холод, жар и холод — и так всю жизнь, пока жив талант, он живет как человек: обманывая себя, при этом он рождает и тогда обманывает и других, к тому же он вдруг обнаруживает обман, страдает и становится мудрецом (на некоторое время), и тогда он ничего не может делать, и поскольку мудрец — это небитые, он невидим, его нет, художник возвращается к жизни через новый обман, который никогда не нов, и все повторяется снова. Он живет, разворачивая перед собой идеи, которые никогда не новы, он живет, создавая свои подобию и подобию своего мира, и обманывает людей тем, что оправдывает их существование не как зверей и птиц, которым Господь даровал жизнь, а как начала разумного, венца, венчика. Он живет, лишь минутами мудрости и разочарования впуская в сознание идею о том, что идея не способна изменить мир, и снова глупеет, чтобы продолжать свою жизнь и дело, он живет и бросает в мир новые идеи, старые как мир, и даже то, что немые, слепые и глухие люди вооружаются ими, губя одним своим дыханием, превращают их в дубины и всегда, всегда убивают его, потому что идея нужна им всего одна, а он может родить другую, — даже это никогда не убивает художника. Он приносит свои плоды и роняет их в землю, и они приносят новые плоды, не лучше и не хуже, одинаково прекрасные и неповторимые и отличающиеся лишь тем, что они существуют в настоящем времени, словно бы всего лишь «переведенные на язык современности», но это только — словно бы, потому что рождаются они всегда, как впервые сказанное слово.

11 августа.

Старые слова... Скажем так: человеческие усилия суетны и тщетны. Суета... я во-д-сталь наигрался с нею, внутренняя борьба с ней, тоже своеобразный ее культ, в моде сейчас у передовых людей, слово это воскресло у многих на устах, и возрождение это связано с некоторым вообще оживлением в последнее столь, увы, недолгое время, это слово свидетельствовало о некотором уже уровне душевной жизни передовых людей и хорошо бы подольше не исчезало. Но по кругу душевного опыта и понятий, очерчиваемых им, употребление его и волнение им свидетельствуют о вере в прогресс, окруженности и непрестанном разрешении общественных головоломок, оно не выводит из сферы поминутных ощущений, оно невежественно и оптимистично, поэтому оно как бы подразумевает существование в море бесцельности и бессмысленности какого-то высшего смысла и высшей цели, это всегда и у всех очень абстрактно, возвышенно и смутно. Оно как бы зовет к ясной жизни, чистому служению и высокой цели, на самом деле все обуславливается выигрышем, повышением кпд, без суеты можно сделать много больше и много лучше и получить тот самый первый приз, абстрактное и сильное представление которого все-то и стимулирует, хотя этого приза и нет, потому что он у каждого свой. Так что возня с суетой, ее культ, ибо это стало чем-то вроде паспорта духовной жизни и каждый похвалится своим мученичеством в борьбе с нею, еще не выводит из той неширокой области общественных шевелений, из противопоставления которой вытекает. И хватит о ней. Другое дело — тщета. Слово это внезапно исполнилось для меня глубокого смысла, и весь мой опыт, сам собой, пристал к его берегу. Пользы говорить об этом, конечно же, немного. Это почти извращение — пробовать в период художнически беспомощной мудрости создать что-либо, используя это свое состояние, это было бы отвратительно, если бы естественно не вытекало из природы художника, которому тем более хочется доить себя, чем менее он к этому способен. Мудрость похожа на перевертыш, она не может существовать в одном желаемом высшем смысле, если существует попытка высказать ее. Конечно же, противоречиво желание высказаться глубоко о тщете, потому что это возможно лишь в случае глубокого сознания ее, а это сознание исключает возможность и способность ее выражать. Но я хочу жить и постараюсь поспешно абротировать спокойную идею. Даже больше, вдруг окажется, что круг друзей моих

воспримет то, что я пишу сейчас, как близкое, сопереживает и станет мне благодарен за тот предел искренности и выраженности, которого я пытался достичь, ну, хотя бы один или два поймут, окажутся в той же фазе или на подходе, тогда все мое состояние и писание сейчас перейдет в полную свою противоположность. И я получу удовлетворение и еще одно подтверждение, что дело мое не бесполезно, а наоборот, направленно и необходимо и что — так держать, и подъем, и высокую оценку себя, и приподнимание надо всемирно, бодрый шаг, легкость и желание работать и работать дальше и как много я еще могу сделать, фаза пройдет, ее не будет, я спущу шторм сознания, чтобы ничто не мешало мне делать то, что я способен в этот момент, это будет счастливое состояние, когда я буду уходить от друзей, воспринявших то, что я сделал, такси будет не поймать, пойду пешком домой, и несколько романов будут толпиться в моей голове, споря за право предпочтения. Все будет прекрасно, то же волнение, суета, так же будет досаждать мне она и не давать написать все те прекрасные романы. И не думаю, что услужливое мое, здоровое еще сознание позволило бы мне однажды не вынырнуть из безнадежности вдруг понятых вещей. Каких только скотских слов не придумало человечество для обозначения этих переходов, этих непрерывных измен истине, этих трусливых побегов под сень лжи. На двух языках говорит человечество — всего на двух! С какой радостью, преодолев муку сознания и снова ощутив себя жизнеспособным, вспоминаем мы слова и удивляемся их точности: преодолел себя, поборол себя, справился с собой, сила характера, сила воли, служение людям, святое дело... Мы возвращаемся по пустым улицам припрыгивающей от энергии походкой, какими глазами смотрим мы тогда на девушку, одиноко спешащую домой. Мы снова способны осеменять и не способны любить, мне кажется, погружены в себя, наслаждаемся собой, существо наше открыто жизни и наслаждению, мы — боеспособны! И ты вспомнишь все физиологические объяснения своего недавнего состояния, отказываясь от его сущности и правды, ты обратишься сам по отношению к себе в ту непрерывную равнодушную и ласковую сиделку, что окружает нас в мире, переодевшись любовью, ты скажешь себе, как говорила она: ты устал, ты был усталым, тебе не везет, тебе не везло, поэтому понятно твое состояние, — и словами, навсегда уже испорченными, ты похоронишь этот свой период, чтобы и не вспомнить никогда; фатализм, криво и победно усмехнешься ты, пессимизм. Если рискнуть на образ, то как бы два времени года в нашем сознании: лето и зима. Препарировав, можно бы было выделить, наверно, и осень, и весну. Не настолько я сейчас жизнеспособен, чтобы идти на припрыгивание над образом и наслаждение им. Но, впрочем, весна — начало лета, а осень — начало зимы. Тот вечер, то припрыгивающее возвращение домой от понявших и оценивших друзей, можно считать весной, за ней будет лето. Сейчас, допустим, зима, но тоже не совсем, вот нахожу я силы писать эту пустоту. Ну, не зима — так осень. Я не о том хотел сказать. Разными словами говорим в эти разные времена года нашего сознания (будем считать, что этот год не имеет ничего общего с астрономическим). И для жизни и дела нам приходится отказаться от тех немногих слов другого языка, что существуют глубокой и вечной жизнью. Мы, конечно, создаем духовные ценности, потому нам эти слова необходимы, мы трясем ими, но используем их, осознаем их на глубину лужи, по смутным и гонимым воспоминаниям зимы нашего сознания, далекие и сытые, мы сами же затираем эти вечные слова, чтобы следующей зимой безнадежности и оглядки на свои дела еще раз устыдиться, на что мы их разменяли. Мы живем, и делаем, и говорим на другом языке, спящего и сытого сознания. Как охотно повторяем мы, что страницы, созданные во вдохновении, беспомощны и слабы, и наоборот, то, что написано в холоде и равнодушии, почти скуке, — звучит как вершина нашей вдохновенности. Языка мы того не знаем, тех слов, вот и получается слабо, что их не находим. Спокойные же, плаваем в языке и словах, нам доступных.

А начал я, между прочим, говорить о тщете и всякое говорю, держа ее на расстоянии, потому что не хватает, не знаю я этих слов, для самого мучительного и сильного моего сейчас чувства нет у меня слов-ключей, и стыдно заменять отмычками и взломом.

Впрочем, неизбежно я пишу сейчас именно об этом и только об этом. О тщете. Я пишу это бесполезное и вредное произведение, и в конечном счете хочу поскорее выбрать-ся из него, и где-то у противоположного берега моего сознания ходит большая рыба, которую я втайне хочу поймать. Я хочу заманить ее. Я буду писать и писать, пока она, усыпленная, не подойдет ближе, я смогу выдернуть ее тогда. Втайне я хочу, чтобы, завязав все нити, запутавшись в них, уже в отчаянии, путая очередность и взаимосвязь, держа за первую попавшуюся, как-то вдруг, чудом попадет мне в руку нужная леска, на

которой сидит нужная мне рыба, и все так сойдется и образуется, что в конце концов приду я к настоящему утверждению, которое наполнит меня верой в необходимость дальнейших моих усилий, я переплыву, перелечу, приземлюсь, выйду на берег в полной уверенности, что это не та же, а совсем другая суша, к которой я стремился, где я наконец пойду, и все это лишь из-за того, что берег противоположный, и не сразу дойдет до меня, что нет никакого качественного различия в их противоположности, что они поменялись всего лишь местами, а означают по-прежнему равновесие и неравновесие.

Я писал о временах года нашего сознания. Мне уже трудно стало выдерживать напряжение полной речи, я хотел прочесть жене, что написал, и успокоиться на сегодня. Но жене надо варить кашу, она сможет позднее, а я вышел на балкон, закурил и пристально посмотрел на деревья и дома, и, помимо осознанной моей воли, получилось, что посмотрел как мудрый змий, тут уже не отделить, что нам кажется и что на самом деле, где поза, где красивость и где естество и в какой мере наблюдались эти поза и красивость — не в той ли, что не только не противоречит естеству, но и является им? Так, стоя и вспомнив о временах года нашего сознания, увидел я дерево, которое было перед моим носом, и подумал о временах года вообще. Только что я отказался от этого образа — глядя на дерево, мне представилось возможное развитие его. Жизнь и природа в своих циклах представились мне бесконечным рядом обнимающих друг друга сфер, у них есть полное подобие, и различие количественное времени и пространства их существования, и несовпадения по фазам цикла. Но всюду завершением цикла является смерть. Наше нежелание этого ничего не меняет, оно закономерно исходит из того, что мы, постоянные свидетели проявлений законов жизни и открыватели их, сами подчинены тем же законам и не хотим сознавать этого в применении к себе. Мы произвольно обозначаем вершинами развития те моменты, когда нам было лучше всего. Таким образом, мы опять же начинаем верить в прогресс, в целенаправленность развития и принимать желаемое за действительное. Мы не хотим считаться с тем, что то, что мы считаем вершиной, лишь точка пути развития, с самоуправством нами выделенная, что для природы все равно, хорошо нам или нет, и что она не остановится на этой точке, а пойдет дальше с неумолимостью; мы назовем это несправедливостью или спадом, чтобы надеяться, что справедливость, выдуманная нами и которой нет в природе, восторжествует, что спад сменится подъемом, что после старости придет молодость, после осени — лето... Да, все повторится, но нас при этом не будет, мы однократные свидетели, поденки, и нас это не устраивает. Но у природы нет цели, она бесконечна и вечна в своих смертях. И зима является концом цикла, а не лето, которое так нам по душе. И смерть является концом каждой особи, а не зрелость. И сознание наше в своем развитии имеет тенденцию к своей зиме. Только сознание лишило нас безропотности твари, и мы прибавили себе мучений. Сознание, противореча себе, из эгоизма, из «я», стало желать того, что невозможно в природе, — остановки. То, что существует в природе в виде конечных и бесконечно повторяющихся маленьких и больших циклов, мы хотим растянуть в бесконечность, остановив в точках, нами любимых, сознание позволило нам осознать наслаждение и пожелать его бесконечности, мы хотим, а — не получается, не получается! И это мы зовем жестокостью жизни, мы хотим жизни любимых, а они умирают, мы хотим бесконечной любви, а она кончается в нас самих, какого-то непрекращающегося оргазма хотим мы, а сами почти импотенты... Надо, а скорее вовсе не надо, понять, что нельзя принимать свое вполне естественное внутреннее сопротивление и возмущение неумолимостью природы за доказательство существования цели, смысла и прогресса. Наше карабкание, осененное обманом цели, необходимым для жизни сознания в природе, не стоит, смешно принимать за подтверждение наших идей, потому что идеи породили карабкание, не природа. Зима естественно завершает год. Смерть естественно завершает жизнь. Человечество естественно придет к своему концу. И Солнечная система тоже. И нет в этом никакой трагедии перед лицом Природы, а всего лишь трагедия одной особи, наделенной сознанием и не справляющейся с ним. У сознания тоже есть свои зимы и своя окончательная зима, достаточно пока далекая, а может, и вовсе близкая. Может, зима сознания ближе, чем зима человечества.

18 августа.

Если такой взгляд может показаться слишком черным, можно всего лишь начать рассуждения с другого конца и напирать на то, что все начинается с рождения, с весны, с первых радостей сознания... и действительно, это — силы созидания. Так происходит в

быту оптимизм и пессимизм: куда взглянуть, в начало или в конец своей книги... но и то и другое — лишь наши спасения и поражения, эфемериды, их так же нет в природе, как и любых наших моральных и духовных категорий, и ничего не меняется в природе от нашего взгляда на нее, откуда бы мы ни взглянули. У меня не было отчаяния, когда я говорил о смерти, я пытался увидеть вещи так же естественно и холодно, как думает природа, истерики тут все-таки не было и оправдываться не в чем.

Если я говорил о смерти как о естественном завершении любого процесса, то, во-первых, я говорил о том, что всем известно и никогда, в то же время не может явиться знанием живого человека; самое понятие смерть — это лишь постройка нашего сознания, исходящая из одиноличного, вопреки очевидности, протеста; в природе эта штука равнозначна с любым другим явлением, там нет ни оттенка, ни привкуса, которые мы ощущаем, одна лишь необходимость. Во-вторых, если я говорил не только о бесчисленных смертях бесконечно малых величин природы (человеческая жизнь достаточно долга, чтобы он стал их свидетелем и даже терял им счет, и эти атомы смерти тоже очевидны каждому и тоже не могут явиться знанием), но и всеобщей конечной смерти, обнимающей все сферы, то, во-первых, я имел в виду не конечную, а всего лишь ту сферу, которую могу себе представить, продолжая их в бесконечность, а во-вторых, я говорил скорее о тенденции конечной смерти, нежели действительно об окончательной смерти, абсолютном равновесии и абсолютном нуле. Мы не можем стать тому свидетелями, это слишком далеко от нас, да и не нужно нам, нам чужда жалость к грядущим поколениям, свидетелям потухающего солнца, тем более что она глупа — человечество много раньше сойдет на нет от кризиса и смерти сознания, — но тенденцию всего живого к смерти, и даже окончательной, можно ощутить, она в нас, в нашем мозгу и в итоге нашего сознания. Без конца можно отряхиваться от этих мыслей, чувствовать себя выздоровевшим, радоваться травке и солнечному лучу: какая весна, как прекрасна жизнь! — будешь выходить и выходить ты на крыльцо до самой смерти, но все это опять же побег от нелепого нашего страха и радость тому, что казалось невозможно, а вот и еще раз убежали, и опять невозможность просто сказать: да, это так. Я употребил слово «тенденция» как однажды понравившееся мне. В институте, уча нас непонятой и кастрированной диалектике, преподаватель сказал так: мы говорим, что при капитализме трудящиеся массы идут ко все большему обнищанию, однако знаем, что уровень жизни в развитых капиталистических странах не только не падает, но и растет, и даже (разговор уже велся со всей игрой в прямоту и откровенность, в то, что мы смотрим правде в глаза и т. д., разговор конца 50-х годов) знаем, что уровень этот превышает наш, и не только как данность, но иногда и по темпам роста, как мы видели в ФРГ, так вот, если мы говорим о растущем обнищании трудящихся масс при капитализме, то мы говорим о тенденции к этому обнищанию... — так говорил преподаватель, и так он ввел в мое сознание новое диалектическое понятие. Наверно, кто-нибудь заработал себе степень на таком прелестном переложении. Меня всегда поражали репутации умных и творческих голов в мертвых областях и их карьеры. Наши либералы, например, насквозь в этом. Потому что не обнаруживается ли прогресс (пусть это частица, полумера, пусть, говорят они убежденно и как бы оправдываясь) даже в этой формуле?.. Даже в том, что применять ее стало возможно, увидят они прогресс, эти первые спасители существующего порядка, непременные передеватели старого в новое, гримировщики трупов, двойные спекулянты, не берущие на себя даже цинизма в достижении благ, стяжатели, завернутые в знамена идей прогресса и возможности новому и выглядывающие оттуда, как тля из куколки, или как там в этой... ботанике!

Отступив и дав волю своей злости, и даже не столько злости (это уже усталое чувство по отношению к ним), сколько желанию позлиться, исполнив таким образом некое душевное отправление так же формально, как мы, за редкими вспышками жизни, уже привыкли все исполнять, включая и любовь, необходимо вернуться к теме, хотя ее уже нет в этом сумбуре. Успокою себя на том, что если чем-либо и будут скреплены эти страницы, то это выйдет помимо моих усилий, хотя и в их результате, и еще тем, что только в этом случае и может появиться нечто, чего я еще не выявил в себе и не выразил. Успокою себя так, продолжим.

Как я и предвидел, как я писал об этом неделю назад, мое письмо обернулось в свою противоположность, ибо я уже встретился с друзьями, которые и прочли те страницы и откликнулись на них пониманием. Это мое предвосхищение не наполняет меня, однако, гордостью. С грустью я обнаруживаю, что уже не получается той радости, какая, напри-

мер, возникла после рассказа «Люди, которых я не знаю» (1959), где я описал смерть одного персонажа, которого я постоянно встречал и с детства приглядывался, и через несколько дней я увидел этого персонажа точно так лежащим, с точно такой суматохой вокруг, как только что описал. Определенная гордость распирала меня, и я рассказывал об этом всем встречным понимающим и знающим меня людям, облекая этот новый рассказ о рассказе в форму как бы мистического ужаса, как бы стыда за содеянное, как бы утверждая этим идею того, что письмо вообще (а в частности мое) может обрести такую плотность и воплощенность, что и действительно случаться в жизни, и что поэтому никак нельзя писать о живых людях и тем более убивать их в рассказах; я создавал и определенный свой образ, повествуя об этом, образ не только сильного рассказчика, но и человека, способного быть потрясенным и задетым настолько, что он не в силах забыть от своей боли, что воспоминание о моем как бы убийстве как бы терзает и не оставляет меня. Я не бичую себя сейчас, отнюдь. Я был вполне искренен в своей игре и верил в нее, да ведь и не одна игра была в этом, было и то, о чем я говорил тогда, только слабо было, чуть-чуть, и потом очень усилено в изложении и в повторении. Так ведь сплошь мы усилием наши чувства, выражая их. Особенно в письме. Это, может, и есть творчество. Отсюда и вечное житейское: что книги — ложь (при этом имеется в виду не идейная канва, что ложь всегда, а чисто житейская, воспринимаемая обычным читателем,— я говорю, конечно, о честной литературе),— и, из-за этого же усиления чувств при их выражении, тоже житейский разговор, что художник только в творении прекрасен, а в жизни, если бы вы только знали этого мерзавца в жизни!.. Так вот, я был искренен, искажая и усиливая в рассказе эту действительную историю, и мое желание похвастаться этим случаем кажется мне свидетельством таких непочатых сил, что вызывает теперь только зависть. По сути, я хвастался, разыгрывая потрясенность и мистический ужас и как бы общался к Флоберу, почувствовавшему признаки отравления, отравляя мадам Бовари, и к Пушкину, плачущему или прыгающему над неожиданными поступками своих героев, и хотя не говорил себе об этом, но чувствовал себя равным им. Это трогает меня тем более, что, воскресшая сейчас перед собой тот момент, когда я увидел реализацию своего рассказа в жизни, я вижу: сцена ничем не походила на мной описанную, и только одна деталь — стоптанные задравшиеся башмаки умершего — совпала... Так ведь эти башмаки я всегда на этом персонаже видел, и всегда они были стоптаны, но этой детали было достаточно, чтобы по одной точке соприкосновения и по неосознанному внутреннему желанию полностью совместить картины во всех точках: очень мне, по-видимому, хотелось этого. И потом умилителен и еще один момент, когда вскоре снова встретил своего персонажа живым и здоровым (по-видимому, это был лишь обморок тогда), и когда я снова увидел его, два чувства, почти равные по величине и силе, столкнулись во мне, выявляя друг друга: одно, самое искреннее, которое я постарался не осознать и подавить, было разочарование в том, что этот персонаж так и не умер, убитый силой моего воображения, и другое, разработанное и привнесенное, с которым я не мог не считаться, чтобы не выявить некую внутреннюю нечестность, было то, что я должен испытывать как бы облегчение и радость, что освобождаюсь от того как бы терзания совести, о котором так охотно и горько рассказывал. Не о чем говорить, разочарование было все-таки сильнее, хотя я и не позволил себе осознать это и осознаю буквально сейчас, вспомнив об этом ни с того ни с сего и в свою очередь исказив все во имя новой конструкции. Но заговорил об этом я все-таки недаром, вернее, не без внутренней причины, потому что усиление чувств при рассказе и, следовательно, искажение их и ложь очень занимают меня сейчас, и глупый, по-видимому, стыд перед этим часто почти парализует меня в моем письме. Тем более что путь, который я осознал себе в последнее время, заключается в том, что я стремлюсь написать правду о самом себе, ибо это единственная из доступных мне правд и она становится всеобщей, если достигается, что если выразить полностью мгновения собственного твоего существования, то это и будет вершиной, и, так думая и стремясь к максимальной искренности, я все ловлю себя на искажении и лжи, и, уже сознавая невозможность собственных требований, все-таки не могу от них до сего дня отказаться, и, отменяя по одному все сильно действующие приемы, уже бывшие доступными мне и явно приводившие к воздействию на читателя, даже избранного, все чаще не в силах поднять перо, потому что все формы, сбегающиеся к его концу, вызывают во мне стыд... хотя бы только что написанное мною слово «перо», потому что уже полтора года пишу прямо на машинку и пером не пользуюсь... ну да это-то пустяки — подобные «перья», если бы только они!

Да, так совершенно не вызывает во мне гордости то, что я знал, что понесусь с этими страницами к друзьям, требуя от них сочувствия и похвал и, безусловно, «ставя им минусы», если они этого сочувствия не обнаружат («ставить минусы» — одна из самых мной не любимых черт, хотя я и сам, бывает, грешу этим: я скажу еще об этом, когда стану говорить о суде, если доберусь до него). Я знал, что так будет, и уже далек от мысли, что знание своих слабостей исключает их. Иначе бы не было литературы, не было бы живых людей и их гениев. Знание слабостей своих, скажем, и даже борьба с ними никогда не исключали их. Спекулянты во все времена стремились создать идеальные образы из гениев, мертвых конечно. Мертвые, они уже были бессильны поправить что-либо. Люди же, задуренные настолько, что уже не видели живого в их творениях, а лишь документы, тянулись к дневникам и перепискам, чтобы узнать в них живых людей, себе подобных, чтобы не отчаяться от своей слабости, которая (особенно это сейчас стало) кажется юному мозгу его личным проклятием и заставляет мучиться тем, что он единственный такой безвольный и слабый, не такой, как все. Каждое детство, по-видимому, докажет это. Потом начнется мучение (через кризис открытых глаз, когда обнаруживаются сходства и подобия во всем мире и кажется, что тебя обманули, а главное, обманывали всю жизнь; мир опрокинется на тебя своей похожестью, вечностью и нечистотой), потом начнется мучение, что ты такой, как все, совершенно без воспоминания о том, что только что ты мучился вещью, казалось бы, обратной: что ты единственный так плох в этом правильном мире, единственный не можешь справиться с собой и довести себя до идеала, что ты урод, не такой, как все. И потом, привыкая и не справляясь с собой, скажешь (и это будет почти усталостью): ...все мы такие, как все, и каждый из нас единственный. С этим уже и умирать можно. Впрочем, о непрерывном искажении действительности через внутренний и общественный образ этой действительности тоже хочется сказать подробнее и особо, ниже, так сказать, опять же только бы добраться до этого «ниже».

Так вот, меня уже ничто не поразило в том, что все так и произошло, как на страницах, писанных неделю назад, кроме разве того, что это произошло даже много раньше, чем я планировал. И я возобновил сегодня свои записки, уже вдосталь разрядившись в общении с друзьями. Но ведь неизвестно мне, что и сегодня — воскресенье и погода без дождя — могут приехать друзья, и снова произойдет контакт, заземление и разрядка... и если я сел именно сегодня, а перед этим целую неделю все был не в силах сделать это после предыдущей разрядки, то не потому ли, что тороплюсь добавить новенькие страницы, чтобы успеть их прочесть сегодня тем друзьям, что приедут? Но это и вовсе досужее.

Я приехал в город... какой там, к черту, город! Я так и не доберусь до этого. Только что написал о том, что приедут сегодня приятели, и тотчас — есть, воплотились — приехали. И сейчас пишу уж вовсе для ничего — для того чтобы друг снял меня из своей прекрасной кинокамеры, как я на своем чердаке работаю. Очень это симпатично получится.

4 сентября.

Продолжим. То, как меня не радовало собственное предвосхищение, а именно: что я стану читать эти страницы друзьям в надежде на сочувствие и вопреки сознанию ненужности такого чтения, даже прежде того, как завершу эти страницы, напомнило мне следующую историю, рассказанную неким П. Этот П., давно я его не видел, человек во многих отношениях замечательный и представляет собой идеологическую величину, которую я бы даже избрал в качестве единицы измерения, если бы возникла необходимость измерять тот особый потенциал особой категории людей, которые предпочитают воздействие на других людей скорее словом, нежели делом. Можно было бы сконструировать машинку, которая, выслушав очередного болтуна, выплевывала бы чек с оценкой: 10 П или 0,000075 П. Не будем никого обижать: для начала можно было бы предложить ей этот текст. Человек этот, наделенный многими талантами и, во всяком случае, очень чувствительный приемник телепатических идей (сейчас это стало как бы нейтрализовать невежество или замещать знание), обладает и бесспорным талантом писателя в том числе. Вещей его я не читал, и никто из известных мне его друзей не мог похвалиться тем, что был этого удостоен. Он показывал мне огромную корзину, набитую рукописями (ни один из моих знакомых не мог бы похвастать, что написал столько), и, опустив в нее руку, вытягивал наугад один из листков, на нем всегда оказывалось изложение замысла той или иной будущей вещи, и, не глядя в него, начинал рассказывать, и это он мог делать бесконечно или по крайней мере столь долго, сколько вы могли у него просидеть. И вот

на протяжении уже нескольких лет я не забываю и часто вспоминаю одну подробность из одного долгого его рассказа, еще в форме замысла занимавшего около часа непрерывного устного рассказа. Эта подробность своим подобием многим моим переживаниям, потерявшим от повторения остроту и ставшим лишь тихим мельканием, не вызывающим ни боли, ни угрызений совести, иначе — старость, заскорузлость, короста на непобедимых душевных прыщиках, подобие этой подробности многому из моего опыта и, в частности, упомянутому выше предвосхищению, меня сначала настораживало, а потом, тоже начиная стареть, лишь угнетало или огорчало... и пора уже переходить к самой подробности...

Один старик жил у себя в комнате. Был он совершенно один, и комната у него была запущенная и пустая, как у мистика. Там была намечена атмосфера, состоящая из каких-то кошек, странных девушек, почему-то приходивших к старику и спавших с ним, темных коридоров и какой-то бесшумной и бездейственной коммунальщины, окружавшей одинокого старика, словно бы просто бывшей в воздухе, делавшей этот воздух уже не воздухом, а супом, некоей питательной средой, в которой существовал микроб его одиночества. Длинные описания его несложных маршрутов в уборную и кухню, предварявшие всё не начинающееся действие, давали серьезное представление об этой питательной среде, и все это точно передавалось органически получающейся формой, насыщенной всевозможными трудно доступными слову фактурами стен, полов, штукатурки, пыли, фактур цвета, света, вязкости, плотности, осязания, обоняния и т. д.— тоже своего рода суп из фактур, необычайно густой. Так вот этот старик, однажды проводивший свою ночь в одиночестве, вдруг проснулся и долго привыкал к непонятному по фактуре ощущению, пока не понял, что это он хочет есть. Тогда он вспомнил, что на кухне у него есть колбаса, и отправился во многоминутное путешествие от своей кровати до кухни, и оно становилось настоящей одиссеей благодаря подробно переданному ощущению поверхности и температуры пола босыми ногами старика и ощущению кожи босых ног старика от прикосновения с этой поверхностью, ощущению рукой старика холодной ручки двери, и нового пола в коридоре, и темноты коридора, и потерянному ощущению длины пройденного пути, и скоро ли кухня в этой темноте, и поверхности обоев, которых он касался, касаясь стен и направляя свое слепое путешествие, и нашаривание рукой выключателя, внезапное освещение кухни, ощущение пола в кухне, изменившееся от его освещенности, и ощущение тесемок кальсон, шмыгавших по этому полу при каждом шаге, и т. д. и т. д. — и, наконец, возвращение назад с колбасой, снова потушив свет в кухне, снова в темном коридоре, и то ли оттого, что снова наступила темнота, то ли оттого, что старик вдруг ощущает неудобство при попытке коснуться стены, он вдруг обнаруживает в одной руке (в другой у него колбаса) тяжелый холодный чайник. Он вспоминает тогда о том, как взял чайник и наполнил его из-под крана, и не сразу понимает, зачем он это сделал... И вдруг щемящее чувство собственной старости пронизывает его, ибо до него доходит, что, даже ни разу не подумав об этом, он уже знал, что после соленой колбасы ему захочется пить, и, помимо всякой мысли, идеи, он, не заметив сам, наполнил и помес чайник, чтобы не ходить вторично на кухню, когда он съест колбасу и захочет пить.

Я, кажется, перестарался в изложении, и, может, не совсем понятна связь, но я не в силах пояснить дальше и хочу теперь продолжить другую, много раз начатую и много раз брошенную фразу о том, как я приехал в город и встретил друзей, чтобы так же наконец со вздохом разделаться с ней, как разделался только что с не менее мне надоевшим повтором фразы о том, что предвосхищение моего преждевременного чтения первых страниц записок своим друзьям отнюдь не наполняет меня гордостью.

Итак, я, кажется, приехал в город. Встретил я случайно Г. и К., и обрадовались мы друг другу необычайно. К тому же у них у обоих, только я встретился с ними, вдруг получились приятные деловые известия— и встреча и известия, все это взбодрило нас необычайно, такая радость любви и припрыгивания появилась в нас, и мы выпили у Г., потом у меня, потом на чьей-то свадьбе и, пожалуй, отправились бы допивать к К., если бы не кончились деньги, а главное, не закрылись бы магазины. Радость наша друг другу, во всяком случае моя, была так велика, что сняла с меня все омертвление, все, из-за чего я пишу эти записки, как морское купание. Словно бы от их присутствия рядом снова появились и стимул, и уверенность в своем деле, и неодинокость в своем деле, и ощущение силы и того, что уже достигнуто нами. Мы пили и радовались и, как всегда, когда известные обретают поддержку и внятное общение, меньше даже делились наболевшими мыслями и соображениями, как просто были благодарны друг другу и умиленно поддаки-

вали и кивали даже не важно чему, по одному лишь ощущению, что друг друга-то мы всегда поймем и лишь почаще нам встречаться, а то и вовсе не расставаться, и, как всегда, когда люди одиноки и вдруг радуются встрече, мы лишь кивали друг другу, как вежливые китайцы, и словно бы благодарили за каждый кивок, или звук, или жест и словно бы терлись носами. Мы выпивали свое самое дешевое вино. Так-так-так, вдруг говорил один. Мы его целовали и обнимали, спасибо, говорили мы, что ты сказал нам «так-так-так», мы тоже всегда так думали и были в этом одиноки, а теперь мы в этом не одиноки, тогда он обнимал нас и целовал, да нет, вам спасибо, что вы поняли мое «так-так-так», и я теперь не одинок, вам спасибо, и тогда мы все обнимались и благодарили друг друга, все кивали головами, и стукались в благодарности лбами, и словно бы терлись носами, и снова выпивали за это. И так-так-брык, говорил другой, и опять его все благодарили, и он благодарил всех, и каждый благодарил за то, что другой ему благодарен, а потом за то, что ему благодарны за то, что он благодарен. Глупые люди, недоумки использовали это в анекдоте — на самом деле все не так. И утюр-лю-лю, говорил я, и мы выпивали снова, и я был счастлив своим «утюр-лю-лю», таким же хорошим, как и «так-так-так» и «так-так-брык» моих друзей. «Все-таки мы кошмарно терпеливы», — говорил К., и это была замечательная фраза, и в ней была правда против тех, кто считает нас нетерпеливыми, и наша уверенность, что мы все-таки живем, несмотря ни на что, и еще продолжим, и еще сделаем, и еще добавим. И мы выпивали и терлись, благодарные, носами. Тогда-то и были прочитаны первые тринадцать страниц этого текста, и прочитал их пьяный Г. и так донес даже до меня все, что я там написал, и много больше, что я удивился и ему и себе, и умилился, и готов был всех обнимать и целовать, но сдерживался из авторской скромности. О Г. и К., людях, так много значивших для меня и для того, что успел понять, не отделаешься высказыванием, как о П. О них надо сказать много больше, и я попытаюсь ниже выразить, что сделали для меня они и некоторые другие люди, а пока перейду к какой-нибудь из мучающих меня идей, связанных непосредственно с возникновением этих записок и с нынешним моим состоянием. И это я сделаю завтра.

18 сентября.

Этого я не сделал ни завтра, ни послезавтра, не сделаю и сегодня, через две недели. Сочинение мое выходит из-под надзора и охвата. Что я отражаю в нем в целом, не знаю, но изменения интонаций и настроения за время, следовавшее за первой страницей, ощущал уже несколько раз, и теперь повествование мое как бы дневником становится. Никогда я его не писал и вот грешить начал. Утешать себя, впрочем, можно и тем, что выходит он дневником как бы особым, и тем, что родился он органично.

Тон трагической умудренности и вселенского абстрагирования сменился соображениями более частными, элегическими, последние страницы о городе — уж вовсе элегия. Но сейчас, спустя полмесяца, вижу, что зря я сделал свой наезд в город событием столь радостным, когда описывал встречу с Г. и К., потому что не одна эта встреча имела место и даже не такое большое место в городе она занимала.

Город теперь окончательно делает меня больным. Я в нем простужаюсь. Я в нем задыхаюсь. Я в нем начинаю ненавидеть. Я в нем жить не могу. И без него жить не могу. Я приезжаю, оторвавшийся от событий и дел, от встреч и знакомств, от свежих интеллектуальных поветрий и новеньких идеологических потрясений. Вотчина писательская плескается в своем пруду, и я ничего не понимаю и вижу только пену. Я обнаруживаю потом, после нескольких встреч и разговоров, когда у меня уже начинает звенеть и кружиться голова, что я в чем-то очень ошибаюсь, вижу мир как-то совсем не так, как видят его все, и, главное, совершенно неправильно ориентируюсь. Что я заблудился в этом литературном лесу, бывшем мне таким родным и знакомым, и вдруг, хотя ничего не переменялось в нем и я нахожу сосны и елки стоящими на тех же местах, он совершенно неузнаваем, этот лес, тропинки не нахожу — бурелом какой-то. Я, оказывается, совершенно неправильно ощущал свое тело во времени и пространстве, и как странно обнаружить себя стоящим, думал, здесь, а оказывается, вон где. Я бы сам, может, и не заметил такого у себя с собой заблуждения, если бы не добрые люди, они указали и объяснили. Нет, не то чтобы они мне это в лоб сказали. Просто на их лицах я вдруг читал, в их речах мимолетно проскальзывало, что и я не тот, за кого я себя принимаю, и нахожусь я не в том месте, где, мне кажется, я стою, и мыслю я не то и не так, как мне представляется, время сейчас совсем другое, чем я себе рисую: скажем, мне кажется, что осеннее утро, а на самом деле уже зимняя ночь, мне кажется, что стою на углу Невского и Желябова, а

на самом деле это угол Большого и Введенской, и, что еще хуже, может, даже и не этот угол, а еще другой, и город другой, и партийный съезд только что закончился, не то VII, не то XXVII, а сам я зря навязываюсь совершенно незнакомым людям и выдаю себя за знакомого, никто обо мне не слышал, не знает, и ничего я никогда не писал и ни в какой жизни не участвовал. И со мной разговаривают лишь из вежливости, чтобы не связываться с сумасшедшим. Так-то, дорогой друг, приятно ли вдруг узнать о себе такое?

Мне казалось, я всего лишь уехал на дачу в Токсово, где и живу тихо с женой и с ребенком, а оказывается, я вовсе исчез, перешел в другое существование, потерял способность к общению, полощусь где-то в антимире и еще пытаюсь в наш здоровый советский мир выглядывать. Что за любопытство такое!— возмущаются внизу справедливо. Зачем выглядываешь? Ты умер, Сапожков, как прекрасно говорит герой рассказа моего любимого Вадика Федосеенко. Ты умер, Сапожков, говорит герой своему приятелю по детсаду. Что ты разговариваешь, раз ты умер! Я не умер, отвечает Сапожков. Нет, ты умер, умер! И что ответишь на это, если никто тебя не поддержит? Можно и поверить. Тем более и сам себя хоронил весь год. Но об этом же не знал никто. Как же это они пронюхали?..

Я снова ощущаю перемену интонации — и здесь уже не пахнет элегией. Здесь во мне бьется интонация лихая и несправедливая, уже живая, где мне дела нет до объективности и представления мира в том неумолимом равновесии, в коем он всегда находится, и потому повод для возмущения может тебе дать лишь твое же недоумство. С радостью перейдя в свое недоумство, я вставляю здесь кусок, который написал вчера и наспех суровыми нитками и грубыми стежками связал с предыдущим, полмесяца лежавшим без дела текстом, сегодня. Я вставляю здесь этот привесок и обозначаю его как:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПИСАТЕЛЮ Р. Г. ИЗ ЛЕНИНГРАДА И ЧИТАТЕЛЮ ВЛАДИМИРУ КРОХЕ ИЗ ТАГАНРОГА

19 сентября.

Вообще-то все только тем и занимаются, что хоронят меня. Даже моя жена, даже М. Д. Не говоря о таких опытных похоронщиках, как Р. или Д., хотя эти-то двое очень разные гробовщики. Ну, Д.-то вообще весь понятен, что-нибудь в таком стиле, что Битов кончится, как только утихнет у него сексуальное расстройство, или что Битов зазнался и заелся и не сможет писать от ожирения, или что Битова задавит своим творчеством жена-писатель. Это все понятно у Д., который все причины с рвением первоклассника отыскивает в патологии и те три или четыре причинки, по которым считает, что пишет сам, рассматривает распространяющимися на все человечество. Поэтому ему, конечно же, непонятно, как может писать человек, если он не низкого роста, не урод и не еврей и женщины его любят, как может писать человек, столь внешне не похожий на низенького уродца-инородца, которого женщины не любят, то есть на него самого. Р. же хоронит по гораздо более многочисленным и заплетенным причинам, хотя, надо сказать, хоронит с той же протестантской простотой, без кистей и глазета, в тесном необструганном еловом гробу, в котором уже не повернешься поудобнее, чтобы — мало того, что в гробу,— еще и не занозиться. Скажем хотя бы так: что этот человек, несмотря на свой ум и талант, а может, и по свойствам своего ума и таланта, органически не способен видеть самого себя и не способен к общению, вещи самой для него необходимой, непостоянен потому и потому же никогда не сознается себе ни в одном своем естественном помысле, принявшем неблагоприятное выражение, и сознание непостоянства своего всегда отодвинет от себя, объяснив это вдруг открывшимся ему несовершенством объекта бывшей любви и нынешнего непостоянства. Я не знаю ни одного человека из числа бывших близких ему, которого бы он не чернил в ту же минуту или, и это уже свидетельствует о действительно выдающихся качествах объекта, минутой спустя. Ну да ладно, пусть хоронят. Тут я признаюсь в не прерывавшейся к ним обоим любви, тем более любви, что она выдержала знание того, что о тебе говорят не так, как тебе хотелось бы, и даже другие вещи, чем при личной встрече. Она, конечно, покачивалась, моя к ним любовь, но все же осталась, и если учесть, что, как бы умен художник ни был, в одном случае никогда не будет он благожелателен и объективен, это в случае, если кто-либо неблагожелателен и необъективен к нему самому, то я действительно люблю их нежно. И Д. с его одесскими шутками, и Р. с его разночинной подлостью.

Все меня хоронят, и мама, и папа. Мама потому, что я выхожу из-под ее влияния. Папа потому, что принципы моего существования как бы зачеркивают принципы его существования. И оба хоронят меня потому, что образ, который они предварительно создают или создавали обо мне и моей жизни, на практике не совпадает со мной, живущим в сегодняшнем дне. И с этим уже ничего не поделаешь, и, как ни грустно, придется перейти в область менее близких и более формальных отношений, потому что ничто уже не поддается изменению из желаемого в действительное и даже, если потратить всю жизнь на то, чтобы заменить в их сознании существующий образ на меня действительного, это будет рождением новой свеженькой пытки, начнется несовпадение со мной завтрашним. Я люблю маму и папу.

Как хоронит меня жена? Этого даже приблизительно не выразить словом, настолько это еще не выявленное, живое и изменяющееся начало. Скажем так, пока это четче выражается при всяких взаимных неудовольствиях. Может, все было бы и не так, но это же надо — жена у меня писатель. Недовольствия, иначе — ссоры, имеющие самые бытовые подкладки (по истоку это всегда коммунально и социально — очереди там, теснота или отсутствие денег), в развитии своем имеют тенденцию к оскорблению. Это так же просто, как драка с битьем посуды и порчей мебели. Сначала на пол летят наиболее близко расположенные, наиболее прочные и наименее ценные предметы, то есть те, которые не испортятся от такого с ними обращения или их не жалко... Меня всегда поражал этот точно действующий, подсознательный расчет так называемого аффекта. Потом если в комнату, к примеру, не впрорхнет птичка, освежая и рассеивая все своим радостным щебетаньем и не остановит внимание сторон на том, чем же они занимаются, когда за окном столько поводов для радости и ликования, если события продолжают развиваться и аффект наливается силой, из младенца превращаясь в зрелого мужа, когда уже под рукой не находится подходящих предметов, потому что все, бывшие под рукой, уже под ногами и нагибаться за ними, чтобы снова их бросить, значит обращать серьезное дело в пародию, тогда наступает некая секунда растерянности, потому что надо найти предмет, и желательно уже потяжелее. Бросить стоящую рядом хрустальную вазу все еще жалко, тем более что это наверняка будет концом, поллюцией, разрядкой, в ход идет извращение, неспособность еще пожертвовать вазой заменяется еще большим желанием унижить и причинить боль партнеру, скажем, так: бросить в него тарелкой с горячим супом, недорого, но эффективно, тем более суп немного уже остыл и обойдешься без ожогов, швырнуть в него кошкой, половой тряпкой, макаронами, сыром, мылом, мышеловкой с мышкой, грязными трусами, замоченным бельем, тем же самым Рабле, он большой и тяжелый и написал бы целый том перечислений того, чем можно швыряться при ссоре. Роль всего вышеперечисленного легко исполняет для нас с женой вещь не бьющаяся и не ломающаяся, простая в употреблении, гигиеничная для быта и словно специально для того предназначенная и абсолютно ничего не стоящая — это наше писательство, вещь, которая — понимал бы Д. — вполне равносильна жидовству, уродству и низкому росту. Тут на ум приходит всякое — например, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Это же надо было так подло сказать и еще назвать народной мудростью! Это же так просто — оскорбление... Можно действовать по принципу наоборот — назвать тебя уродом, если ты хорош, серым, если ты интеллектual, бездарью, если ты талантлив, стукачом, если ты кристален. Можно даже не трудиться и называть кошку кошкой: скажи еврею — жид, врачу — вр-рач, поэту — стихишки пишешь, писателю — пи-и-са-атель. И поскольку мы оба можем сказать друг другу: пи-и-са-атель — и это уже неинтересно, мы черпаем в анализе творчества друг друга и в знании различий наших творческих индивидуальностей: реалист вонючий, ничего выдумать не можешь — скажет мне жена; острялочка примитивная, правды никакой написать не умеешь — могу сказать я. После этой артиллерии можно и мириться, то есть сказать: ну, конечно, ты всех лучше пишешь, ты всех талантливей, даже меня; ну, что ты, разве могу я идти с тобой в сравнение, должен ответить партнер. Умные, любящие люди — поговорили, и все в порядке. Тихий период. А как же быть с этим «у пьяного на языке», как освободиться потом от тихих, отгоняемых разумом вылазок этой недотыкомки — «что у трезвого на уме»?

Так же, по сути, хоронят друг друга братья писатели, с той разницей, что нет про-меж них ни той любви, что между мужем и женой, ни необходимости жить в одной комнате после ссоры, ни этой одной комнаты, придающей ссорам формы столь конкретные.

Рассказывают также, что в Москве в Доме Герцена водится почтенный человек с обязательной еврейской фамилией, организатор писательских похорон. Действительно, де-

ло и хлопотное, и не всякому по плечу, и в любую минуту надо быть во всеоружии. Наверно, и в отпуск ему уже который год не уйти — не отпускают, боятся без него не справиться. А однажды, наверно, отпустили, уже он и чемодан собрал, и пижаму уложил сверху, и на вокзал отправился с билетом в кармане — бац, умер! и не кто-нибудь, а из самых-самых — догнали, вернули. Знаменитый человек, со всеми знаком, с каждым за руку и по имени-отчеству. Посмотрит — словно мерку снимает. На глаз определяет с точностью до сантиметра. Там, наверно, свои размеры у гробов, как у кашо. С., скажут ему. С.? — скажет он, это какой, у нас их три. Ах, К. — рост 4, полнота 3. Молодыми, говорят, он не интересуется, не ценит, не замечает. А они ведь растут, молодые... Наверно, думает, до пенсии годика два осталось, плодово-ягодный участок неподалеку, за кладбищем третья остановка, развел. А зря он молодых недооценивает. Вот и у Ш. инфаркт был, и у Г. — спазм, и у Е. — запой, и у В. — половое бессилие, а у А. — разжижение мозгов. Конечно, похороны у них какие! Нет того торжества и почета, но все же... похороны.

Да, вот отвыкнешь от города, не повидаешь подолгу людей, с которыми стоишь, так сказать, в одном строю, одними помыслами живешь и одними чернилами пишешь, — и, глядишь, отстал, не в курсе. Ты там тихонько сидел и кропал и думал — дело делаешь, а тебя тем временем отстали. Приедешь там в город за надобностью, оторвешься от трудов, спички там купить надо, соль, а тебе все только спины да жопы показывают, и окликнешь — теряются и руку подают неохотно, сокрушенно так, осуждающе посматривают: что же это ты, парень... мы тебя и похоронили по всем правилам, а ты живым прикидываешься. Ты же умер давно, кончился, тебя и нет теперь в нашем списке, другая нынче обойма, мы тебя вытолкнули, мы тебе спины уже показали, не дыши ты нам, пожалуйста, в затылок, все равно не догонишь. Впрочем, люди вежливые, виду, конечно, не покажут, что ты умер, самообладание у них, созерцание трупа не расстраивает их воображения или пищеварения, глазом не моргнут, пообвыклись, поволнуются еще в душе, долго ли ты их так держать за пуговицу будешь и расспрашивать, долго ли им еще с ненужными уже людьми разговаривать, им же бежать надо, они еще живые, но тоже ведь вежливые, не скажут, лишь переминаются от нетерпения, переступают да на женщин, мимо идущих, поглядывают, а как узнают, что ты всего за солью да за спичками, а там назад, — и вовсе успокоятся. Ну что ж, скажут про себя, покойник-то еще новичок в своем деле, подышать ему с непривычки захотелось, но дисциплинированный, знает, что в гроб вернуться надо, ничего, пообвыкнется, раз-другой еще вернется — и все, успокоится. И посмотрят на тебя так, что словно бы ты стал стеклянным, утвердятся в том, что тебя и нет больше, сунут руку в пустоту и побегут дальше.

Я теперь в город не езжу. Я за солью и спичками теперь рядом хожу, в местный кладбищенский гастроном. Ничуть не хуже. Совсем то же самое. Что живые, что мертвые — кто разберет? Кто как себя считает. Хожу я в этот гастроном и удручаюсь. Что это, думаю, никак не закупить этих спичек и этой соли так, чтобы и ходить не надо было. И что за прок — ходить? Что за радость в этом писательстве? Все одни затраты. Вот и спички по копейке, и соль — сразу семь за пачку. И друзья молчат, и издатели не чешутся. Копейка, да копейка, да еще семь, да еще копейка... Уже гривенник. Так ведь это только образ, спички и соль — на самом деле дешевка. А масло, а мясо? Хлеб нынче тоже... Побриться — и то на одном мыле да лезвиях разориться, если еще помазки терять не будешь. Борода-то все растет и растет, сколько ее ни брей. Я бы ее сбрил зараз, всю ее длину, на мой век положенную, но нет, получай ее день за днем, как по карточкам, и седые волоски пересчитывай. Одних сапог скольконосишь, бумаги сколько переведешь, машинистки тоже не бесплатные... А в награду — что? Тебя же нет, ты умер, какая награда!.. Ах, знали бы вы, все — одни расходы...

Вот и спать пора. Укладываться в свой отсыревший гробик. Полпервого. За окном тьма кромешная, и я в стекле отражаюсь, и машинка моя отражается. Темный я какой-то в этом стекле, мрачный. Не люблю я себя. Хорошие рассказы пишет Генрих Шэф. Я уже не пишу, я же труп, что я могу. Жена за меня допишет. Я бы еще рисовать стал или петь, играть Баха на теткинском фортепиано, но не умею. Я вот ничего в темном своем стекле не вижу — электричество мешает. Погасить разве да к темноте привыкнуть? А зачем? Я же все там, за окном, и так очень хорошо знаю. Тут ногами по Токсову хулиганы ходят. Меня небось очень хорошо из окна видно. Удобная мишень. Взять меня и пристрелить. Из профилактики. Чтоб оживать не вздумал. Не было бы так холодно, выбежал бы посмотреть, как меня с улицы хорошо видно. Но и это бессмысленно, потому что тогда меня за столом не будет, когда я на улицу выбегу, и я увижу лишь пустую комнату. А может,

так оно и есть на самом деле — комната-то пустая. Я сам бы пошел сейчас по Токсову с хулиганами, прислушиваясь к тому глухому и живому, что заворчалось бы при этом внутри: в какой сад залезть, какое стекло выбить?

А я вам говорю, не волнуйтесь вы из-за меня. Умер так умер. Не воскресну. Не желаю. Мне и в гробу не дует. И догонять я вас не хочу. А тем более дышать вам в затылок. Я сам себе в затылок дышу и сам себе на пятки наступаю, сам за собой гонюсь и сам от себя то отстаю, то нагоняю. Вот ведь загадка какая. Что такое? Само по себе живет, само по себе бегаёт, ни на кого не плюет и никого не преследует? А? Апролдж-смитьбю, как писала М. Д. Это я как бы на рояле играю и как бы ногтем по всем клавишам провел, тр-р-р-р-р-рель такую выдал.

Вот и все. Вот и спокойной вам ночи. Вот и выкушайте вы у меня то, что от меня откушали. А мне того и не надо, что от меня откусить можно. Я уже теперь гладенький стал и крепенький, никаких на мне удобных для откусывания отростков нынче нет. Укусишь — зубы соскальзывают и клацают. А я качусь себе дальше. Колобком. Кур у себя на даче разведу, рептилий нежных, пусть поют. Поросятки пусть хрюкают. Стрептококки пусть прыгают. Диплодоки пусть ползают. Бледные спирохеты пусть там и сям свисают и дополняют картину. Ну, а писатели, бог с ними, пусть уж пишут, пусть не спят, если им так нравится.

Бай-бай — как хорошо! Только ведь сон опять плохой приснится. Война опять. Даром, что ли, я пишу, а у меня окна от стрельбы недалеко трясутся, а по утрам прекрасные портяночные марши звучат в шелесте опадающих листьев. Или опять эти двое под локотки меня возьмут и скажут: пройдемте. Они у меня постоянные. Я их уже узнаю во сне. Даже недавно чай с ними пил. Они пришли — а я им чаю. Выпили от неожиданности. Разоткровенничались. Тоже ведь хлеб им достался... Один все бледный такой, зеленый, на солитер все мне жаловался, и того ему нельзя и этого, солитер все не любит, даже чаю горячего нельзя, только остывшего. Я тещу утром спросил, она мне сказала — первое средство от этого дела ромашка с сушеными грибными спорами, в водке разболтанная. Вот приснятся мне сегодня, я ему посоветую. Тоже ведь и повод выпить. Он с солитером пусть пьют со своими спорами, а мы с его другом в чистом виде употребим. Давно я ни с кем не пил, хоть с ними выпью. И жену в расходы не введу. Один пусть меня посторожит, а другой за водкой сбегает. Только уж ты, Р., не снись мне, пожалуйста. А то что такое, приснился — и руки не подал. Я тебе говорю: за что? А ты мне: сам знаешь за что. Что это за манера такая! — как хорошо сказал т-ский писатель Солженицын — не объяснять простому человеку, в чем дело. Ты не подал, а за тобой В. И. пыльным чубиком тряхнул и сунул руки в карманы как можно глубже. И Д. тут же короткие свои лапки прячет. Мы, говорит он, вперед ушли, мы литературу мысли создаем, новая система координат у нас, информация-фуяция, а у тебя система координат старая, ты к нам не подмазывайся, ты всё чувствешки да ощущеньица, ты мертвый уже, ты опять же нам в затылок не дыши, трое нас пока всего: я, да Б. И., да Р. еще. Уж если ты и приснишься, такое дело, лучше мы выпьем с тобой, ничего, что у тебя язва, — во сне можно.

А может, и без снов посплю. Тоже ведь случится однажды, что и сны сниться перестанут. Вот ведь как. Как жить-то дальше, Р.? Ты, конечно, скажешь как. Так и так. А я это, оказывается, и сам знаю. Я вот раньше много всяких глупых воображений за собой фиксировал и писать о них любил. А теперь их нету у меня, воображений, стареть начал, седыми волосами да выпавшими зубами сначала похвалялся, молод был, а как почувствовал, что и не только зубы да волосы, то больше и не хвастаюсь. И вот из всех воображений одно еще осталось. Словно прошло лет десять — двадцать, и вот иду я по незнакомой улице неизвестно какого городка и отчества. Сам седой, морщины такие мужественные на лице, платышко кое-какое несложное и узелок на палке через плечо. Иду я, а иди-то мне совершенно не к кому. Словно ни семьи у меня, ни друзей, ни знакомых, и речи я той не знаю, на которой все тут разговаривают. И воспоминаний ни о чем нет. Словно и не было никогда ничего. А вот только и есть, что иду я такой по этой незнакомой улице. Куда все делось? И куда я иду?

И правда, как я представляю себе, что со мной будет? По-простому, по-житейски — как сложится моя жизнь? Представляю себе, что война и все погибло, — это раз. Если не это, то что меня забрали и я в тюрьме, — это два. Если не это, то что я умираю от тоски по родине в богатом особняке на берегу теплого моря, в славе и без всего, что люблю, — это три. Если не это... Что угодно я могу представить, только никогда не представляю одного: что вот так, как я живу, я буду продолжать жить пять, десять, тридцать лет...

Это кажется мне невозможным, непосильным. Меня уже не поражает у великих, кто что написал, а поражает, как это Достоевский помер за шестьдесят, а Толстой за восемьдесят?! Как это они прожили столько!

А жить уже осталось так немного, пел сорокалетний Вертинский, и тоже помер за восемьдесят. А что Вертинский, не бог ведь что. Если гениям, которые себя обнаружили в этом мире, было выдано такое сумасшедшее здоровье, что они выжидали всю свою жизнь, то за какие это и чьи грехи им такое мучение?

Ну и будя, будя. Какие же, батежка, тигры, как сказал Лев Толстой, я вот, сколько живу, еще ни одного тигра не встретил. Голос Толстого захотели записать на только появившийся фонограф. Попросили его сказать что-нибудь детям. Так и останется, думал устроитель, великий голос, обращающийся к детям, к потомкам. Что же сказал старый Лев? «Дети,— сказал он,— не шалите, ведите себя хорошо. Слушайтесь папу и маму. И, главное, не шалите». И больше не захотел он записывать свой голос на этот фонограф. Ну что ж, будешь думать — додумаешься.

Уже которую страницу пишу, все кончить хочу, да так, чтобы вместе со страницей. И все что-нибудь начну, чего не собирался писать, и оно у меня на следующую страницу перелезает и где-нибудь в начале следующей страницы кончится. И опять тяни до конца страницы. И опять на следующую перелезает. Вот, читатель... Все. Не хочу больше.

20 сентября.

Все-таки кончил я вчера не совсем правильно. Потому что когда написал «Вот читатель...», то это было началом такой фразы: «Вот читатель В. К. из Таганрога пишет», — но, написав первые два слова этой фразы, увидел, что это последняя строка и я опять перелезаю на следующую страницу, испугался. Я передвинул каретку на слово назад и вставил запятую — получилось обращение, три точки в конце обращения для многозначительности поставил. И еще хватило места дописать: «Все. Не хочу больше». Получилось нормально.

Но потом я пошел спать, а у меня еще разгон был. Все продолжение мне в голову лезло, уснуть не давало, хорошие фразочки всплывали и гасли бесследно. Я, конечно, их не очень запомнил, и такой дурной привычки вскакивать в подштанниках, отыскивать бумагу и карандаш и ловить эти фразочки-светлячки у меня теперь нет. Нет такого ощущения, что нечто бесценное теряется навсегда. Я не И. Е. Пусть теряется, думаю я, слава Богу. Но я, по-видимому, возбужден был, все обострено во мне было. Так я вдруг ощутил запах пыли. Острый такой, как бывает, когда ее на дороге первыми гвоздями дождя прибывает. Откуда, думаю? И сразу фразочка-светлячок: «И что это мне все пылью пахнет?» И за ней, неразделенные, сомкнутые, шевелятся другие фразочки, и одна уже делает шаг вперед, чтобы встать рядом с первой, и в остальных, я их еще не различаю, но угадываю некую готовность вывиться в определенной последовательности и образовать целый связный отрывок, который начинался бы: «Что-то мне все пылью пахнет?» Да ну вас, махнул я на них, спать пора. Вот ведь какой я щедрый, а был бы отрывок, может, не хуже, чем «Чуден Днепр...». Приноживаюсь я, а пылью продолжает пахнуть. А тут, в Токсове, пыли и не бывает. Лежу я, а запах мне так в нос и бьет, несмотря на то, что у меня насморк и нос заложен. Что бы это, думаю? Начинаю щупать под носом, слышу легкий треск, и словно бы голубенькая искорка в крошечной тьме мелькнула. Воистину — светлячки... И вдруг понимаю: да это же я рубашку рядом с подушкой положил, чтобы утром не тянуть-ся за ней по холоду, а сразу натянуть, сохраняя тепло (см. о старике). Рубашка у меня такая теплая, современная, а материал — орлон, синтетика, так сказать? Вот он и электризуется, пока я рубашку весь день ношу. А снимаешь — разряжается. Отсюда и этот грозовой запах, и потрескивание, и даже искра. Я каждый раз, снимая ее на ночь, это потрескивание слышу, а вот запах впервые ощутил. Мне отец, у него такая же рубашка, и он очень любит явления природы, говорил, что вот трещит, и искры, и запах озона. Что трещит, я знал, а про искры и озон не поверил, подумал, что это он из любви к курсу неживой природы преувеличивает, вспоминает Рихмана, убитого молнией. А оказалась — правда. Вот как обустраиваются все чувства и их органы в творческом акте!

Собственно, если все эти страницы своего рода «открытое письмо», то сначала оно как бы адресовалось Р., а теперь уже является ответом таганрогскому моему читателю В. К., написавшему мне письмо. Он, видите ли, очень любит Ленинград, хотя ни разу в нем не был. И очень любит ленинградцев, с которыми он познакомился в альпинистском

лагере. Кто в каком лагере знакомится — времена меняются... Теперь, пишет он, очень хочу познакомиться и с вами. То, что он очень хочет познакомиться, как-то объявлено в начале письма, когда он описывает, как читал мою книжонку: «Я лежал еще в постели, золотые квадраты лежали на полу, и окуривал вас фимиамом, как рецензент вашей книги». Читатель Владимир Кроха из Таганрога хочет со мной познакомиться и хочет, чтобы написал я ему, как я начал писать, что послужило тому толчком, какие темы волнуют меня, как я пишу, о чем я думаю, когда пишу, и какие чувства вызывает во мне «работа над словом» (кавычки В. Крохи). Скуку чаще всего, дорогой В., и некую тоску, что не могу, не в силах уже, став писателем, заставить себя пахать, грузить, бурить, что во всю свою жизнь, сменив несколько служб и написав то, что я написал, ни разу я не работал, за что долго считал себя подонком и уничтожал, а теперь и не уничтожаю. Не заставьте же вы меня, дорогой читатель В. К. из Таганрога, написать вам в ответ много больше, чем я написал за все время, что я пишу, и все-таки быть не уверенным, что рассказал и объяснил хоть что-то? И проще всего, и, может, в этом будет не меньше правды, чем в целом томе, отослать вас к той трепотне на предыдущих страницах письма, то есть как я хочу кончить писать так, чтобы кончилась и страница, и все перелезаю и перелезаю и ничего с этим поделаться не могу. Вот так и пишу, вот такие чувства и испытываю. И еще дано мне тогда, погасив свет и ложась в полной темноте в отсыревший свой гробик, почувствовать, что рубашка моя пахнет грозой и той пылью, которую прибывают к дороге первые гвозди дождя. Страница кончилась наконец-то там, где я и собирался кончить.

4 октября (Дом).

Пионерское начинается времечко! Молодею на глазах. Надо заняться делом: две пионерские организации хотят получить пионерские сочинения. В загадке спрашивается: при чем тут я? И оказывается, что это я же эти пионерские сочинения поставляю. Впрочем, туманить нечего, прятаться некуда: поставляю так поставляю, не маленький — понимаю, что делаю.

Если писатель пошире открывает глаза, он ловит себя на проституции. Поэтому он их не открывает. Жмурится советский писатель. Говорит жене, потупляясь, разглядывая носок: пойду пройдуся, продышусь, невского ветерка хвачу... а сам шасть — в дом свиданий. Синие вывески, прошепанные коридоры, сквозняки из кабинета в кабинет, знакомые: с кем раскланяешься, кого не заметишь, а кого и смутишься. А вот и клиенты, редакторы по преимуществу. Встречают по-разному — и ты по-разному. Один любит тебя так, другой этак. Один бы и рад, да не может. Другой и может, да любит беленьких, а ты черненький. Один любит чистеньких, да молоденьких, да скромненьких, ты отведешь его в сторонку и в стороне таким себя предложишь. А другого — в другую сторонку, он с перцем любит, чтобы и в рот и в ухо, по-всякому ты умел, ему это нравится, постараешься ему таким показаться. Помучишься, конечно: один слишком за девушку тебя принимает, другой слишком за б..., но делать нечего — профессия, — скрепляешься. Встретишь писателя-товарку в коридоре, пожалуешься: ты знаешь, я по-всякому готов, но уж этим способом — извините... что ему — мало, что ли?

Тяжелая профессия, что и говорить!.. Но ведь сам знаешь, шел на что. Все ведь не просто так. Вот и цыгане, как только родятся цыганами, так все и крутятся и мучаются, как бы прожить не работая, и столько уходит энергии, чтобы по траектории этой проехать мимо труда, что любого труда оказывается потяжелее. Но цыган, может, и жалуются, но другой шкуры не захочет. Так и писатель, уж так ему невоготу, а на все готов, чтобы только этой немоготы не лишиться.

И все жмурятся, и все как будто не продаются. Проститутка законно обижается, если так ее назвать. Под утро рассказывают писатели в постели: ты думаешь, я всегда такая была... роман у меня был, не читал? Жених у меня был, талантом звали, завел меня в дом один, хочешь, к друзьям пойдём? Завел в редакцию и там бросил, по рукам пошла, лишил меня, напечатал и бросил, пусть другие, сказал, теперь тобой пользуются, пусть печатают. Грустная история, что говорить... Но слишком уж их много, уж и слезы не выжмешь. Оставишь на столике три рубля, на прилавке тридцать копеек, что ж поделаться, товар обратно не принимается — поставишь на полку. Девочка ужаснется, глядя на проститутку, обрадуется своей чистоте, а проститутка скажет: дурочка, и я такая была. Да никогда ты такая не была! — возмутится девочка-максималочка. Не может быть! И та права и эта.

Профессионал есть профессионал, он этим гордится. В писательстве наоборот. Представьте себе огромный публичный дом, широкая нога, комбинат, производственный уровень — и дорожки на лестницах, и лифт, и низкая светлая мебель, и белые телефоны, и производственный отдел есть, и отдел доставки, и не без первого отдела — и люди ходят и в кабинеты уединяются, и все пришли за одним, и все, представьте себе, делают вид, что пришли не за этим. Казалось бы, смешно и глупо, но попробуйте в жесте отчаяния, в агонии невинности выкрикните, зачем пришли, — линчуют. Если открыть глаза, картина получится фантастическая: все делают свое дело и открыто и не стесняясь, и в коридорчике, и на подоконничке, и на батарее, и сидя, и стоя, и вдвоем, и втроем, и в одиночку — содом! — и все словно бы не видят, не замечают, отрицают, отказываются, никто ничего не сознает. Подумаешь — с ума сходишь, как вдруг поразисься: да ведь это же гениальная система! И действительно, будь ты семи пядей, что ты выдумаешь против данности? А если ты видишь данность, то и действовать волей-неволей приходится сообразно. А требуется иначе. Как тут быть? Все спасет декларация. Однажды кто-то понял, что против данности, которая, только увидишь ее, все опрокинет, есть всего одно средство — объявить, что ее нет, этой данности. Нету, тю-тю. Вот два козла, редактор и критик, занимаются прямо на лестнице содомским грехом. Безобразие, свинство, как вы смеете! А мы тю-тю. И начинается, как в турецко-бушменском разговорнике: Что это? — Это публичный дом. — Это публичный дом? — Нет, это Большая Советская Медведица, а дом — тю-тю. — Это кто? Это курьер? — Нет, это главный редактор. — А кто это его так распекает? — А это тю-тю из первого отдела. — Можно к вам? — Нет, нельзя. — Но вы же свободны? — А меня нет, я тю-тю. — Вы тю-тю? Но вот же вы, я вас вижу, я держу вас за лацкан! — Это не лацкан. — Как не лацкан? — Да вы что, русской речи не понимаете, я же сказал, что я тю-тю!!! И словно туман падает и покрывает все — есть или нету? скажите, пожалуйста, черное — это ведь белое? Вы меня правильно поняли — вы не поняли ни черта. На все падает охлаждающий грамматический туман: не то настоящее в прошедшем, не то давно прошедшее в будущем. И таинство лондонских туманов роднится с таинством английской речи: паст перфект ин зе фьюче энд фьюче перфект ин зе паст. И вдруг спадает пелена, вдруг становится легко, словно незримая многоопытная рука Филатова отрезала тебе бельмо, и ты бежишь по коридору со всеми вприпрыжку, зажав радостный крик в зубах: я тоже тю-тю! я тоже...

0 ч. 00 м.

Пора признаться себе: есть один дом, в который все мы вхожи. Ханжество — еще совсем недавно — не было русской чертой. Это оставалось за миром более свободным. И это же надо — окончательно потерять второе, чтобы вдобавок получить первое! Есть такой дом! — возвещаю я это не бог весть какое открытие. Но в грудь себя не бью. Есть такой дом, в него ходят всегда за одним и никогда не признаются себе в этом. Достаточно прийти туда пятого или двадцатого, в день распределения материальных благ, а еще лучше — оказаться, если тебе прифартило, в той очереди к окошку, из которого выкидывают кости, — Господи! если у вас только нос не окончательно заложен от ленинградских туманов, какой же вы ощутите запах!! Как вкусно пахнет печатный лист, в переводе на печатные знаки, комбижиром и чесночными котлетками... Ах, черт, начинаю забывать этот запах, а до чего же хочется... А ведь гора не идет к Магомету. Все не идет.

Есть дом, в котором мы все сходимся. Мы в нем равны, как в бане. Кто еще стыдится, прикрывается шаечкой... А кто как забрался на верхнюю полочку, так и не слезает. Поддай, плесни еще, пару, пару! Ходят старые, истрепанные годами клячи, иные красятся, а иные не красятся уже. Ходят и ненавидят молодых. И молодые ходят, корчат из себя целок. Ходят к тем, кто их любит. Есть такие, любят ломать. Ишь выпендриваются, шипят клячи в спины молодым, все равно сломают вам... Взглянуть лишь чуть побеспощадней, чуть помаксимальней — и как ясно, что тут все равны, один помет, что, раз сюда попал... что этого вполне достаточно. Но нет, какая спесь, какое расслоение! Тот генерал, а этот штрафник. Да нет же, все мы голые!.. И на шайках нет знаков отличия. Но нет, каждая шайка особнячком, у каждой, как бы низко ни находилась шайка в глазах остальных шаек, есть свои корифеи и свои подонки, и каждый играет в благородство, в служение, и все возмущаются вещами обратными: подлостью и услужением — основным своим делом: накрылся шайкой — тю-тю! И как легенда, и только принохайся — поймешь ее вкус и глубокий смысл, бродят разговоры о двух inferнальных кастах, это боже-

ства, их и не видел никто, только имена выскакивают, как имена апостолов, это воплощенные мечты, ее два полюса, тень без света и свет без тени: Кочетов и Солженицын, и Эренбург — потолочник — между ними. Я тру лоб, я отгоняю, это мираж, бред, так нельзя... но как мне мерещится временами, что это одно и то же. Конечно, это лестно для времени, это приятно — укутываться в плед романтики: черное и белое, ад и рай, добро и зло, — как мило видеть двоичный мир четко разделенным, с таким резким разграничением света и тени, как будто мы в безвоздушном пространстве, как лестно мерить нашу действительность по бесам Достоевского, а передо мной все кривляется мелкий бес Сологуба, все чиркает подметками по обоям, еще несколько измельчавший, расплывшийся, растекшийся по миру, уже в окончательном усреднении и полном энергетическом равновесии...

Ходят мальчики и девочки и еще не знают, чем они торгуют; ходят демонические юноши, уже почувствовав свой горелый запах, давно решившие: бежать, бежать! — и все не бегут; ходят упитанные циники, машины, которым все равно; ходят либералы, держат в руке нежный пруттик и все отмахиваются, отмахиваются, и все им кажется, как отмахнут — очередной раз, что зацветает их пруттик: теория пятаков, теория малых дел, теория профессионализма, теория мыльных пузырей, — и обнимаются они с советской диалектикой: лучше меньше, да лучше, период легальный и период нелегальный, — все-то они носители, все-то они охоронятели, словно люди, не знающие спичек, словно жрецы, хранители огня, носят в корзинке, в полевой сумке, носят в портфелях Камю и Кафку, и все не поджигают, и опять лезут целоваться с классиками революции: момент не созрел, количество переходит в качество, — вот и копят, вот и потребляют, вот и жиреют — а качества нет как нет. И не будет. И не надо! — как говорит Г. Г. И все жмурятся, и все как будто не продаются.

Порядочная женщина спит десять раз с одним мужчиной, а непорядочная — по разу с десятью — так говорит Лакснесс. У нас же, диву даешься, все строится на таких тонких отличиях, что большая тренировка нужна различать их. Например, ты спишь с двадцатью, а я всего с пятнадцатью, я — порядочная, а ты — нет. Есть порядочный слой и есть непорядочные слои. Но в каждом непорядочном слое есть свои порядочные и непорядочные, свои прогрессивные и свои реакционные. Вот оно, зажавшееся количество! Есть порядочный человек для общения, есть порядочный человек для потребления, есть порядочный редактор, есть порядочный член правления, есть порядочный парторг, и есть порядочный стукач, и есть порядочный сукин сын. Мы пользуем их, попадая на дно из слоя в слой. И мы собираемся на своем Олимпе, пьем чай и беседуем с олимпийцами, уверенные в том, что на Олимпе нет магнитофона или микрофона, нет прямой связи с другим олимпом, и два олимпа стоят, взявшись за руки, и перемигиваются через Литейный. Мы снова выделяем себя в эталон честности и порядочности за этим чаепитием.

А в доме том запотели окна, и стоит над ним пар — это видно со стороны. И если есть люди, что обходят его стороной, то мы их не знаем.

И я сажусь завтра за пионерскую работу. Я садился и сегодня, но вот написал другое. Садился и вчера. Начинаются обычные уроки на дом. Их делать не хочется. Слоняешься между книжкой «Это было под Ровно» и пишущей машинкой, и хочется пойти по бабам. И что же? Свободу, маразм и духовный рост одному дороговому товарищу придется отложить на месяц. В течение месяца надо все это заместить и за отсутствием противопоставить. Надо самодисциплинироваться, надо взять себя в руки, надо заняться физкультурой, вегетарианством, воздержанием, нравственной гигиеной, изучением иностранных языков, постом, изнурением в труде, чтобы помочь себе справиться с этим и ничего не заметить.

5 октября (Юбилей).

Начиная с рубашки, которая однажды запахла грозой, у меня словно бы желание появилось записывать немножко на следующий день по поводу того, что писал накануне. Вроде как утренние размышления на вечерние темы. Сегодня мне удалось хорошо открыть глаза, как давно не бывало, как открываешь их в детстве. Я спал крепко, а открыл глаза сразу, не ощущая в них неудобства, ни того похмелья, что отягощает утро неврастеника. Я обнаружил, что еще нет восьми и спал всего шесть часов, даже меньше, но и досыпать не хотелось. Я обнаружил в своем мозгу некий простор и ясность, потому что четко вспомнил ощущения и впечатления, посетившие меня, когда я бросил писать и стал укладываться спать и перед тем как уснул. Я ничего, понятно, не видел и не слышал,

когда писал, хихикал над удачными словечками. Особенно, помню, хихикал над фразой: «Ходят молодые и корчат из себя целку». То ли оттого, что я над ней перехихикал, она мне сегодня почти ничего не говорит, эта фраза. Остальных я не помню. А вот как я встал из-за стола и что за этим последовало, я запомнил очень хорошо. Не силился, не перешептывал на сон грядущий, чтобы утром вспомнить, не записывал условными значками, чтобы расшифровывать, морща лоб, утром, а вот лишь открыл глаза, ясное, промытое встало передо мной вчерашнее мое ощущение, и необыкновенное удовлетворение почувствовал я от этого. И эта утренняя чистая память поразила меня еще больше, чем то, что так легко сегодня отворил свои глаза, и еще больше утвердило и усилило ощущение, что утро сегодня особое, когда-то бывшее со мной, но, увы, давно забытое: вроде пятилетний засыпает с мыслью, что завтра праздник, Новый год или день рождения, и как-то особенно остро чувствует и темноту комнаты, и прикосновение простынь, и вкус подушки, и всю свою кожу, еще такую ясную в каждой своей клеточке... и вдруг распаивает глаза, как распаивают решительным жестом окна, чтобы впустить свежий воздух, с охотой, поспешностью, каким-то сильным внутренним движением открывает он глаза — и видит утро в своей комнате и белое окно и сразу понимает: праздник!

Я встал вчера из-за машинки и опять ничего не увидел в ночном стекле, кроме слепого своего отражения с усиленными тенями, с провалившимися щеками и глазами, мертво глядевшего на меня. Я слышал тогда тишину и потом в ней звуки: за окном уже давно шел дождь. Он именно — шел, он ходил под моими окнами, он чавкал, вынимая медленные ноги из раскисшей земли, он скребся и сморкался. И я, с тем смешанным чувством детского страха, теперь, впрочем, легкого и ослабленного, и той уже взрослой усмешки над собой, рождающейся из боязни показаться наивным ли, смешным или глуповатым даже перед самим собой, не сразу поверил, что это дождь, а не кто-то ходит у меня под окнами, и он меня видит, а я его нет... и, уже совсем с замиранием, выключил свет и сначала ничего не видел и замирал еще больше, а потом разглядел кленовую ветку, припавшую к моему окну, потом начало дорожки, удаляющейся от моего окна, и даже небо обнаружил не ночным, а беловатым. Я располагал звуки в законном пространстве так, чтобы они стали конкретны и понятны, например, звук воды, льющейся с крыши в бочку: это он скребся в дверь, потому что бочка стояла у крыльца. Чавканья я так и не понял, но из привычки отрицать сверхъестественное в быту, из привычки убеждать себя, что живешь в мире причинных связей, которые так просты и не таинственны, если известны, я объяснил себе так, что это только я не могу понять, в чем дело, а на самом деле все происходит, может, оттого, что чавкает воздух, который выжимает из земли вода, или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, сказал я себе, это дождь и ничто другое, что еще раз подтвердило мою в этом неуверенность. И больше всего успокаивало меня все-таки то, что небо было беловатое. И я уснул, как живой человек, ни разу не зафиксировав, не формулируя своего ощущения, так что не этим объясняется, что я запомнил его и, проснувшись, пережил снова.

Я вышел затем на крыльцо, чтобы облегчиться. Утро показалось мне удивительно теплым, может, оттого, что я слишком уж ожидал ледяного холода. Иначе это трудно объяснить, потому что не может быть тепло человеку, только что проснувшемуся и вылезшему из теплой постели в одних трусах на сырое крыльцо ранним октябрьским утром на шестидесятой параллели. Утро, беловато-сероватое, вылезало из кустов и травы ключьями тумана, казалось, кусты освобожденно дышали, и пар, может, от этого, ощущался не промозглым, а теплым, как дыхание. Пар подбирался мягкими, тающими языками к крыльцу и, обессиленный, словно бы клал свою теплую собачью пасть на нижнюю ступеньку. Ощущение утра вдруг слилось, поражая меня непонятной общностью, с моим вечерним ощущением, так ясно воскресшим сегодня, и я, не желая и не пытаясь, словно мне это казалось ненужным и лишним, разобраться, в чем же эта общность, лишь принимал ее, воспринимал, и это делало меня еще счастливее. Счастливее, конечно, меня делало и другое — мое медленное облегчение. Я смотрел, как моя струйка падала с высоты крыльца на землю, выбивала в ней лунку, и над этой лункой тоже поднимался пар. Восторженно передернув плечами, я бросился назад, в дом, в тепло, нырнул под одеяло и с наслаждением оттаивал под ним.

Я обнаружил тот скребущийся звук, который так усиливается по ночам, когда за обоями оживают мыши. По утрам они обычно молчат. Преследуя этот звук, я вывел его источник из-за стен на улицу. Там, над моим окошком, я увидел птичку. У нее там, по-видимому, гнездо. Она шастала взад и вперед. Я никак не мог толком разглядеть ее из

своей постели, мешал карниз, за которым она скрывалась, а подлетала и вылетала она слишком стремительно. Я подумал, что это ласточка, но не был уверен, что они еще бывают здесь в октябре, ведь это, кажется, перелетные птицы. Эта птичка тоже обрадовала меня. Вот, подумал я, не только мыши, но и птички...

А если говорить о празднике, то мне мерещится, если я правильно помню, что сегодня исполняется пять лет с тех пор, как я пишу прозу. В этот день я написал свой первый рассказ «Люди, побрившиеся в субботу». Я очень удивлен, почему вдруг сегодня моя голова вернула мне эту дату. Я их не помню, как правило, дат. Хотя с детства старался их запомнить, словно бы в наивной уверенности, что от этого не умрет в памяти событие, сегодня меня столь волнующее, потому что я имел еще слишком малый опыт, чтобы проследить, как обходится память с нашей жизнью и как воскрешение бывших с нами и дорогих нам событий происходит помимо наших сознательных усилий воскресить их и, может, несмотря на эти усилия. Я старался запомнить многие числа моей жизни: дни знакомств с любимыми и дни, когда я впервые владел ими, дни моих свершений и побед; я твердил эти числа и записывал их на многочисленные бумажки. Сначала пропадали бумажки, а потом число переставало говорить мне хоть что-либо, и я терял число. И теперь я мучительно вспоминаю года и устанавливаю в памяти дату \pm год. А ведь я еще недалеко ушел по дорогам памяти. Эту дату, 5 октября 1958 года, я очень лелеял вначале, ведь это, как мне казалось, спасло меня, то, что я начал писать, ведь это сделало мое существование осмысленным и т. д. Дату-то я вспомнил сегодня вовремя — зафиксировал эти пять лет, которые еще так недавно казались мне столь далекими, и желание их отметить исходило из того понятного нетерпения перед течением жизни и оттого любви к круглым цифрам, которые, как бы это ни было условно, создают в нашей психике иллюзию нормированной этапности нашей жизни. Так, читая слишком толстую книгу, как бы ни нравилась мне она, я подсчитываю время от времени, сколько же мне осталось еще читать, и определяю отношение уже прочитанного к еще не прочитанному, так мой отец всегда желает отметить круглую цифру на спидометре своей машины, так нам хочется отмечать, сколько времени мы заняты тем или иным делом. Но даже если нас еще может взволновать та или иная дата (а может, тем более, если она нас может взволновать), мы, как правило, пропускаем ее, забываем, как отец, следя за дорогой, каждый раз пропускает тот момент, когда на его спидометре сразу много девяток заменятся многими нулями. И мне кажется, что мой сегодняшний юбилей оставил бы меня равнодушным, если бы мне не повезло нынче утром так легко отворить свои глаза. Да и все равно он оставляет меня равнодушным, не имея ничего общего и не сливаясь с радостным открытием сегодняшнего молочного утра.

И вот, как я ни оговаривал свой юбилей, я по-своему отпраздновал его, написав эти страницы. Я словно бы кончил писать и побежал за молоком, которое давно обещал принести. Выбегая с бидоном из нашего сада на улицу, я вдруг обнаружил, что, может, больше всего во мне самом пугает меня возникновение рефлексов. Если раньше я, пытаясь подражать взрослым, радовался возникновению в себе навыков, привычек, умений, то теперь как бы боюсь их, потому что, сам перейдя в другое, взрослое качество, обнаружил в рефлексе качество, обратное радовавшему меня в детстве, тенденцию духовной старости и смерти. Вот что заметил я за собой, выбегая...

Когда идет дождь, калитка наша разбухает и расклинивается в своем проеме так, что открыть ее можно лишь сильным толчком. И с той и с другой стороны забора у калитки растут деревья, и после дождя на каждом листе скопляется большая капля воды, и когда я, пытаюсь распахнуть калитку, с силой пихаю ее, я трясусь забор, а с ним деревья, и тогда на меня выливается холодный душ, состоящий из капли на одном листе, помноженной на количество листьев. В этом есть своя эстетика, но, в общем, это неприятно, тем более что многое попадает за шиворот. Я всегда забываю о том, что, толкнув калитку, окажусь под внезапным дождем, и сегодня я тоже не помнил об этом, когда совершил целую серию внезапных для себя движений и прыжков, имевших тот смысл, чтобы и калитку отворить и под дождь не попасть. Я проделал это успешно: дождь прошуршал мимо, — но, проскочив, поймал себя на том, что во мне, независимо от моих сознательных усилий, возник свеженький рефлекс и что бы это все значило... Это событие сразу стало в ряд с историей П. про старика с чайником и с тем, как я обнаружил, что кладу на ночь рубашку рядом с собой, чтобы не тянуться за ней поутру, когда комната выстуживается за ночь почти до уличной температуры. Еще я вспомнил, что изображение засыпания сознания, замены сознания рефлексом, жизнь интеллигента без интеллекта, столь,

как мне кажется, для нашего времени характерная, — все это уже давно преследует меня как тема, что видно и в «Пенелопе», и в «Саде», и в «Жизни в ветреную погоду».

Я посмотрел тогда еще раз на всю эту милую моему сердцу осеннюю погоду, окружившую меня на моем пути за молоком, в белое близкое небо, на расквашенную, расслабленную дорогу, на желтые листочки, слетающие к моим шагам и как бы обозначающие мои следы, мой путь, и мне стало жалко себя.

11 октября.

Снова я в Токсове. Третий день. Отмякаю. Снова — записки. В той небывалой сытости, что овладевает мной здесь, пишутся самые взволнованные страницы: муть оседает в осадок. Жизнь в Токсове не приносит новизны — в этом счастье. Вернее, все знакомо, все не в первый, даже не во второй раз — и поэтому вся новизна — твоя, вся — в тебе, в чистом виде. Передо мной вид, описанный в записках, я сейчас пойду за молоком и писать ничегошеньки не хочу. Вчера понаехали родственники — все было, как описано в «Дачной местности». Один сосед построил дом, а у другого дом сгорел, у Федоровых родился пятый ребенок, а Глафира Борисовна померла — и ничего не изменилось. Все осмотрено, исхожено, описано — и уже незаметно моему глазу. Любовь кончается — начинается жалость и благодарность ко всему, что меня здесь окружило.

Вышел я с Аней копать песочек. Стою, смотрю: за забором ветки, уже не зеленые, сквозь эту штриховку вижу косую антенну над нашей крышей, а за антенной солнце, подернутое, как сквозь марлю, оттого расплывчатое, широкое и совершенно золотое. Красиво это и ничегошеньки абсолютно не значит. Прямо кадр из какой-нибудь нашей талантливой киноработы молодого режиссера. Красиво, тонко и ни к чему. Очень современно, правда. Вдруг сзади музыка заиграла, из открытого окошка, а мне плакать захотелось. Вот стою я с открытым ртом, и музыка играет, смотрю на антенну с солнцем, и смысла от этого ни на грамм не прибавилось. Человек на велосипеде проехал и тоже не прибавил смысла. Все красиво, удивительно и ни к чему — никакого подтекста, идеи в этом нет, просто так получается. Мне казалось, что молодой режиссер кадры свои отыскивает, подгасовывает и нет их на самом деле, одно лишь его желание быть в искусстве. И вот стою и вижу: есть и такой кадр в этой жизни, и музыка такая же играет. Все есть в нашей жизни, что ни наври. Я вот думал, думал, как быть с человеком, куда его поместить и как скоординировать. То так оказывалось правильно, то наоборот. И вдруг понял: что ни скажи о человеке — все будет верно. Потому что все, что есть, — это человек. Вот выйдешь из кинотеатра — все там неправда было: одни попытки, талантливые или нет; выйдешь, а тут двор, поленницы, люди — толпою, это кино смотревшие, разные, а одно кино смотрели, плакали; пройдешь подворотню, выйдешь на улицу — все то же, что и в кино. Думал в зале, морщился: это они от бездарности, — а вышел из зала, и оказывается, что и жизнь такая, только ты ее в кино побоялся признать за свою, такая уж бедная. И может, фильм-то — просто замечательный.

Вчера папа мой приезжал. Наш сюжет. Не выдержал одного дня без внучки. Глядя на него, начинаешь понимать затертое выражение: жизнь его заключалась в том-то. Действительно, он и жить будет и не помрет, пока есть внучка. И та его сумасшедшая любовь к ней, видно, и означает, как мало у него уже оставалось жизни, если любви этой как основной цели пришлось принять формы столь гиперболические. Отец мой может вообразить опасность там, где ее невозможно вообразить. Живость его фантазии в этом смысле необычайна. Он приехал, чтобы построить заборчик к нашей речке, чтобы не свалилась туда внучка. Он ходил и, не обращая внимания на насмешливые взгляды родственников, съехавшихся на очередной воскресник по обработке участка (вообще-то он очень обращает внимание, даже слишком, на то, как смотрят другие, но тут его страхи были сильнее), он ходил и подстригал веточки, чтобы они не попали внучке в глаз. Этот уже абстракционизм чувства поразил меня. Вот сюжет материалиста: мир враждебен ему. Можно выколоть глаз, можно свалиться в речку, можно прищемить в двери пальцы — но жить, постоянно представляя себе это и борясь с этими еще не состоявшимися представлениями, кажется мне уже таким отрывом от жизни, что именно материалисты — совершенно не реалисты в нашей жизни. И борьба с ветряными мельницами кажется мне в этом смысле символом судьбы материалиста. А Дон Кихот — основоположником (как всякий основоположник, наиболее искренний и чистый от своих последователей) нового мировоззрения.

Вот я и снова хожу за молоком. Смеркается. Голые ветки в сумерках, словно что-то с ними случилось и они сами не знают что. Дорога начинает таять впереди и сливаться,

а где-то на горе костер красной точкой и в застывшем воздухе запах горелых листьев... Я иду и сосасываю молоко из чайника на ходу. Мы решили ужинать теперь молоком. Для здоровья. На всю жизнь смешные эти попытки к здоровью и порядку. Раньше меня мучило, что никогда-то их не выдержать в последовательности. А теперь понятно, что так и необходимо: регуляция. Из этих колебаний разгула и режима и выведется средняя линия моей жизни, близкая к норме, площадь моей жизни, как площадь трапеции: полусумма оснований — на высоту. Это-то все просто: сэкономить на завтраке, на такси не поесть, а на метро, заменишь сливочное масло подсолнечным, а вечером выпьешь бутылку водки, и она поглотит выгаданные копейки в море своих копеек. Мы решили ужинать молоком за счет масла. Я пил молоко по дороге тайком из носика чайника. Я пришел домой налить его в свой законный стакан, а в стакане — таракан, и я продолжаю пить из носика.

27 октября 1963 (Молитва).

Я писал о том жестоком, смертельном моменте, когда обольщения и утилитарные идеи вдруг начинают слетать, как шелуха, когда мир открывается тебе в своем извечном и неуловимом равновесии, когда всякое дело оказывается тебе бессмысленным и ненужным, относительность и преходящность идеи леденят сердце, опадают руки, как листья, и ты стоишь голый на осеннем ветру, пытаешься удержать последний свой жухлый лист, и умираешь в этот момент умудрения: последний лист слетит — и тебя нет больше. Много лет спасаешь себя надеждой на будущую весну, пока однажды не сможешь спрятаться от мысли, что за весной обязательно приходит осень, — и тогда отчаяние, и тогда уже не надежда на будущую весну, которая, как ты уже знаешь, ничем не отличится от прочих и не утвердится навек, а лишь надежда на надежду слабо утешает тебя, т. е. ты еще надеешься, что умудренность твоя пройдет, воскреснет глупость, жизнь, и ты еще раз, несмотря на весь свой опыт, поверишь в ту же самую весну. Еще и так проживешь некоторое недолгое время с надеждой на надежду, потом поймешь и этот автообман и не сможешь, даже притягивая к себе обман, желая поверить в него, убедить себя в том, что еще раз способен поверить в него. Ну ладно, когда тебе станет ясно и относительность относительности, что же останется тогда? Тогда окончательно мудрость, смерть, небытие? Какая поляна открывается за этим очередным и, кажется, последним холмиком на твоём пути? Что будет, когда ты уже не сможешь в очередной раз отбежать назад, чтобы снова пройти тот же отрезок и опять же не дойти до вершины, опасаясь, что там пропасть, небытие и, только ступишь на вершину, даже со всех сторон — пропасть? Что же последует за окончательно понятой системой вещей? И все еще боязно сделать последний шаг, все еще хочется выгадать, все еще думается: а неужели никак не узнать предварительно, перед тем как сделать этот последний шаг, что же за этим, закрывающим тебе взгляд, холмиком? — а узнав, может, и не делать шага... Это страшно, и никто тебе не подскажет: провалишься ты или полетишь? И действительно, кто подскажет тебе? — никому. Они либо провалились, либо летают, и не может быть сообщения между вами. Надо решиться, надо заносить ногу и ставить ее на вершину. Что же за поляна, что за простор, что за таинственный пейзаж откроется перед тобой, если откроется?

Кто-то сказал, что все великое рождалось при размышлении о смерти. Что же такое размышление как не приближение того, о чем думаешь? Это все произойдет с тобой сегодня, завтра, сию секунду. И в этом — ты, в этом — Бог. Бога обретаешь, когда теряешь его. До поры я мог не думать о нем: он был во мне. Я и не подзревал об этом. Его убила жизнь, его убило общение. Нет, не то чтобы варвары-люди напали на невинную душу и растоптали ее, и они не хотели этого, этого и не было. Просто много их попадалось на пути, и появился взгляд на себя, а не в себя, и сравнение с ними, а не связь. Соревнование, желание формального равенства, разобщение. И пропал твой Бог, которого ты не замечал. И такая возникла пустыня и смерть, что осталась лишь слабость, при которой общение — счеты, любовь — похоть, дружба — желание утвердить себя, творчество — потуги, и даже застрелить-то себя — можно разве из пальца.

В последний раз я сказал себе сегодня, и это было уже по-новому: пусть поперхнется тот, кто судит меня. После этого впервые сегодня я молился. Это было в метро, в новом храме. Я сказал: Господи, помоги мне. Я говорил это и раньше, но это было вроде «черт возьми». Я сказал это иначе. И вдруг мне стало легче. Раньше это называлось: Бог услышал меня. Я сам услышал себя, и меня не стало. Я вдруг почувствовал, что могу услышать соседа.

Когда меня вез вниз эскалатор, я ощущал такую смерть! Она была физическая, от пупа до сердца все было заполнено ею, клеточки, сосудики. Подходил поезд, раздвигал двери, и я почти бесчувственно поражался, что еще делаю шаг и прохожу в вагон. Я думал: это так, стесненьце, и пройдет, но не проходило. В этом чувстве была уже не близительность, не только похожсть, а конкретность, непреходящсть. И такое было ощущение, что если смерть и пройдет, то не потому и не так, как проходит болезнь, и не так, как забываются чувства, а лишь в случае чуда, если поможет то, о чем я еще и представления не имел. И я сказал: помоги, Господи.

Теперь можно жить. Можно, оказывается, жить так, что любовь твоя будет любовью, дело — делом. И ничего не изменится в твоей жизни, кроме смысла каждого шага и поступка. Также это будет похоже на обычнейшую жизнь, и на обычнейшую слабость, и на обыкновенный грех. Я словно бы могу сейчас проделать то же самое, что было раньше слабостью и падением, но это не будет ни тем, ни другим и произойдет от любви. Больше не может быть обид, и счетов, и суда, мерзкого стыда за ближнего и за себя лишь оттого, что рядом люди. Измерения другие.

И тот путь, при котором осознание оказывается успокоением и лишь символом нового, а на самом деле внутренним разрешением все тех же постыдных вещей себе самому, безболезненным закрыванием глаз, как бы назвал кошку кошкой и она от этого перестала ею быть, такого уже тоже не может быть — это не спасение, это как бы спасательство. Спасение — это берег, спасательство — поплавок в том же болоте. Достаточно людей, единицы, но — достаточно, что понимают всё и по-прежнему сохраняют в себе непонимание ничего. Бога в них нет, хоть и твердят они о Нем. Даже больше, мучительная цепь поступков, им кажется, приводит их к Нему, но всегда остается последний пяточок, на котором устоят они, чтобы все-таки не отрешиться от себя. Это знание, почти знание, оказывается еще большей ересью, потому что возвеличивает их в собственных глазах, потому что они все еще сравнивают и измеряют рулеткой каждый свой шаг и на сколько сантиметров оставили они соседа, и им не расстаться никак с этой сладостью. А если покинешь пяточок, знание уже действительно поднимает тебя, а не кого-нибудь другого, это становится реальностью, а не миражом соизмерений с ближними, не автовозвышением, а объективной мерой.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«ВЫСОКИЙ СТОЙКИЙ ДУХ»

Переписка Бориса Пастернака и Марии Югиной

Мария Вениаминовна Югина и Борис Пастернак в течение десятилетий жесткого социального давления каждый по-своему были олицетворением свободной совести и духовной силы, над которой это давление теряло власть. Главное, что их объединяло, была вера в непобедимую силу слова, верность и служба ему. Именно это было существом их взаимного понимания и заинтересованности. Письма, которыми они изредка обменивались по конкретным поводам, могут служить яркими иллюстрациями более широкой и значительной темы их отношений, точнее — взаимного духовного тяготения.

Характер этой тяги со своей стороны определила Югина: «...в острые периоды горя меня всегда тянет поделиться с Вами, несмотря на всю отдаленность друг от друга наших жизней. Видно, необходимо прикоснуться к тому, что еще осталось на земле настоящего, ради чего еще стоит жить,— как чистый ключ, кристальный родник Поэзии».

Пастернак ценил в Югиной несравненное понимание музыки и почти безграничные возможности его передачи слушателям. Ее игра впервые поразила его, когда он оказался на ее концерте в январе 1929 года, через месяц после их удивительного знакомства.

«Месяц тому назад, предварительно спросясь по телефону, являлась ко мне особа, типа и склада Лидочки¹, но это очень приблизительно и может быть я ей польстил, т. е. посетительнице, а не Лиде,— иронически описывал их встречу Пастернак 16 января 1929 года в письме сестре Жозефине,— и, поминутно вспыхивая и загадочно смущаясь, осведомилась, возможна ли и допустима ли просьба о переводе любимого немецкого поэта со стороны частного лица, т. е. мыслим ли такой заказ. Речь шла о переводе нескольких стихотворений из «Stundenbuch»² и я ей отказал, потому что был занят, а кроме того, и долг своей памяти Rilke исполняю в другом совсем плане, и шире.

Я что-то пробормотал о том, что другое, мол, дело, если бы предложение какого-нибудь издательства, но она, перебив меня, спросила, не все ли мне равно,— издательские условия могла бы предложить и она, и я улыбнулся, потому что не только мещенство теперь у нас материально немисливо, но все это еще особенно становилось трогательно при взгляде на ее стоптанные башмаки и более чем скромную кофту.

На всякий случай я записал ее адрес (она из Ленинграда), узнал, что она преподавательница Ленинградской консерватории и переводы ей нужны для приближения Рильковской поэзии музыке и музыкантам в России, что ей представляется существенно важным, и фамилия ее мне ничего не сказала. Однако надо прибавить, что я больше сижу дома, и в том, говорят ли что-нибудь или нет теперешние имена, не судья.

Прошло некоторое время, и как-то я познакомился с одним из лучших наших пианистов здесь, Генрихом Нейгаузом, побывав перед тем на одном из его концертов.

И вот, отклоняя мои комплименты и притом, он стал настойчиво мне советовать пойти на концерт (еще не объявленный) одной пианистки из Ленинграда, перед которой сам он-де совершенное ничто, и что это замечательная музыкантша, и со странностями. мистически настроенная, под платьем носит вериги и так выступает, и интересно— по происхождению еврейка, и притом и притом, и он назвал мне мою посетительницу.

Публикация Е. Б. ПАСТЕРНАКА, А. М. КУЗНЕЦОВА. Вступительная статья Е. Б. ПАСТЕРНАКА. Примечания А. М. КУЗНЕЦОВА.

¹ Младшая сестра Пастернака.

² Книга Р.-М. Рильке «Часослов».

Она играла Баха, Крейслериану, неск<олько> вещей Hindemith'a³ и снова Баха, главн<ым> образом органные его хоралы. В антракте я ей послал единственное, с чем из вещей R.⁴ я мог расстаться и что было у меня под рукой: юношеский сборник слабых для позднейшего R. рассказов «Am Leben hin»⁵ с соответствующей надписью: Простите, что не знал, кто Вы. Напишите из Ленинграда, переведу все, что захотите.

Теперь я получил от нее письмо, именно такое, как должно было последовать. Но просьбу ее я исполню не скоро, теперь это исполнимо менее, чем еще когда. Но мне бы хотелось послать ей настоящего, стоящего R., и — по ее настроению. Таковы две книги «Buch der Bilder»⁶ и «Geschichte vom lieben Goit»⁷. Пришли мне их, если тебе не трудно. И мне это нужно именно для того, чтобы оставить все в той скупой духовной дельности, как это случилось. Я м<ожет> б<ыть>, при книжках, даже не отвечу ей. М<ожет> б<ыть> в порядке той же экономии, пошлю ей, если будет время отыскать, мои последние по времени, бывшие музык<альные> рукописи. Но вернее, что дам их Neuhaus'у⁸.

Рукопись своей сонаты 1909 года Пастернак погарила Генриху Густавовичу Нейгаузу, чтобы тот при желании мог выучить и сыграть ее. Но этого не произошло.

Долг памяти Рильке, о котором Пастернак пишет сестре,— это «Охранная грамота», посвященная памяти поэта, замысел которой, по словам Пастернака, родился из желания «рассказать об этом удивительном лирике и об особом мире, который, как у всякого настоящего поэта, составляют его произведения».

Идеологическое давление, характеризующее конец 20-х годов, не благоприятствовало ни просветительной, ни даже преподавательской деятельности Марии Вениаминовны Югиной. Ее изгнали из Ленинградской консерватории. Она подолгу жила в Москве, особенно близко сойдясь с Пастернаком и его первой женой.

Переехав на Тверской бульвар, мы с мамой оказались в непосредственном соседстве с Югиной, которая жила тогда в Сытинском тупике. Она любила играть на нашем удивительном бехштейновском рояле, который в 80-х годах прошлого века моя бабушка привезла из Германии после своего успешного концертного сезона. Бабушка захотела, чтобы он остался у меня, хотя я так и не выучился музыке. Отец, регулярно навещавший нас, в это время часто и подолгу играл на нем. Летом, когда мы уехали на дачу, ключ от квартиры был оставлен Марии Вениаминовне, некоторое время в квартире жил ее двоюродный брат, и она ежедневно по многу часов играла, готовя новую концертную программу. Осенью рояль пришлось серьезно ремонтировать.

В предвоенном 1940 году Мария Вениаминовна увлеклась идеей издать сборник песен Шуберта с русскими переводами поэтического текста. Пастернак был в числе первых, к кому она обратилась. Но он тогда спешно кончал перевод «Гамлета» для постановки во МХАТе, ездил на репетиции. Кроме того, после многолетнего периода молчания стал создаваться новый лирический цикл «Переделкино», стихотворения которого он считал для себя открытием нового стиля.

Он попросил Марию Вениаминовну числить его в резерве и посоветовал привлечь к этой работе Марину Цветаеву. Он знал, как близок ей мир немецкой романтики и поэзия Гёте, и считал, что ей, остро нуждавшейся в заработке, участие в этом сборнике станет подспорьем. Но его надежда на то, что Цветаевой будет радостно знакомство и совместная работа с человеком такого высокого духовного склада, как М. Югина, не оправдалась. Мария Вениаминовна впоследствии написала о своей тяжелой и неудачной встрече с Цветаевой, отнесшейся к технически трудной работе по экзиритмическому переводу стихов с явным нежеланием.

Во время войны Югина ездила с концертами в осажденный Ленинград. Там она познакомилась с Ольгой Михайловной Фрейденберг (1890 — 1955), двоюродной сестрой Пастернака. Профессор и заведующая кафедрой античной литературы в Ленинградском университете, О. М. Фрейденберг после эвакуации университета собирала для своей работы в архиве материал о героизме ленинградских женщин. В поисках героинь она встретилась с Югиной.

³ Хиндемит.

⁴ Рильке.

⁵ «Посвящается жизни».

⁶ «Книга картин».

⁷ «Повести о Господе Боге».

⁸ Нейгауз.

«Давно я хотела с ней познакомиться,— записала она в своем дневнике.— Заслышав мое имя, Югина сама пришла ко мне. Это была крупная пианистка, глубоко музыкальная натура, человек большой и вдумчивой религиозности, с склонностью <4...>, как и все большие люди, к сокровенному познанию мира и вещей, называемой мистицизмом. Ее скромность была необыкновенной, простота почти чрезмерной. Профессор нашей консерватории, она была изгнана за открыто исповедавшуюся религиозность и теперь приезжала из Москвы на концерты, длившиеся несколько месяцев. Ее героизм был подлинным. Нужно было иметь высокий стойкий дух, чтоб добровольно жить в нашем страшном городе и выносить смертельные обстрелы, чтоб в кромешной тьме возвращаться черными вечерами на 7-й этаж Астории. Югина очаровала маму, которая сразу почувствовала к ней какую-то семейную любовь и близость. Она пришла к нам в простеньком белом платьице, с косынкой на шее и долго стояла у порога кухни, не решаясь войти. Уже давно сердце мамы не испытывало такой теплоты и приязни. Она полюбила Югину, как свою, бессознательно почитая в ней музыкальный дух, перед которым преклонялась. Югина потеряла жениха и жила в Москве с его матерью, которая противилась этому браку, а теперь получила, совершенно одинокая, в лице Югиной преданную дочь. Как все настоящие люди, Югина была не любима советской властью. Она, профессор Московской консерватории и видная артистка, не имела никаких знаков государственного признания; работала, жила трудно, тянула большую семью, помогала всем вокруг.

Я запомню этот день — 5 октября <1943 г.>. Днем была воздушная тревога. Вечером пришла Югина. Мама накинулась на нее с жалобами на какого-то негодяя, который неправильно (по ее мнению) сыграл какое-то место из Бетховена, утром транслированного по радио. Оказалось, что этим негодяем была Югина, и обе они, одна запальчиво, другая кротко, говорили на эту тему. Потом мы сидели у меня. Югина была довоенная, я — осажденная наповал. Она рассказывала и раскрывалась, я — молчала. У меня не находилось слов, Югина говорила, что приемлет зло как неизбежность, требуемую жизнью. Она перечитывала «Идиота», жила миром эстетики, понимала и принимала героизм. Я чувствовала в себе поруганную душу, умершие желания, оскорбленное и навсегда погубленное чувство жизни.

Последний год войны и первый послевоенный были временем надежд на общее просветление и освобождение, купленное дорогой ценой. Участились концерты. Серия вечеров авторского чтения сблизила Пастернака с новой аудиторией. Он понял, как много еще должен сказать и насколько неотменимо исполнение задуманного в силу прожитых лет и надвигавшейся, как ему казалось, старости.

Роман «Доктор Живаго» стал выражением темы, пожизненно занимавшей Пастернака. Это было самостоятельно развивавшееся в течение всей его жизни, таинное, как источник творческого вдохновения, собственное понимание христианства, жизни Христа как Божьей повести и нового завета духовной близости и общения людей. «Атмосфера вещи — мое христианство, в своей широте намного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным», — писал он Ольге Фрейденберг. При этом он имел в виду красоту боговдохновенных текстов и образов, то, что в Евангелии «Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности». Этот взгляд на искусство дополнительно расшифровывается в черновом наброске одной из последующих глав романа: «...голоса евангелистов и пророков не покоряли бы его своей все вытесняющей глубиной, если бы в них не узнавал он голоса земли, голоса улицы, голоса современности, которую во все века выражали наследники учителей — художники. Вот перед кем по совести благоговел он, а не перед героями, и почитал совершенство творения, вышедшего из несовершенных рук, выше бесплодного самоусовершенствования человека».

В сравнении с проповедническим и волевым религиозным опытом Югиной Пастернак глубоко таил свою веру и даже самым близким ни словом не навязывал ее. Мария Вениаминовна, вероятно, не подозревала об этой существеннейшей стороне его духовного мира, пока 7 февраля 1947 года не состоялось устроенное ею авторское чтение первых частей романа в ее комнате на Беговой.

Лидия Корнеевна Чуковская описала эту поездку и чтение и любезно представила мне выдержку из неопубликованной записи.

Вместе с нею и Пастернаком в машине ехали Алпатовы и Ольга Всеволодовна Ившинская, с которой Пастернак недавно познакомился. Несмотря на духоту и тесноту

небольшой комнаты и плохое самочувствие, Лидия Корнеевна отметила существенную подробность из того, что Пастернак сказал перед началом чтения: «Такого течения, как то, которое представляет у меня Николай Николаевич <Веденяпин>, в то время действительно не было, и я просто перевернул ему свои мысли». В своей записи Лидия Корнеевна характеризовала общий ход чтения и волнение Пастернака: «Читает горячо, как будто «жизнь висит на волоске», но из последних сил. <...> Переодой мной все время это горячее лицо и какой-то, может, кажущийся, но вполне ощутимый его поворот ко мне Он как-то читает не только всем вместе, но и мне».

Большое впечатление произвело чтение стихов к роману. Это были: «Гамлет», «Зимняя ночь», «Бабы́е лето», «На Страстной» и только что написанная «Рождественская звезда», которая еще называлась «Рождество».

К этому времени относится начало удивительной дружбы, которая соединила Марию Вениаминовну Югину с сыном Пастернака Леонидом (1938 — 1976). Лёне было шестнадцать лет, когда он со страстной болезненностью, свойственной его глубокому и впечатлительному характеру, осознал свое тайное тяготение к музыке как душевную трагедию. Его старший брат Станислав Нейгауз (1927 — 1980) был к этому времени известным пианистом, удивительная огаренность и широкий успех которого были радостью для всех в доме и гордостью для его матери, Зинаиды Николаевны Пастернак, которая пожертвовала своей судьбой музыканта ради забот о детях. Музыкальная карьера Станислава Нейгауза сопровождалась трудностями и несправедливостями, и на этом фоне душевные страдания младшего сына и его мечты о серьезных занятиях музыкой представлялись матери странной претензией. Шутя, она говорила, что Лёня завигует Стасикиному фраку. Но мальчик добился, чтобы его отдали учиться. С ним стал заниматься преподаватель консерватории, опытный педагог В. С. Белов. Но занятия скоро оборвались, и мальчик вновь оказался предоставлен самому себе.

Мария Вениаминовна Югина была в музыке его кумиром, он не пропускал ни одного ее концерта, бывал у нее дома. Она, в свою очередь, относилась к нему с большой нежностью, считала, что ему нужно играть независимо от профессиональных запросов, для себя, что музыка должна быть естественной частью его жизни. Отец был всецело на стороне сына, его страстная определенность и быстрые успехи были большой радостью для него. Югина стала чаще бывать в Переделкине, знакомила Пастернака с новой музыкой, привозила своих учеников. Лёня, не ослабляя настойчивости в своих занятиях музыкой, пошел по линии точных наук и поступил на физический факультет университета.

23 октября 1958 года Нобелевский комитет, как известно, присудил Пастернаку Нобелевскую премию за выдающиеся заслуги в европейской лирической поэзии и продолжение традиции великой русской прозы Пастернак знал, что его кандидатура с 1946 года обсуждалась уже шесть раз. Телеграммой он благодарил Нобелевский комитет, полагая, что эта награда будет принята как почетный знак признания русской литературы и составит предмет гордости всей страны. Однако из-за преступного потворства политических советчиков Хрущева разразился чудовищный скандал, напоминавший возврат к недавно прошедшим временам. Пастернак отказался от премии, испуганный за судьбу Ольги Ивинской, которая подвергалась угрозам и шантажу, и был вынужден подписать два обращения, опубликованных в «Правде». Это стало предметом его глубокого горя и трагически ускорило его смерть, о чем Югина пишет в письме В. С. Люблинскому 23 июня 1960 года: «...сторел от стремительного рака в 5 недель. Начался (по словам компетентных профессоров) он 1½ года назад, как раз тогда». Понятно, что Югина имела в виду под этим «тогда»...

Это было, кроме того, время широко развернувшейся переписки Пастернака с границей, возобновились старые знакомства, прерванные в 30-е годы, завязывались новые. Трагическая мировая слава способствовала этому. Среди новых грузей был известный музыковед П. П. Сувчинский. Пастернак переписывался с ним еще в 20-е годы, когда Сувчинский был создателем журнала «Версты», где печатал отрывки из его поэмы «Девятый пятый год». Зная глубокий интерес М. В. Югина к современной музыке, Пастернак знакомил ее с книгами и проспектами музыкальных мероприятий, которыми в изобилии снабжал его Сувчинский, и посоветовал ей обратиться с письмом к нему самому по поводу интересовавших ее событий музыкальной

жизни на Западе. У Юдиной завязалась интереснейшая переписка с Сувчинским, которая стала для нее огромной опорой в ее страстной любви к «новой музыке».

В сентябре 1959 года в Москву с нью-йоркским оркестром приезжал Леонард Бернштейн. Он пригласил на свой концерт Пастернака, а на следующий день они с женой приехали на обед в Переделкино.

Бернштейн был возмущен бестактным вмешательством министра культуры Михайлова, который в начале концерта, прерывая слова дирижера о Стравинском, в то время почти неизвестном слушателям, громко уличал его во лжи. Бернштейн ездил в редакцию газеты с требованием напечатать его объяснения, но ему отказали. «Как вы можете жить с такими министрами?» — кончил он свой рассказ. «Ну о чем вы говорите, — возразил ему Пастернак. — При чем здесь министры! Какое это имеет значение! Художник разговаривает с Богом, и тот ему ставит разные пьесы, чтобы ему было что писать. Это может быть комедия или фарс, как в вашем случае. А может быть и трагедия. Художнику это служит только натурой для его работы».

Бернштейн был в восторге от красоты такого понимания жизни, восхищался духовным величием Пастернака.

После обеда, в маленькой гостиной Бернштейн рассказывал ему о недавно написанной «Вест-Сайдской истории», объяснял ее содержание, наигрывал одной рукой ее мелодии и отдельные музыкальные моменты, другой — на крышке рояля показывал движения танцующих.

Через день Пастернак побывал на его концерте, они с увлечением, не отпуская друг друга, долго разговаривали в артистической. Пастернак потом сравнивал его манеру дирижировать с кумиром своей молодости Артуром Никишем.

Приезд Бернштейна был также большим духовным событием для Марии Вениаминовны Юдиной. Она была на репетициях, провожала его в аэропорт. В письме к Пастернаку она передала то сильное впечатление, какое произвело на Бернштейна знакомство с ним.

Весной, когда Пастернак смертельно заболел, Мария Вениаминовна была в числе тех, кто помогал в семейных заботах о нем. В день похорон она приехала в Переделкино со своими учениками, и они играли то самое «Трио памяти великого художника» Чайковского, музыка которого когда-то разбудила маленького Борю, став «межевою вехой» между беспмятностью младенчества и первыми воспоминаниями его детства.

1. Б. Пастернак — М. Юдиной

8.II.41.

Дорогая Мария Вениаминовна!

У меня был совершенно сумасшедший январь, чем и объясняется моя кажущаяся небрежность.

Я с самого начала отозвался согласием на Ваше предложение главным образом потому, что это Вы и это Вам надо¹. Мне хотелось что-нибудь сделать для Вашего собрания с тою необязательностью, которая лишает готовность этого рода всякого значения.

Так на нее и смотрите. С деловой точки зрения мое обещание равносильно нулю. Считайте меня одним из запасных исполнителей Вашей мысли, а не основным участником. Верьте, в этой роли я никогда не опоздаю.

Как Ваше здоровье? Как ужасно, что мне все не удастся повидаться с Вами. Бесплезно рассказывать Вам, как проходит мое время, т. к. Вы все равно не поверите и у Вас на этот счет свои, очень благообразные и облегченные представления. Не обижайтесь на меня. Вы знаете, как я ценю, люблю и как безмерно высоко ставлю Вас.

Остальное несущественно.

Преданный Вам Б. Пастернак.

¹ Речь идет о согласии Б. Пастернака перевести для подготавливавшегося М. Юдиной сборника песен Шуберта тексты некоторых песен Сборника Юдина начала готовить перед войной Толчком к этой ее работе послужили занятия со студентами-вокалистами, с которыми она проходила мировую вокальную классику М. Юдина написала об этом в воспоминаниях «Создание сборника песен Шуберта»: «Постепенно и кристаллизовалась необходимость издать сборник песен, где не только музыка сама выше всяких похвал и оценок, но и текст. Естественно, я и обратилась к дорогому Борису Леонидовичу Пастернаку, с кем имела счастье, великое счастье состоять в пожизненной дружбе (а теперь — в дружбе с его семьей). Борис Леонидович согласился легко и просто, открыто,

отрадно, как он всегда совершал все земное, что не затрагивало его неких сокровенных личных душевных или духовных путей...» («Мария Вениаминовна Юдина Статьи Воспоминания. Материалы». Редактор-составитель А. М. Кузнецов. М «Советский композитор». 1978). Сборник вышел, оформленный В. А. Фаворским, только в 1950 году В него вошли четырнадцать песен в переводах Пастернака, Заболоцкого, Маршак и Кочеткова, около тридцати песен в переводах других поэтов так и не были изданы.

2. М. Юдина — Б. Пастернаку

4. II. 47.

Дорогой и замечательнейший Борис Леонидович!

Как праздника — я и мои друзья ждем четверга¹. Т. к. — не имея личного телефона — немисливо сговориться о многом — то я посылаю к Вам гоницу, чтобы сообщить Вам список лиц. Вы же — абсолютный хозяин своего чтения, каковое Вы дарите нам, а не кто иной!! Пока я позвала:

Алпатовых²,

Анциферовых³,

историка средних веков Неусыхина⁴ (один из ближайших учеников Петрушевского⁵, больше, пожалуй, преданный поэзии, чем своему предмету, хотя тут он крупный ученый, глубокий знаток Рильке и Ваш почитатель),

Лиду Случевскую⁶ — друга покойной М. А. Рыбниковой⁷, личность, глубоко понимающую литературу, литературоведа очень значимого, разумеется, менее на поверхности, нежели внутри, создавшей вместе с покойной М. Ал. свою школу, друга Анциферовых; муж ее рисовальщик и знаток китайского искусства,

Артоблевскую с сестрой⁸ — «представители» близкой мне через церковь — украинской интеллигенции, моя ученица в прошлом, а ее муж⁹, умерший от разрыва сердца во фронтовой бригаде у Рокоссовского, был — как Вы помните — самый образованный «чтец» — он был помимо того энтомолог и был как таковой давно сослан вместе с Райковым¹⁰. Потом была его краткая блистательная «чтецкая» карьера и ранняя — тоже «блистательная» — кончина. Киев — это были своего рода украинские Афины вокруг Академии Духовной — их всех — и официальных ученых — как математик Дэлонэ¹¹ — отличают особый дух и шарм — провинциализм, мягкая доброта, широкая душевность, открытость сокровенных духовных тем.

Фаворский мне не «имя», а один из ближайших людей, друзей, художников, мэтр не только в искусстве, но и как человек¹². От Флоренского¹³, чье имя надлежит произносить с трепетом, остался мне в дар — как бы за мою игру, что он очень любил, но в дар, конечно, не заслуженный — некоторый круг людей, отмеченных его дружбой — отсюда и близость с Фаворским.

Но, ввиду болезни жены, он может и не приползти из своей измайловской дали. Кроме моей свекрови, у коей Вы были с Анной Андреевной весной¹⁴, и моей сестры — личности безмерно застенчивой¹⁵ — это все и составляет вместе с Вашими друзьями и Журавлевыми^{16—17—19} чел <овек>. Хотя в тесноте, да не в обиде все поместятся в моем «роскошном — одноклеточном» палаццо, и все будут от души напоены чаем.

Если Вы разрешите, я позову Наталью Михайловну Веснину, тоже не как «имя», а как душевную милую особу, последнее время в связи с болезнью Виктора Александровича¹⁷ я снова с ними сблизилась — и ему «шапка Мономаха» не к лицу — над ним дельцы из архитектуры смеются и называют его «наш святой»¹⁸ — он сам сейчас в санатории — но если не хотите — не позову. Очень прошу позвать Вашего актера; театр, загадка классического театра — все более становится для меня центральной темой, где сходятся музыка, неутоленная страсть к поэзии, неудавшаяся классическая филология, «Will zur Nacht»¹⁹ и многое другое. После прошлогодней «Орестейи»²⁰ моей я все подбираюсь — пока «воспитывая», м. б. тщетно, — своих вожальных студентов — к этой теме, — поэтому каждый новый человек здесь — т. е. в театральной серьезности — мне важен — а актер — близкий или даже просто не чуждый Пастернаку — не может быть мне чужд и безразличен. Пошлите его от своего и моего имени. Адрес и маршрут — ниже. — Еще, м. б., позову некоего Селю²¹, ветеринар — поэт, личность весьма замечательная; на поверхности штемпелью мясо на рынке или врачаю домашнюю скотинку, он пишет замечательные, отточенные миниатюры — пожалуй, не хуже таковых у раннего Пруста, уж, наверное, не хуже Пришвина... И своего несостоявшегося кузена Салтыкова²² (т. е. кузен моего покойного Кирилла) — на поверхности историк фарфора в Историческом музее, на деле — русский историк и богослов — внешность — точно сошел с иконы!..

Всё, как иные говорят.

Простите, что отняла время письмом. Если людей, Вы находите — много, — могу кому-нибудь <удь> сказать, что — мол, отменено — перенесено и т. д. Но народ как будто отменный. Как хорошо, что еще есть какие-то обломки «общества». Я не ищу людей, дорогой Борис Леонидович, мне судьба щедро почему-то дарит их, м. б., в вознаграждение не раз сломавшейся личной судьбы... Не трудитесь писать ответ — но т. к. гонима бестолкова — 2—3 слова о том — не много ли — и о Весниной. — Вообще у меня каждые 2 месяца, примерно, собирается народ и с внешней стороны. Это обычно. Жилище отдельное! Я заезжаю на «ЗИСе» за Вами в половине 7-го. Кроме меня и Елены Николаевны — еще 4 места (Вы, Зин<аида> Ник<олаевна>²³, Чуковская²⁴ и еще одна Ваша дама — актер может придти пешком).

Обратно — закажу машину на 1 ч. ночи или 1.30.

Беговая ул. 1-А, корпус 5, кв. 4. Трамвай 16, 31, 23, остановка «Хорошевское шоссе», метро «Динамо» — оттуда эти трамваи или от Белорусского вокзала автобус № 10 до остановки «Бензозаправка» — аршинные буквы: «Не курить», сейчас луна — все видно (все курят, конечно). Там начинаются 2-х этажные домики — мой 5-й, серый (все белые) и стоит поперек. Правый подъездик. (Это если еще кого позовете и для актера.)

Мы Вас обожаем!!! Спасибо заранее.

Ваша М. В. Юдина.

Простите, я забыла прибавить главное, считая сие само собой разумеющимся, что все, кроме, м. б., Фаворского, Вас недостаточно знающего, Вас знают — большинство — не просто, а наизусть... Начиная с моей Елены Николаевны и кончая сестрами Артоболовскими.

¹ В четверг, 6 февраля 1947 года, Б. Пастернак читал дома у М. Юдиной главы из романа «Доктор Живаго»

² Алпатовы — историк искусства Михаил Владимирович Алпатов (1902—1986) и его жена Софья Тимофеевна, друзья М. Юдиной.

³ Анциферовы — литературовед, историк культуры Николай Павлович Анциферов (1889—1958) и его жена Софья Александровна Гарелина. С. Н. П. Анциферовым Юдина познакомилась в начале 20-х годов в петроградском религиозно-философском кружке «Воскресение», руководимом А. А. Мейером, который она посетила до его разгрома в 1928 году и ареста А. А. Мейера и других участников кружка, в том числе Н. П. Анциферова. См. также прим. 7 к письму 15.

⁴ Неусыхин Александр Иосифович (1898—1969) — историк-медиевист.

⁵ Петрушевский Дмитрий Моисеевич (1863—1942) — историк, академик.

⁶ Случевская Лидия Евлампиевна (1898—1979) — литературовед.

⁷ Рыбникова Мария Александровна (1885—1942) — педагог, автор трудов по методике преподавания литературы

⁸ Артоболовская Анна Даниловна (1905—1988) — пианистка, педагог; после окончания Киевской консерватории в 1925—1930 годах училась в Ленинграде у Юдиной, как и Юдина, была активной участницей церковных событий конца 20-х годов. Ее сестра — Ольга Даниловна Глевасская (1892—1977).

⁹ Артоболовский Георгий Владимирович (1899—1943) — мастер художественного слова, теоретик речевого жанра, автор книги «Художественное чтение» (М. 1978).

¹⁰ Райков Борис Евгеньевич (1880—1966) — биолог, историк естествознания, в 30-е годы был выслан вместе с учениками

¹¹ Делоне Борис Николаевич (1890—1980) — математик, член-корреспондент АН СССР.

¹² О В. А. Фаворском Юдина писала во фрагменте «Мысли о музыкальном исполнительстве»: «У меня учителя были замечательные, и я в общении с ними черпала поддержку и силы для исполнительской деятельности... И первым я назыву Владимира Андреевича Фаворского. Это был великий, добрый, сердечный и мудрый человек. В наш «спешный» век он никуда и никогда — ни в жизни, ни в искусстве — не торопился и оттого успел больше многих и многих».

¹³ С. П. А. Флоренским Юдина познакомилась в 1927 году; о их знакомстве см.: С. Трубачев, «Только в Моцарте... защита от бурь. П. А. Флоренский и М. В. Юдина» («Музыкальная жизнь» 1989 № 13, 14).

¹⁴ Речь идет о «несостоявшейся» свекрови Юдиной — Елене Николаевне Салтыковой (урожденной Куракиной) (1885—1956) матери ее жениха Кирилла Георгиевича Салтыкова (1914—1939), музыканта, погибшего на Кавказе при восхождении на гору Бжедух. Весной 1946 года Юдина познакомилась Салтыкову с А. А. Ахматовой и Б. Л. Пастернаком.

¹⁵ Речь идет об Анне Вениаминовне Юдиной (1896—1970), переводчице

¹⁶ Журавлевы — семья тещи Дмитрия Николаевича Журавлева (р. 1900).

¹⁷ Веснин Виктор Александрович (1882—1950) — архитектор, президент Академии архитектуры СССР Н. М. Веснина — его жена.

¹⁸ О «святости» В. А. Веснина Юдина пишет в тех же воспоминаниях «Создание сборника песен Шуберта». «Тяжело большой мучительной болезнью печени, безмерно, неправдоподобно терпеливый изысканно-прекрасный наподобие портретов Ван-Дейка и даже, как известно, автор разных портретов, Виктор Александрович всегда был доступен

и активно внимателен к людям, не оставляя своих архитектурных и архитектурно-просветительных трудов. Увы, эти великодушные характеры, эти высокие качества «предстоятельства» за отстраненных от «житейских благ», эта даже как бы застенчивость благополучия перед обездоленностью — где они сейчас, у кого?»

¹⁹ «Воля к ночи» (нем.) — словоупотребление йенских романтиков, восходящее к Новалису, автору «Гимнов к ночи». Можно истолковывать как познание невидимого, проникновение в духовную сущность явления.

²⁰ Юдина дважды принимала участие как музыкальный руководитель в постановке оперы-оратории С. И. Танеева «Орестейя» — в 1939 и 1946 году, в первый раз силами студентов Московской консерватории, второй раз — Ансамбля советской оперы при ВТО.

²¹ Селю Юлиан Сергеевич (р. 1910) — искусствовед и писатель, автор трудов по древнерусской живописи. Присутствовал на чтении Пастернака 6 февраля 1947 года, о чем написал воспоминания (неопубликованные).

²² Салтыков Александр Борисович (1900—1959) — искусствовед.

²³ Пастернак Зинаида Николаевна (1897—1966) — жена Б. Л. Пастернака.

²⁴ Чуковская Лидия Корнеевна — писательница, дочь К. И. Чуковского.

3. Б. Пастернак — М. Юдиной

< 4 февраля 1947 г. >¹

Дорогая, дорогая Мария Вениаминовна.

Спасибо за подробную реляцию, пишу страшно второпях.

Просьбы:

1) Чтобы значило или считалось, что начало в 7 ч. Это напоминать всякому, потому что в восьмом действительно надо будет начать.

2) Обязательно найдите возможность позвонить мне сегодня вечером (вторник) или завтра как-нибудь для ответа на следующий мой вопрос. Нельзя ли позвать двух девочек (они когда-то служили в Скрябинском музее, теперь работают в Библ. Ин. Лит.), Крашенинникову и Ситницкую²; вместо предлагаемого Вами моего актера (А. Консовского)³.

Уместится ли столько народу? Общество неслыханное, я, не шутя, польщен и потрясен.

Позвоните, пожалуйста. Я сам с нетерпением и волнением жду вечера.

Веснина — прелесть. Я знаю ее.

Целую Вашу руку. Бесконечное Вам спасибо.

Ваш Б. Пастернак.

¹ Письмо датируется по содержанию, как и в других случаях, когда даты поставлены в угловые скобки.

² Крашенинникова Екатерина Александровна и Ситницкая Ольга Николаевна — знакомые Б. Пастернака.

³ Консовский Алексей Анатольевич (р. 1912) — актер Театра имени Моссовета.

4. М. Юдина — Б. Пастернаку

7—8. II. 47. Москва.

Дорогой Борис Леонидович!

Я постараюсь быть краткой, но это почти невозможно. Тень от исполинского роста Вашего заслонила собою не только всех нас, Ваших вчерашних слушателей (кроме Фаворского), но и все наши собственные мысли, работы, замыслы... Но дело не в нас, а в том, что вдруг особенно ясно стало — кто Вы и что Вы. Иной плод созревает более, иной менее зримо. Духовная Ваша мощь вдруг словно сбросила с себя все второстепенные значимости, спокойно и беззлобно улыбаясь навстречу как бы задохнувшемуся изумлению и говоря: «Как же это Вы меня раньше не узнали? Я же всегда была здесь...»

И это не только Ваш открытый поворот к христианству, и именно такому, к Христу, как к Любви и Милости, — а все вместе взятое.

Об этом можно и будут, конечно, говорить и писать долго и много, но я сейчас не смею Вас занимать незанимательными для Вас своими размышлениями. Единственное, если позволите, — у Вас есть некоторые неточности в упоминании богослужебных текстов (псалмов, в частности), если Вам угодно (и нет под рукою другого лица), я сочту за честь их Вам указать, ибо всякому, имеющему церковную практику, они бросятся в глаза (если это Вам важно).

Итак, если слишком долго говорить о том, что думаешь в связи с этой вещью¹, то о чувстве и впечатлении можно сказать кратко, ибо это непрекращающееся высшее созерцание совершенства и непререкаемой истинности стилия, пропорций, деталей, классического соединения глубоко запечатанного за ясностью формы чувства (как в моем любимом классицизме во всех искусствах — Моцарт, Глюк, архитектура Петербурга, нарочно обхожу литературные аналогии) и грандиозности общего замысла, то редкостное

убеждение незыблемости, адекватности каждого слова, выражения, оборота, размера фразы. Вначале в особенности (или потом я хуже слушала, озабоченная жарой, чаем, машинами, вообще внешним удобством Вас и слушателей) меня донельзя поразила краткость отточенных фраз, усугубляемая яркой выразительностью Вашего чтения, из каждой сияющая образность и стигмающий их в единый центр этический смысл. Ну уж, сравнений я себе, конечно, не позволю, это дело «литературоведов», а я — скромный читатель, но готовый за совершенство в искусстве, овеянное и облаченное такой религиозной чистотой (Ваше христианство там, как вера младенца, чьих есть царство Божие), служить верой и правдой его создателю (в данном случае т. е. Вам) всегда чем только может. Я очень рада, что никогда не была «влюблена» в Вас и meilenweit² от сего и поныне, тем более я могу Вам высказать с умилением и благодарностью, что я готова даже повиниться перед Вами, что не всегда видела заслоненную иными поэтическими качествами Вашу именно нравственную силу. Надо было, стало быть, уметь видеть острее.

Бесконечно обидно, что раз уж Вы нам подарили это событие, некоторые не могли прийти — уехавшие Томашевский³ и Неусыхин, заболевшие Журавлев, Случевская и Артоболевская (ея сестра, конечно, лишь «добавление» к ней), и я — боясь нагромождения, не позвала других прекрасных людей, например, Бруни с женой⁴ (дочерью Бальмонта — да, верно, Вы их знаете), чудного «воздушного» генерала Горощенко⁵, друга Яворского⁶, и других, да мало ли тех читателей, что бы опроретью на Вас прибежали и кто все равно отделены от Вас пропастью несоответствия.

Мы с Еленой Николаевной теперь все время говорим и спорим о героях — она лучше меня разобралась во всем, ибо у нея вообще большие литературные и исторические способности, увы, не разработанные (кроме огромной начитанности). Как поклонялся бы Вам Кирилл⁷, если бы он дожил до такого вечера...

А все эти персонажи теперь отныне наши друзья, кровные, близкие, о них нельзя не думать, например, Лара все-таки и сама виновата, зачем ходила с негодием в ресторан тайком, а мальчиков не следовало брать с собою в номера, и хорошо бы узнать причину расстрижения Юриного дяди, и все без исключения фамилии редкостно «в попад», от Тиверзина до Гордона. Ах, Пастернак, ну что Вы за сокровище!

О стихах и говорить нельзя. (Не обиделись ли вы на Рильке, т. е. на «сравнение»? Но Бетховен ведь не хуже оттого, что соседит с Моцартом.)

Если бы Вы ничего кроме «Рождества» не написали в жизни, этого было бы достаточно для Вашего бессмертия на земле и на небе.

Умоляю дать списать.

Будем ждать чтения 2-й части, записываемся в очередь. Кстати, — с Дарьей Николаевной я знакома, и она выражала желание посетить меня. С Клавдией Николаевной⁸ — тоже. Весною жары не будет, и ремонт будет произведен, что улучшит ряд деталей моего логова.

Примите от нас с Еленой Николаевной на память эту вещицу, она старинная, Салтыковского рода и полезна как пресс на рукописях.

Спасибо Вам бесконечное.

Ваша М. Юдина.

PS. Все же у меня есть 3 замечательных друга, и все не в Москве. Им бы всем Вас слушать... О них когда-нибудь. Один из них Бахтин⁹, это мудрец. Он торчит в Саранске. Весной будет здесь. Другого Вы видели прошлый год, но он почти все время молчал. Он «инкунбуловед»¹⁰. Его я вызывала на 6-е «на Вас» из Ленинграда — приезд сорвался, он прислал телеграмму отчаяния.

Спасибо, спасибо.

Простите за все неполадки и помехи. Привет Зинаиде Николаевне.

PPS. В ответ на мое грозное обличительное письмо я получила от А. А. Смирнова¹¹ на 5-ти страницах ряд малоубедительных «объяснений» — слова «оправдания» он избегает. Я хотела Вам показать давеча, не успелось.

¹ М Юдина говорит о романе «Доктор Живаго».

² Очень далека (нем.).

³ То м а ш е в с к и й Борис Витторович (1890—1957) — литературовед, пушкинист.

⁴ Б р у н и Лев Александрович (1894—1948) — художник, и его жена Нина Константиновна (1901—1989).

⁵ Г о р о щ е н к о Борис Тимофеевич (1896—1974) — генерал-майор.

⁶ Я в о р с к и й Болеслав Леопольдович (1877—1942) — крупнейший музыкальный теоретик, композитор, пианист, педагог. М. Юдина написала воспоминания о нем (см. в сборнике «Мария Вениаминовна Юдина...»).

⁷ См. прим. 14 к письму 2.

⁸ Б у г а е в а (Васильева) Клавдия Николаевна (1886—1970) — вторая жена писателя Андрея Белого. Д а р ь я Н и к о л а е в н а — неустановленное лицо.

⁹ Б а х т и н Михаил Михайлович (1895—1975) — философ, эстетик, теоретик литературы. Юдина познакомилась с Вахтиным в 1918 году в Невеле, своем родном городе. Взаимная привязанность длилась до самой кончины М. Юдиной в 1970 году. Пианистка своим участием старалась на протяжении десятилетий облегчить трудную судьбу Бахтина, арестованного, сосланного, а затем в поисках работы осевшего в провинциальном Саранске. В дальнейшем М. Бахтин присутствовал на домашнем чтении Б. Пастернаком перевода «Фауста» Гёте.

¹⁰ Речь идет о Владимире Сергеевиче Люблинском (1903—1968), историке книги, ленинградском друге М. Юдиной.

¹¹ С м и р н о в Александр Александрович (1883—1962) — литературовед и переводчик, исследователь творчества Шекспира. Противник пастернаковских переводов Шекспира, он тормозил их издание.

5. Б. Пастернак — М. Юдиной

<Февраль 1947 г.>

Дорогая Мария Вениаминовна!

Простите, что на Ваше великодушное и полное мыслей письмо я отвечаю так кратко и наскоро и что ответ посылаю по почте, то есть простите за то, что он так долго будет к Вам идти.

Огромное Вам спасибо и за подарок, и за разбор вещи, и за похвалы, но особенное и громаднейшее за то, что так значительно Ваше письмо, что письмо Ваше — письмо большого человека, что Вы не поленились дать в нем себя, что Вы в него вложили столько собственной силы. Вы не представляете себе, как важно и серьезно то, что я этим хочу сказать.

Переписываю и вкладываю «Рождественскую звезду». Я читал ее потный, хриплым и усталым голосом, это придавало «Звезде» дополнительный драматизм усталости, без которого она Вам понравится гораздо меньше, Вы увидите.

Как-нибудь при случае позвоните мне, мне хочется еще раз поблагодарить Вас.

Ваш Б. П.

6. М. Юдина — Б. Пастернаку

25. II. 47.

Дорогой Борис Леонидович!

Лучше уж прямо, как «головой в воду» — «подобраться» к Вам исподволь — невозможно.

Это — снова о Шуберте. Я писала Вам о сем до войны, у меня есть Ваш ответ¹ — не категорический отказ, а ссылка на «Гамлета», МХАТ и добрые слова ко мне. Потом — война. Потом все это вообще заглохло, потом я решила Вас бояться, Вы как-то очень осудили меня за «f» в *Appassionat'e*², мне было трудно просить Вас.

Потом появился Заболоцкий, я услышала его несколько прекрасных стихов и знала, что ему надлежит способствовать в работах, ввиду трудности его земного бытия. Он сделал мне — т. е. Шуберту — несколько превосходных вещей, но после новой своей поэмы что-то возгордился, валил на эквиритмические трудности, и мы с ним совсем распростились³.

Но — н е з а в и с и м о — мечта о Вас всегда у меня оставалась, но, повторяю, я Вас всегда очень боялась, как бояться всего большого. Бывали лишь редкие исключения, когда я вдруг забывала — дистанцию. Чувствовать ее наличие — мне свойственно. (Даже удивляюсь, как «осмелела» нынче, напр., с блинами (а они были удачны, и художники развеселились и о Вас сетовали, что погнушались ими) — «знаменитостей», выходит дело, предпочли Вы, а не я: у Пастернака не хватило времени на какую-то Юдину из-за Кончаловского, Гачина и Ливанова⁴!.. Кстати, на Кончаловском я Вас не видела⁵.) Ну, это все — в сторону — а я на коленях перед Пастернаком, и «оставлены» Вам сначала еще — лучшие вещи — Гёте. Вещей 4—8 — сколько захотите — из «Вильгельма Мейстера» и еще что угодно. Срок — примерно 2—3 месяца.

К каждой вещи Фаворский делает «апрэт» и вообще украшает весь том. Несколько мелких вещей сделал Кочетков. Войдет кое-что из Ал. Толстого и Фета. На это ушел год моей жизни теперь и год ранее — и более этих вещей никто не знает, их не было в русском языке во все, или были плохие. Вирши Коломийцева, Адрианова — не в счет. Это выбор из 2/3 неведомого в России в о б щ е Шуберта.

Вы переводили неоднократно среди других, напр., Клейста, Лысогорского — пишу, что знаю хорошо, всего не помню — но это-то сама читала. Шуберт и его поэты, хоть бы Гёте — казалось бы, не менее достойны Вашей руки. Я не бухнулась Вам в ноги о сем це лик ом, ибо знала, что Вы никогда на это не согласитесь — но частично? Между делом (прозой)? Я смиреннейше прошу и умоляю.

Уже несколько месяцев все не соберусь, т. е., вернее, не расхрабрюсь, но время гонит лошадей.

Борис Леонидович, драгоценнейший и единственный, согласитесь. Тогда я прибегу, когда угодно, и оставлю вещи — на выбор Ваш.

Жду ответа. Простите.

Ваша М. В. Юдина.

PS. Забыла сказать — сборник к печати уже принят, Заболоцкий и Кочетков уже получили часть денег в Музгизе. Уже кое-что исполнялось по радио — это деньги независимо от сего. Об этом стыдно говорить — ибо у Пастернака должны были бы быть виллы и миллионы... А сейчас, м. б., и эти деньги пригодятся...

¹ Это письмо Пастернака к Юдиной до нас не дошло.

² То есть за «форте» (сильно, здесь: громко) в сонате № 23 Л. Ветховена («Аппассионата»).

³ О работе с Н. А. Заболоцким над текстами для сборника песен Шуберта см. в воспоминаниях Юдиной «Создание сборника песен Шуберта». Трудности «земного бытия», на которые ссылается Юдина, — возвращение Заболоцкого после войны из сибирской ссылки; тогда же она и бросилась помогать поэту, изыскивая для него переводческую работу.

⁴ Кончаловский Петр Петрович (1876—1956) — художник; Ливанов Борис Николаевич (1904—1972) — актер МХАТа, друг семьи Пастернака. Гачин — неустановленное лицо.

⁵ Имеется в виду выставка работ П. П. Кончаловского по случаю его семидесятилетия и избрания действительным членом Академии художеств СССР.

7. М. Юдина — Б. Пастернаку

24. XI. 47

Дорогой и несравненный Борис Леонидович!

Во-первых — простите, что пишу — как обычно — на телеграфных бланках: мои друзья дарят мне рисунки, стихи и разные диковины, и никто не догадается принести коробку хорошей бумаги для писем, как дарили дамам в доброе старое время, — а мне попасть в Мосторг — проще съездить в Ленинград — так оно и идет!!!

Во-вторых, время, спасительное время — перевело острую горечь, оставшуюся от нашего с Вами последнего разговора — в русло «спасительного юмора» — полагаю, что прибегая к сему верному целителю душевных ран в наш век, избыливающий «ударами судьбы», я не одинока. Но могла ли я думать, что один из жесточайших ударов нанесет мне Поэт и человек, коего я столь чту?..

Не мне Вас учить, не мне Вас укорять, Борис Леонидович... Я хотела бы только устлать ваш путь розами и лаврами; в переводе на житейский язык — это переводы Гёте — Шуберт могли Вам дать тысяч 12 или более, конечно — гроши, ну, хоть на месяц жизни... Я бы зубами урвала в издательстве все максимальное... А затем — как правило, все это моими же студентами исполняется в Радио, там платят сразу — независимо от издательства, а с нашей легкой руки стали бы петь и разные там «именитые» певцы, и филармония бы снова платила — так бы набегали какие-то суммы...

Когда я думаю о том, как «потусторонний» Рильке — «unser Seraphico», как звала его княгиня Turn und Taxis¹. беспрепятственно «скромно» жил, путешествуя по всей Европе, годами не работая профессионально, посылая своей подруге «Benvenut'e»² (о коей я Вам рассказывала) каждый вечер свежую корзину цветов, о чем она под маской «скромного недостойнства» горделиво повествует, — а Вы ежедневно должны думать о хлебе насущном — и он писал «von der Armuth»³... Я готова, кажется, искать брака с каким-

либо маршалом или директором завода, дабы посылать Вам ежегодную ренту, но если бы я и была моложе и резвее для подобного предприятия — вряд ли бы финансовая способность воображаемого моего супруга сильно перевесила бы гонорары Радио или зарплату доктора наук... Так-то.

Как выйти из сего порочного круга? Я зарабатываю по нашим понятиям много, но стоит кому-то из близких заболеть или чему-то вообще случиться — наступает полное нищенство... — и меценатские мечты летят в трубу...!

Итак, не мне Вас учить, но я думала, что данное слово есть реальность а абсолютная, безусловная... 8 месяцев я Вас не трогала, я лишь 2 раза напомнила об этом и верила в сообщенные Вами сроки; я думала, наивно — что слово, данное Вами мне, не менее весомо, нежели юридический договор; но неужели что-то могло мешать последнему? Сколько я знаю — авансов не платят ныне, на кой прах житейски сей договор был нужен? А если — почему Вы не сказали? Я же привезла бы его Вам домой...

Все это позади, оставим.

Тогда, в том ужасном разговоре — мне вдруг стали мешать, пришел обладатель телефона в Дирекции Консерватории и разные прочие личности, я вынуждена была смять разговор.

За это время (пока я ждала Вас) в Музгизе из-за полусумасшедшего Оголевца⁴ «убрали» превосходных — Розанова и Златкина⁵; посадили случайную персону; но Бэлза, помогавший как раз Оголевцу, как всегда, вышел сух из воды; на него только и надежда в том, что из-за неслыханного опоздания не воспользуются этим и не станут вообще выбрасывать всего Шуберта из нового плана, ибо старый уже позади... Бэлза — пример скользкости и журнализма — все же образованный человек и хорошего вкуса; он ждет Ваших текстов...

И снова я скажу, глядя на книжечку Лысогорского⁶ — ее Вы украсили своим участием и именем, — почему Вы ко мне, Гёте и Шуберту так суровы?.. Неужели мы трое хуже его?

Что мне еще сказать — и так вместо 2—3 слов — снова ненужное Вам послание. Но для меня этот Шуберт слишком дорог. И еще — не кончив его, я не могу всерьез ничем иным заняться: «d'inachevè зияет бездна!»⁷... А сроки сочтены и мои, Борис Леонидович... Вы видите, и я живу, не столь порхая; Вы видите — мне не дают в Москве (в «мировой столице!!») играть, я не подхожу — мстят ли мне тоже за «низкопоклонство»⁸ или это просто чьи-то интриги зависти к моей — скажу прямо — силе — мне тоже все равно; мои мечты о музыкальном театре тоже обламываются о «характерные черты нашей эпохи» — кроме замученных нуждой и «учебным планом» студентов у меня нет иного матерьяла в руках — что-то мы пытаемся создать, но и это — ничтожная доля моих выдумок... И вот — публикация доселе неведомых у нас сокровищ музыки — единственное, что остается, пока хоть сколько-то этому дать ход, — я лстила себе мечтой, что я хоть в малом масштабе могу осуществлять то же самое, что Вы в великом, — и вот что я от Вас за это получила...

Увы, послание сие не получилось особо юмористическим, но я нарочно выжидала, пока улягутся обида, боль, горечь — больше ждать уж вовсе нельзя.

Я от всей души прошу сделать хотя бы 3—4 вещи из Гёте — что придется! — до 1 января, примерно, — но выбрать, по возможности скорее, тогда я оставшееся дам кому-то еще, сократив бедного Гёте до *minimum'a*, иначе весь сборник погиб — вообще...

Прошу мне ответить, т. е. нет, не утруждайте себя, — я позвоню через неделю — т. е. 1-го или 2-го за ответом, м. б., 29-го — по некоей особой причине — т. е. 29-го В. А. Фаворский просит дать ему хоть приблизительный объем для макета тома.

Простите меня, я не могу иначе. Станьте на миг на мое место, как если бы я была персонажем повести.

Призываю на Вас и Ваш дом все Благие Силы Небесные.

Жду и надеюсь.

Ваша М. В. Юдина.

¹ «Наш серафим»... Турн-Таксис (нем.). Имеется ввиду княгиня Мария фон Турн-Таксис (1855—1934), приятельница Р.-М. Рильке.

² Магда фон Гаттинберг («Benvenuti'a») — знакомая Рильке, пианистка, ученица Ф. Бузони.

³ От нужды (нем.).

⁴ Оголевец Алексей Степанович (1894—1967) — музыковед, композитор.

⁵ Розанов Виктор Алексеевич (1899—1972), Златкин — редакторы Музгиза.

⁶ «Избранное» О. Лысогорского (М. 1946).

⁷ Строка из стихотворения В. С. Соловьева «М. С. Соловьеву»; d'inachevè — из неоконченного (франц.).

⁸ Намек на разворачивавшуюся к тому времени идеологическую кампанию против «космополитизма и низкопоклонства перед Западом».

8. Б. Пастернак — М. Юдиной

27 марта 1949.

Дорогая Мария Вениаминовна!

Посылаю Вам обещанное¹. Здесь хорошее перемешано с дурным и неудавшееся временно оставлено без исправления [например, слабая первая строчка Фульского короля — (мне хотелось сохранить латинский оттенок: Ultima Thule — краесветная-дальняя) или такая — как он роздал княжеств тьму — обилие согласных]².

Мне важно было двинуть Фауста в целом, весь текущий и катящийся мир его, всю его драматическую совокупность, и я, кажется, этого достиг, а теперь и отвлечен мыслями о продолжении романа и не сегодня-завтра за него примусь. Вот отчего я не могу заняться дополнительной отделкой этих кусочков и в особенности мелких стихотворений Гёте, которые Вы получите от Вильмонта³, — мне по многим причинам нельзя сейчас задерживаться в собственной работе; все в такой неясности! Спасибо огромное за все, я Ваш постоянный и глубоко Вам преданный должник, будьте здоровы.

Ваш Б. П.

¹ Это письмо было опубликовано в «Записках отдела рукописей» Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, выпуск 29 (М. «Книга». 1967), с комментарием А. Л. Паниной, базирующимся на указаниях самой М. Юдиной, передававшей в те годы в отдел рукописей часть своего архива. М. Юдина сообщила публикатору письма, что Пастернак прислал ей тогда несколько стихотворений Гёте, переведенных для юбилейного однотомника, изданного в 1950 году. Три из них с небольшими изменениями были вместе с нотным текстом опубликованы в сборнике Юдиной («Песнь Миньоны»: «Ты знаешь край лимонных рощ в цвету...», «Король в Фуле» и «Песнь арфиста»).

² Квадратные скобки в тексте письма.

³ Вильям-Вильмонт Николай Николаевич (1901—1986) — историк литературы, переводчик; был составителем упоминаемого здесь однотомника Гёте, автор книги «О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли» (М. «Советский писатель». 1989).

9. М. Юдина — Б. Пастернаку

23 июня 49, Ленинград.

Дорогой и несравненный Борис Леонидович!

Шлю Вам поклон из дивного, прохладного, сверкающего и белоночного Ленинграда. Я уже возлегла в клинике, но меня еще не покромсали, поэтому еще могу писать чернилами¹.

Здесь две весьма просвещенные хирургички, и я для них переписываю «стихи Юры»², кот <орые> неизменно со мною, хотя я почти или даже вовсе знаю их наизусть. Через палату от меня лежит известный доктор Гаршин³, вероломный друг Анны Андреевны, о чем знает весь Ленинград, и только потому и я в том числе, ибо на чужую лирику у меня, надо полагать, времени не хватает — хватило бы на свою...

Быть может, я могу себя льстить надеждою, что из сочувствия к моим грядущим мученьям, да еще в лучшее время года, когда ночи столь прозрачны и липы скоро зацветут, — Пастернак откроет невзначай тот или иной том Шуберта и коснется своим гениальным пером того или иного ритмического несовпадения своих замечательных стихов с рисунком Шуберта... тем более что под рукою ведь всегда «комментатор» в сей области — Стасик Нейгауз... Быть может, также Пастернак воззрит на один из нежнейших текстов Гётовых «An Mignon»⁴ — ибо таковой — одно из наиболее задушевных созданий и у Шуберта. Воззрит — и сложит по-русски...

Или — «Du bist die Ruh» — Рюккерта⁵... Умолкаю... (Эта противная Юдина всегда со своим Шубертом!.. Целых 2½ года от нея нет покоя...)

Но, Борис Леонидович, золотой! Издание чудом возрождено и спасено и снова висит на волоске.

Вернувшись из Ленинграда, из клиники, едва живая, я обязана буду в конце июля или самом начале августа доплестись и до Переделкина и до Музгиза, дабы все сдать окончательно⁶.

Иначе больше мне веры не будет и все поггло окончательно.

— УМОЛКАЮ —

За «Фауста» я не успела заехать поблагодарить Вас, как подобает, и в долгу у Вас. Было несказуемо хорошо. Все молчали лишь от потрясения⁷.

Шульц (скиф)⁸ потом звонил и говорил много замечательного. Да Вы все сами знаете...

Не гневайтесь. Поклон Вам и Зинаиде Николаевне.

Ваша Юдина.

¹ Выехав в июне в Ленинград на гастроли, Юдина неожиданно попала в больницу, где ей была сделана операция.

² «Стихи Юрия Живаго» из романа Пастернака.

³ Гаршин Владимир Георгиевич (1887—1956) — профессор ленинградской Военно-медицинской академии, племянник писателя Всеволода Гаршина.

⁴ «К Миньоне» (нем.). Для сборника перевел текст этого стихотворения не Пастернак, а Маршак, которому Юдина также написала, 20 июня 1949 года.

⁵ «Ты — тишина» (нем.). Автор текста — поэт-романтик Фридрих Рюккерт (1788—1866).

⁶ Юдина писала о завершающем этапе ее работы с Б. Пастернаком: «Однажды я приехала к ним в Переделкино для этой работы; был тот самый воспетый им славочный июль (1949 года. — А. К.), все были в сборе и здоровы; гостила — дорогой их друг — грелась около Пастернаковой теплоты и гостеприимства его дома — трагическая, но мужественная Нина Александровна Табидзе... Сияло солнце, потом пламенел закат, мы какое-то время немного поработали с поэтом, засиделись за полночь; меня положили на застекленной террасе, откуда, как известно, видать кладбище... Как мог бы жить человек с открытым будущим?.. Кто бы мог думать, что здесь и упокоится прах его?! Вскоре Борис Леонидович приехал в город ко мне, и мы все тихо и мирно отработали».

⁷ Речь идет об одном из чтений Пастернаком перевода первой части «Фауста» Гёте.

⁸ Шульц Павел Николаевич — археолог, занимался раскопками скифского Неаполя близ Симферополя.

10. М. Юдина — Б. Пастернаку

Москва, Соломенная сторожка. 8.XII. 53.

Дорогой Борис Леонидович!

Я ужасно по Вас соскучилась, по Вас самому, Вашим стихам, Вашему голосу — всяческому.

Мечтала бы видеть Вас у себя, ибо 2-й год живу тоже вроде в деревне около Тимирязевской Академии, т. е. в Петровско-Разумовском; (на Беговой временно живут мои родичи). Но это здорово далеко, примерно отовсюду час езды, ну, а на машине, конечно, скорее горазздо. Здесь тишина невообразимая. Дача, где я снимаю (не «нарочно», а так вышло!) традиционную мансарду, глядит прямо в лес. В общем: «из городов бежал я нищий»... Вижу закаты и восходы, иней, слышу ветер и птиц. Топлю печь и порюю таю снег для питья и мытья. Мир хижинам, война дворцам.

Но так как звать Вас есть поступок торжественный и ответственный — то разрешите мне перво-наперво прийти к Вам хоть ненадолго; очень уж охота. Ежели Вы пожелаете и ко мне быть, буду отменно рада.

Ваша болезнь совпала с моею, я тоже лежала 2 месяца — потому никак не оказала Вам внимания.

Постараюсь Вам позвонить, но мы тут — дикари, телефонов не имеем — м. б., Вы отпишете. Кругом есть хорошие старомодные люди с Урала¹, я, кажется, сама стала говорить «по-ихнему», под Мамина-Сибиряка и Бажова или пословицами!

Итак, низко кланяюсь и пребываю непокорной слугой Вашей. Кланяюсь Зинаиде Николаевне.

М. В. Юдина.

¹ Соседями Юдиной на Соломенной сторожке были Удинцевы: Борис Дмитриевич (1891—1976) — племянник писателя Мамина-Сибиряка, экономист и литератор, его жена Екатерина Яковлевна и сестра Наталья Дмитриевна. Юдина была знакома с ними, они и подыскали ей это новое жилище.

11. Б. Пастернак — М. Юдиной

14 дек <абр> 1953.

Дорогая Мария Вениаминовна!

Спасибо за письмо, я сам был бы очень рад повидать Вас. К вам я наверное не выберусь, мне сейчас очень дорого время, а вот Вы, пожалуйста, как-нибудь доставьте нам радость, отобедайте у нас или проведите с нами вечер, всего лучше как-нибудь в воскресенье. Может быть, Вы объединитесь с этой целью с обоими Нейгаузами, с Генр <ихом> Густ <авовичем> и Милицей Сергеевной¹, которых мы тоже давно не видали. Сговоритесь сначала с ними по телефону (К-7-15-65), а потом о результатах с нами (В-1-77-45). Подгоните эту приятную встречу, если можно, к какому-нибудь воскресенью и предпочтительно к вечеру (к семи часам) и нам дня за два, за три об этом сообщите.

Надо ли говорить, как я буду рад, безотносительно к этому всему, вообще Вашему телефонному звонку. Вы всегда им (звонком) меня застанете: днем в два часа и в семь часов вечера. Жду с нетерпением ответа, еще раз спасибо.

Ваш Б. П.

¹ Нейгауз Генрих Густавович (1888—1964) — пианист, педагог, музыкальный писатель — и его жена М. С. Нейгауз (1890—1962).

12. М. Юдина — Б. Пастернаку

15.XII. 53.

Дорогой Борис Леонидович!

Спасибо за быстрый ответ! Я с благодарностью воспользуюсь возможностью повидать Вас, но я бы просила не соединять меня с Нейгаузами; мне бы хотелось — при встрече с Вами, столь редкостной, — избежать профессионально-музыкантских тем (тем паче — «консерваторских»!), а таковые почти неизбежны в данной констелляции... Я не хотела бы «разбавленного» Пастернака, так сказать, «витамины» Пастернака, а раз в несколько лет есть жажда Пастернака «naturel», вернее, настоятельная необходимость таковую утолить.

Если уж непременно надо соединить меня с кем-либо, т. к. «время — так сказать — все равно убить», — соедините меня с какими угодно чужими мне людьми — Вашими друзьями, кои меня внутренне и не будут касаться, тогда субстанция Пастернак останется для меня целостной.

Не думайте, что я «в споре» с Генрихом Густавовичем! Ни в коей мере! Мы несколько лет не виделись — и все.

Вообще я не «набиваюсь в гости»! Я удовлетворюсь 1½ часами — рано приду и рано уйду. Буду звонить.

А если вдруг разбогатею, позвоню еще раз и пришлю за Вами машину ко мне, ибо я живу на опушке леса, а как это прекрасно, Вы знаете по своему Переделкину — но Соломенная вчетверо ближе.

Привет Зинаиде Николаевне и громадное извинение, что не послала его в прошлом письме, видимо, я очень одичала, простите.

До свидания, надеюсь.

Ваша М. В. Юдина.

13. Б. Пастернак — М. Юдиной

17 дек <абр> 1953 г. >.

Дорогая Мария Вениаминовна!

Какая оживленная переписка, не правда ли? Вы и в первом письме послали поклон Зине, напрасно Вы в этом сомневаетесь. Сегодня утром я отправил Вам открытку¹, жидущуюся на плане Вам неприемлемом и отвергнутом. Ну, как хотите. Они уже приглашены в чайники, что Вы придете. Следовательно, они будут, и если, может статься, то, что я Вам скажу сейчас, возбудит Ваше любопытство, знайте, что вечером в воскресенье мы будем в сборе и будем ждать Вас, без расчета, что Вы приедете, и будем без конца счастливы, если все же Вы приедете². Может быть, для укрепления высоких позиций, я сейчас скажу — каких, Вы кого-нибудь захватите? Алпатовых?

Теперь вот в чем дело. Обрисованной Вами возможности (растечение тем, консерваторских разговоров и пр.) я не только бы не допустил, но, напротив, во избежание такой измельченной встречи с остальными позвал их в один вечер с Вами, полагая в Вашем присутствии гарантию того, что оно исключит скольжение по поверхности и пустословие, а главное, позволит мне в таком сочетании быть именно вполне собою.

Дело в том, что в каких-то отношениях я очень изменился. Летом в меня вошло что-то новое, категорическое, ускоренное и недоброе, больше — раздраженное. Близко от нас жили Нейгаузы. Вдруг я в нем усмотрел воплощение полной себе противоположности во всем, в манере существования, в отношении человека к искусству, к жизни. Это было ощущение волнующее, возбуждающее протест и отчаяние. Мне думалось, отчего одному так легко, беспоследственно легко и безнаказанно порхаешь, когда другой такую тяжкую душевную цену оплачивает каждый шаг в жизни. Представьте себе, я не мог этого скрыть и не желал, так что между нами наступило отчуждение. Но я не с ним одним, я со многими поссорился.

Между тем я, наверное, неправ. Каждый живет, как ему дано и как он может. Для возобновления отношений с Г<енрихом> Г<установичем>, без каких бы то ни было объяснений и примирений, а так, словно ничего и не случилось, я и думал позвать его с М<илицей> С<ергеевной> в сочетании с Вами, как раз для того, чтобы говорить свободно и в полную волю, так, как мне захочется, так, как этого, судя по Вашему письму, хочется Вам.

Ах, какое кропотливое, ненужное и, в конце концов, непонятное Вам объяснение. Поступайте, как знаете, наперед все принимаю, кроме обещания приехать к Вам. Давайте в субботу, послезавтра, все же сговоримся, лучше всего вечером в 7 часов. Позвоните, пожалуйста, мне. И может быть, правда кого-нибудь пригласим в дополнение?

Ваш Б. П.

¹ Открытка эта нам неизвестна.

² 20 декабря Юдина не приехала к Пастернакам в Переделкино, гостила она там в Рождество, 7 января 1954 года.

14. М. Юдина — Б. Пастернаку

20.XII. 53.

Дорогой-дорогой Борис Леонидович!

Примите мою глубокую благодарность за письма, доверие, объяснение «званого вечера», за все Ваше доброе ко мне отношение! Я поняла все гораздо глубже и «родственнее», чем Вы можете предположить, и в высшей степени сожалею, что не могла все же именно в сей вечер, именно в таком сочетании — раз Вы того хотели — приехать: но до получения Вашего 2-го письма я назначила на воскресенье, 2-ю ¹/₂ дня репетицию студентов и уже отменить ее не могла; они приехали ко мне в такую даль со своими смычковыми инструментами, и у меня не хватило мужества их отослать, да и репетиция была экстренная (веду я сейчас только Камерный Ансамбль и блаженствую¹), они явились несколько позже предположенного времени и попасть к Вам часам к 10—11— уже не было ни смысла, ни сил! Простите меня и разрешите все же позвонить, дабы увидеть Вас хоть недолго.

Сейчас не буду больше писать: 1) незачем утомлять Вас чтением писем, 2) забыла или потеряла в институте очки и почти вслепую пишу, 3) до слез мучит сейчас ревматизм, уж не к таянию ли, что всегда для меня катастрофично...

Вряд ли Вы стали недобрым — я думаю — Вы почти во всем правы перед большинством других «жрецов искусства», и к этой Вашей прямоте и, возможно, суровости меня так и тянет! — я же за эти годы приблизилась к разным «рубежам», т. е. частенько помышляю о кончине, благодаря Провидение за каждый день, ибо вижу лес и звезды и иней и окружена музыкой и молодыми душами, пусть несколько примитивными, но чистыми и трогательными. Чего еще желать? А живется мне тоже не по шерстке...

До свидания, дорогой, несравненный Борис Леонидович! Привет Зинаиде Николаевне.
Ваша Юдина.

¹ В 1951 году М. Юдина была вынуждена уйти из Московской консерватории и до конца своей педагогической деятельности вела в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных класс камерного ансамбля (пока в 1960 году под нашим дирекции и реакционно настроенных коллег не покинула и этот вуз).

15. М. Юдина — Б. Пастернаку

15.1. 54. Москва, Соломенная сторожка.

Дорогой Борис Леонидович!

Весь следующий день, да и позже, после посещения Вашего дома¹ — я была преисполнена и насыщена счастьем, светящейся радостью, легкостью, весельем. Совсем иным видишь Божий мир отраженным в созданиях гениального поэта, Вы именно точно протерли тусклые

стекла наших бескрылых восприятий; но не только Ваши стихи, Вы сами — своим искрящимся сверкающим мажором бесконечно поучительны духовно, ибо сказано: «Непрестанно радуйтесь». Вы радуетесь не «нарочно», а для Вас мир нов и загадочно-творим и творящ каждый день и каждый час.— Простите мой суконный язык.— Я не смогла написать сразу, теперь многие заботы стали между этим лучезарным воспоминанием и мною, но суть, конечно, жива и таковою и останется.— Спасибо Вам за то, что Вы существуете, за то, что Вы вслух верны своему Призванию, за все, что Вы остягаете и оставите людям,— и за то, что и мне нашлась возможность хоть изредка быть сему причастной,— что касается того вечера, то мне несколько стыдно того, что я уж вовсе смолчала как рыба — и «одичав» у себя в лесу — словом, «деревенщина» — и под н а т и с к о м ценнейших впечатлений (впрочем, очаровательный Андрей Владимирович² взял себе львиную долю беседы!) — стыдно также того, что я так много ела всего невероятно вкусного (еще бы — рука Зинаиды Николаевны!), как бы обнаружив то, что такую пищу вижу тоже и не каждый год! — и чуточку мне было грустно, что в восприятии всех я была немного отведена в «прошлые» музыканты, о коих уже нечего сказать... всех и меня тоже «затмили» все новые — истинные и ложные звезды — но все это сущие пустяки.

Сияние Вас как некоего воплощения духа поэзии — к этому я стремилась и это получила! Генриху Густавовичу я тоже напишу — вдруг разом ушло все мешающее в нем — легкомыслие всех видов — Бог с ним! Он столько прекрасного принес! И главное — все злое растворилось в добре, в лучах радости и счастья. (Опять же через Вас!) — Ливанов Ваш очень хорош, пусть не обижается на мои нескладные слова, но я видела многое множество актеров-мхатовцев, и Гекуба³ и краем платья их не задела, а и «поставила над ними всеми вкупе — крест» — и вдруг!! — А величественную Анну Андреевну⁴ я всю жизнь ч т у, но чужая она мне. Говорите что хотите, а быть настолько женщиной и великой поэтессой — вместе — немисливо. Вот она и прекрасна под 70 лет и неувядаема, но стихи ее не выдержат потока Времени и мало кого согреют, как это можете Вы.

Еще и еще и еще — спасибо бесконечное.

И Зинаиде Николаевне, конечно, не за яства! — а за то, что она Ваша спутница.

Да еще мелочь: Вы не раз кое-какие стороны моей жизни читали весьма фантастично — во избежание недоразумений: Серафима Ал<ександровна>⁵ «секретарь»!! — человек мне с о в с е м ч у ж о й, но глубоко-порядочный и за деньги, за «почасовую оплату» является «связью с городом», с немногими еще выпадающими мне в грандиозной «конкуренции» концертами, с почти ослепшей моей родственницей в том тупике, где Вы тоже дважды нас очастливили своим приходом и чтением!⁶

Теперь 2 слова о Фаусте. Я — если позволите — пришлю Вам некую рукопись о нем — очень умную, замечательную⁷. Она не у меня, но у друзей. По-моему — у Вас много — премного лучше, чем у Гёте. О т о р в а т ь с я н е л ь з я.— Но я его боюсь. Видно, мои духовные силы слабы — я не могу долго читать о воплощенной нечистой силе, которая так умно, остроумно и порою гениально разглагольствует... Это долго объяснять; мне все хочется сказать «с нами сила крестная», сгинь, пропади... Как это Вы могли выдерживать?— М. б., для меня слово — абсолютная реальность...

Ну, простите излишне длинное письмо. Спасибо еще.

Преданная Вам Юдина М. В.

PS. «Кстати» или некстати о Фете. Я так рада, что его вспомнили. Тютчев его затмил и отшел; в юности моей мои друзья-философы — его так чтити. И я «написала» в 17 лет «трактат» о стихах «Измучен жизнью» и т. д... Как вырос из него Вячесл<ав> Иванов!..

¹ В эту встречу, 7 января, Б. Пастернак подарил М. Юдиной первое издание своего перевода «Фауста» Гёте (1953), как она вспоминала, «с удивительной надписью» (местонахождение книги неизвестно).

² Неустановленное лицо.

³ Гекуба — образ верной жены в трагедии Шекспира «Гамлет» (в сцене с актрисами). М. Юдина употребляет его как символ преданности искусству, которой она не находит у артистов МХАТа.

⁴ А. А. Ахматова, побывавшая в тот день у Пастернаков.

⁵ Бромберг Серафима Александровна (1904—1986) — многолетняя помощница М. Юдиной.

⁶ Речь идет о Е. Н. Салтыковой (см. прим. 14 к письму 2), которая жила в Сытинском тупике.

⁷ Рукопись А. А. Мейера «Размышления при чтении «Фауста» Гёте» (1936). Александр Александрович Мейер (1875—1939) — философ, участник петербургского Религиоз-

но-философского общества, член-учредитель Вольной философской ассоциации (1919) и домашнего религиозно-философского кружка «Воскресение» (1918—1928), который наряду с Вольфилой посещала М. Юдина. После ликвидации кружка и ареста А. А. Мейер был приговорен к расстрелу, замененному десятилетним заключением на Соловках. «По зачетам» освобожденный досрочно, А. А. Мейер прожил несколько лет в Калязине, недалеко от Москвы, писал и переводил (с древнегреческого).

16. Б. Пастернак — М. Юдиной

18 ян<варя> 1954.

Дорогая Мария Вениаминовна!

Благодарю Вас за письмо. Но не полнота признательности заставляет меня на него отозваться. Надо, чтобы Вы знали, что никому кроме Вас не удавалось так метко и исчерпывающе назвать и понять коренной изъян Фауста, причину, отяжеляющую все взлеты этого произведения, разгадку главного препятствия, всегда стоявшего передо мною при переводе, и сущность которого все время оставалась тайною и скрытой от меня, между тем как Вы так легко и пронизательно ее определили.

Меня именно убивали эти немислимые, необъяснимые, непозволительные примеры внезапного повисания крыльев после так счастливо взятых высот, страницы грязи и пошлости вслед за картинами и трагедиями чистоты и нежности, проявления праздной учености, по-барски надменной и такой далеко не высокой.

Секрет этого порока, этого стилистического балласта именно в том ложном, самим автором осужденном красноречии Мефистофеля, которому Гёте тем не менее уделяет в трагедии так много места. Это ораторство, заведомо ограниченное, сознательно второстепенное и, однако, такое пространное и блестяще аргументированное, — вот тот двойственный и внутренне противоречивый придаток, который разбивал в прах лучшие мои усилия по отношению к тексту и отравлял мне радость работы, без того чтобы хоть раз я понял, где корень зла.

Вы молодчина, я восхищен глубиной Вашей прозорливости и не мог не высказать Вам восторга по этому поводу. На гражд<анской> панихиде по Пришвине кто-то превосходно играл Бетховена, Баха, Балакирева, очень необыкновенные раскаты арпеджий. Я думал, это Вы, но человек из Пришвинского круга сказал, что нет, это не Юдина. Во всяком случае пианисту играть было, наверное, очень трудно, толпа стояла стеной, заслоняла ему свет и лишала его воздуха.

Еще раз спасибо.

Ваш Б. П.

17. Б. Пастернак — М. Юдиной

18 янв<аря> 1954.

Дорогая Мария Вениаминовна!

В письме я забыл поблагодарить Вас за предложение дать мне прочесть чью-то рукопись о Фаусте. Вашего отзыва достаточно, чтобы я наперед уже был высочайшего о ней мнения и чтобы любопытство мое было возбуждено до крайности. Но Вы не представляете себе, до какой степени нетерпеливо и торопливо отдаю я все свободное время работе над романом. Те немногие часы, что я им занимаюсь, не оставляют места для чтения и ознакомления с трудом, о котором Вы пишете, позвольте отложить мне до более удобного времени.

Еще и еще раз: все, что Вы сами пишете о Фаусте, необычайно и замечательно. Я испытал сходные ощущения за работой. И слово поставлено в совершенно разные условия, смотря по тому, из чьих уст оно звучит, Ф<ауста> ли или М<ефистофеля>.

18. М. Юдина — Б. Пастернаку

21.1.54.

Дорогой Борис Леонидович!

Спасибо за письмо! У гроба М. М. Пришвина, разумеется, играла я — по личной просьбе Валерии Дмитриевны¹. Кроме Баха, Моцарта и Бетховена — Бородин, а не Балакирев.

Спасибо за все.

Всегда Ваша Юдина.

¹ Пришвин умер 16 января 1954 года, гражданская панихида в Центральном Доме литераторов, на которой играла Юдина, состоялась 18 января; Пришвина Валерия Дмитриевна (1899—1979) — жена М. М. Пришвина.

19. М. Юдина — Б. Пастернаку

9.1.55. Москва.

Дорогой и высокоуважаемый и любимый
Борис Леонидович!

Шлю Вам запоздалые пожелания в Новом Году здоровья и исполнения — неведомых мне — Ваших любимых желаний, и быть таким, какой Вы есть, и неиссякаемого Вашего вдохновения. Чего же Вам, истинному Поэту, желать еще? Разве что официальной ласки?.. А все мы друг другу ныне ведь главным образом можем лишь желать — *In terra pax!*¹

Прошел год, как я была у Вас, и снова Рождество Христово, и сияет полная луна, и искрится снег, и обо всем чудном зимнем мироздании не скажешь лучше, чем Вы в Вашей «Рождественской звезде», которая на веки веков для всех живых людей связана с этой удивительной порой бытия. И за это, — как и за многое, премногое другое, — честь Вам и хвала и благодарение.

Ах, если бы Вы (имея машину — да?) — сели в такую и прогулялись бы в наш прекрасный Тимирязевский лес (вкупе со своей семьей, конечно!) и на полчаса бы заглянули в мою мансарду и тем оказали мне превеликую честь...

Мечты, мечты!..

Да хранит Вас Провидение.

Низко кланяюсь Вам и шлю привет Зинаиде Николаевне и Лёнечке.

Глубоко преданная Вам Юдина.

¹ Мир на земле! (Лат.)

20. Б. Пастернак — М. Юдиной

22 янв<аря> 1955.

Дорогая Мария Вениаминовна!

От души благодарю Вас за письмо! Ваши обращения, то, как Вы титузуете и величаете Вашего покорного слугу, не испортят меня, я люблю Вашу доброту и восторженность, светящиеся в них.

Я зиму на даче. Мне хорошо. Особенно большое спасибо Вам за широту, с какою Вы сформулировали Ваши новогодние пожелания мне. Вы пожелали: «исполнения моих любимых желаний, Вам неведомых». Мне хочется, чтобы все было хорошо. В такой полноте это желание наверное недостижимо, но оно достигается в таком большом приближении, что уже и это сверхсчастье, так что просто не верится.

Я очень много работаю. Внешне и по имени эта работа не представляет ничего нового. Это вторая книга «Живаго» во второй ее редакции, перед перепиской окончательно чисто, к которой я надеюсь приступить через месяц и предполагаю довести до конца через два-три, к весне. Но внутренне, в действительности это труд такой же новый, как если бы я начинал что-нибудь новое и по названию, так много я изменяю при отделке, и столько нового вставляю.

Эта книга будет очень большая по объему, страниц (рукописных) до пятисот, тяжелая, сумбурная и вряд ли кому-нибудь понравится.

У нас на даче два или три раза собирались. Ловлю Вас на выраженной Вами готовности повидаться, так сходящейся с моим желанием, и как только что-нибудь наметится, Вас извещу и позабочусь о технике доставления Вас к нам.

Вы сами знаете, как Вы тронули меня своей доброй памятью, как я предан Вам и как Вас чту.

Ваш Б. Пастернак.

27/1—55. Дата письма не вымышленная. Оно действительно без смысла и надобности пролежало у меня неделю.

21. М. Юдина — Б. Пастернаку

29.1.56.

Дорогой Борис Леонидович!

Мне очень хотелось и в этом году поздравить Вас с Новым Годом и пожелать Вам еще долгих-долгих лет, и здоровья, и цветения Вашего дара, и всякой отрады. Но в моем захохустье и депешу-то дать не всегда просто! Кроме того, — хотелось написать, но тут налетел концерт с новой программой. А потом — потом случилось горе: 24-го с. м.

скончалась моя Елена Николаевна Салтыкова; Вы были дважды у нас с нею в Сытинском тупике (помимо Беговой), и она подарила Вам пресс с птичкой. Помните? Я принесла его Вам домой. Эта потеря для меня очень велика, тем более что последние годы мы редко виделись — я сама много хворала или без памяти работала, она же без счета лежала в больницах. Я могла бы Вам всего сего не писать, тем более — я Вам не смогла (не нашла должных слов!..) написать, когда скончалась Ваша гениальная кухня Ольга Михайловна¹... Но в острые периоды горя меня всегда тянет поделиться с Вами, несмотря на всю отдаленность друг от друга наших жизней, видно, необходимо прикоснуться к тому, что еще осталось на земле настоящего, ради чего еще стоит жить, — как чистый ключ, кристальный родник Поэзии.

У Елены Николаевны были старинные родовые альбомы, чуть ли не с конца XVIII века, и я туда вписала некоторые Ваши стихи из Повести²; теперь эти альбомы пропали...

Ну, вот, не буду больше омрачать Вас этим письмом. Да и мне пора подумать о христианской кончине живота, да и недолго мне и осталось!

Вы же, Поэт, Художник, Vater³, — живите, живите как можно дольше.

Кланяюсь Зинаиде Николаевне.

Преданная Вам М. В. Юдина.

PS. Не сердитесь за такое печальное — уж никак не «новогоднее» письмо.

¹ Речь идет об О. М. Фрейденберг. См. о ней во вступительной статье Е. В. Пастернака и в воспоминаниях М. Юдиной «Немного о людях Ленинграда» (сб. «Мария Вениаминовна Юдина», стр. 220).

² Речь идет о романе «Доктор Живаго».

³ Отец (нем.).

22. Б. Пастернак — М. Юдиной

15 августа 1956.

Дорогая Мария Вениаминовна!

Я не ответил Вам зимою на письмо. И мне не может служить извинением, что я не отвечал никому, даже на письма, полные забот обо мне и моих делах, письма трогательные и практически неотложные.

Я был очень занят.

Катя Крашенинникова спросила меня не так давно, может ли она дать Вам прочесть неизвестные Вам продолжение и конец романа. Я ей сказал, что для меня было бы счастьем, если бы Вы прочли его.

По-видимому, это не осуществилось. У меня есть сведения из города, что Катя вернула роман. Я не знаю, как все это наладится, но если у Вас есть желание и время прочесть его, попросите Нину Дорлиак¹ или Журавлева, чтобы они достали Вам полный текст до его препровождения, по просьбе Нины Львовны, Томашевским в Крым. Сговоритесь с ними, как это устроить. Я Вам не предлагаю возвращенного Катей экземпляра, потому что его надо будет переправить в другие руки, причем в такие, которые дороги не мне, а одни из тех, от которых зависит судьба романа.

Я Вас очень хочу видеть.

У нас в начале сентября соберутся, и это сборище без Вас я себе не мыслю. Но день еще не назначен, и я Вас об этом своевременно извещу телеграммой, т. е. перед одним из воскресений 2-го или 9-го или 16-го.

Ну что мне Вам еще сказать, замечательная Вы жизнь и судьба и артистка?

Ваш Б. Пастернак.

Я все время в трудах, относительно и по-разному новых, счастливых, увлекательных.

Написав письмо, получил Вашу открытку². Никогда не пишите по дачному адресу, тут часто пропадают письма, а только по городскому.

Я извещу Вас, когда у нас будут гости. Это не будет 2-го, а может быть, и не 9-го.

Сообщу Вам — когда и поручу Рихтерам³ срочно предупредить Вас.

¹ Дорлиак Нина Львовна — певица, педагог, жена пианиста С. Т. Рихтера.

² Эта открытка неизвестна.

³ Рихтер Святослав Теофилович (р. 1915) — пианист, ученик Г. Е. Нейгауза, друг семьи Пастернаков.

23. М. Юдина — Б. Пастернаку

29.VIII.56.

Глубокоуважаемый и дорогой Борис Леонидович!

Благодарности и восторги придут в настоящем письме! Сейчас пишу, что если зовете на 2.IX, — то я не умерла еще и не уехала никуда! Так долго не отвечала на все Ваши дары, что теперь нарочно пишу открытку — для скорости. Стало быть, — жду — когда позовете!

Спасибо — безмерное.

Ваша М. В. Юдина.

24. Б. Пастернак — М. Юдиной

30 авг <уста> 1956.

Дорогая Мария Вениаминовна!

Я рад, что роман у Вас. Читайте его, считаясь со своим недосугом, без ущерба для Вашей работы и не утруждая себя. Держите его сколько захотите, но в больших перерывах давайте кому-нибудь другому, чтобы он не лежал без пользы.

Катя с таким восхищением и теплотой пишет о Вас и о целой ночи у Вас. Когда рукопись освободится, известите меня открыткой, я так хочу видеть Вас и назначу день. Кроме того, если Вас не затруднит, по освобождении рукописи вызовите к себе Веру Ивановну Прохорову¹, племянницу Милицы Сергеевны Нейгауз, по тел. К-7-15-65 — она (племянница) прекрасный человек, ее недавно освободили, и ей очень хочется прочесть роман. Скажите ей адрес, она придет к Вам за ним.

Катин отклик на Ваше значение и Вашу существенность — продолжение частичного моего с нею сродства души, в этом смысле, мое собственное движение.

Итак, не торопитесь и хоть на полгода забудьте обо мне.

Ваш Б. Пастернак.

¹ Прохорова Вера Ивановна — преподаватель английского языка, была арестована в 1948 году.

25. Б. Пастернак — М. Юдиной

<9 сентября 1956 г. Телеграмма.>

Просим к нам воскресенья десятого вечером в семь часов. Сделайте милость приходите пожалуйста.

Пастернак.

26. М. Юдина — Б. Пастернаку

<9 февраля 1957 г.>

Дорогой и несравненный Борис Леонидович!

Только что я узнала, что завтра, 10.II,— Ваш День рождения. Если Вы не окончательно меня презираете за высказыванья сей осенью — примите мои добрые пожелания здоровья, долготелья, счастья, благополучия и — спасения души!! — низко Вам кланяюсь. Привет Вашим домашним.

Всегда и неизменно преданная Вам М. В. Юдина.

PS. Простите, м. б., неподходящие открытки, но других в нашем захолустье нет, а спешу — сегодня же отослать поздравление!

27. Б. Пастернак — М. Юдиной

16 дек <абр> 1957.

Дорогая Мария Вениаминовна, как непросто Вы мне пишете (глубокоуважаемый... «поэт»... это будет честью для него и т. д.)¹.

У меня очень сложный год.

Я никого и ничего не перевожу, надо особенно и сосредоточенно не любить и не уважать меня, чтобы обращаться ко мне с просьбой о переводе².

Я никого не знаю, и нет ничего удивительного в том, что о О. О. Дризе³ я в первый раз услышал от Вас. Когда у меня будет возможность, я, если позволите, тайно от него попытаюсь по-другому помочь ему с Вашей помощью.

Желаю Вам всего лучшего.

Ваш Б. П.

¹ Это письмо М. Юдиной нам неизвестно.

² Неясно, о каких переводах идет речь. Возможно, просьба о них была лишь предлогом написать Б. Пастернаку с определенным умыслом: обратить его внимание на судьбу поэта Дриза

³ Д р и з Овсей Овсеевич (1908—1971) — еврейский поэт, после войны был арестован. После его возвращения из ссылки М. Юдина стала энергично помогать ему, привлекая к этому знакомых.

28. Б. Пастернак — М. Юдиной

9 янв <аря> 1959.

Дорогая Мария Вениаминовна, Вы меня осыпали благодарениями. Сердечно благодарю Вас за поздравления и чудные изобразительные искусства. Лёня был на Вашем Бетховенском концерте¹ и, если это Вам интересно, не только в восхищении, но в восхищении настолько убежденном, что когда после этого встретился у нас с Генр<ихом> Густ<авовичем>, то, опережая возможную просвещенную критику последнего и как бы с нею не считаясь, сказал, поспешно и порывисто, что многим у Вас он потрясен. Это было мне тем приятнее, что Лёня — мальчик молчаливый, с прирожденно сдержанной естественностью, независимый во мнениях. Вот какое Вы на него произвели впечатление. Я сообщу Вам, когда у нас будут гости, и очень хочу видеть Вас.

Ваш Б. П.

¹ Концерт в Большом зале Московской консерватории 1 декабря 1958 года.

29. Б. Пастернак — М. Юдиной

30 янв <аря> 1959.

Дорогая Мария Вениаминовна, если Вы здоровы и будете в этот день свободны и если какие-нибудь чрезвычайные непредвиденности не перевернут всех наших расчетов, приезжайте, пожалуйста, к нам в воскресенье, 8-го февр <алья>, в три часа дня, будем с нетерпением ждать Вас.

Ваш Б. П.

30. М. Юдина — Б. Л. и З. Н. Пастернакам

30.III.59. Москва.

Дорогие, бесконечно почитаемые и драгоценные Борис Леонидович
и Зинаида Николаевна!

Пишу кратко, как полагается, — «зашиваюсь» перед очередным игрищем 3.IV¹. Уже тогда, после чудесного дня Вашего рожденья у Вас², хотела писать слова Любви, похвалы и благодарности, но отвлекли бесчисленные труды и заботы. А потом узнала, что Вы уезжали.

Разрешите ли приехать к Вам в это воскресенье, 5.IV, — ибо я зверски соскучилась за Вами. Очень хотела бы немного поиграть Вам — сонаты Брамса и прелюдии Шопена, хоть частично. Если нет — ну и не надо. М. б., будут Генрих Густавович или Стасик, м. б., поиграем Вам à quatre mains³? И можно ли привести Маришу, племянницу Ирины Николаевны⁴? Она бесконечно Вас чтит, очень одинока, папашу своего никогда не видит, она прекрасный человек, мало счастливый; если она была невоспитанна, — то только от з а с т е н ч и в о с т и, и этого больше не будет, она будет (я знаю!) скромна, тиха и уместна.

Еще — мне почему-то тревожно за Лёничку, у него были такие печальные глаза тогда... Не могу ли я чем-нибудь быть полезна в его жизненном пути? (Не сердитесь за «вторжение», но ведь любовь без дел тоже мертва есть, а мое отношение к Вам Вы знаете...) Спасибо Вам за то, что могу быть в числе Ваших верных друзей.

Надеюсь, — до свиданья.

Да хранит Вас Пресвятая наша Заступница, Матерь Божия.

Всегда Ваша М. В. Юдина.

¹ Концерт в Зале имени Чайковского в Москве.

² См письмо 29. В нем содержится приглашение на день рождения Пастернака.

³ В четыре руки (франц.)

⁴ Вильям Ирина Николаевна (1898—1986) — жена А. Л. Пастернака; М а р и ш а — Мария Николаевна, дочь Н. Н. Вильям-Вильмонта, инженер-оптик.

31. Б. Пастернак — М. Юдиной

27 апр<еля> 1959.

Дорогая Мария Вениаминовна, не удивляйтесь затянувшемуся моему молчанию. В особенности гораздо раньше должен был я отозваться на Вашу великодушную готовность поиграть нам. Леня слышал в те дни эту программу и, как всегда, в восторге. Это относится главным образом к Шопену и тому современному польскому композитору, которого Вы исполнили¹. Если Брамс уступал, то по собственной ответственности и вине.

У нас, может быть, соберутся на первый день Пасхи, в обычные часы, к трем. Мы будем Вам страшно рады. Если это воскресенье Вам не подходит, приезжайте, пожалуйста, в следующее, десятого.

С неизменно глубокой преданностью Вам Ваш Б. П.

¹ В концерте 3 апреля М. Юдина исполнила две сонаты Брамса, двадцать четыре прелюдии Шопена, а также впервые в СССР прелюдии современного польского композитора Казимежа Сероцкого (1922—1981). Программа концерта, по-видимому, была составлена Юдиной, ориентируясь на Б. Пастернака: Брамс, Шопен — дорогие для него художники, — но на этом концерте Пастернак не был.

32. М. Юдина — Б. Пастернаку

29.4.59.

Дорогой золотой Борис Леонидович!

Громадное спасибо за письмо и приглашение. Шлю заранее поздравление со Светлым Праздником! М. б., приеду, а м. б., нет, ибо в сей день надлежит посетить кладбище (как всегда), а также позвать к себе некоторых близких. Вы ничего не ответили о Марише В. В-т¹, но позволю себе принять «молчание за согласие» — она будет кротка и тиха, р у ч а ю с ь, и счастлива побывать у Вас. Уже если очень не захотите ее, — дайте знать Александру Леонидовичу², что не надо Маришу, — или мне — простите, депешу. Но я думаю, что дорогая Зинаида Николаевна не будет возражать... Этот день ведь такой сияющий и радостный, — почему не доставить радость одинокому существу?! Она Вас глубоко чтит и очень образованна и ведь отчасти Вам родственница... Я очень хочу приехать, ибо в Фомино Воскресенье, 10-го у меня вдруг 2 концерта в один день!! А дальше — кто знает, удастся ли?! Какая же я счастливая, что получаю от Пастернака приглашение!! Сколько людей на всем земном шаре мне могут позавидовать!! Однако будем осторожны, что труднее всего — и потому, видимо, — самое главное!.. Спасибо Лёнечке за добрые слова. Брамса я сыграла неважно 1-ю сонату, а 3-ю — хорошо. Привезу что-нибудь «а 4 mains», вероятно, будет Стасик? Свою игру не навязываю и отнюдь не о б и ж а ю с ь — не в этом соль!!

Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. Целую Вас.

Ваша М. В. Юдина.

¹ М. Н. Вильмонт.

² Пастернак Александр Леонидович (1893—1982) — брат Б. Пастернака, архитектор.

33. М. Юдина — Б. Л. и З. Н. Пастернакам

17.VI.59.

Дорогие и любимые

Зинаида Николаевна и Борис Леонидович!

Вот уже и Пятидесятница приходит к концу, на днях Троицын День.

Я так «избаловалась» за эту печальную и трудную зиму видеть Вас систематическое-что Вам, достойное внимания, сообщить. А именно: 6-го сего месяца состоялся сонатный вечер альтиста Федора Дружинина¹ со мной и, кроме того, с участием известного Вам Андрея Волконского². На концерте было много народу, был дорогой наш Генрих Густавович, была Лина Ивановна Прокофьева³ «и другие» люди, любящие и знающие новую и настоящую музыку. Концерт был как-то особенно удачен и радостен. По инерции тащить все отрадное, светлое, дорогое, новое — к Вам, я решаюсь предложить Вам привести с собой обоих молодых людей, блестящих талантами и, выражаясь банально, «мастерством» и т. п. О Волконском Вы знаете — потомок декабриста, образован, рафинирован, истый парижанин, а внутри глубоко-серьезен! Его соната и глубока, и печальна, и блестяща. Дружинин сверхинтеллигентен и даже странно, что персонаж, играющий на струнном инструменте (у них весь мозг идет на штрихи и вибра-

цию!), может быть так начитан и скромн и в то же время так великолепно играть. Сыграть мы трое можем 4 сонаты: 1. Волконский. 2. Шуберт — «Арпеджионе» — ну, это — «все отдай, да мало!», 3. Онеггер (близок «Тристану»⁴). 4. (мой дорогой и обожаемый) Хиндемит.— Волконский женат на падчерице Паустовского, премиленькая Галя, это все, что я о ней знаю. Дружинин женат на Кате Шервинской. (Я надеюсь, что Сергей Васильевич⁵ ничего плохого не совершил и не мог совершить это время по отношению к Вам.) Катя тоже прелесть. Можно их взять, жен? (Ну, конечно, если Вы нас вообще позовете). Я всех доставлю hin und zuruck⁶. Хочу «реабилитировать» себя: дважды у Вас плохо играла, немислимо мне это пережить!! Но главное не в этом, а в желании преподнести Вам отрадное, светлое и новое.— Я приглашала на концерт Лёничку, но, когда кланялась, его не видела, не знаю, был ли он.— Так вот, если Вам это подходит — известите, пожалуйста.

Троицын День — исключается. Далее — как хотите (или не хотите, ведь очень может быть, — Вам не до нас всех и не до альтовых сонат!!). Но так как — Дружинины будут скоро жить у Шервинских в Песках, а о Волконском — где он и как — я мало знаю и еще его буду искать, если Вы захотите нас видеть и слышать, прошу написать дней за 5, не менее, чтобы и мне получить сие известие и всех собрать и записать в тот или иной вид транспорта.

Дорогой и драгоценный Борис Леонидович! Почему мне от Вас так попало на Светлое Христово Воскресение? Почему я, грешная, — «Савонарола»? Кого я обидела?! Напротив, я наслаждалась монологами Ливанова! (На месте Евгении Казимировны⁷ я, правда, тратила бы на платье несколько больше мануфактуры, но я ведь этого тогда никому не сказала, да и не подумала в тот радостный день!!) А всех, кто был тогда, я или люблю, или уважаю, или и то и другое вместе. А Вас, Зинаиду Николаевну и Лёню — просто обожаю! — Но от Вас, дорогой Борис Леонидович, я все принимаю. Да благословит Вас Бог. Да не оставит Вас наша Пречистая Заступница. Будьте здоровы, радостны, могучи, светлы, как всегда!

Целую Вас. Привет милым «другим» Пастернакам, если они сейчас у Вас. Привет Стасику и Гале⁸. Никогда на меня не сердитесь!

Ваша М. В. Юдина.

Лучше все же писать: А-8, Новое Шоссе, участок 33, дача 30⁹.

Не забыла ли я у Вас на Пасху белые, как у милионера «Оруд» (рваные), перчатки?! Прошу сохранить, как-нибудь возьму, других не имею.

¹ Дружинин Федор Серафимович (р 1932) — альтист, участник квартета имени Ветховена, постоянный партнер М Юдиной в те годы

² Волконский Андрей Михайлович (р 1933) — композитор, клавесинист. Третируемый официальной критикой и коллегами старшего поколения, он нашел дружескую поддержку у М Юдиной которая исполняла его сочинения. В настоящее время живет во Франции

³ Первая жена композитора С. С. Прокофьева (урожденная Кодина; 1897—1989)

⁴ «Тристан и Изольда» Р Вагнера

⁵ Шервинский Сергей Васильевич (р. 1892) — поэт, переводчик.

⁶ Туда и обратно (нем.).

⁷ Жена Б. Н. Ливанова

⁸ Нейгауз Галина Сергеевна (урожденная Яржемская) — жена С. Г. Нейгауза.

⁹ Адрес Юдиной в районе Соломенной сторожки.

34. М. Юдина — Б. Пастернаку

4.X.59. Москва.

Драгоценнейший и глубокоуважаемый
Борис Леонидович!

Итак, наступила осень, и, вероятно, снова Вы ее воспоете!

Я, конечно, очень за Вами и всеми Вашими (Зинаида Николаевна, Лёничка и другие) соскучилась. Но я еще не «собрала» своих партнеров, альтиста и композитора, и посему пока о своем приезде (т. е. о нашем) не запрашиваю; они оба ужасные канительщики! Конечно, я всегда стремлюсь (по узаконенным Вами воскресным дням!..) к вам, но: «Не попирай чрезмерно порога своего ближнего!..» — Подожду!..

Должна Вам передать поручение Петра Петровича С.¹ из Парижа: обнять Вас! Я ему написала и получила с чрезвычайной быстротой дивный ответ от него; написанное мною,

видимо, пришлось ему по вкусу!.. Но вы никогда мне не говорили, что он женат на дочери покойного Льва Платоновича Карсавина². Это же мой университетский учитель! Он мне сам об этом написал, а я — не зная сего!! — в своем письме упомянула (почему-то! — как знаменательно!) Льва Платоновича и его мученическую судьбу последних лет жизни!³ Подумайте, как все необычайно и горестно и радостно (для меня!..) — эта дивная переписка о музыке и такое невероятное понимание общего дела, сиречь: н о в а я м у з ы к а! Петр Петрович дал мне адреса Булэза, Штокгаузена, Мессиена, Шерхена⁴, пришел мне ноты! Я же могу оказывать внимание сестрам его супруги в Литве!⁵ Все это — счастье, как во сне — и все это — снова и снова — Вы! Вот снова — Вы правы — Поэзия и Добро — одно и то же!

Я одна провожала (кроме официальных лиц, клерков и его сограждан) на заре нашего дорогого Леонардика⁶! Все было кратко, они приехали к самому отлету, и я боялась помешать! Снова — объятия, поцелуи, пожелания счастья. Его последние слова на крыльце аэродрома, с поднятой рукой — были: «Boris!» Лэди что-то лепетала своим дивным птичьим голоском и была нагружена мною последними осенними цветами и старинным... молочником! — Со мной была Катя Кр<ашенинникова>, но я даже не успела ее Б. представить!!

Низко кланяюсь Вам за себя, П. П. С. и Л. Б.⁷ Да хранят Вас Силы Небесные! Целую Вас, Зинаиду Николаевну и Лёничку.

Увы, красивых открыточек сейчас у меня нет! Дорогой Борис Леонидович, еще и еще благодарю Вас за все. Дай Вам Бог здоровья и сил!!

Ваша Юдина.

¹ Сувчинский Петр Петрович (1892—1985) — музыковед, эстетик, пианист, педагог, издатель. Основатель и один из издателей журнала «Музыкальный современник» (1915), альманаха «Мелос» (1917—1918, вместе с В. В. Асафьевым). С 1920 года жил за рубежом, где в 20-е годы был одним из организаторов культурных движений «Софийское братство» и «Евразия». Получил известность как музыкальный философ, написал капитальные исследования о Глинке, Мусоргском, Чайковском, Стравинском, множество статей о русской музыке. Сувчинский посылал Марии Вениаминовне партитуры, ноты и книги, зная ее возродившийся интерес к современной западной музыке, пропагандистом которой был и сам.

² П. Сувчинский был женат на дочери русского философа Льва Платоновича Карсавина (1882—1952) Марианне Львовне (живет в Париже).

³ Л. П. Карсавин, арестованный в Литве в 1950 году, умер в лагере в поселке Абезь Коми АССР.

⁴ Юдина называет крупнейших композиторов современности (Г. Шерхен — дирижер), музыку которых намеревалась исполнять в концертах.

⁵ Сестры М. Л. Сувчинской — Ирина и Сусанна Карсавины.

⁶ Имеется в виду Леонард Бернстайн.

⁷ Петр Петрович Сувчинский и Леонард Бернстайн.

35. Б. Пастернак — М. Юдиной

9 окт<ября> 1959.

Дорогая Мария Вениаминовна, приезжайте к нам, пожалуйста, если не будет перерыва и телеграфного отбоя, в воскресенье 25-го (окт.) к трем часам.

Сверх предположенных Ваших спутников захватите (если хотите), кого пожелаете: Рихтеров или Гилельса¹; Елену Александровну Софроницкую²; это все на Ваше усмотрение.

Вам просил кланяться Б.³ из Базеля.

Все у нас шлют Вам привет.

Ваш Б. Пастернак.

¹ Гилельс Эмиль Григорьевич (1916—1985) — пианист.

² Софроницкая Елена Александровна — пианистка, первая жена пианиста В. В. Софроницкого, дочь А. Н. Скрябина.

³ Леонард Бернстайн.

36. М. Юдина — Б. Л. и З. Н. Пастернакам

22.XII.59.

Дорогой Борис Леонидович, шлю Вам заранее новогодние пожелания! Оставайтесь подобные сей картине¹, и да не покидает Вас и земное изобилие², и всякие отрады³, и внимание к разному мелкому люду, что ниже Вас (и я в том числе), которое, — ну, конечно, — и есть у Вас всегда!⁴ — и да цветет во Славу Божию Ваше творчество. С Но-

вым Годом, желаю Вам здоровья, счастья, сил. И пусть всегда с Вами будут Вера, Надежда, Любовь и Мать их — София-Премудрость.

Ваша Юдина⁵.

22.XII.59.

Милая Татьяна Матвеевна⁶, поздравляю Вас с наступающим Новым Годом, желаю Вам всякой радости и благодарю за всегдашние Ваши заботы о гостях гостеприимного дома Пастернаков!

М. В. Юдина⁷.

22.XII.59.

Дорогая Зинаида Николаевна, хотя Вы и теперь в 100 раз красивее этого портрета и всех прочих дам, посещающих Ваш милый дом,— другой подходящей открытки у меня сейчас нет, и я «зашиваюсь» (как мы все — всегда!) перед очередным концертом 2.1.60, шлю Вам самые лучшие новогодние поздравления и пожелания.

Ваша М. В. Юдина⁸.

¹ Письмо написано на открытках с репродукциями картин различных художников. На первой «Береговой пейзаж с маяком» Яна Брейгеля-Вархатного.

² На открытке «Натюрморт с фруктами и бутылкой» П. Сезанна.

³ На открытке «Игра в трик-трак» С. Бурдона.

⁴ На открытке «Голова крестьянина в черном колпаке» П. Брейгеля-Мужицкого.

⁵ На открытке «Москва Кремль. Успенский собор».

⁶ Татьяна Матвеевна — помощница З. Н. Пастернак в переделкинском доме.

⁷ На открытке «Работа группы китайских художников. Старая сосна, цветы и птицы».

⁸ На открытке «Женский портрет» Якоба Иорданса.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Среди событий, связанных со столетием Бориса Пастернака, особое место занимает решение Нобелевского комитета восстановить историческую правду, признав вынужденным и недействительным отказ Пастернака от Нобелевской премии, и вручить диплом и медаль семье покойного лауреата. Присуждение Пастернаку Нобелевской премии по литературе осенью 1958 года получило скандальную известность. Это окрасило глубоким трагизмом, сократило и отравило горьчю остаток его дней. В течение последующих тридцати лет эта тема оставалась запретной и загадочной.

Разговоры о Нобелевской премии Пастернака начались в первые послевоенные годы. По сведениям, сообщенным нынешним главой Нобелевского комитета Ларсом Гилленстеном, его кандидатура обсуждалась ежегодно начиная с 1946-го по 1950-й, снова появилась в 1957-м, премия была присуждена в 1958-м. Пастернак узнавал об этом косвенно — по усилению нападков отечественной критики. Иногда он вынужден был оправдываться, чтобы отвести прямые угрозы, связанные с европейской известностью: «По сведениям Союза писателей, в некоторых литературных кругах на Западе придают несвойственное значение моей деятельности, по ее скромности и непроизводительности — несообразное...»

Чтобы оправдать пристальное внимание к нему, он сосредоточенно и страстно писал свой роман «Доктор Живаго», свое художественное завещание русской духовной жизни.

Осенью 1954 года Ольга Фрейденберг спрашивала его из Ленинграда: «У нас идет слух, что ты получил Нобелевскую премию. Правда ли это? Иначе — откуда именно такой слух?» «Такие слухи ходят и здесь, — отвечал ей Пастернак. — Я последний, кого они достигают. Я узнаю о них после всех — из третьих рук... Я скорее опасался, как бы эта сплетня не стала правдой, чем этого желал, хотя ведь это присуждение влечет за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями, — но ведь, опять-таки, не в силах был бы я совершить это путешествие обычной заводной куклой, как это водится, а у меня жизнь своих, недописанный роман, и как бы все это обострилось. Вот ведь Вавилонское пленение. По-видимому Бог миловал — эта опасность миновала. Видимо предложена была кандидатура, определенно и широко поддержанная. Об этом писали в бельгийских,

французских и западногерманских газетах. Это видели, читали, так рассказывают. Потом люди слышали по BBC, будто (за что купил — продаю) выдвинули меня, но, зная нравы, запросили согласия представительства, ходатайствовавшего, чтобы меня заменили кандидатурой Шолохова, по отклонении которого комиссия выдвинула Хемингуэя, которому, вероятно, премию и присудят... Но мне радостно было и в предположении попасть в разряд, в котором побывали Гамсун и Бунин, и, хотя бы по недоразумению, оказаться рядом с Хемингуэем».

Роман «Доктор Живаго» был дописан через год. За его французским переводом сочувственно следил Альбер Камю, нобелевский лауреат 1957 года. В своей Шведской лекции он с восхищением говорил о Пастернаке. Нобелевская премия 1958 года была присуждена Пастернаку «за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы». Получив телеграмму от секретаря Нобелевского комитета Андерса Эстерлинга, Пастернак 29 октября 1958 года ответил ему: «Благодарен, рад, горд, смущен». Его поздравляли соседи — Ивановы, Чуковские, приходили телеграммы, осаждали корреспонденты. Зинаида Николаевна обсуждала, какое ей шить платье для поездки в Стокгольм. Казалось, все невзгоды и притеснения с изданием романа, вызовы в ЦК и Союз писателей поэзии, Нобелевская премия — это полная и абсолютная победа и признание, честь, оказанная всей русской литературе.

Но на следующее утро внезапно пришел К. Федин, который мимо возившейся на кухне хозяйки поднялся прямо в кабинет Пастернака. Федин потребовал от Пастернака немедленного, демонстративного отказа от премии, угрожая при этом завтрашной травлей в газетах. Пастернак ответил, что ничто его не заставит отказаться от оказанной ему чести, что он уже ответил Нобелевскому комитету и не может выглядеть в его глазах неблагогарным обманщиком. Он также отказался наотрез пойти с Фединым на его дачу, где сидел и ждал его для объяснений заведующий отделом культуры ЦК Д. А. Поликарпов.

В эти дни мы ежедневно ездили в Переделкино. Отец, не меняя обычного ритма, продолжал работать, он переводил тогда «Марию Стюарт» Словацкого, был светел, не читал газет, говорил, что за честь быть нобелевским лауреатом готов принять любые лишения. В таком именно тоне он написал письмо в президиум Союза писателей, на заседание которого не пошел и где по докладу Г. Маркова был исключен из членов Союза. Мы неоднократно пытались найти это письмо в архиве Союза писателей, но безуспешно, вероятно, оно уничтожено. Отец весело рассказывал о нем, заехав к нам перед возвращением в Переделкино. Оно состояло из двадцати двух пунктов, среди которых запомнилось:

«Я считаю, что можно написать «Доктора Живаго», оставаясь советским человеком, тем более, что он был кончен в период, когда опубликовали роман Дугинцева «Не хлебом единым», что создавало впечатление оттепели. Я передал роман итальянскому коммунистическому издательству и ждал выхода цензурованного издания в Москве. Я согласен был выправить все неприемлемые места. Возможности советского писателя мне представлялись шире, чем они есть. Отдав роман в том виде, как он есть, я рассчитывал, что его коснется гружественная рука критика.

Посылая благодарственную телеграмму в Нобелевский комитет, я не считал, что премия присуждена мне за роман, но за всю совокупность сделанного, как это обозначено в ее формулировке. Я мог так считать, потому что моя кандидатура выдвигалась на премию еще в те времена, когда романа не существовало и никто о нем не знал.

Ничто не заставит меня отказаться от чести, оказанной мне, современному писателю, живущему в России, и, следовательно, советскому. Но деньги Нобелевской премии я готов перевести в Комитет защиты мира.

Я знаю, что под давлением общественности будет поставлен вопрос о моем исключении из Союза писателей. Я не ожидаю от вас справедливости. Вы можете меня расстрелять, выслать, сделать все, что вам угодно. Я вас заранее прощаю. Но не торопитесь. Это не прибавит вам ни счастья, ни славы. И помните, все равно через несколько лет вам придется меня реабилитировать. В вашей практике это не в первый раз».

Гордая и независимая позиция помогала Пастернаку в течение первой недели выдерживать все оскорбления, угрозы и анафематствования печати. Он беспокоился,

нет ли каких-нибудь неприятностей у меня на работе или у Лени в университете. Мы всячески успокаивали его. От Эренбурга я узнавал и рассказывал отцу о том, какая волна поддержки в его защиту всколыхнулась в эти дни в западной прессе.

Но все это перестало его интересовать 29 октября, когда, приехав в Москву и поговорив по телефону с О. Ивинской, он пошел на телеграф и отправил телеграмму в Стокгольм: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться, не примите за оскорбление мой добровольный отказ». Другая телеграмма была послана в ЦК: «Верните Ивинской работу, я отказался от премии».

Приехав вечером в Переделкино, я не узнал отца. Серое, без кровинки лицо, измученные, несчастные глаза, и на все рассказы — одно: «Теперь это все не важно, я отказался от премии».

Но эта жертва уже никому не была нужна. Она ничем не облегчила его положение. Этого не заметили ни на общемосковском собрании писателей, состоявшемся через два дня, об этом никто не упомянул на последовавших за ним страницах разливанного «гнева народа». Московские писатели обращались к правительству с просьбой лишить Пастернака гражданства и выслать за границу. Отец очень болезненно переживал отказ Зинаиды Николаевны, сказавшей, что она не может оставить родину, и Лени, решившего остаться с матерью, и живо обрадовался моему согласию сопровождать его, куда бы его ни выслали. Высылка незамедлительно последовала бы, если бы не телефонный разговор с Хрущевым Джавахарлала Неру, согласившегося возглавить комитет защиты Пастернака. Чтобы спустить все на тормозах, Пастернаку надо было подписать согласованный начальством текст обращений в «Правду» и к Хрущеву. Дело не в том, хороши или плохи текст этих писем и чего в них больше — покаяния или самоутверждения, важно то, что написаны они не Пастернаком и подписаны вынужденно. И это унижение, насилие над его волей было особенно мучительно в сознании того, что оно никому не было нужно.

Прошли годы. Мне теперь без малого столько же, сколько было отцу в 1958 году. В Музее изобразительных искусств, в близком соседстве с которым отец прожил с 1914 по 1938 год, 1 декабря 1989 года открылась выставка «Мир Пастернака». Посол Швеции господин Бернер привез на выставку диплом лауреата Нобелевской премии. Медаль решено было торжественно вручить на приеме, устраивавшемся Шведской академией и Нобелевским комитетом для лауреатов 1989 года. По мнению господина Бернера, мне следовало приехать в Стокгольм и принять эту награду. Я ответил, что совершенно не представляю себе, как это можно устроить. Он получил согласие Нобелевского комитета, посольство и Министерство культуры в несколько дней оформили нужные бумаги, а 7-го мы с женой летели в украшенном рождественскими колокольчиками самолете в Стокгольм.

Нас встретил профессор Ларс Клеберг, известный своими работами по русскому авангарду 20-х годов, и отвез в лучшую гостиницу города «Гранд отель», где в эти дни расположились со своими родственниками и друзьями нобелевские лауреаты 1989 года. После легкого ужина, привезенного в номер, мы легли спать.

Луч утреннего солнца, пробившись сквозь занавеси, разбудил меня, я вскочил и увидел рукав морской лагуны, мосты, пароходы, готовые отчалить на острова архипелага, на котором расположен Стокгольм. На другом берегу холмом круглился остров старого города с королевским дворцом, собором и зданием биржи, где Шведская академия занимает второй этаж, узкими улочками, рождественским базаром, лавочками и ресторанчиками на всякий вкус. Рядом на отдельном острове стояло здание парламента, на другом — ратуша, оперный театр, и над сагом шел в гору новый торговый и деловой город.

Мы провели этот день в обществе профессора Нильса Оке Нильсона, с которым познакомились тридцать лет назад в Переделкине, когда он летом 1959 года приезжал к Пастернаку, и Пера Арне Будина, написавшего книгу о евангельском цикле стихотворений Юрия Живаго. Гуляли, обедали, смотрели великолепное собрание Национального музея. Сотрудники газеты расспрашивали о смысле нашего приезда.

На следующий день, 9 декабря, на торжественном приеме в Шведской академии в присутствии нобелевских лауреатов, послов Швеции и СССР, а также многочисленных гостей неперемный секретарь академии профессор Сторе Аллен передал мне Нобелевскую медаль Бориса Пастернака. Он прочел обе телеграммы, посланные

отцом 23 и 29 октября 1958 года, и сказал, что Шведская академия признала отказ Пастернака от премии вынужденным и по прошествии тридцати одного года вручает его медаль сыну, сожалея о том, что лауреата нет уже в живых. Он сказал, что это исторический момент.

Ответное слово было предоставлено мне. Я выразил благодарность Шведской академии и Нобелевскому комитету за их решение и сказал, что принимаю почетную часть награды с чувством трагической радости. Для Бориса Пастернака Нобелевская премия, которая должна была освободить его от положения одинокого и гонимого человека, стала причиной новых страданий, окрасивших горечью последние полтора года его жизни. То, что он был вынужден отказаться от премии и подписать предложенные ему обращения в правительство, было открытым насилием, тяжесть которого он ощущал до конца своих дней. Он был бессребреником и безразличен к деньгам, главным для него была та честь, которой теперь он удостоен посмертно. Хочется верить, что те благодетельные изменения, которые происходят сейчас в мире, и сделали возможным сегодняшнее событие, действительно приведут человечество к тому мирному и свободному существованию, на которое так надеялся мой отец и для которого он работал. Я передаю очень приблизительно содержание своих слов, поскольку не готовил текст и слишком волновался, чтобы теперь точно его воспроизвести.

Торжественные церемонии 10 декабря, посвященные вручению премий 1989 года, бессознательно связались в моем восприятии с Шекспиром и его Гамлетом. Мне казалось, я понял, для чего была нужна Шекспиру скандинавская обстановка этой драмы. Чередование коротких торжественных слов и оркестра, пушечные салюты и гимны, старинные костюмы, фраки и платья декольте. Официальная часть проходила в филармонии, банкет на тысячи участников и бал — в ратуше. Тоска по средневековой чувствовалась в самой архитектуре ратуши, в окружавших зал галереях, но живое веяние народного духа и многовековой традиции звучало в студенческих песнях, трубах и шествиях ряженных, которые по галереям спускались в зал, обносили нас кушаньями и сопровождали выход короля и королевы, нобелевских лауреатов и почетных гостей.

Но среди этого пиришества глаза и слуха щемящей и за гушу хватающей нотой было появление на площадке широкой лестницы Мстислава Ростроповича. Свое выступление он предварил словами: «Ваши величества, достопочтенные нобелевские лауреаты, дамы и господа! На этом великолепном празднике мне хочется напомнить вам о великом русском поэте Борисе Пастернаке, который при жизни был лишен права получить присужденную ему награду и воспользоваться счастьем и честью быть лауреатом Нобелевской премии. Позвольте мне как его соотечественнику и посланнику русской музыки сыграть вам Сарабанду из сюиты Баха d-моль для виолончели соло».

Трагическим голосом Гамлетова монолога на Клавиевом пире пела виолончель, в бездонной музыке Баха звучала тоскующая боль гефсиманской ноты:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

После банкета Ростропович и Галина Вишневская провели нас в гостиную, где король с королевой принимали почетных гостей. Мы были представлены им и обменялись несколькими грушевыми словами. На следующее утро мы вылетели в Москву.

ЕВГЕНИЙ ПАСТЕРНАК.

20 декабря 1989.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. КОНДРАТОВИЧ

*

ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Из «Новомирского дневника»

В истории журнала «Новый мир» февраль 1970 года приобрел особое значение. Какое именно? Об этом нашему читателю с достаточной полнотой расскажут дневниковые записи ближайшего сотрудника А. Т. Твардовского, его заместителя Алексея Ивановича Кондратовича, ныне покойного.

30/ХП — 68 г. Более мрачного года, чем 68-й, я не знаю. Был 37-й, но он был скрыт от многих. Был 52-й, но 53-й унес Сталина, и забрезжила надежда. 68-й — крах последних иллюзий и надежд.

Но надо жить и делать дело, пока это можно и, как часто мы говорим, пока не стыдно.

Нам пока не стыдно. И не приведи господь, чтобы перейти эту черту стыда, тогда уже можно пуститься во все тяжкие и быстро растерять все доброе, что сделали.

Будем жить. Постараемся сделать все, что можно. Хотя живем уже в бескислородной атмосфере. Впору надевать противогазы. Отовсюду тянет смердящим духом истлевшего Сталина. И дух этот пытаются представить как благовоние. Но чудеса не бывает. И уже не сделаешь того, что унесено временем и этим же временем раскрыто, «распчато», как сказал о нашем веке в одном из последних стихотворений А. Т.: «Весь настужь будет для внучат...»

5/І — 69 г. Я часто повторяю в дневнике одно и то же, например о цензуре, о выходе журнала и пр. Это надо записывать, потому что только тогда при чтении дневника можно будет представить нашу повседневную жизнь со всей ее бессмысленной тяготинной, в которой мы меньше всего повинны и которая есть черта нашего времени.

Когда мы читаем сейчас «Дневники» Достоевского, его переписку с Чернышевским, Добролюбовым, скажем, по поводу польского восстания, в свое время взбудоражившего умы и точно определившего, кто где стоит, то нам скучна всякая детализация. Мы ищем в этом материале общие мысли и соображения, которые можно было бы применить и сейчас. А всякая детальность давно отгремела и умерла. Но именно она-то и волновала современников польского восстания и рождала те общие мысли, за которые мы сейчас цепляемся среди скучного чтения исторической конкретики. Точно так же, наверно, будут судить и нас. А нас, меня в частности, да и многих других людей больше всего волнует живая нынешняя история. Что для будущих читателей тот факт, что Смирковского по нашему настоянию не хотят переизбрать председателем Национального собрания Чехословакии? Мелочь. Возможно, и фамилия его ничего им не скажет. А у меня из-за этого бессонница, и я теряю бодрость духа, словно это происходит с нами, с «Н. м.». А ведь и действительно это происходит и с нами. Все теперь так тесно сплелось.

6/І — 69 г. № 11 печатается всюю. Не уже январь!

Заходил сегодня В. С. Емельянов¹. Обещал завтра принести свой отзыв о романе Азольского². Он читал роман всю ночь, не мог оторваться, сказал, что прочитал дважды

¹ Металлург, член-корреспондент АН СССР, Герой Социалистического Труда.

² Роман А. Азольского «Степан Сергееч» опубликован в «Новом мире» в 1987 году, № 7—9.

ды... Читала и жена Емельянова — не могла оторваться от страниц. Вижу, взволнован. «Все правда?» — спрашиваю. «Все, — отвечает. — Но, знаете, как это можно печатать?» «Ну почему же правду и не печатать?» — «А я вот скажу вам другое». И начал говорить о каком-то американском профессоре, который сказал ему однажды: «Читаешь вашу литературу, газеты и думаешь, может быть, ваши люди из других молекул и атомов состоят». А теперь, если вы напечатаете Азольского, этот профессор воскликнет: «Да нет, они из тех же атомов и молекул, у них все, как и у нас, и бардак такой же».

Спрашиваю Емельянова: «Ну а как все-таки нам быть?» (Мы-то рассчитывали на его помощь. Наивные мы люди.) Он как кошка отскакивает от горячей плиты: «Не знаю!..» — и в то же время стесняется сказать: не печатайте. Развел мне антимионию о своей даче, о поле возле нее, на котором он собирает маргаритки. И слышу от него: «Но ведь кроме маргариток там растет и репейник, и полынь. И вот я вам скажу, репейника в романе Азольского больше, а маргариток совсем нет».

Вот и высказался, хотя начал с того, что все правда и он даже знает описанного автором директора завода и пр.

Правда — это репейник? А почему же нет?

И как все перепутано в человеке. Сразу же после этого начал говорить такое, что волосы дыбом...

— Выходим мы как-то с одного ответственного заседания, на котором было принято постановление. Очень важное. Но совсем не реальное, в особенности один пункт его. Я спрашиваю одного из заместителей пред. Совмина: «Как же так?» А он мне спокойно отвечает: «Голубчик, в том-то и особенность нашей системы, что мы принимаем невыполнимые решения, которые никто не выполнит да и выполнять не будет. И знаем это, принимая решения...»

— Довольно ответственный руководитель Министерства высшего образования мой ученик. И вот однажды на заседании ВАКа он до чего договорился. Конечно, говорил не с трибуны, а доверительно, мне: «Студенты совсем распустились. Надо бы для остротки арестовать несколько человек...»

7/1 — 69 г. Я рассказал А. Т.³ о вчерашнем разговоре с Емельяновым. Он спросил лишь: «Он считает, что там все правда? Правда? Тогда и будем печатать».

Но сегодня утром прибежал снова В. С. и оставил рецензию на Азольского — чудовищную по беспорядочности и претензии на «литературность». Конечно, начиналось с описания поляны с маргаритками. И в конце после перепечатанного — приписка от руки, видимо, убоявшись, что его не так поймут, добавил о том, что роман «не отражает и искажает». В общем, как хотите, я остаюсь в стороне. Зря ему послали на чтение. Еще разболтает. Но может быть, и побоится болтать — говорить о своей причастности.

Я сказал об этом А. Т. Он ответил: «Ну что вы от него хотите. Он жил и выжил в ту эпоху». Но поскольку уже по испуганной реакции Емельянова дело с романом серьезное, мы решили набрать роман и разослать его всем членам редколлегии с испрошением их мнения. Если не пришлют, ничего: молчание — знак согласия.

А. Т.: «Послать всем, включая Федина. А потом ставить. Нам уже ничего не опасно».

А. Т. рассказал, со слов Симонова, что недавно в Ленинграде выступал Демичев⁴. И ему в ряду других были заданы два вопроса: «Что вы думаете делать с Солженицыным?» Ответ: «Мы с ним боремся, противодействуем его влиянию». Вопрос: «Собираетесь ли вы что-то делать с «Новым миром»?» (Разгонять — подразумевалось.) «Это дело сложное, — ответил Демичев. — Во-первых, в редколлегии этого журнала входит выдающийся писатель, первый секретарь Союза писателей Федин Во-вторых, у этого журнала есть одна особенность: они умеют находить новые таланты». «И в третьих, — добавил, смеясь, А. Т., — я понял так, что пусть они выявят нам несколько талантов, а то еще маловато, и тогда-то мы их и прикроем».

А. Т.: — Власть нет или она есть? У меня впечатление, что ее нет. Ничего никто не решает — какая странная особенность нашего времени.

³ Александр Трифонович Твардовский.

⁴ Демичев П. Н. — секретарь ЦК КПСС по идеологии. (Все должности и звания лиц, упоминаемых в тексте, соответствуют времени.)

Я возразил: — Почему же, иногда и решают, но как, скажем, решили с Чехословакией, уж лучше бы не решали.

А. Т. засмеялся, махнул рукой:

— Да! Но ведь после этого опять ничего не решают...

А. Т.: — Интересная ситуация. Они всячески хотели бы восстановить во всем его величии Сталина. И не могут. И самый главный противник их Солженицын, с которым они тоже ничего не могут сделать. Казалось бы, такая громадная власть, все в их руках — и какой-то штатский, писатель Солженицын. Но, оказывается, он — сила и мощь. 14/1 — 69 г. Мы вроде смертника. Нам терять нечего. И в этом наше великое преимущество: мы можем разговаривать так, как мы думаем. Это удивляет, обескураживает начальство и заставляет их побаиваться нас. Стань мы немножко другими, начни подлаживаться — и нас тут же растопчут. А нас боятся растоптать, хотя очень хотят и скорее всего когда-нибудь сметут. Но тоже со страхом и опаской: даже самый глупый из них чувствует за нами силу правды, силу будущего, которая неотвратимо на них напозавет, даже когда мы отступаем.

(Этот пафос может показаться наивным и чрезмерным. На расстоянии и я его так воспринимаю. Но в той обстановке, очевидно, такое самочувствие, самовосхваление, пафос избранничества, особенности (кстати, во всем этом что-то было и этого «что-то» было не так уж мало) позволяли нам терпеть магтную суету с Главлитом, ЦК, со всеми нападками и отбrehиваниями. Другое дело, если бы я и сейчас не ощущал некоего словесного «перебора» в таком пафосе. Но тогдашнему моему состоянию он точно соответствовал. Он позволял дальше жить.)⁵

15/1 — 69 г. Сегодня появился главный редактор венгерского журнала «Кортарш» Иштван Шимон. Депутат и т. п. Очень милый, простой, с крестьянским лицом. Крупные глаза чуть навькате, большой нос, все несоразмерное, лишенное какой-то тонкости, «интеллигентности».

Заходил Можаяев. Накануне я ему сказал, что очерк его бесповоротно снят⁶, и посоветовал сразу же, не откладывая, написать письмо в ЦК, Демичеву. Конечно, оно попадет не к нему, а к исполнителям, но пусть работают. Письмо надо «закрыть», как они говорят (тоже, если подумать, хорош термин!). Вот сегодня Можаяев и принес письмо. Написано плохо. «По-писательски», — возразил он. «Какой черт по-писательски, не серьезно, а бумага должна быть краткой и серьезной». Ушел. Не знаю, пошлет ли.

Все это было во время приема. А. Т. напомнил Шимону разговор с нынешним министром культуры (А. Т. был там весной прошлого года проездом из Италии). В Венгрии при вступлении в колхоз землю оставляют крестьянам (выдается расписка, если выйдешь — то получишь землю обратно). Формальность, конечно. Спросили Шимона: был ли хоть один случай? Нет, конечно. Тут-то А. Т. и рассказал, как Иштван Доби, бывший председатель Народного собрания, спросил одну из старух, не вступавших в колхоз: «Почему ты не вступаешь, ведь земля-то останется за тобой?». И та ответила: «Вот я тебе отрежу член и выдам расписку, что если захочешь, то получишь его обратно. Так и с землей. И не уговаривай меня». Посмеялся. Слова эти так понравились А. Т., что он их потом снова повторял. Оказалось, что в деревне самого Шимона есть еще два единоличника. Шимон же, когда его выбрали депутатом, получил от своего отца письмо, в котором тот спрашивал: «А не вернут ли мне теперь виноградники, сынка?». Снова посмеялись, и беседа пошла уже иным ходом: почувствовалось, что можно друг с другом разговаривать...

17/1 — 69 г. Впечатление кризиса с журналом (не первого, но разве привыкнешь к обморочным состояниям?) — у всех.

20/1 — 69 г. Приехал А. Т.... Я вызвался: «Ну, давайте еще позвоню в отдел культуры» (ЦК). Позвонил. Разговаривали сравнительно спокойно, но снова стали внушать, почему нельзя печатать Николая Воронова⁷. Три тезиса: 1) предельная заземленность романа, вещь лишена какой-либо поэтизации, пафоса тех лет и потому может быть воспринята как очернительская; 2) неверно показана Великая Отечественная война. Одни заботы о хлебе, аресты, нет трудового подвига и пр.; 3) всюду чувствуется, что обстоятельства сильнее людей, люди подавлены обстоятельствами.

Я пробовал возражать, но встречал глухую стену. Непробываемую, тем более что в их руках власть.

⁵ Над комментариями к «Дневнику» (они набраны другим шрифтом и заключены в скобки) А. И. Кондратович работал с 1971 по 1975 год.

⁶ Очерк «Лесная дорога» был напечатан («Новый мир», 1969, № 9).

⁷ Повесть «Юность в Железнодорожье» («Новый мир», 1968, № 11—12).

Здесь, в истории с повестью Воронова, начало последнего этапа нашей жизни в журнале, начало конца старого «Нового мира».

23/1 — 69 г. ...Думаю о последствиях решения о цензуре. Конечно, чистая видимость ограничения цензуры. И хаоса будет еще больше. Прибавилась еще одна инстанция контроля. Раньше: Главлит, ЦК. Теперь: Главлит, ЦК, Союз писателей...

(Это был странный и непонятный зигзаг в нашей цензурной политике. Кому-то показалось (и не без оснований), что предложив редакциям и издательствам самоцензуроваться да еще поставив над ними дополнительный контроль в виде союзов, можно будет упразднить цензуру. И дело совсем не в том, что еще существовали мы, от этого решения только бы ожившие Сама цензура не хотела себя отменять. Да и вряд ли кто-нибудь из руководства представлял, что без цензуры, как аппарата, можно жить. А если оставлять аппарат, то что ему делать как не цензуровать?)

На «Новом мире» сразу же выяснилось, что Союз не сила и не гарантия безопасности. Гарантия единственно от плотного, на то поставленного аппарата Цензуры.

И вскоре же все встало на старые места. А сколько было обнадеживающих слухов: цензуру отменяют!..)

И лицемерие. Кто-то из них сказал: «Поберегите Твардовского. Нельзя же так жить, как вы живете». Лакшин разозлился и сказал: «Что значит беречь Твардовского? Неужели вы думаете, что мы что-либо делаем без его ведома и что не он определяет линию журнала?» Это то, что Галанов⁸ внушал мне множество раз: «Поосторожнее. Вы знаете, что на вас пишут туда...» И показывал на верхний этаж, где сидят секретари ЦК.

24/1 — 69 г. А. Т. уже внесли в список запрещенных. Он говорил сегодня: «В любой цивилизованной стране, если бы мы не дали окончания романа, с нас бы по суду подписчики потребовали обратный деньги. А я полтора года не выпускаю свой пятый том (собрания сочинений) и вообще не знаю, когда он выйдет и выйдет ли вообще. Так ведь за пятый том подписчик уже заплатил, он должен получить его бесплатно или потребовать — верните мои 90 копеек! Но вот вам, вернут...»

27/1 — 69 г. Мы умеем быстро отходить. Я это почувствовал по себе: настроение вполне бодрое. И А. Т. пришел веселый, готовый к бою.

Начали говорить о делах. У Миши (Хитрова) возникла наивная идея, — как-то вовлечь в наши дела члена редколлегии Федина. Он и высказал ее А. Т. Тот засмеялся: «Так у него же дух да петух, как говорят в народе. Дух, какой же там дух, да и петух такой, что уже не потянешь за него. Надежды на него не возлагайте. Правда, он заигрывал со мной после моего письма⁹ — и не раз, говорил даже как-то, что если меня снимут или я уйду, то и он ни за что не останется в редколлегии, сочтет невозможным оставаться, но ведь и этому верить трудно. Весь он немощен, какие на него надежды...»

29/1 — 69 г. Заходил Расул. Помолодевший Острил. Мы спросили его, как со второй книгой «Мой Дагестан». «Не знаю, как писать. Планировал кончить в прошлом году. А теперь не знаю. Невозможно писать».

Разговор перекидывался с одного на другое. Расул: «Как я напишу вам вторую книгу? У меня эпитафия из Шамиля: „Маленькие народы должны иметь большие кинжалы“».

Эк куда хватил!

30/1 — 69 г. ...А за границей уже снова пошли слухи. Ц. Кин перевела отрывок из «Униты», где пишется, что «Н. м.», журнал Твардовского, снова запаздывает с выходом, что, по всей видимости, объясняется новыми притеснениями, и т. п.

А. Т. смеется: — Видите, как пишут: «Журнал Твардовского». Не ваш журнал, а Твардовского. А вы у меня работники.

Настроение у него превосходное. Много читает. Мы ему подсовываем верстки, хотя чтение, как это часто бывает, оканчивается неблагоприятными результатами. Прочитав верстку Евтушенко, он решительно запротестовал: «Стихи плохие, написаны, как всегда у Евтушенко, неряшливо, не по-русски, можно оставить два-три стихотворения, но давать такую подборку невозможно». Мы долго спорили с ним, договорились, что обсудим стихи на редколлегии, и он с большой неохотой согласился на обсуждение.

4/II — 69 г. А. Т. прочитал рукопись Симонова о Г. Жукове (записи бесед с ним и пр.): «Это так хорошо и интересно. Конечно, Симонову не скажешь: зачем он пишет свои скучные романы, ему надо писать такое, он же может стать советским Моруа».

⁸ Галанов А. М. — инструктор отдела культуры ЦК КПСС.

⁹ Имеется в виду письмо Твардовского Федину (январь 1968 года) по поводу публикации «Ракового корпуса» А. Солженицына в «Новом мире».

Потом стал рассказывать отдельные эпизоды из рукописи, сказав вначале: «Понятно, что такие военачальники, как Жуков, пожалуй, всерьез думают, что серьезное в истории — это войны, а между войнами так, вынужденная пустота, и ничего важнее войн нет. Может, так прямо они и не думают, во всяком случае не скажут, но все равно у них главная деятельность — это война, а между войнами они только готовятся к войне. Это страшная особенность их профессии...».

11/II — 69 г. «Мы люди гетто», — сказал однажды я, и А. Т. грустно покачал головой: «Да, конечно, во всяком случае мы — вредное инородное тело...»

13/II — 69 г. Дороша подправили¹⁰. Там, где дело касалось хозяйственных расчетов Ивана Федосеевича, Дорош легко уступил, а в вопросах, связанных с религией, очень упрямылся, и мы потом смеялись с А. Т.: «Надо его все-таки крестить».

На итальянском съезде партии выступал с приветствием от Чехословацкой компартии Эрган. При упоминании имени Дубчека весь зал встал и устроил овацию.

А. Т.: — Меня это даже взволновало. Эта овация — серьезный факт, с которым нашим волей-неволей придется считаться. Ведь эта овация — выражение множества компартий. И ведь нашему Борису (Пономареву)¹¹ пришлось встать. А как иначе? И хотя мы все ищем ходы и подкопы под Дубчека — стоял наш Борис вместе со всеми.

14/II — 69 г. А. Т. положили вчера вечером в Кунцевскую больницу. Конечно, перелом, да, оказывается, еще и кость уже сместилась. А он уверял меня, что разрыв связок (сначала говорил: растяжение), а перелома никакого нет: «Вот видите, как я твердо ступаю».

Вчера же А. Т. предложил на всякий случай сокращение в последнем своем стихотворении¹² — снять два четверостишия после строк: «Поди сошлись на свой Главлит». Но я сказал, что центр тяжести стиха лежит не в этих двух четверостишиях, а скорее в других: «Равно важны в цепи все звенья» и далее. Вот что опасно? А. Т. и с этим согласился. А. Т.: «Но ведь если вообще снимут — надо снимать весь цикл. На этом стихотворении держится весь цикл. Все остальное я подскребал из записных книжек. А это главное». Конечно, главное. Но все же цикл остается и будет интересным, хотя хуже, это ясно. Пытались ему втолковать. Так и не понял, согласился ли он.

17/II — 69 г. Был в цензуре. Итоги малоутешительные. Начали с рецензии о сказках крымских татар. Г. К.¹³ утверждает, что никакого указа о реабилитации крымских татар нет, я говорю — есть, и опубликован. Созвонились с Хитровым. Тот дал номер Ведомостей Верховного Совета, принесли их. Г. К. начала читать. В Указе сказано, что в годы войны определенная группа татар сотрудничала с гитлеровцами, но ошибочно было бы переносить обвинение на весь народ и т. п. Г. К.: «Вот тут все-таки сказано, что сотрудничали». Другого, главного, видеть не хочет. Договорились, что она согласует все-таки рецензию с агитпропом. Дело безнадежное, рецензия горит, не может же быть, чтобы агитпроп сказал: «О крымских татарах? Непременно печатайте».

Снято, как и ожидалось, последнее стихотворение А. Т. Формулировка весьма странная (вначале Г. К. вообще не хотела объяснять, почему снимают, заставил): «Выходит, что у нас нет свободы творчества». «Свой Главлит», не дают «немую боль в слова облечь» и т. п. Популярно разъясняю им, что это о совсем другом, о том, что мы умалчиваем ошибки прошлого и т. п. Невинно: «Какие ошибки?» «Да хоть бы 37-й год». И ехидно: «И коллективизацию?»... «Может быть, и коллективизацию. Автор пишет вообще о том, что не нужно умалчивать, потому что это и бесполезно, люди с памятью. Да и вредно». Но тут их ничем не стронешь: «Не подписываем». «Снимаете, значит?» — «Не подписываем». — «Что за эвфемизмы, не подписываем, это и значит — снимаем». — «Ну, как хотите понимайте, жалуйтесь в ЦК».

О «Размышлениях у трона» Н. Матвеевой: «Мы вам нарочно скажем глупое объяснение, а вы уж как хотите, так и понимайте нас: получается по стихотворению, что у нас много монархистов, мечтающих о возвращении царя на трон». «Г. К., — сказал я, — помилуйте. Ведь это же ни в какие ворота не лезет. Какие у нас монархисты? Где? Не делайте вид, что это стихотворение о троне и царе. Это философское стихотворение об идолах, о рабах, поклоняющихся этим идолам. Если угодно, о культе, именно о нем, от Нерона до наших дней, о том, что в наших жилах еще течет рабья кровь и ее надо выжимать, как говорил Чехов, из себя по капле».

¹⁰ «Иван Федосеевич уходит на пенсию. Деревенский дневник» («Новый мир», 1969, № 1—2).

¹¹ Пономарев В. Н. — секретарь ЦК КПСС.

¹² Последнее стихотворение цикла — «Напрасно думают, что память...».

¹³ Семенова Г. К. — заведующая отделом Главлита.

Опять диалог глухого со слепым: «Обращайтесь в ЦК».

Пошли по рецензии Борнычевой «Ленин и статистика». Множество замечаний...

Перешли к Дорошу, и тут началось. Главу о религии они вообще предлагают снять, уйма замечаний по тексту, касающихся положения колхозников. Я говорю: где же вы были раньше, вот моя подпись и дата 10 января, а сегодня 17 февраля, что вы морочили нам голову, говоря о двух поправках? Ну, что они могут сказать, если получили указания (Дорош потом сказал: «Статью о нем в «Сельской жизни» давали по указанию Степакова¹⁴, когда он еще был в агитпропе РСФСР). Я сказал, что главу о религии мы не снимаем, исправления сделаем — не больше. «Не лучше ли будет,— сказала Г. К.,— если мы передадим очерк в сельхозотдел ЦК и там его просто зарежут». (Угроза.) «А это соответствует,— говорю я,— последнему решению ЦК об ответственности редакторов и ведомств или постановление здесь ни при чем? Передавайте в Союз писателей». «Ну, в Союзе Дороша пропустят без единой поправки». — «Ах так, почему же вы не подписываете?» Да-а, решение ЦК нисколько не облегчило, а усложнило жизнь. При этом Г. К. сказала, что есть еще закрытый 4-й параграф, по которому всякие ссылки на Главлит будут наказываться в административном порядке.

(Думаю, что и стихотворение А. Т., а затем и поэма «По праву памяти», выросшая из этого стихотворения, сняли последние иллюзии относительно А. Т. у партийного руководства. Тогда-то и возникла в их умах мысль окончательно разделаться с «Н. м.» и, конечно, с А. Т. Если до этого им внушали и они внушали мысль, что А. Т. ни при чем, это все его окружение делает такой журнал, то теперь-то ясно было, каких взглядов придерживается сам А. Т.

Удивительно, как они этого не поняли еще при появлении «Теркина на том свете». Все-таки и у них нюх не болно развитый...)

18/II — 69 г. Володя (Лакшин) припомнил А. Т. известный стих Минаева о цензуре:

Здесь над статьями совершают
Вдвойне убийственный обряд.
Как православных, их крестят
И, как евреев, обрезают.

Смеялись.

21/II — 69 г. Сегодня пятый день масленицы. У нас в буфете организовали блины с водочкой — по рюмке, две Я с удовольствием выпил рюмочку и рассказал нашим женщинам несколько историй. Они говорят: «Запиши, ведь забудешь». Забыть — не забуду, но записать надо.

Василий Иванович Снастин был одно время первым заместителем секретаря ЦК Ильичева. Рослый, седой, красивый. Должно быть, женщины умирали, увидев его. Говорил: социализм, империализм. Поскольку так же произносил эти слова и Хрущев, я одно время думал, что он подражает ему, но Хрущева сняли, а он продолжал говорить по-прежнему. Мне он однажды сказал: «Ты вот думаешь, что мы покупаем в Америке хлеб потому, что мы бедны? Наоборот: это признак нашей силы. Значит, золота у нас много...»

Снастин же говорил мне: «Я ведь сам откуда? Из простых крестьян. Вот вы напечатали «Матренин двор». Я тебе скажу: все там правда! У меня тетка живет как раз во Владимирской области. Точно так, как Матрена. Но зачем об этом писать, ну скажи мне, зачем?» (И смотрит на меня с сожалением: как я не понимаю?) Он же: «У меня сын, ему семнадцать лет, он говорит, что сейчас в его возрасте нет ни одной девушки... А все почему? Из-за Эренбурга и Бондарева». Я возражаю: «Ну, Бондарев еще туда-сюда, у него в «Тишине» — любовь, раздеваются, но старый Эренбург-то при чем: совсем и не касается этих тем». Он: «Ну, не скажи — тоже развращает У меня сын все время спрашивает: «Папа, а когда выйдет новый номер «Нового мира»? Вон уже куда дело пошло!» Я: «А чего же вы плохо воспитываете своего сына, даете ему в руки наш журнал?» Он: «А что я могу поделаться, не дам — так достанет в другом месте. Вот вы и виноваты».

Я разозлился: «Из вашего окна виден дом с красным флагом. В этом доме воспитывают 18 миллионов комсомольцев. Товарищ Павлов воспитывает. Что же он их не может воспитать и противодействовать какому-то жалкому «Н. м.»?» Василий Иванович посмотрел на меня серьезно и строго: «Ты этот дом не трогай 18 миллионов... А ты знаешь силу печатного слова? Вот я тебе скажу, что Ленин говорил: «Печать — это самое сильное оружие...» А ты — Павлов».

24/III — 69 г. Мы привезли А. Т. сигнал № 12. «Все еще выходит. Вот уже и двенадцатый выпустили. Странно все это как-то», — в который раз сказал А. Т. Журнал начал рас-

¹⁴ Степаков В. И. — заведующий отделом пропаганды ЦК КПСС.

смастривать с интересом и проскользнувшей нежностью: дело наше ему дорого. Володя ответил на это: «Иногда кажется, что мы уже давно не существуем, а оказывается, живы и выпускаем еще книжки, и журнал живет».

А. Т.: — Это верно. Я тут даже написал стишки, и там есть строка, начинается е этого: «Порой мне кажется, что я и не живу, что мертв я...» Но вот выпускаем журнал. Странно... А ведь должны нас снять. Давно должны. Снять главного, разогнать редколлегию.

...Перешли к делам. А. Т. очень понравились письма Цветаевой: «Меня это так растрогало, что я вначале даже подумал, не написать ли мне небольшое послесловие. Но потом подумал: Цветаева и так хороша, она и без моих объяснений все скажет читателю. И допустим, номер у нас будет слабый, серенький, но если поставить туда эти письма — значит, номер уже получился. Как хорошо она отвечает Вильдраку, рассуждающему об устарелости рифмы. У них уже рифма не принята, считается атавистическим признаком. Меня перевели в Италии свободным стихом — это ужас, позор, а не стихи. И она отвечает, что рифма — не прихоть, не баловство, не условие игры (хотя я-то понимаю, что у какого-нибудь Антокольского или Кирсанова это даже не условие, а игра), ею пользуется народ, дети, она в основе нашего стихотворчества».

А. Т.: — Я иногда думаю, что такое для нашей поэзии ритм, рифма. Не в младенческом ли периоде развития поэзии мы находимся и не дотянули еще до верлибра, или это что-то другое? А может, это признак духовного здоровья народа, наших больших возможностей, которые мы не используем или используем в духе Кирсанова: гусь ли, Русь ли, засерусь ли... Это очень серьезный вопрос.

Мы заметили, что в романских языках рифма делает стих однотонным из-за постоянства ударения.

А. Т.: — Это верно. Но и мы могли бы писать белым стихом. Нет, тут все глубже.

Письма Цветаевой его так взволновали, что он достал в больничной библиотеке ее томик прозы.

Перешли к Исаковскому. А. Т. сильно поправил вторую часть воспоминаний. «Он же не видит, где интересное лежит. Начинает книгу так, что читать не хочется. «Я родился в деревне Глотовке, в бедной семье» и т. п. А из второй части я узнаю, что между Глотовкой и соседней деревней был спор: у кого больше самоваров — самовар был признаком зажиточности. И оказалось, что одинаково, по одному самовару на деревню. Поп и дьякон, у которых были в соседней деревне самовары, — не считались. Вот бы с этого и начать. А он пишет: «Была нелепый спор». А чего ж нелепого в этом споре? Напротив, очень интересный спор, из которого ясно, как бедно жили люди».

А. Т. — Я его вообще правлю. Он заучил в детстве, что в фразе обязательно должно быть подлежащее и сказуемое, и так до сих пор и пишет. Оттого монотонно, вяловато, и я кое-что сокращаю.

Перешли к рукописи Бека «Такова должность» — эпизод из гражданской войны.

А. Т.: — Бек ведь какой человек — хитрец и вместе с тем человек простодушный. В нем это странным образом уживается. И что же он мне тут хитрит: «На этом рукопись обрывается». Мол, потеряна. Так это старый приемчик из романов: «Дальше в свитке, выгашенном из бутылки, ничего нельзя узнать о судьбе капитана Кука...» Это наивная хитрость Бека. И она легко обнаруживается в самом начале, где он обещает передать нечто со слов Дыбеца о разговорах последнего с Лениным. А он же ничего не говорит кроме тоже наивной чепухи, как Дыбец спрятал «Государство и революцию» в переплет из какой-то бухгалтерской книги. Также наивная в духе Бека конспирация, о которой я тысячу раз читал... Словом, надо потребовать у Бека — пусть покажет свои дальнейшие записи. А то ведь Бек хочет перехитрить, не дает конца. А из-за чего? Да потому что Дыбец и его товарищи были потом расстреляны. Мысль возникает простая: сами расстреливали — теперь и получили по своей же методе.

— Конечно, — сказали мы. — В этом вся суть рукописи. Весь интерес.

А. Т.: — А вообще у Бека есть хорошие страницы. Он человек талантливый. История с кожей очень хороша...

А. Т.: — Нужно подумать и о командных приемах Дыбенко. Пробка на переправе, он подлетает на коне — и хлоп командира полка, а затем: «Где заместитель командира? Принимай командование!» Бек лобует этой сценой, а ведь сцена ужасная. Не разобравшись, что за командир — может, он очень хороший, — хлоп его. Какая уж тут романтика! Бек все оправдывает обстоятельствами, мол, обстоятельства требовали. Это ложь, которой мы питаем себя и оправдываем все свои гнусные поступки.

25/II—69 г. У меня сильно болит глаз: лопнул сосудик, и глаз весь кровавый. А. Т. вчера пошутил: «Только не подумайте, что я говорю о вас. Шолохов рассказывал как-то, что у одного из его знакомых казаков вытек от пьянства глаз. Врачи предупредили его, чтобы ни в коем случае не пил — вытечет и второй. И вот он идет как-то в праздник, Шолохов подозвал его к себе, ничего не зная, налил ему стакан водки, он взял его и сказал: «Прощай, глаз» — и выпил».

Наш автор М. Чудакова работает в каком-то архивном издании. Им запретили употреблять слова «царская цензура» и т. п. Она уверена, что это указание. Не думаю, чтобы настолько обидели. Наверно, все-таки местная инициатива. Во всяком случае проверим, поставив снятую рецензию о борьбе большевиков с царской цензурой.

Прислал письмо академик Жирмунский. Пишет, что у него в руках более ста неопубликованных стихотворений А. Ахматовой. Весь вопрос в том, что это за стихи. Возможно, многие из них опубликованы за границей. Но очень может быть, что много и таких стихотворений, которые прятались глубоко в стол, — что тоже не ко времени. Но надо смотреть, и быстро. Жирмунский предлагает печатать порциями и хочет, чтобы публикации появились только в нашем журнале. А. Т. за то, чтобы отобрать большую представительную подборку. Одну, не дробить.

В Чехословакии еще один девятнадцатилетний юноша облил себя бензином и убежал горящий на Вацлавскую площадь. Его начали гасить... И в это время наши глушители тоже стали гасить звуки, и ничего я уже не понял.

27/II — 69 г. Ничего нового. Звонил А. Т. Он весь в работе, жаловался, что в «казенных стенах» все не так, как дома, то одной записной книжки не хватает, то другой.

Был Солженицын. Написал какое-то письмо А. Т. Жаловался, что его почту все время перехватывают. Ничего удивительного. Так оно и должно быть.

28/II — 69 г. Воронков¹⁵ позвонил А. Т. и сказал, что он советовался относительно утверждения Лакшина, он сам — за, но сейчас уже в «Юности», «Дружбе народов» просматривают редколлегия после постановления ЦК, и он советует в № 1 Лакшина как зама пока не обозначать. Крутит...

Очевидно, что-то такое предпринимается или делается, поскольку в постановлении есть пункт об укреплении редколлегия. А уж нашу-то нужно бы полностью «укрепить». Но если нам собираются дать «комиссара», то будет, конечно, снова кризис, как два года назад. А может, весь расчет теперь и строится на том, чтобы вынудить А. Т. уйти. Тогда это в планы не входило, и я помню, как А. Т. минут 20 пререкался с Сусловым, отказываясь работать, когда без его ведома и согласия убирают работников (Дементьева¹⁶ и Закса¹⁷), и тот угрожал партийной дисциплиной, которая обяжет А. Т. остаться на посту.

Теперь времена изменились, и возможно, расчет строится на обострение, которое понудит А. Т. подать в отставку, о которой так давно и так много людей мечтают. Нам нужно это учитывать и стоит поговорить с А. Т. на этот счет. И надо бы иметь с в о ю кандидатуру на должность зама. Может быть, пойдет Симонов? А. Т. давно говорил, что он не против. Но против Симонова тоже найдутся люди. Снова подумают, а то где-нибудь и скажут: эта компания только укрепляет свои ряды.

А. Т. что-то пишет. Даже не читает рукописи.

Мне сегодня 49. Вышел на финишную прямую — к 50-летию. И в первый раз почувствовал (раньше, даже в прошлом году, этого не было), это очень немало — 49...

4/III — 69 г. ...Коснулись статьи Марка Разумного в «Известиях» (о книге Гачева). В статье есть удивительный пассаж. «Не будем играть в прятки, — пишет Разумный, — слова «братья и сестры», «друзья мои...» и т. п. были произнесены партией и правительством». Удивительно: не будем играть в прятки, а сам прячется. Ведь Сталин это говорил, а не партия и правительство!

А. Т.: — ...Удивительно другое. В этой статье Разумного приводятся пусть неуклюже сказанные, но верные слова о том, что государственная власть всегда в чем-то расходится с литературой и литература должна с ней расходиться. Это абсолютно верно. Литература — это народное самосознание, оно не может полностью накладываться на государственную власть. Полной унии между ними не может быть. И у нас ее нет.

¹⁵ Воронков К В — секретарь правления Союза писателей по оргвопросам.

¹⁶ До декабря 1966 года — первый заместитель главного редактора.

¹⁷ До декабря 1966 года — ответственный секретарь редакции «Нового мира».

Говорили о будущих Ленинских премиях. Что будут выдвигать? Непонятно.

А. Т.:— И вообще я, знаете, что думал: с помощью Ленина хотят восстановить сейчас Сталина. Под знаком столетия Ленина пытаются вновь оживить Сталина. А будет все равно, как бы заподлицо. Вот в чем дело.

Уезжали.

А. Т.:— А лица у вас что-то, я гляжу, нерадостные. Спокойствие на лицах есть, серьезность есть, а вот только радости не вижу...— смеялся А. Т.

— Да какая уж тут радость!— отвечали мы.

10/III—69 г. В субботу (8-го) был просмотр пьесы Можаяева в Театре на Таганке. На этот раз удосужилась смотреть Фурцева. После просмотра она определила: «Антисоветская постановка». Так Кузькин еще раз потерпел жизненную аварию.

Ездили к А. Т. в Пахру. Он выписался из больницы в пятницу, но еще придется ходить в гипсе недели три. А. Т. мечтает (есть у них в Пахре какой-то умелец) сделать себе что-то вроде деревянного ботинка и ходить. Но лучше бы уж не делал.

11/III—69 г. Г. К. сообщила, что по Дорошу и Лацису¹⁸ будут замечания, но что почти на 100 процентов не пройдет рецензия на книгу «Большевистская партия в борьбе с царской цензурой». Дескать, существует негласное указание поменьше писать о цензуре. Это смешно: они хотят уберечь от критики и царскую цензуру.

12/III—69 г. Вчера позвонили С. Х.¹⁹ из бухгалтерии и сказали, что они слышали, что А. Т. болен и потому не будут выписывать ему зарплаты. С. Х. заявила, что он болен, но все время работает, и вообще он имеет право не являться на работу каждый день.

Вот уже как пошло. Кто-то донес, кто-то хочет выслужиться. Это первый случай за всю работу А. Т. в «Н. м.». Симптом.

13/III—69 г. Я рассказал А. Т., что у нас едва ли пройдет рецензия на книгу «Большевистская партия в борьбе с царской цензурой». А. Т.: «Только подумать, до чего мы дожили, уже надо спасать царскую цензуру. Не дай бог, если подумают, что наша цензура похожа на ту».

Но наша хуже, жестче. Это-то ясно. Вот снова начинается вольнка. Галина уходит завтра в отпуск, явно ничего не хочет решать. Эмилия²⁰ бессильна. Романов²¹ болен. Все стоит. А между тем на следующей неделе нас бы взяли на машину.

14/III—69 г. Почти все подписали. Гремит статья Лациса, очевидно, будут посылать в ЦК. Я говорю Эм.: «Но ведь Лацис основывается только на партийно-правительственных документах. И ничего нет больше. Статья— в известном смысле большая обзорная рецензия на пятитомник документов». Но что она может возразить? Документы-то осмысливаются. Рецензию о большевистской партии и цензуре Романов снял. Не стесняясь, сказал, что есть аналогии.

24/III—69 г. В 10 часов утра за мною срочно приехала машина: такого еще не бывало. В редакции уже были Хитров и Лакшин. Лакшин, в последнее время очень обеспокоенный и даже расстроенный, сказал, что звонил А. Т. и просил срочно к нему подъехать. В чем дело? Лакшин сказал, что в понедельник у А. Т. был Воронков и там шел разговор о редколлегии.

Поехали. У А. Т. уже был Дементьев. Мария Илларионовна²² встретила нас весело:— Ну вот как хорошо, даже снятые члены редколлегии приехали.

А. Т. рассказал, что был Воронков и поставил вопрос о редколлегии. «О вас,— он показал на Лакшина.— Запом утверждать вас не хотят и вообще не хотят, чтобы вы были и в редколлегии. Потому что от вас вся скверна...»

Я улыбнулся.

— Подождите радоваться,— сказал А. Т.— И о вас шла речь. Вас тоже предлагают изъять. И вот только о Хитрове речь не шла.

А. Т. сообщил, что он написал письмо в секретариат ССП, и зачитал его. В начале письма рассуждение об ответственности главного редактора, так, как он ее понимает, и о невозможности работать с редколлекцией, которую он не знает. Поэтому он отвергает предлагаемые ему кандидатуры — «просто потому, что я их плохо знаю».

¹⁸ О. Лацис, «Опыт полувека. Размышления над документами» (о пятитомнике «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам». Сборник документов за 50 лет).

¹⁹ Минц С. Х.— секретарь редколлегии.

²⁰ Проскурнина Э. А.— старший редактор Главлита.

²¹ Романов П. К.— начальник Главлита.

²² Жена А. Т. Твардовского.

Далее он предлагает утвердить вторым замом Лакшина и членами редколлегии Симонова, Дементьева и Ермакова. На Ермакова он тут же составил биографическую справку. Относительно Айтматова и Гамзатова он просит секретариат самому запросить этих писателей — где они хотят работать. (А. Т.: «Я не хочу их заранее обрабатывать».) В письме нет никаких просьб об уходе...

(Это был первый приступ к разгону. Разогнали фактически через год. Но план уже тогда разрабатывался и оформлялся. Удивительно еще, как медленно и неповоротливо, тугодумно, словно без особой охоты, все это делалось.

Возникает вопрос, а что было бы, если бы А. Т. согласился на предложенный ими вариант. К Симонов не так давно говорил мне, что на месте меня и Лакшина он ушел бы из редколлегии чтобы спасти журнал и А. Т. Вариант такой допустим, но я сильно сомневаюсь, получилось бы из этого что-либо путное...)

К Мише пришел Лацис и рассказал престранную историю. Его вызвали в партбюро «Известий», и секретарь сообщил, что его вызывали в ЦК, где показали большую бумагу, смысл которой сводится к тому, что статья Лациса чернит весь наш полувековой путь и т. п. Мол, после Ленина в хозяйственной политике были одни ошибки. И потому партбюро рекомендует временно снять статью из «Н. м.».

Что значит сие? Если статья ошибочная, очернительская, то почему снять временно? Почему нас не вызывают и ни о чем не предупреждают?

5/IV — 69 г. В «Сов. России» статья о Югославии. Упоминается газета «Борба», публиковавшая «В круге первом». Автор, конечно, не читал романа, называет его «Первый круг», но пишет как само собой разумеющееся: «Пасквиль, справедливо осужденный советскими литературными кругами». Какими? Это неважно. Это уже пущено в ход. Так входят в сознание миллионов штампы, имеющие своим происхождением ничто.

Был вчера Можаяев Говорил, что уже целую неделю на верхах происходит свалка с переменным успехом то одной, то другой стороны... Отсутствие единодушия прикрывается шитом единодушия советского народа.

7/IV — 69 г. Ездили к А. Т. Он в нормальном, хорошем состоянии.

Я рассказал о том, что говорил Можаяев о драчке в верхах.

А. Т.: — Это вполне возможно. Они клянутся марксизмом-ленинизмом, но ведь никто из них давным-давно не читал ни Маркса, ни Ленина. Учение — уже оболочка, одежда, которую они надевают, не видя в нем никакого содержания, точно так же и на международном фоне. Есть там один книгочей, тот еще что-то помнит, — Суслов, но он трус немислимый.

А. Т.: — Дементьев, вы знаете, какой он чтец, как он внимательно читает строки и между строк. Так вот, и он говорит мне: «Я все время ищу, где бы Брежнев сказал свою мысль, свое слово, — и нет, никак не могу найти». А это при способностях Дементьева найти даже малую мысль и вывить ее на свет.

А. Т.: — Вот почему они так боятся литературы. Ведь это последняя и единственная щелочка, через которую еще веет мысль. А попробуй ее расширь. Это крайне опасно. Поэтому и писательским выборам они придают такое значение. Поэтому ни у кого нет, а у писателей есть парторг. Как раньше бывало на особенно ответственных стройках и заводах.

Недавно в Московской писательской организации проходили выборы. Когда выяснилось, что 7 человек «летят», — притащили урну с 80 чистыми бюллетенями и сказали, что объезжали больных писателей. А у больного Дороша не были.

9/IV — 69 г. Лациса снимают. Причем странно. Г. К. сначала Мише, а потом мне сказала: «Но мы же вам объясняли, почему не подписываем». «Ничего и никогда не объясняли. Вы только передали в ЦК». — «Нет, мы туда не передавали». Чего они финтят?

11/IV — 69 г. А. Т.: — Мы живем в мире тайн и загадок. Мы ничего не знаем, что происходит и что с нами будет.

Мотивировки снятия Лациса нелепые. Выходит, что Ленин менял политику, а в год 100-летия со дня его рождения об этом не стоит говорить. «Получается, что экономическая реформа выводит нас из тупиков, а реформа лишь небольшое изменение в хозяйственной политике». И в ответ снова «Жалуйтесь в ЦК». А кому там жаловаться? 13/IV — 69 г. А. Т.: — Я прочитал Симонову свои главы²³, и он очень хорошо подсказал подключить к ним и первый отрывок, уже напечатанный, тем более что у меня написано «Посвящение», как бы обнимающее весь цикл. Симонов умеет придумывать такие штуки. И я видел, что слушал он растроганно. И сказал даже: «Ну, еще можно жить».

²³ Поэмы «По праву памяти».

...У Закса он после нескольких рюмок начал читать весь цикл. Я не слышал до этого «Посвящения». И теперь, слушая весь цикл, почувствовал, что это действительно почти отдельное от поэмы. Симонов сказал А. Т., когда тот высказался о наборе вещи: «Смотри, как бы не подвести ребят». И на вечере у Закса А. Т. нас спрашивал об этом, но тут уж семь бед — один ответ.

24/IV—69 г. Вчера сдали в набор поэму А. Т. и сегодня ждем весточку. У Закса мы договорились, что снимем очерк Тарасенкова и поставим в № 4. Доживем ли до пятого? Конечно, не нужно показывать цензуре, что мы что-то снимаем и ставим А. Т. на это место. Они сразу заподозрят неладное. Надо, чтобы с версткой ознакомились другие члены редколлегии. Без них печатать невозможно. Они всегда могут сказать: «Это они сдали в набор без нас».

28/IV—69 г. А. Т.:— Не люблю слово «творчество» (сказал, когда Дементьев предложил название: «Творчество Сергея Залыгина»). Плохое слово... Предполагается, что творится, создается головным образом, без участия главного — жизни.

Говорили о новом сельхозуставе. А. Т. усмехнулся: «А вы заметили в нем что-либо новое?» Дорош ответил: «Нет». Дорош рассказал, что на днях приезжал его Иван Федосеевич из Ярославля за колбасой и селедкой: нет там. Даже за луком очередь.

А. Т.:— Квашеную капусту М. И. покупала за 1 р. 50. Ничего, дожили. А я помню, как за 20 коп. можно было купить полпуда хлеба. Не понимают и не поймут руководители, что всего-то надо — дать колхозам самостоятельность. Чтобы артель действительно была артелью.

Дорош:— Иван Федосеевич ведь из тех, кто железной рукой проводил коллективизацию. А ведь и он как-то сказал: единственный путь — разделить снова землю.

А. Т.:— Ну, этого уже теперь не сделаешь. А вот дать землю колхозу и пусть он ею распоряжается как хочет — вот это спасет. И пусть один колхоз будет богатый, а другой бедный — так ему и надо: пусть думают и работают. А то ведь колхозы у нас только по названию артели, а в сущности — государственные хозяйства. И отказываться от этого мы не в силах, не можем. Теперь будут принимать устав — филькину грамоту, будут произносить фальшивые речи. А все — бумага. Помню, как давали акты на вечное пользование землей, а потом спокойненько и безвозмездно отбирали ее. А земля должна быть в распоряжении колхоза, его собственностью. Э-э, да что там говорить...

Дорош рассказал о недавнем совещании в «Правде». Хорошо там выступил Можаяев. Сказал о том, что «Правда» не может писать правду. «Мы ездим и видим, что положение плохое, а напиши это в «Правду» — не дадут». Тут же вскочил Зимянин и начал говорить о том, что положение обязывает не говорить обо всем, и так фельетоны правдинские используются за границей.

А. Т.:— Калужские плотники у нас считались самыми ленивыми. Поэтому ходила на Смоленщине такая присказка: нанимают калужского плотника, и он ставит условия, чтобы шей с капустой было вдоволь, чтобы каши с маслом тоже, а лезть на высоту не больше трех аршин. Наши чиновники из таких.

29/IV—69 г. Вчера заходил Евтушенко. И даже растрогал меня. Посмотрел сигнальный номер со своими стихами: «Давно уже не видел сразу столько своих стихотворений». «Придираются?» — спросил я. «Да, очень. К каждому стихотворению»...

Днем пришла какая-то орава людей. Оказалось, художники. А. Т. вырвался от них распаренный:

— Хоть бы кто-нибудь зашел, помог. Нет мочи. Принесли рисунки к «За далью — даль». Зачем? Я не просил их. Я не хочу, чтобы иллюстрировали. Иллюстрации мешают, отвлекают от текста. Но, видно, надо заработать художникам, и я это понимаю. Ну, пусть. Но какие рисунки принесли? Сплошной модерн. Я смотрел и ничего не понимаю. Какие-то круги. Что это? — спрашиваю. Оказывается, это за далью — даль. Или, помните, строчки о детстве, о книжке и карандаше. Так нарисован какой-то серафим с книжкой в руке. Это я, что ли, в детстве? Не могу понять. На другом рисунке — квадратные фигуры, одна к другой. Оказывается, это так они понимают народ. Россию. Нет, братцы, говорю, не могу. И жалко ребят, потратили время на работу, но зачем? Хоть спросили бы. Я отобрал два рисунка так, для приличия. А больше не могу... Или они решили заковать поэму в рамку. Все страницы дают в рамке. Но зачем это? Поэма ясная, прозрачная, народная — а тут бог знает что! Еле спасся от них. В прошлый раз было тоже так. Дал на обложке «А. Т.» — ну, это как экслибрис, это даже ничего. А рисунки не мог принять. Зачем иллюстрировать лирические стихи?

30/IV— 69 г. Обещали разослать московским подписчикам № 3. Но сломалась машина. Все ломается, когда дело доходит до нашего журнала. А может, и врут.

6/V — 69 г. Приходил бывший инструктор райкома Назаров. Он только что стал зам. директора Исторического музея. Человек он неплохой и в свое время давал нам читать свою повесть. Перед уходом он побывал на партийных собраниях в «Правде» и в «Октябре». Теперь он стал «свободен» и потому был вполне откровенен. Дивился тому, что говорили в «Октябре». А говорили там просто и ясно: было пустое десятилетие («хрущевское», бывшее «великое»), а теперь, мол, пошло все вернее. Первенцев до собрания прямо бухнул Назаров: «Прежде чем вводить танки в Чехословакию, надо было ввести их в „Н. м.“». Прелестно!

14/V— 69 г. Приехал Дементьев. Он видел сегодня утром А. Т. Прекрасно. Машина вызвана. Значит, он в Москве. Два часа. Три. Нет никаких звонков. А вчера А. Т. сказал, что сразу же после разговора с Воронковым позвонит нам и расскажет, в чем дело. В четвертом часу я сам позвонил. Подошла М. И. Спросил, беседуют ли. Да. Но что-то в голосе ее мне не понравилось. Только я собрался класть трубку, как она сказала, что Воронков уходит и чтобы я подождал. Вскоре подошел А. Т. и попросил нас приехать. Быстро поехали. Приезжаем. М. И. расстроена. Глядя на меня, А. Т. говорит, что Воронков предложил ему подавать заявление.

Но почему?

А. Т., или не желая говорить, или все еще сам не представляя важности события, не отвечает и говорит, что Воронкову это поручили, что он сам расстроен и ему трудно было выполнять это поручение. «Ты пожалей его, пожалей!»— взорвалась Мария Илларионовна. И действительно, в самом деле, пожалеть его не хватает.

А. Т. клонит куда-то совсем не туда. Говорит, что читал Воронкову свою поэму и тот чуть не прослезился. («Он ведь тоже сын попа или с попами водился»,— смеется дурным смехом.)

М. И.:— Поверил ему и растрогался. Обрадовался, нашел слушателя и раскис.

А. Т. только слабо машет рукой.

— От чьего имени передавал он предложение?— спрашиваем его.

А. Т.:— Он говорит, что от отдела, но согласован с Петром Ниловичем.

— Но почему, какие мотивировки?

А. Т.:— Ведь он говорит, что и там, наверху, говорят, что это единственный советский журнал с мировой славой.

— Но если журнал так хорош,— спрашиваем мы,— зачем же вам уходить?

А. Т.:— Ну, ладно, ребята, я поеду сейчас на дачу...

Приехали в редакцию. Все спрашивают. Приходится врать, делать веселые лица. Мол, предложили подумать о новом составе кабинета, но, в общем, ничего особенного. 15/V— 69 г. А работать уже не хочется. Уже не читается. Читаю по инерции. Но уже что-то надоемилось. Ясно, что конец. Надо только встретить его достойно. Только об этом и речь и все мысли. Об этом мы говорили сегодня с Дементьевым. Он-то все знает. Сегодня он целый час ходил и разговаривал с А. Т. Настроение? Нормальное. Пока он не собирается подавать заявления, хочет подумать. Но нам Дементьев сказал: «Ребята, собирайте вещи. Дело ваше пропавшее».

У нас составилась некий план действий, который мы изложили Дементьеву. Надо требовать встречи в ЦК, а до этого не подавать никаких заявлений. Во-вторых, надо требовать обсуждения журнала в Союзе. Это элементарное демократическое требование. Пусть обсуждают и там уже решают. В-третьих, остается возможность еще раз написать Брежневу. Коротко сказать, что, мол, мне предложено покинуть пост главного редактора, а поскольку речь идет не столько обо мне, сколько о судьбе журнала и всей советской литературы, еще раз прошу вас принять меня. Не ответит так не ответит. Но испытать этот вариант надо, хотя, понятно, это самый неприятный для А. Т. вариант. Но нужно пройти все, чтобы чувствовать, что долг исполнен до конца.

Дементьев вначале спорил с нами. Потом стал прислушиваться и соглашаться. Нет, крестный путь надо пройти до конца.

24/V — 69 г. Вчера нас попросила приехать М. И. Значит, что-то тревожное.

Приехали. Сели. Молчание. С чего начинать? Кто-то начал, и покатился шумный спор. У Дементьева и других создалось впечатление, что в последнем разговоре А. Т. дал какое-то обещание Воронкову. Уж очень плохо была его первая фраза: «Ну, конечно, насильно мил не будешь». Эта фраза наводит на мысль о капитуляции, и мы об

этом ему сказали. «Да нет, ничего я Воронкову не сказал, намекающего на добровольный уход. Я сказал только, конечно, насильно мил не будешь, но дайте мне отдохнуть, я подумаю, может быть, с кем-нибудь встречусь или кто-нибудь меня примет...»

Слова, конечно, тоже не те. Но А. Т. стал нас уверять, как чиновники боятся этого «кто-нибудь примет». Это верно. И все-таки слабо. Дементьев начал говорить о том, как Некрасов спасал «Современник» и все ему простили, даже оду Муравьеву-вешателю. А. Т. слабо улыбнулся: «Ну это... не так...» И вдруг взорвался: «А ты почему собираешься уходить из института?» Дементьев: «Саша, не равный журнал с институтом. Если я уйду, ничего с этим паршивым учреждением не случится. Как оно было болотом, так и останется. А если ты уйдешь, погибнет единственный в своем роде журнал, с которым связаны идейно сотни тысяч читателей». На это не возразишь. И А. Т. только сказал: «Но я очень устал, я уже не могу... Поверьте, друзья, не могу». Дементьев: «Надо. До конца надо, хотя мы понимаем, как тебе трудно. Надо нести крест до конца...» А. Т. снова стал взрываться: «А что я могу?! Написать Брежневу? Писал два раза. Суслов три раза меня не принял, Демичев сказал, что позвонит сам о приеме, я ждал, как дурак, четырнадцать дней и не дождался. Так к кому мне обращаться?»

26/V—69 г. С утра надо было решить главное: посылать или не посылать поэму в Главлит. Дементьев звонил Лакшину и говорил, что «жмет на А. Т.: не посылать». Тот упирается. Дементьев обещал снова позвонить — уже в редакцию...

27/V—69 г. Вчера по французскому радио передавали, что, по непроверенным данным, А. Т. и три человека из «Юности» смещены. Говорят, что Евтушенко, Аксенов и Розов сняты из «Юности» без предупреждения. Хотя стоило бы из вежливости пригласить. Но стиль нашего времени таков, что все стараются делать трусливо, исподтишка, так, чтобы не было шума.

28/V—69 г. Вчера уже все станции передавали о снятии А. Т., по радио сообщения и газеты вышли с соответствующей информацией. Но, может быть, это и добрый знак. Осталось недалеко до Совещания компартий. Какие-нибудь итальянцы непременно спросят у того же Брежнева об этом. А что тот ответит? Но Дементьев смотрит на это скептически и даже предполагает, что эта информация «подослана» нами. Пусть знают заранее. Дементьев сказал также то, что я не знал. Оказывается, Воронков на первой встрече заявил А. Т.: «А. Т., подавайте, иначе будет беда». Пугал скорее всего, намекая на партийные выговоры и пр.

Все всё знают. Приходят и сочувствуют, а иногда и любопытствуют. Авторов почти нет, за исключением таких, что ничего не знают и не ведают.

Приходил Баграт Шинкуба. Приятный. Сразу же располагающий к себе человек. Сказал мне, что хотел бы предложить А. Т. поехать недельки на две в Абхазию.

5/VI—69 г. Сегодня А. Т. появился в хорошем настроении. Но часа в три ко мне прибежала перепуганная С. Х.: «А. Т. уже подал заявление?» То есть как, не предупредив нас? Я пошел к нему, там уже сидели Лакшин и Сац, Миша. А. Т. доказывал им, что сопротивляться бесполезно. «Все согласовано. Воронков не будет говорить, ссылаясь на Петра Нилыча. Он — чиновник, и он знает, что такие ссылки нельзя делать. А Демичев тоже трусит и тоже согласовал. Что в таком случае делать? Идти против силы? Переломают руки и ноги, но свое дело сделают. Сделали же они с Дубчеком то, что хотели сделать. Почему же со мной не сделать? Меня уже фактически снимали по частям (потом он это не раз повторял), я чувствую, что настал предел. Дальше оставаться нельзя, да я и не останусь, если меня оставят: журнал мы все равно не сможем делать. Это ясно. То, что происходит сейчас,— всерьез и надолго (потом он это тоже повторял в качестве аргумента). Проснитесь, друзья (тоже повторял), оглянитесь: это всерьез и надолго. Недавно я где-то прочитал, что вот такие правительства, не имеющие позитивной программы, не имеющие вообще программы, самые долговечные. И я это сознаю и со спокойной совестью уйду».

И тут мы начали спорить. «Что вы можете предложить?» — запальчиво спросил А. Т. «Вести себя пассивно, не спешить», — сказал Дементьев. А. Т.: «Как будто это поможет. Все уже решено. Они все могут. Они рассыпали набор пятого тома. А когда я написал им письмо, они даже не ответили. Так чего же вы хотите, чтобы руки и ноги переломали? Так переломают, но сделают то же самое. Вот и все. Вы думаете, они со мной считаются? Давно не считаются. Они ни с кем не считаются». «Но всего боятся», — сказал кто-то. А. Т.: «А бог знает, боятся ли. Они просто не знают, что делают».

Потом А. Т. стал советовать, как нам поступить: «Не делайте шума, вас, конечно, выщелкают по одному, но по крайней мере трудоустроят. А если будет шум, так вы никакой работы не найдете. (Обращаясь ко мне.) Вот вы, А. И., вы что же, будете жить на зарплату жены? А вы ведь будете с черным билетом, по крайней мере год-другой. Они умеют мстить. Мой совет вам — уходите. Тихо, по одному...»

Но речь в данном случае шла не о нас, а о нем. И Дементьев вновь начал говорить, что он спешит. А. Т. покраснел, начал взрываться, пошел крик.

А. Т.:— У меня есть собственное достоинство, и если мне говорят: «Пойди вон!» (снова повторяя), то я не буду говорить: «Простите меня, я буду хорошим, другим, но только оставьте». Нет, в таких случаях уходят. Да если бы я даже умолил их, толку бы от этого никакого не было, жизни бы не было никакой. Ее и так уже давно нет. Разве я собирался уходить раньше, хоть знал, что моего ухода ждут с нетерпением? Но я еще чувствовал, что как-то можно жить. Теперь я чувствую, что жить уже нельзя. Цикл завершился. (Это тоже повторяя.) Насильно мил не будешь. Я уже не говорю о том, что я просто устал. Я уже написал проект письма и в понедельник покажу его вам. Оно достаточно ясно говорит о том, почему я уйду.

И он сказал нам по памяти текст письма, довольно бледного. Мы ему тотчас же об этом сказали. Он обиделся.

Спор шел жаркий, ожесточенный. А. Т. несколько раз срывался на крик. Потом, дозволившись до М. И., сказал: «Ну, вы как хотите, товарищи, а я пошел».

И вышел один.

6/VI — 69 г. Принесли три письма. Принесли, а не прислали по почте. Скорее! Почта — долго. Почта задержит. В письмах обращение к А. Т.: просят, умоляют остаться в редакции. Самые пышные слова: «Ваша жизнь — подвиг», «„Н. м.“ — единственный журнал в стране» и т. п. Но это сейчас не производит впечатления чрезмерности. Может, так оно и есть, особенно в эти трагические дни.

Сегодня все мы, члены редколлегии, подписали заявление в секретариат СП. Содержание простое: «В связи с тем, что главный редактор журнала А. Т. Твардовский освобожден от своей должности, просим нас также освободить от работы в журнале». Конечно, это нам грозит неприятностями, но, может, хоть это подействует на А. Т. В то же время оставаться без него в журнале так или иначе бессмысленно.

А. Т. весел или скрывает, что невесел. Принес нам балычок домашнего копчения — подарок из Гурьева. Во время завтрака и начался разговор.

...Володя сказал, что никто в редакции, никто из авторов не поддерживает А. Т. Я напомнил о Солженищине: он против. Тот прямо сказал, что А. Т. ни в коем случае не надо подавать заявления. Мы, сказал Солженищину, живем в век, когда самую большую силу имеют бумажки. Подписывать их никто не хочет. Если они хотят снять А. Т., пусть кто-то возьмет на себя смелость подписать такую бумагу. Но идти им навстречу просто глупо. «Ну а что вы предлагаете, — в раздражении и уже смятении закричал А. Т., — чтобы я снова обращался к Брежневу? Не буду!»

А. Т.:— Они избрали самый подлый путь. Я разгадал их хитрость. Они хотят, чтобы я перешел на платную работу в секретариат и слился с ними. Но «Н. м.» — это одна литература, а секретариат представляет совсем другую литературу, и они хотят, чтобы я ее тоже представлял. Вот в чем подлость.

Спросили А. Т. о поэме. Согласен ли он ставить ее в шестой номер и послать в цензуру? Он с готовностью и твердо сказал: «Да, посылайте».

9/VI — 69 г. Очень важный день. Собрались к часу. Все. А. Т. веселый, довольный, словно у него с плеч гора упала. Начали редколлегию.

А. Т.:— Я позвонил сегодня Воронкову и сказал ему, что я не останусь, если даже меня оставят (это он зря говорит!), но кочу, чтобы мой уход был обставлен с минимумом демократических приличий.

Мы: — А что Воронков?

А. Т.:— Он слабо отвечал: «Да, да...» Я ему сказал, чтобы он доложил обо всем этом наверх... «Да», — сказал он слабо. Потом я сказал, я не мог не сказать, что уезжаю на Кавказ, чтобы он не подумал, что я убегаю куда-то и скрываюсь. Если я понадобится, то меня всегда можно вызвать через Шинкубу. Он спросил, на сколько дней я уезжаю. Я ответил, что недели на две.

Звонок освободил А. Т. от всех его последних переживаний. Все чисто, честно. Стали обсуждать вопрос о публикации поэмы. А. Т. предупредил, что он не намерен вмешиваться в это обсуждение, он понимает всю важность вопроса и хотел бы

предварить обсуждение следующим заявлением. Он отлично понимает, что на нас навесят за то, что мы проголосуем за публикацию. (А. Т.: «...Я даже знаю, какие в таких случаях говорятся слова».) Дело очень серьезное, и он нисколько не обидится, если редколлегия решит отложить поэму, тем более что вероятность ее публикации незначительна. Поэтому он просит редколлегию все серьезно взвесить...

...Когда мы проголосовали «за» и решили тотчас же, сегодня посылать ее в цензуру, он растрогался: «Спасибо, товарищи...» Я видел, что это растроганность настоящая, и стало как-то самому хорошо.

Эта редколлегия — недолгая — может определить в судьбе каждого долгие годы. Нам ее не простят, если дело дойдет до разгрома. А может пойти.

А потом был долгий веселый треп, как разрядка после напряжения.

А. Т.: — Я вчера ездил к Вале²⁴ и был поражен. Я когда-то посадил топольки. На станции валялись обрезанные сучья. Я ходил туда в забегаловку, уж не скажу зачем, сами можете догадаться. И еще, можно догадаться. И еще, попросил у продавщицы нож, чтобы обрезать эти сучья. Взял охапку и принес. И вот теперь смотрю — знаю, что тополь быстро растет, но все-таки не представлял — настоящие взрослые деревья вот такой толщины. Не меньше четверти метра в диаметре. И березки я, помню, сажал, весной пошел в лес, вырыл совсем прутьики, даже материнскую землю стряхнул. И тоже взрослые деревья, и уже невозможно представить те прутьики. Наверно, вот по этим приметам, по тому, как при нас вырастают нами же посаженные деревья и становятся настоящими деревьями, и можно легко представить, как уходит время и как мы стареем. У Вали прекрасный яблоневый сад. Интересно, что, когда я жил, не было ни одного яблока. Я уже думал, что яблони вообще не будут плодоносить. Как только уехал, то в следующее лето был небывалый урожай. И теперь все время много яблок (Мы легко смеялись. А. Т. тоже смеялся.)

11/VI — 69 г. Эм. наконец-то высказалась. Поэму читал уже Романов. Как говорит Эм., на него поэма произвела огромное впечатление, так что он даже разволновался. Неужели? И этого пробрало? Но завтра же сообразит и отошлет поэму куда нужно.

Дни глухие. Пятый печатается, а четвертый погряз где-то в типографии в Чехове, и что с ним, никто толком сказать не может.

24/VI — 69 г. Звонил А. Т., настроение у него превосходное. Я сказал: «Оставайтесь еще». Он: «Нет, пора приезжать». Собирается прилететь числа 30-го.

30/VI — 69 г. Сегодня в 2 ч. прилетел А. Т. Но не звонил. Видимо, будет завтра.

1/VII — 69 г. А. Т. бодр, загорел. «Загорел не потому, что специально загорал. Не понимаю этого — лежать, чтобы загореть. Просто было солнце, много купался». Очень много рассказывал об абхазских нравах, которые не перестают его удивлять. «Это даже не Америка, это просто другая планета...»

Где-то к концу дня в разговоре дошли до журнала. А. Т. сейчас все еще на юге, и журнал его не очень-то интересует. Но номера получил.

А. Т.: — Я посмотрел номера и даже удивился. Вроде живем мы хуже не может быть, а номера получились интересные и читать есть что. Прекрасен Искандер. Его в Абхазии за «Козлотура» не любят. А человек он очень талантливый. Абрамов хорош по-своему — за него, правда, нам влетит. И всем нравится статья Дементьева. Я уже в Пахре слышал от многих похвалы. Есть рецензии толковые. В общем, живем.

Рукописи мы не стали ему давать. Пусть еще поживет на юге. Тем более что особенно и нечего давать. Он спросил, что печатаем дальше. Узнал, что роман Владимова²⁵ покачал головой: «Смотрите». Но мы и сами знаем, что за Владимова нам легче легкого можно выдать. Еще подпишут ли?

2/VII — 69 г. Ответа от Главлита пока никакого. Но по всему чувствуется, что поэма А. Т. загремит. Поэтому мы решили для страховки сдать в набор стихи Айбека (неожиданно хорошие) и стихи поэтов Африки.

А. Т. снова что-то переделывает в своей поэме, хотя ясно, что практического смысла нет никакого. Но у него манера доделывать несмотря ни на что. Порой эта манера кажется маниакальной. Он уверен, что рано или поздно напечатают.

7/VIII — 69 г. Сегодня партсобрание в Союзе, посвященное итогам Совещания компартий. А. Т. в отличной форме и сказал нам, чтобы мы тоже явились: «Надо показать, что мы живы». Перед собранием мы решили позвонить Романову относительно поэмы

²⁴ Старшая дочь А. Твардовского.

²⁵ Г. Владимов, «Три минуты молчания». Роман. («Новый мир», 1969, № 7—9)

Зашли с А. Т. для этого к Воронкову на вертушку. Первый раз я не дозволился: Романов где-то в ЦК. Может быть, о поэме и пошел разговаривать.

А. Т. не выбрали в президиум, хотя раньше выбирали чуть ли не всегда, и это было замечено. А. Т. на это, по-видимому, не обратил внимания. Даже и лучше. Докладывал Гришин... Было неинтересно.

В перерыве мы пошли снова звонить Романову. На этот раз я дозволился сразу и спросил его, как обстоят дела с поэмой. «Мы ее подписывать не будем». — «Почему?» Смешок: «Неужели вы не понимаете?» «Не понимаю». — «Товарищ Кондратович, я знаю, что вы умный человек, но неужели вы не понимаете...» Не хочет давать мотивировки — и все. А какую он может дать мотивировку? Что поэма против Сталина, против культа личности? (До этого сам А. Т. дал свой вариант отклонения: «Поэма, проникнутая кулацкими мотивами, подвергающая сомнению ликвидацию кулачества как класса», но до этого ни Главлит, ни ЦК не додумались, их остановило другое — Сталин.) Я нажимаю: «Ну, может быть, я и неумен, я хотел бы знать мотивировку». И снова уже раздраженное, но не очень, еще ласковое (вертушка!): «Ну, вы же понимаете...» «Ваше решение окончательное?» — «Да». На этом мы и расстались. «Не подписывают!» — сказал я А. Т. «И это весь разговор?» — удивился он. «Да, весь». И я ему пересказал разговор в точности. По всему было видно, что А. Т. обескуражен, даже не отказом, к нему он готов, а краткостью, безапелляционностью и полной немотивированностью отказа. Но ему не стоило бы оставаться таким наивным. Кто же напечатает поэму в нынешнее время? А вообще — еще раз подтверждается новая форма запрета — отсутствие всякого рода объяснений.

15/VII — 69 г. А. Т. в превосходном состоянии: весел, шутит, здоров, полон бодрости. Редко, когда он бывает таким. «Наше дальнейшее существование, — сказал он сегодня, — имеет в основном спортивный интерес». Лакшин добавил: «И художественный».

Потом, когда пришел Солженицын, А. Т. уже переименовал фразу: «Спортивный и отчасти художественный интерес». Смеялись.

Солженицынский темперамент удивителен. Выглядит он не так уж важно: цвет лица желтоватый. При рыжей бороде это особенно заметно.

— Ну вот и наш шкипер появился, — встретил его А. Т. Они расцеловались — крепко похлопывая друг друга по спине.

— У вас что-то вид изможденный, — сказал мне Солженицын, и я ответил, что духота, плохо ее выношу. Но мне показалось, что он говорил это в другом значении. Тут же он перешел к разговору о журнале. — Я считаю, — сказал он, — что то, что произошло с вами, — это уже победа.

А. Т. иронически улыбнулся.

— Не улыбайтесь, — продолжал Солженицын, — это действительно победа. Если они не смогли вас снять, значит, вы оказались сильнее, а у них не хватило решимости и сил.

А. Т. начал говорить: — Я же им сказал, что готов подать заявление, если они соблюдают хотя бы минимум демократии... — и т. д.

Это его «я готов подать заявление» мне всегда не нравилось. И было приятно слышать, как Солженицын тоже вскинулся:

— Не надо так говорить им и не надо подавать никаких заявлений. Пусть снут. Это другое дело...

Пошел разговор о журнале. Солженицын сказал, что он за последнее время прочитал 22 номера. А. Т. пошутил: «А ведь раньше совсем не читал». Солженицын серьезно: «Я два года так занят работой, что ничего вообще не читал. Теперь я дошел уже до третьего номера. Прочитал Быкова. Это большая удача. Он так серьезно ставит нравственные вопросы, что я подивился. По-моему, это лучшая его вещь». (Речь идет о повести «Круглянский мост».)

А. Т. тоже сказал обрадованно: «Он совершенно заново пишет о партизанах, так, как не писали даже сами партизаны. И после него тоже уже нельзя по-старому писать о партизанах. Дорош рассказал, что не так давно ему принес документальную повесть кор. «Правды» Когинов, где та же самая ситуация и тоже погибает мальчик, только уже в Брянских лесах».

Солженицын: — Может быть, Быков именно этот случай и взял.

А. Т.: — Нет, это ситуация характерная. Дело в том, что партизаны широко использовали детей для разведки и прочего, так как дети вызывают меньше подозрений. Быков взял ситуацию характерную, но разработал ее по-своему.

Тут же зашел разговор о недавней рецензии Мотяшова в «Л. г.», где с поразительным цинизмом черное выдается за белое. Бритвин за героя.

А. Т.: — Такой человек, как Бакланов, вы его немного знаете (Солженицын кивнул головой: да, да...), обратился в «Л. г.» с предложением написать иную статью. Сначала ему морочили голову, а потом доверительно, этак по-дружески сказали: «Мы получили уже много писем, в которых читатели осуждают статью Мотяшова. Если мы напечатает вашу статью, пойдут снова письма, нам придется давать третью статью. (А почему?) Лучше уж мы не будем продолжать спор». Смотрите, как все цинично. Обругать несправедливо обругали, а теперь уже не хотят ничего делать.

А. Т. спросил Солженицына о его новой вещи. Тот сказал, что уже есть перебеленные куски, и довольно много, есть и сырье. А. Т. спросил, а нельзя ли почитать перебеленное. Тот ответил: «Ну, вы же знаете, как все это сложно».

Я ушел, они продолжали о чем-то говорить. Солженицын при мне подарил А. Т. «В круге...».

Солженицын: — Названия самые разные: «В первом круге», «В кругу первом», «В круге...». Кто как.

Издание миниатюрное. Югославское. Они, видимо, решили издать по-русски именно там, поскольку русское издание славяне могут понять и без перевода.

Затишье. Никто не звонит. Никто не спрашивает. Даже никто не критикует. Каникулы? Да нет, что-нибудь готовят. Но у нас, у А. Т. настроение прекрасное. Очередной кризис миновал. Еще раз пробовали взять в клещи, задушить, но руки коротки.

А. Т. звонил Соколову-Микитову в Карачарово. Собирается навестить старика. Не дозвонился. Решили ехать без предварительного уведомления. В четверг.

21/VII — 69 г. С утра встретился с Эм. по № 7. Ехал с ощущением, что придется спорить, и даже подготовился к спору, но неожиданно Эм. заявила, что все подписано.

До этого они, как всегда, долго тянули. Я понимаю, что Владимирова можно очень легко раскритиковать и за жаргон, и за отсутствие трудового пафоса (нигде нет слова «работать», всюду «уродоваться» и т. п.). Приземленный, очернительский роман. Наверно, в таком духе и будут о нем еще высказываться в печати. И я не удивлялся, что Главлит никак не может решить судьбу романа, хотя для нас этот вопрос очень важен. Роман так или иначе занимает три номера. Роман Владимирова цензура запретила до конца. Прочитала Эм. Ей очень нравится. Еще бы. Я уверен, что роман будет иметь читательский успех, хотя первая вещь Жоры «Большая руда» была сильнее...

Правка Главлита была в основном мелкой, частной — и в таких случаях я легко ее уступаю. Владимов посмотрел потом и удивился: «Так мало?» А зачем больше — все равно правкой романа не «улучшить» с точки зрения цензурной. Чуть подправили Бека, чуть Кардина, чуть Шестакова (здесь побольше, статья вся на аллюзиях, а они теперь пуще всего почитаются опасными).

Когда я вернулся в редакцию, то узнал, что А. Т. упал с лестницы. М. И. вызвала машину, и его срочно отправили в больницу. Так. Второй раз он летит с дурацкой лестницы. Она крутая, узкая, с нее любой загремит так, что костей не соберешь.

24/VII — 69 г. Ездили к А. Т. Спокоен. Рассудителен. Появились газеты, книжки. Но лежит. «Недели три, а может, и поменьше (с надеждой) — три, видно, придется пролежать». На вопрос, что говорят врачи, ответил, что врачи не находят ничего опасного. «Думали, нет ли трещины в позвоночнике, — нет, говорят». Чувствует себя лучше. Побаливает шею, но это и должно быть, под пластырями большие ссадины. Спрашивал о журнале. Ну что ж, в журнале все спокойно, нормально.

Разговаривал с Эм. Она мне говорила, что в «Огоньке» готовится статья против Дементьева. Говорит, что статья довольно гнусная. Подписана рядом писателей — Алексеевым, Прокофьевым, Чивилихиным и пр. Пусть. Не первый раз.

О чем была статья Дементьева? Об усилившихся в то время неославянофильских тенденциях, давших знать себя, как ни парадоксально на первый взгляд, в молодежном журнале «Молодая гвардия».

Дементьев осторожно, но внятно сказал, что помимо национальных чувств бывают и интернациональные и т. п. Высказал то, что считается прописями.

Многие подрывались на этом минном поле.

То же произошло и с Дементьевым...

Теперь я отлично понимаю, что именно со статьи в «Огоньке» начался разгром «Нового мира» Рассчитанный. Запланированный. Статья была артподготовкой к последнему штурму.

Ощущали ли мы это? Пожалуй, нет. Хотя чувствовали, что-то надвигается, более грозное, чем прежде.)

26/VI — 69 г. Купил все же номер «Огонька», хотя не было желания тратить 30 коп. Громадная статья «Против чего выступает „Новый мир“?». Или Эм. не читала статью, или не поняла ее. Она не только против Дементьева. Но, начиная с самого заголовка, против «Н. м.», статья Дементьева лишь повод для кампании против журнала. Наши предчувствия сбываются. А. Т. снова в больнице. Есть возможность начать новую атаку на журнал и на А. Т. лично. Все, что предпринималось до этого, сорвалось, но оставить нас в покое они не могут. И вот новая волна мути. Такого, что написано в «Огоньке», я еще не читал. О Дементьеве пишут, как о враге, сравнивают его фактически с троцкистами и пр. В духе «канонических» статей 48-го года. А может, даже и похлестче. Подписей 11. Удивительнее всего — подпись Прокофьева. Они же были с Дементьевым когда-то друзьями.

Основной тезис статьи хитер и демагогичен: Дементьев «многократно призывает читателя не преувеличивать „опасности чуждых идеологических влияний“». Где это многократно? Тут же и другие передержки: «...именно в «Н. м.» появились кощунственные материалы, ставящие под сомнение героическое прошлое нашего народа и Советской Армии» (не было ни выстрела «Авроры», на «даты рождения Советской Армии»). Как это не было выстрела, когда мы именно о выстреле, а не о залпе «Авроры» писали и о дате писали. И дальше: «...глумящиеся над трудностями роста советского общества» (повести Войновича «Два товарища», Грековой «На испытаниях», повесть Н. Воронова «Юность в Железнодорожке» и др.). «В критических статьях Лакшина, Виноградова, Светова, Рассадина, Кардина и др., опубликованных в «Н. м.», планомерно и целеустремленно культивируется тенденция скептического отношения к социально-моральным ценностям советского общества, к его идеалам и завоеваниям». И т. д. и т. п. А вывод уж совсем доносительский, в духе 48-го года: «Если против нее (буржуазной идеологии) не бороться, это может привести к постепенной подмене понятий пролетарского интернационализма столь милыми сердцу некоторых критиков и литераторов, группирующихся вокруг «Нового мира», космополитическими идеями». Вот и космополитизм воскрес. Зарасте, давно не виделись... «И если хотите, наглядным подтверждением такой опасности является тот факт, что у нас уже появились литераторы вроде А. Дементьева» (прелестно это «уже» в органе Софронова, который 20 лет назад поднялся на волне борьбы с космополитизмом. Уже! Не уже, а давно!). «В провокационной тактике «наведения мостов», сближении, или, говоря модным словом, «интеграции идеологии», они словно бы не хотят видеть диверсионного смысла. Более того, прикрываясь трескучей фразеологией, они сами выступают против таких основополагающих морально-политических сил нашего общества, как советский патриотизм, как дружба и братство народов СССР, как социалистическое по содержанию, национальное по форме искусство социалистического реализма».

Все. Обвинительное заключение готово. По образцам известным. Век живи — век жди повторений. А далеко мы отходим — к Сталину.

27/VI — 69 г. «Огонек» выходит по воскресеньям. Но уже сегодня, в воскресенье, в «Советской России» — редакционный отклик «Из последней почты», где выступление «Огонька» всячески поддерживается. Оперативность! По всему чувствуется, что кампания. Как она будет разворачиваться?

31/VI — 69 г. Статья в газете «Социалистическая индустрия» «Открытое письмо главному редактору журнала «Новый мир» А. Т. Твардовскому». Подписано Героем Социалистического Труда токарем Подольского механического завода Захаровым.

В областной газете «Ленинское знамя» тоже редакционная статья, поддерживающая «Огонек». Кампания разворачивается стремительно, и организация ее очевидна. Центр организации также ясен.

Вчера мы сдали в набор редакционный ответ. Лакшин прочитал мне его по телефону, по-моему, хорошо, коротко, с достоинством. Вчера же Лакшин обсудил этот ответ с А. Т. Но, как это всегда бывает, ночью А. Т. снова подумал и решил править. И, конечно, направил так много, что Лакшину пришлось к нему ехать. Мне же А. Т. позвонил относительно Федина. Редакционный документ столь серьезен, что мы должны показать его всем членам редколлегии. Федину в особенности.

...В Барвихе пустынно, какая-то молодая женщина со стариком «прогуливают» кошку. Жарко. В коридорах тихо, не так жарко. Никого нет. Ковровая дорожка с каким-то современным коротким ворсом: ноги скользят, чувствуешь себя неуверенно.

Федин в одной из самых дальних, крайних комнат. Встретил меня (старая школа!) как старого и лучшего знакомого (мемуаристы могут — и будут — писать о его исключительном радушии, приветливости и пр. А это просто воспитание, не больше того).

Федин начал с комплиментов шестому номеру... Потом подошли к смыслу моего приезда. Я решил прочитать Федину избранные пассажи из статьи «Огонька». «О, какая большая статья,— сказал Федин,— ее не сразу прочитаешь». Я сказал, что оставляю ее ему («Ах, как хорошо, здесь этот номер «Огонька» невозможно достать»), а сейчас хотел бы познакомиться его с общим смыслом этого выступления одиннадцати писателей. И прочитал несколько выдержек. Федин в отдельных местах, как это он умеет делать, почти непритворно наклонял голову вправо, изображая губами «O-о!» — удивление — и говорил: «Да-а...» «Да-а,— сказал он,— это надо прочитать. Займусь потом». Я показал ему наш ответ, привез не верстку, ее еще не было, но сказал, что мы уже сдали ответ в набор. Тут Федин стал читать внимательно. Серьезно. Поджимая иногда губы.

Я молчал. Он читал. Кончил читать. «Вот такой ответ мы решили давать»,— сказал я, чтобы заполнить наступившую паузу. Федин: «Ответ правильный. Я вижу, что выступление в «Огоньке» малоприличное и надо ответить. Ответ спокойный, правильный». «Я тоже так думаю»,— сказал я, ожидая, что же будет дальше. Не могу же я ему сказать: «К. А., а вы напишите, что ответ правильный» (он уже сказал А. Т., что не может подписать ответ как первый секретарь Союза, а первоначально у А. Т. была мысль опубликовать ответ за подписями всех членов редколлегии. Но мне бы лучше иметь все-таки не слова, а что-нибудь познавательнее. И Федин, видимо, чувствуя, что я чего-то жду — наступила не очень ловкая пауза,— говорит: «Вы думаете, что мне стоит что-то написать под ответом?» «Да, было бы неплохо»,— сказал я.

Я захватил и номер «Соц. индустрии», но, видя колебания и зная, что старик может качнуться в ненужную сторону, номер решил не показывать.

Мы сидели за низеньким журнальным столиком, и Федин начал писать в конце страницы. Погрузился в раздумье. Даже шевелил губами, повторяя какие-то слова. Вижу, что пишет не коротко: это хорошо, но только бы не оказалось какой-либо хитрости. Напишет что-нибудь извилисто-гибкое, что можно толковать и так, и этак.

Написал, еще раз перечитал. И затем прочитал мне вслух. Прекрасно. Не совсем грамотно, но прекрасно. А неграмотно потому, что, наверно, писал, но думал и о другом: сразу две мысли текли взаимнопротиворечивые. Но мне и этого было достаточно. Стилем пусть занимаются его исследователи.

Поговорили еще о том о сем. Было очень жарко. В это время Федину принесли какую-то простоквашу, он предложил мне чай. Я: «И так жарко, К. А., что вы, что вы, спасибо». А сам думаю: «Надо ехать, делать больше нечего». Но он — весь вежливость, деликатность — достал графинчик с остатком шиповника и предложил: «Но здесь так мало, может, разбавить водой. Для прохлады.— И засмеялся:— А то потом будете говорить: приехал к Федину, а он угостил меня не коньяком, а плеснул шиповника». «Ну что вы, что вы, К. А.,— повторял я.— Спасибо. Очень хорошо». А сам все думал: надо ехать. Надо позвонить А. Т. Федин пошел меня провожать. На улице, хотя прошел чуть ли не целый час, все так же играла с кошечкой женщина и тот же старик. «Что-то мало людей отдыхает»,— сказал я. «Да, очень мало. Треть мест занята — не больше»,— ответил Федин.

Распрощались самым сердечным образом. И, уже отъехав от Барвихи и с облегчением вздохнув, я подумал о себе: «Свинья я все же. А ведь старик сделал для нас сегодня очень большое дело. В известном смысле решающее». Там, наверно,— А. Т. об этом говорил не раз,— Федин котировался необычайно высоко...

Приехал. Прочитал Лакшину, Сацу и др. Тут же позвонил А. Т. «Прекрасно»,— сказал он. «Это лучшее произведение Федина»,— сказал Дорош. По правде говоря, никто не ожидал, что Федин «выдаст» такую резолюцию. Все приятно удивлены. И только повторяют: «Не ожидал... Ну, молодец старик». Если бы он слышал все это! 1/VIII — 69 г. В «Лит. России» редакционная статья «Справедливое беспокойство», безоговорочно поддерживающая «Огонек». Пошли читательские письма, выражающие тревогу за журнал. Пока только одно письмо против нас. За подписью «воронежцы». Кончается письмо грозно: «Уходите. Если не уйдете, то вас сметет гнев народа» и т. п. Лексикон газетчика 30-х годов или оратора тех времен.

3/VIII — 69 г. Я сижу, переделываю очерк о Крылове. Вышел сегодня погулять, посмотреть газеты на улицах. В «Сов. России» трехколонник о «Нью-Йорк Таймс» и о нас, конечно. Под статьей другая статья «По разные стороны баррикад» (о реви-

зионистах), И то и другое жирным, черным, траурно-тревожным шрифтом. И заголовки превосходно перекликаются. О Дементьеве уже пишут как о враге. В одном абзаце вместе с Синявским и Даниэлем, только Дементьеву добавили инициал. Вот и все. О журнале в конце статьи говорится как о вражеском: «Давно флиртует с буржуазной пропагандой. Не слишком ли затянулся этот флирт?»

4/VIII — 69 г. Еще в четверг, 31 июля, я отправил верстку «От редакции» Эмили. ...Эм. считает, что наш ответ очень хорош. Ну вот, первый читатель хвалит, правда, читатель особый и пристрастный. Беда, ей приходится болеть за нас: когда нас ругают, ей грозит тоже неприятность. Хвалят — ей ничего. То-то она говорит: вам легче, вам — слава. А и то — в этом смысле нам легче. А в целом, как в фильме «Полицейские и воры». Тема: палач и жертва. Одна цепь... Трижды банально, а вот поди-ка, оказывается, и в этом деле можно быть скованными одной цепью.

5/VIII — 69 г. Прибегал Бек, любитель слухов: «Ну как, Твардовского снимают?»

Сколько лет и сколько раз я слышал этот вопрос. И каждый раз отвечаю одно и то же: «Не знаю, мне по крайней мере неизвестно». Я уже привык говорить эти слова спокойно, хотя, помнится, у меня сразу после этого вопроса портилось настроение. Сейчас нет, хотя приятного в таком вопросе нет и иногда начинают кошки скрести... Но иногда думаю, что нас так уже приучили к снятию А. Т., что, когда его снимут, действительно снимут, мы в это не поверим.

Я убеждаюсь все больше и больше, что история первого снятия А. Т. с журнала (1954 год) не повторится. Парадокс состоит в том, что тогда, вскоре после смерти Сталина, «не могли снять без обсуждения, без проработки». При Сталине было немислимо не проработать. Можно было вдребезги раздробить все кости человеку, но обязательно публично. Тихо сажали, прорабатывали громко, оглушительно. И если начиналась проработка в литературе, то она, как дурной огонь, перебрасывалась тотчас в любую, совсем не смежную с литературой область. Если шла «дискуссия» в биологической науке, то она докатывалась и до литературы.

Но уже тогда было отчасти замечено, что тех, кого прорабатывают, в особенности тех, кто попал в постановление ЦК, не посадят. А о посаженных, заремевших — особенно в 40-е годы, — уже молчали. Кричали о них только в конце 30-х годов. Во время борьбы с космополитизмом прорабатывали тех, кто оставался на воле, но без хлеба и без перспектив заработать на хлеб.

Проработка осталась как средство воздействия на умы всех остальных, непроработанных миллионов. Вот почему в 54-м году обсуждали «Н. м.» и в ЦК, и в Союзе писателей, и даже в Президиуме ЦК под председательством самого Хрущева.

За 15 лет (боже, 15 лет!) многое изменилось. Произошли, я бы сказал, внутриструктурные изменения. Все вроде то же — и не то же. Процесс бюрократизации шел исподволь, незаметно, но шел, и одновременно гас культ. Особенно после культа Хрущева, когда сам этот культ приобретал фарсовый оттенок. И коллективное руководство, как бы иронично к нему ни относиться, становилось по-своему коллективным. Правда, коллективным не руководством, коллективным самоустранением — от решения сложных вопросов. Пусть решает другой, а не я. И логично, что на смену Поликарпову²⁶ пришел Шауро. Ничего не решающий, предпочитающий сидеть в президиумах и на приемах и в этом ничегонеделании, а лишь в одном мелькании там и сям видящий род своей деятельности. Чехословакия была решающим моментом, когда пошли на поступок. Но решились все, трудно и едва ли возможно сказать, кто первый произнес «а».

Но только иногда кажется, что после Чехословакии все можно. Нет. Чехословацкий эксперимент, в который сунулись в состоянии общего испуга и аффекта, научил наших еще большей осторожности. После Чехословакии, казалось бы, легче решаться на другие меры. Ан нет. Труднее. Поэтому все гаснет, достигая некоторых бюрократических стратосфер. Зато внизу, пониже, в отделах кипит суетливая работа. Среднее звено, фактически работающее, действует (кто-то должен в конце концов действовать) и закрепляет свои позиции. Оно может даже не считаться с верхами, как оно в свое время не считалось порой с Хрущевым, хотя это было опаснее, чем не считаться с Брежневым или кем-то другим. К этому среднему звену своей стороной примыкают верхи, например Демичев. Он лепится к верхам — и потому, слыша и зная все, он не рискует идти на решения. Он не любит А. Т., но уже опыт со снятием А. Т. показывает, что сам он не хочет вступать в историю, несмотря

²⁶ Поликарпов Д. А. — заведующий отделом ЦК КПСС.

на давление со стороны отделов. Вот почему я думаю, что единственный способ снятия А. Т. в этих условиях — это снятие неожиданное, путем опроса членов Секретариата ЦК (посылается решение, один (кто только?!)) подписал, другой думает, что согласовано, тоже подписывает, третий видит две подписи и т. д.). Решение состоялось при отсутствии четкого и ясного мнения. Оно должно быть только у того, кто первым ставит подпись. Но этим человеком не может быть Демичев.

Симонов сразу же после выступления «Огонька» решил написать письмо в «Л. г.». Вчера он отвез его в «Л. г.», но там сказали, что уже номер сверстан и поместить его в среду они не смогут. Чепуха! В понедельник всегда можно еще переверстать. Это чистая отговорка. Вчера М. И. передала А. Т. копию письма Симонова. Это хорошее письмо, несколько повторяющее наш текст, но только несколько. В остальном по-своему и очень сильно и сдержанно. Симонов такие вещи умеет писать и организовывать их. Он лично на прошлой неделе объездил писателей, подписи которых он хотел бы видеть под этим документом.

Симонов отнес свое письмо. Трифонов и Бакланов только собираются. Говорят, что написал письмо К. Чуковский. Ходит слух, что личное письмо послал Гранин, а Воронин рвет на себе волосы и говорит, что подписал статью в «Огоньке» по пьянке. Даже Анатолий Калинин отказался подписать. А ведь мы критиковали его «Цыгана». Говорят, что отказался подписать статью Шолохов, к которому специально ездили. Я спросил А. Т. о Шолохове, и он подтвердил: «Да, это известно, он отказался подписать».

(Конечно, ни одно из этих писем не появилось ни в «Литературке», ни в какой другой газете. Обычная история. Если нужно руководству, то оно даст указание и организуются, сочиняются.)

Раза два заходил А. Т. Ничего. Не падает духом. Хотя вид не такой свежий. Мы смеемся: «Сейчас после Нейла Армстронга, который первым вступил на Луну, мы самый знаменитый человек на земле».

6/VIII — 69 г. Совещание у Косыгина. Речь шла о перспективах хозяйственного развития. Признано, что пятилетку мы не сможем выполнить по ряду важнейших отраслей (а что будут писать в газетах?). Не будут закончены строительством несколько сотен объектов. Чудовищный финансовый дефицит. Угроза инфляции, новая денежная реформа как надвигающаяся реальность. Повышение цен на продукты.

Это я слышал и раньше. Новым было признание опасности экономической обстановки. Косыгин заявил, что народ не будет терпеть такого хозяйствования и сметет всех, кто довел страну до такого состояния. Сказал, что надо принимать решительные меры. И пригрозил министрам, что, видимо, придется заняться серьезными кадровыми изменениями вплоть до министерских постов, но любой ценой выправить положение. Какой ценой? Вот в чем вопрос.

А. Т.: — Я организовал тут костерик, валяется кое-где сушняк, вот мы подбигаем и вечером сидим. Так к нам на огонек уже приходят. Даже Смирнов заявил тут. Тот, что судил Снявского. Начали говорить об этом процессе, и он вдруг заявляет, что надо было Снявскому и Даниэлю дать больше. Жалеет, что не дал. Ну, я тут ему ответил: «А чего вы добились этим процессом? Прибавили авторитета стране или нет? По-моему, не прибавили». И другие на него набросились. И я вижу, он сник. Отвечать ему нечего.

8/VIII — 69 г. Ездили к А. Т. в больницу. Он выходит теперь не к главным воротам: прогуливается к боковым. Там ближе, можно без пропусков выйти посидеть у комендантской проходной на скамеечке. Но сегодня произошел дурацкий случай, которому А. Т. придал слишком важный смысл. Его остановил охранник и, поскольку видно, что он в пижаме, больной, сказал: «За зону нельзя». А когда А. Т. что-то стал ему говорить, ответил: «Вы от родственников изолированы». А. Т. аж затрясся, что-то закричал и, побелевший, вышел к нам. Мы его успокаиваем: что вы хотите от охранника, да еще пенсионера, он не знает такого слова «ограда», он знает слово «зона». И «изолирован» он знает. Он тридцать или сорок лет повторял эти слова. А. Т. еле-еле успокоился, да и то потому, что мы привезли ему смешное письмо рабочего сцены ленинградского театра. И еще одно очень веселое письмо одного московского артиста. Но А. Т. — я это чувствовал — был взбудоражен.

А. Т. уже несколько раз говорил о читательских письмах. Они прекрасны и лишний раз доказывают, как далеко разошлась наша официальная идеология с мнением читателей. Умных, конечно.

(Это обычная наша почта, но она показывает, насколько свободнее, беспристрастнее и умнее в сравнении с нашей профессиональной критикой воспринимают читатели литературу. Иногда кажется, что профессиональная и тем более официальная критика (а где она, неофициальная, не оглядывающаяся на «дядю», на то, что скажут и цыкнут?) глупее, грубее читательского восприятия. Да почему — кажется, так оно и есть. Это оглохшая, не слышащая живой жизни и живого слова критика. А если слышащая (не услышать нельзя), то моментально настораживающаяся. И тотчас же облаивающаяся это живое. Обожающая мертвечину, лживую, сконструированную, слепленную и сделанную литературу, ту, что отвечает ее представлениям. А представления жалкие, кудные... Ох, об этом можно много писать. И напишут когда-нибудь.)

14/VIII — 69 г. А вообще настроение у всех нас, в том числе и у А. Т., отличное, так или иначе эта ничья в нашу пользу.

А. Т.: — Пусть отвечают на нашу реплику. Мы свое дело сделали.

18/VIII — 69 г. Из письма: «Только в одной Новосибирской области 17 лагерей. Кого здесь только нет. Слепых, без обеих ног, инвалидов Отечественной войны. Кавалеров ордена Ленина. Их судят по статье 144, за воровство. Какую, спрашивается, может совершить государственную кражу совершенно слепой человек? Или человек без обеих ног?.. В тюрьме я встречал 14—15-летних преступников Бледные, осунувшиеся лица, испуганные глаза. Что это? Еще не перевелось физическое наказание». 29/X — 69 г. Сегодня мы устроили большую редколлегия с участием Гамзатова и Айтматова. Решили сделать ее полупарадным мероприятием.

Расул и Айтматов пришли с Ленинского комитета. Премию дали Малышко. Ну это лучше, чем Бабаевскому или Кочегову. Малышко знают на Украине, а дальше его слава не идет. Наш Федя Абрамов не прошел. Не хватило одного голоса. Обидно. 6:6. «У Абрамова тьма в романе такая, что ее можно ножом, как повидло, резать», — сказал, по словам Айтматова, один из выступавших. Но кто так сказал? Айтматов улыбнулся и не ответил.

А. Т.: — Сверх моих ожиданий роман Владимова, я это наблюдаю и по своей семье и по знакомым, пользуется большим успехом у массового читателя. Это такое же популярное чтение, каким был в прошлом году роман Уоррена.

Много говорилось о критике, о судьбе журнала, о нашей нелегкой работе.

А. Т.: — Легко ли мне нести бремя неопубликованной работы? Я уже не говорю о том, что она может попасть и за границу...

...Потом, когда снова зашла речь о поэме («Я над ней работал не один год»), А. Т. резко и почти с криком сказал: «Я вам точно скажу, почему ее не разрешают печатать. Ее не разрешают печатать люди, которые Сталина больше любят, чем Ленина. Вот и весь секрет. И другого секрета нет».

А. Т.: — Сейчас, когда цунами ушел на покой, не нужно думать, что он не вернется. Вернется. Но мы должны делать свое дело. Правильно сказал здесь В. Я. о вечности. Тот, кто живет временной жизнью, какой мы живем многие уже годы, тот вечность и обретет, а тот, кто заботится о вечности, вряд ли добудет эту вечность. Поэтому наше положение не временное. И пусть товарищи не думают, что мы жалуемся им на свою судьбу. Мы меньше всего боимся самоуничтожения. Как бы нам не зазнаться.

До этого он тоже почти с криком, решительно взмахнув рукой под столом, говорил: «Вы прочитайте нашу почту. Она замечательна. Особенно почта последнего времени, когда читатели отмобилизовали себя на защиту журнала. Всякие читатели, в том числе и рабочие...»

А. Т.: — А я утверждаю, за все пятьдесят лет не было у нас столь влиятельного журнала, как «Новый мир». Я утверждаю это! Не было такого журнала, который бы так сильно влиял на читателей и у нас и за рубежом. И мы, несмотря на известное к нам отношение руководства, вполне компенсированы отношением к нам глубинных масс читателей.

А. Т.: — А поддержки мы ни от кого не получаем. Я был со своей поэмой у Федина. Говорил ему, говорил Маркову, Воронкову о том, что хочу слышать мнение товарищей по секретариату о моей поэме. Молчат. А я чувствую: не приноси. (Я: «Уноси.») Уноси, уноси и ни в коем случае не приноси.

Айтматов: — Я был у одного высокопоставленного товарища в ЦК. Он спрашивал меня: «Что вы написали?» Я сказал, что написал новую повесть. «Где собираетесь печатать?» Я сказал: «Понесу в такой несчастный журнал, как «Н. м.». Он: «Ну, это не несчастный журнал. Они сами могут нас сделать несчастными». Вас боятся, я это почувствовал.

А. Т.: — Как только не бьют нас, и меня в частности, и бичами, и треххвосткой. Но мы не взываем: пожалейте нас. Снова говорю, что нам надо опасаться зазнайства, чувства исключительности, которое, право же, имеет под собой основания.

А. Т.: — Не было журнала, в котором бы в таком полном комплексном сочетании представляла литература и политика, наука и публицистика, беллетристика и библиография.

У меня было ощущение, что, говоря все эти похвальные слова, А. Т. выговаривает то, что он думает, чем гордится и что, естественно, нам, работающим с ним, он не говорит. Нам говорить нечего. А это так...

А. Т.: — Роман Кочетова²⁷ удобен потому, что он дает ответы в готовом виде. Пусть неверные, гнусные, но ответы. Он освобождает от необходимости думать, а таких людей, которые бы не хотели самостоятельно думать, во все времена было большинство. Вот чем объясняется читательский интерес к этому роману.

А. Т.: — Я не говорю о глупейших распроявлениях к укромению нашего журнала, которые выразились в запрещении подписки на него в армии. Словно общество наше делится на военных и штатских, и то, что можно штатским, нельзя военным. В результате подписка на нас в армии выросла.

Кто-то вспомнил, что Чуковский — доктор Оксфордского университета. Вот кто достоин был бы академика. По-настоящему.

А. Т.: — Да, конечно. Но потому и не стал академиком, что принял доктора Оксфордского университета. Ах ты доктор Оксфордского! Так на тебе! Такое они не прощают. На днях я, не совсем подумав, послал Демичеву письмо, в котором Бертран Рассел приглашает меня стать членом его какой-то коллегии. Так они мне этого тоже не простят. Ах ты, тебя Бертран Рассел приглашает! И мне еще не ответят.

Дорош: — Ответят.

А. Т.: — Не ответят! (Весело, угрожающе.) Не ответят!

Когда А. Т. уходил сегодня, я вновь поразился, как он согбен, сутул. И бледен. Что все-таки у него произошло? С позвоночником? Но он не любит такие разговоры. 4/XI—69 г. Скоро праздник. Ну, перед праздником ничего не должно случиться. Мы, живущие в ожидании любой неприятности в любое время, предпраздничные дни особенно ценим: в эти дни гадости все-таки делать не положено. Поэтому новость об исключении Солженицына из ССП была как внезапно разорвавшаяся бомба, или, точнее, как гром в январе. А. Т. зашел ко мне встревоженный, весь напрягшийся.

— Вы знаете, что Солженицына исключили из Союза?

— То есть как? — спросил я. Еще ничего не знал.

— А вот так. Исключили в Рязани. Он мне только что сам звонил об этом.

Исключили вчера.

Ошеломление. Почему? С чего? Отчего именно сейчас? Бог знает что!

— И как он говорил об этом?

— Говорил спокойно. В детали не вдавался.

Это новость из новостей. Главное, непонятно, что за этим последует. И к чему эта неожиданная по времени, внезапная, без видимых близких причин акция? Насколько я знаю, в последнее время Солженицын не предпринимал ничего такого, что могло бы вывести из терпения власть предержащих.

Нужна дополнительная информация.

5/XI—69 г. Говорят, что сегодня состоится секретариат правления РСФСР со специальной повесткой: исключение Солженицына из Союза. Это тоже невероятно. Так скоро? Почему такая спешка? Когда делается так скоро и так спешно — всегда причина одна: есть высочайшее указание. Тогда не считаются ни с чем, ни с какими обстоятельствами. Но кто дал указание и почему? Это по-прежнему неясно.

А. Т. встревожен крайне.

Солженицын не приехал из Рязани на секретариат, хотя и вызван был. Сейчас перед праздником поезда переполнены, и он мотивировал этим свой неприезд. Кто-то сказал, что секретариат не состоится. Но секретариат при закрытых дверях состоялся и подтвердил исключение. Кто выступил, я не знаю, да и какое это имеет значение. Исключили — и все.

Западное радио уже гудит. Также так скоро узнали. Откуда и как? Я часто задумываюсь об этом и все чаще прихожу к одному выводу: мы сами и сообщаем. С целью быстрой и по виду неопровержимой компрометации.

²⁷ «Чего же ты хочешь?» («Октябрь», 1969, № 9—11).

А. Т. очень встревожен. Звонил несколько раз Воронкову, но тот всегда в нужный момент блистательно отсутствует. Все переходит на после праздника. А что, собственно, все? А. Т. до сих пор не может примириться с исключением Солженицына. Ему оно представляется как наваждение, дурной сон. Нет, явь. Не сон.

Но почему так быстро? Перед праздником? Словно невтерпеж...

10/XI—69 г. Утром Миша рассказал мне новость. Оказывается, в пятницу перед праздником А. Т. все же приехал. Миша, видимо, не хотел мне перед праздником портить настроение и не сообщил, что Эм. по секрету рассказала ему, что на праздничном вечере ей тоже по секрету сказали, что принято решение о снятии меня, Лакшина и Виноградова. До праздников они тоже не хотели портить нам настроение, но, мол, после праздников начнут нас вызывать. А. Т. тогда в пятницу приехал от Воронкова, и когда Миша сообщил ему новость, то А. Т. подтвердил.

Я почувствовал, что мое давление начинает подсакивать.

Вскоре приехал А. Т. Веселый, довольный. У меня мелькнуло: а что, будешь довольный, если впереди наконец-то обозначился выход из всего нашего длинного-предлинного тупика. Пусть любой конец — но конец. ...Пошел разговор о том, что доживаем последние дни. Я не спрашивал его ни о чем, но он сам сказал: «Кончается. Солженицына нам не простят и, конечно, прилепят с большим торжеством».

Но вскоре настроение у А. Т. изменилось. Вспомнил разговоры в Пахре.

А. Т.:— На примере с Солженицыным я еще раз убедился в том, что существует тотальная обывательщина. Стучилось страшное, неоправимое, для судеб литературы непоправимое, а все стараются или не заметить это, или уйти, как уходят от неприятности. Милейший А. встречает меня и начинает говорить о том, что Лидию Корнеевну Чуковскую собираются исключить из Союза, возмущается, кипит. Я ему говорю: «Что вы говорите о Чуковской, о том, что ее собираются исключать. Тут уже исключили — и не Чуковскую, а Солженицына. Понимаете — Солженицына!» Я вижу, что не понимает или не хочет понимать. Неприятное дело — не хочется ввязываться. Встречаю Б. Милый, интеллигентный Б., но тоже, смотрю, начинает говорить о своей поездке в Америку. А о главном, о том, что с литературой случилось ужасное, вместе со всеми нами, вместе с ним, Б., — об этом он тоже не хочет говорить.

Это выражение — «тотальная обывательщина» — А. Т. повторял еще не раз. И в такой связи: «Я понял, что если нас, «Н. м.», разгонят, то реакция будет такая же. Ну, немного пожалеют, но каждый будет думать о себе, о своих делишках. Никого ничего не волнует и не интересует. Вот так мы и погибнем».

Вместе с тем А. Т. часто стал повторять, что пришел и наш черед. «Взялись за Солженицына. Энергично. Теперь наша очередь. Солженицын сам по себе цель, но еще и средство для ликвидации „Н. м.“».

11/XI—69 г. Приехал Солженицын. На лице огорчения особого не видно. Напротив. Я спросил его о самочувствии, и он без бравады (так по крайней мере мне показалось) ответил: «А что? Теперь я самый свободный человек. Уже ни от кого не завишу. Разве это плохо?»

Но может быть, это и напускное. Во всяком случае его спокойствие в очень резком контрасте с беспокойством А. Т., который еще как-то надеется переломить ход событий и даже вернуть Солженицына в Союз. По слухам, ряд писателей (Тендряков, Антонов и др.) написали письмо в Союз или даже в ЦК о том, что исключение проведено в полном нарушении устава Союза. А. Т. тоже хлопочет об этом, хотя он и не формалист и отлично понимает цену устава и тем более цену его буквы.

Сегодня мне показали запись рязанского собрания, на котором исключали Солженицына. Сделал эту запись сам Солженицын. А. Т. восхищен: «Это дьявол. Он записал так все точно и с такой силой, что одного этого документа вполне достаточно, чтобы перерешить дело и восстановить его в Союзе».

Но у меня нет ощущения, что сам Солженицын хочет восстанавливаться. Он оживлен, весел, совсем беспечен. И даже чему-то рад. Или мне это так кажется.

А. Т. нравится запись, он в восторге от ее силы и точности и видит в этой записи ключик для дальнейшего. О чем-то они долго совещались, мы в таких случаях (когда появляется Солженицын) обычно уходим из кабинета.

12/XI—69 г. Произошло нечто ужасное, последствий чего мы не можем сейчас предположить. А. Т. пришел сегодня как обычно. С. Х. передала ему конверт от Солженицына. Он его спокойно взял, я вышел, и минут через пять А. Т. вызвал меня. Я застал его в состоянии крайнего возбуждения и смятения.

— Прочитайте! — Он протянул мне письмо Солженицына. Один листок с переходом на обратную сторону. А. Т. сидел неподвижно, поза ледяная, но весь — взрыв, весь — клубок нервов. Я начал читать — бог знает что такое. Поверить было трудно: письмо Солженицына в секретариат ССР, вызывающее, саморазоблачительное и пр. Видимые с ходу, с лета глупости, мелкое язвление, остроумие (со льдами Антарктиды) и злость... Это крупный подарок всем врагам Солженицына и нашим врагам. О большем они и мечтать не могли. И подарок этот сделал сам Солженицын. Не умещается в сознании, ни в какие ворота не лезет. Но факт!

Я отдал письмо А. Т. в полном ошеломлении. Что говорить? Нечего. Так я и сказал А. Т. Он с тяжелым, набрякшим взглядом посмотрел на меня.

— Нет, всего можно было ждать, но не этого.

— Да не с ума ли он сошел, — жалко пролепетал я.

— Нет, не с ума, — вздохнул А. Т. — Но он же был у меня вчера, вы видели, и ничего не сказал. Как он мог утаить все это?!

Вызвал С. Х. Спросил, кто принес письмо. Оказывается, еще утром занесла жена Солженицына. Это уже взбесило А. Т., и так доведенного до белого каления.

— Он был вчера! Он уже все задумал, все решил. Наверно, и письмо уже было написано — и ни слова мне!..

Я видел А. Т. в разных состояниях, но в таком гневе, ярости и отчаянии, горе — не видел. Это было потрясение.

Постепенно начали приходиться Лакшин, Сац, Дорош. А. Т. каждому давал прочитать письмо и — уже не в силах ничем другим заниматься и ни о чем думать — смотрел, как читают, и ждал, что скажут. Кроме изумления, удивления и пр., ничего не выражалось и не могло выразиться.

Мысль А. Т. шла дальше:

— Мы много раз думали, как мы кончим. Были самые разные варианты. Но так, с таким позором, так позорно и плачевно, мы не предполагали кончать. А теперь это будет..

Он начал искать Солженицына. Через С. Х., а потом через Асю Берзер.

Так и не нашли Солженицына. А если бы нашли, что было бы? Выяснение отношений. Какое? И потом я уже подумал — слава богу, что не нашелся, потому что скандал был бы невероятнейший.

— Он о нас ни капли не думал и не думает. Мы для него ничто, пустяк. Но он же знает, что мы для него сделали. И был бы он теперешним Солженицыным без нас? Нет, не был бы.

Уехал А. Т. в крайнем расстройстве.

13/XI—69 г. Нас не вызывают. И хотя история с письмом Солженицына вроде бы за-слонила нашу, волнения — во мне они, конечно, остаются. Но говорить о них в такой момент да еще А. Т. невозможно. И ни к чему: ничем же не поможешь.

А. Т. сегодня не спал, по его словам, почти всю ночь. Он редко говорит о таких вещах. И еще он с самого начала разговора заметил:

— Я его похоронил. — Добавил почти спокойно: — Да, похоронил. Теперь это ясно.

Потом где-то в середине или конце дня он начал вспоминать о своем первом чтении «Ивана Денисовича», о том, как он разбудил под утро М. И. и ей вслух читал.

— Я ведь тогда плакал. И М. И. не могла выдержать, тоже плакала. И вот теперь такое.

Его мучает неблагодарность Солженицына. Он отлично понимает, кто такой Солженицын сейчас, все его странности готов понять, но в его мозгу не укладывается именно это — неблагодарность, забывчивость. И он снова повторяет: «Что «Н. м.» сделал для него, что я сделал, сколько мы от него и из-за него терпели — все прахом, все это он не ценит. Если бы не он, если бы мы его не защищали, так и положение «Н. м.» было бы сейчас совсем иным. Мы все принимали на себя, но для него это звук пустой»..

А. Т. тут же заметил, что Солженицын не хочет считаться с «Н. м.», с ним лично еще и потому, что «они ведь тоже партийные бюрократы, может быть, немного получше, но тоже на службе партии, а я нет, и таких людей я не могу ценить», — вот еще ведь как он думает!

Все дела отодвинуты на далекий задний план. А. Т. считает, что этот кризис мы уже не переживем. Сомнений у него на этот счет никаких.

17/XI—69 г. По радио снова передавали сообщение об открытом письме Солженицына. Но самого письма нет, несколько (мало) цитат.

Утром позвонила М. И.: А. Т. просит приехать. Поехали втроем (Хитров, Лакшин и я). Что-нибудь придумал. Уход? Едва ли. Самая неподходящая ситуация. Уйти — значит расписаться в ошибках, и в особенности с Солженицыным. Ни в коем случае нельзя сейчас уходить. Может быть, Воронков приезжал к нему? Может, еще что?

Все оказалось гораздо проще: загулял...

И ведь это не первый случай, когда в тяжкие моменты он срывается, уходит от всего на свете, как бы закапывается в темноту, тяжкую, вязкую, уже почти без счета и учета времени. Так было ведь при первом снятии, когда он не поехал на заседание Секретариата ЦК партии. И вот теперь все повторяется...

А. Т. спустился со второго этажа, тяжелый, мрачный, недовольный.

— Какие новости? Что привезли? — спросил недружелюбно, зло.

— Новостей никаких особенно, — сказал я.

— Тогда зачем приехали?

М. И. всплеснула руками: «Хорош, к нему приехали товарищи, а он так встречает». Но А. Т. снова повторил:

— Новостей, значит, никаких. Зачем приехали?

М. И. бросилась расставлять тарелки, чтобы поскорее пригласить всех за стол, может, там уладится. В это время пришел Сергей Антонов. Печальный, стареющий. Посмотрел печально на А. Т. Грустно поздоровался с нами. Стал рассказывать, что сегодня его вызывал Воронков (оказывается, он тоже ходил к Воронкову с требованием созвать правление Союза). Воронков сказал ему, что Солженицын распространяет письма и т. д. Антонов резонно заметил, что он ничего не хочет знать, а ставит себя в положение любого рядового человека, который ничего не знает, никакой подоплеку, и вдруг узнает об исключении по таким-то и таким-то мотивам, которые звучат для него неожиданно. Воронков: «Народ знает отлично, в чем дело, почему его исключили». И тут же театрально вскинул руки, вызвал секретаршу и вскричал: «Ну почему же я до сих пор не имею этого письма Солженицына, которое передают все зарубежные радиостанции!» Короче говоря, Антонов ушел от него не солоно хлебавши, но, как говорит, не согласившись с Воронковым. «Я остаюсь при своем мнении».

А. Т. слушал это без всякого интереса. И снова спросил: «Зачем приехали?», а потом тише, чуть ли не просяще: «Уезжайте». Мы переглянулись: надо уезжать. Пошли. Он холодно простился. М. И. вышла чуть ли не со слезами: «Вы извините, пожалуйста». Я: «Да разве, М. И., об этом речь. Какие тут этикетки сейчас...» А. Т. тоже вышел: проверить, уходим ли мы и что говорим. Бог мой!

Маршак говорил: «Наше дело разложить костер, а огонь упадет с неба. Обязательно упадет...»

Наше дело уже попроще: не дать самим костру погаснуть. Пусть затопчут другие. Смерд будет. И сухой, недовольный дым.

18/XI—69 г. Вчера вечером приходил Тендряков. Его вызывали в райком. Деталей и подробностей не знаю, но говорят, он не согласился с тем, что ему говорили в райкоме.

Сегодня передавали по французскому радио, что группа писателей (Арагон, Сартр, Веркор и др.) опубликовали в «Летр Франсез» письмо с осуждением акции с Солженицыным. «Единственное, в чем он виноват, — пишут они, — что остался жив после сталинских лагерей...»

19/XI—69 г. Ходят упорные слухи о том, что второй день заседает секретариат СП. Конечно, не о Солженицыне. Самое большое, о нем сделал десятиминутную информацию Воронков — и все затвердили. Секретариат сугубо закрытый.

27/XI—69 г. Говорят, что вчера был писательский актив. Нас никого, конечно, не позвали, даже А. Т. Очевидно, были одни функционеры. Клеймили Солженицына, выражали «справедливый гнев». Вчера же в сообщении секретариата было сказано, что «общественность одобряет». Вот они и одобрили — после того как в газете было напечатано об этом одобрении. А пафос сводился к тому, чтобы лишить Солженицына гражданства и пусть он уезжает. Солженицын написал в своем письме, что наступит время и те, кто подписался под его исключением, будут пытаться соскрести свои подписи. Наивный он человек. Не будут. Может, и не доживут, потому что в ближайшем обозримом будущем мне что-то не мнятся перемены. А и доживут, перекрасятся.

11/ХП—69 г. Был пленум правления ССП. Г. Троепольский говорил, что на пленуме овацией проводили Айтматова. Не называя «письма одиннадцати» (протест против исключения Солженицына), он так все сказал, что было ясно, о чем и к чему. Молодец...

Передавали по Би-би-си о Солженицыне. Снова повторяют, что за Солженицына, против его исключения выступило 70 человек. Это, конечно, преувеличение... Где 70?

Опубликованы отчеты о работе пленума. Нигде о Солженицыне, о «Н.м.». Даже в таких газетах, как «Советская Россия» и «Красная звезда». Это любопытно. Видимо, паводок пошел на убыль. Не думаю, что почувствовали ошибку с Солженицыным... Скорее всего видят, что раздувать историю с ним, когда поступают отовсюду протесты, невыгодно. Протесты из-за границы. Свои протесты мы просто игнорируем. А Запад, который мы ненавидим, мы в глубине души уважаем. Боимся его и уважаем.

«Письмо одиннадцати» — это как раз то письмо, которое подписали Аитонов, Тендряков и другие. — о неверном, в обход устава СП исключении Солженицына из Союза. Удивительно ли, что о нем говорил Айтматов? Нет. Он человек закрытый. У него самого был расстрелян отец, говорят, бывший одним из киргизских наркомов...)

...Речь Михалкова на пленуме (напечатана в «Московской правде»). Явный намек на А. Т.: «Вот почему нам не безразлично, какое содержание вложено пусть даже в талантливое произведение. А мы, к сожалению, иногда являемся свидетелями девальвации мировоззрения у иных мастеров слова, которые в недалеком прошлом создавали талантливые реалистические произведения, достойные своего героического времени, своего народа-читателя, народа-зрителя». Так начинается пристрелка, первый свист, быстро перерастающий в вой.

У нас в редакции почти всегда смех, веселье. И я подумал вчера: за счет чего? Не только от привычки, оттого, что притерпелись к трудному. Каждый раз мы загадываем себе на будущее самый худший вариант. И когда оказывается, что вытащили билет полегче, то раздается вздох облегчения... Самообман? Нет, привычка, постоянное ожидание опасности вырабатывает этот инстинкт радости, когда опасность пробежала мимо тебя всего лишь в метре-двух — вот за этой сосной.

12/ХП—69 г. Г. Троепольский пересказал отдельные положения речи Демичева на пленуме... О нас в докладе ничего не было. И о Солженицыне ничего.

А. Т.: — Ну что ты о речи хочешь сказать? Наверно, было, как всегда: черного и белого не говорить, да и нет не произносить?..

Г. Н.: — Нет, ты послушай, послушай...

А. Т. невнимательно слушает, потом машет рукой:

— Ну, обычный доклад: черного и белого не называть...

К Солженицыну докладчик подобрался, однако, не с такого уж глухого хода. Рассуждая о свободе творчества на Западе и у нас, сказал: «У нас наблюдается иногда верная интерпретация свободы творчества как свободы самовыражения». Этак можно вспомнить о многих. Иди догадайся. Но все догадались так: Солженицын. Потому что больше и ближе ничего не было. Ясно, что дело Солженицына они заминают, убирают за кулисы. Невыгодно

Настороженности терять, понятно, нельзя. И все же что-то просветлело в этом неуютном декабрьском небе.

(Характерный самообман. Ничего не просветлело. Шло созревание дела: бумага на нас переходила из рук в руки, медленно, величаво, неслышно носили ее из кабинета в кабинет. И говорить в это время о нас тоже было нельзя и опасно. А вдруг там бумагу не утвердят. Как раз сегодня не утвердят, когда ты будешь разглаговльствовать... Лучше помолчать и подождать.)

Пришел Айтматов. Мы поздравили его с речью. Он сказал, что после речи к нему подходили, поздравляли и одновременно остерегали относительно «Н. м.»: «Их материалы под такой лупой рассматривают».

Я рассказал Айтматову, что Гранина вызывали в обком и не рекомендовали отдавать повесть нам. Айтматов ответил, что всем спрашивающим он заявил: он не видит ничего плохого в том, что отдал повесть в «Н. м.»: «Я всегда там печатался и теперь собираюсь печататься».

Как они люто желают оторвать у нас талантливых людей. Не позволить им укрывать и поддерживать наш журнал. Тактика на ослабление.

...Решили заключить договор с Троепольским. Повесть о собаке.

А. Т.:— Вообще это печальный факт. Вот Николай Воронов написал прекрасную вещь о голубях. Никогда так хорошо не писал. В романе у него много разных страниц... Это как на псковских землях. Там народ пахотой выбирает камни, потом они

снова откуда-то появляются... А эта новая повесть²⁸ сделана словно из одного камня. Прекрасная повесть. Но вот и он ушел к голубям. А ты, Гаврила, к собакам.

Г. Н. замахал руками:

— Нет, у меня не просто о собачке. У меня глазами собаки будет показано все наше общество.

Тут уж мы расхохотались.

— Ну, Гавриил Николаевич,— сказал А. Т.,— чего же ты нам раньше не сказал. На такую повесть мы бы ни в коем случае не заключили договор.— Отсмеявшись, А. Т. продолжал: — А еще раньше догадался уйти от современных болей и ран, еще в тридцатые годы, Иван Сергеевич Соколов-Микитов и начал заниматься своими сойками, воробышками, и прекрасно у него это получалось и получается до сих пор. Но ведь это очень печально. Чем больше мы нажимаем на актуальную тему, тем больше отталкиваемся от нее. И я предвижу, что в самом недалеком будущем к воробушкам уйдут и другие талантливые люди. При этом я ничего не могу о них сказать плохого. Воронов пишет о голубях, но я вижу, что он любит не одних голубей, но и до боли любит людей, они тоже прекрасно описаны в его повести, которая, в сущности, представляет собой ответвление от железнодорожского романа... Честное слово, он мог бы поспорить этой вещью с самим Аксаковым...

И как-то незаметно А. Т. скользнул на другую тему. И стал рассказывать то, о чем я не знал, о раскулачивании его семьи.

— Мне мать рассказывала, а она не соврет. Пошла однажды в лес за малиной. В Зауралье это было... Подумать только, сколько людей, не видевших областного города, были вырваны из родных гнезд и брошены против желания, против воли на край света. И вот увидела в лесу бараки. Зашла в них. И запах уже не запах, а что-то такое... И видит, лежат вповалку мертвяки... Некоторые сидят за столом, другие прислонились к стене... Кто сидел за столом, уткнувшись в доску (и А. Т. показал это), так и застыл и умер, и уже сил не было, чтобы подняться и хотя бы лечь. И уже не трупы, а что-то выхошее, оголенное, но еще и не скелеты... Мать бросилась бежать, а там другой барак, третий. Все это окружено проволокой и никакой, конечно, охраны — ушла, нечего охранять.

23/ХІІ — 69 г. Опубликовано тезисы ЦК к столетию Ленина. Удручающе длинный, пустословный документ, отличающийся, впрочем, одной характерной для нашего времени особенностью. Кажется, что писали его две разных руки. Одна — одно, другая — совершенно иное. Как две струи: одна вода горячая, другая столь же холодная...

А. Т.: — И струи эти никак не соприкасаются...

Я прочитал А. Т. фразу: «Партия отвергает любые попытки направить критику культа личности и субъективизма против интересов народа и социализма, в целях очернения истории социалистического строительства, дискредитации революционных завоеваний, пересмотра принципов марксизма-ленинизма».

А. Т. даже потемнел, услышав это, и я сразу подумал, что он думает о своей поэме. Теперь ей полная крышка. «Любые попытки,— сказал, покачивая головой.— Так это значит — ничего нельзя».

29/ХІІ — 69 г. А. Т. прочитал повесть Перфильева. Он работал таксистом, а потом перешел в гараж «Известий», не смог брать чаевые, выпутываться из системы гаражных взяток и пр. А. Т. в восторге от повести и в огорчении:

— Вот случай. Написано прекрасно, талантливо, и все чистая правда, но ведь нам никто не даст ее напечатать. Ни за что не дадут²⁹. Я читал у Станиславского, что в его время нельзя было показывать на сцене человека в военном мундире и потому в «Дяде Ване» военный мундир был заменен на пожарный. Но ведь у нас тоже нельзя написать, что милиция берет взятки. Нельзя. А она берет, и еще как берет! Вот и напечатайте.— И добавил: — Мы все живем минутами. Не вызывают — сам не напрашивайся на вызов. Но ведь если и не вызовут и ничего не предложат, оставайся работать — работать-то нельзя. Нельзя! Ничего нам не дадут делать из того, что мы хотим.

Этот мотив я уже слышу давно...

...Лакшин сказал, что Воронков плохо выступает. А. Т. разозлился: «Не говорите мне об этом. Ну что же, я и на Воронкова плюну и не буду с ним здороваться. А мне

²⁸ «Голубиная охота» («Новый мир», 1969, № 11—12).

²⁹ Повесть не опубликована.

еще взносы надо платить в Союз. (И уже усмешливо.) И машину кто мне достанет? Воронков! И еще мне предлагают туда перейти, чтобы в отдельном чулане есть особую колбасу...»

4/1—70 г. А. Т. приехал ко мне, сел и очень серьезно посмотрел на меня — глаза в глаза. Я даже чего-то испугался. Он сказал:

— Ну, что же, новый год начался, я принял решение: надо и жить по-новому.

Я думаю вот что: надо ставить вопрос о поэме. Я решил твердо и говорил уже с Воронковым. Сказал, что секретариат фактически уклонился от обсуждения поэмы, но надо сейчас обсуждать, я не хочу, чтобы обо мне потом говорили как о Солженицыне: у него, мол, произведения печатаются за границей. И вы знаете, что Воронков ответил мне на это: «Но чего же обсуждать: ведь поэма действительно напечатана за границей». Говорит, во Франции, но он что-то путает. Во Франции — значит в переводе.

Я сказал, что слышал от Эмили: поэма опубликована в «Посеве», но не знаю, издательство это или журнал. (Потом Лакшин сказал: издательство.)

А. Т. удивленно: — Может быть. Я спросил Воронкова: опубликована в отрывках? Нет, полностью. Но тем более тогда надо обсуждать. И чего же он молчал? Мог бы поздравить меня в Новый год. А то молчит. Как они хотят все замять, как желают спокойной жизни!

Я заметил, что да, желают, но если дело коснется санкций, то тот же Воронков отдаст А. Т. на растерзание. И напомнил, что для меня до сих пор остается загадкой поздний вечерний звонок Воронкова мне, когда он неожиданно начал расспрашивать меня о том, как живет Солженицын, как обстоит дело с «Раковым корпусом», не нуждается ли он в деньгах и не стоит ли заключить с ним договор. Потом еще несколько дней ворошение, и Воронков снова звонил мне, и мы заключили с его одобрения с Солженицыным договор, сдали в набор часть романа. И вдруг все закричало и повалилось набок. Почему так действовал тогда Воронков, ничего не делающий по своей воле? До сих пор это загадка для меня. Кто-то и что-то за этим стояло...

А. Т. не обратил внимания на мои слова, занятый своими мыслями.

— Да, конечно, он предаст меня, в этом нет сомнения. Но я хочу выяснить все. И возникает масса недоуменных вопросов. Если я автор поэмы, которую нельзя опубликовать у нас, и она появляется за границей, то почему я останусь редактором журнала и числюсь одним из руководителей Союза? Ведь это же нельзя так просто оставлять без ответа. Но они хотят все замять...

Потом в разговорах этот мотив повторился. Возник и другой.

А. Т.: —...Но я коммунист с большим стажем, лауреат всего на свете и награжден многими. Из меня не сделаешь Солженицына, и это тоже осложняет дело. Но пусть они и из этого ищут выход. А выход простой — напечатать поэму.

А. Т. пригласил нас к себе и сказал, что хочет прочесть новые большие вставки. Одна несколько вяловатая, перед строками: «Неверно думают, что память...», а другая очень сильная и энергичная, там, где речь идет о тех, «кто прячет прошлое ревниво, тот и с грядущим не в ладу». А вообще-то куски очень хороши, но они, конечно, не только не ослабляют, но и усиливают антикультовый характер поэмы.

А. Т. спросил: — Будем сдавать в набор?

Конечно. Вот эти моменты в жизни редакции, хотя они и драматичны и грозят опасностями, я так или иначе люблю. В это время мы чувствовали себя не просто товарищами по работе (мы же не все друзья), а людьми, ответственными за ответственное дело. Решили перепечатывать и сдавать. Но А. Т. сказал, что еще посмотрит.

А. Т.: — Я мог бы возобновить вопрос о поэме и раньше, но были такие завихрения и буряны с Солженицыным, что заслонили поэму и было не до нее, не о ней думалось. Но сейчас, в новом году, надо ставить снова вопрос. И я сказал Воронкову довольно решительно, что если он не поставит вопрос на обсуждение, то я буду жаловаться.

Тут же он сказал, что собирается писать о поэме письмо на самый верх... И тех он, конечно, поставит в нелегкое положение. Отношение к Сталину — это вопрос вопросов, вопрос настоящего и будущего людей — руководителей и не руководителей. И расхождение, размежевание, которое не происходит, а произошло, и мы только скрываем его и прячем под страхом партийной дисциплины, требующей хотя бы формального единомыслия, а мы уже давно привыкли к тому, что едино-

мысле и должно быть только формальным. Упаси господи отойти от формы, вот тут-то и начнется...

6/1—70 г. Эмилия подписывает безусловного Яшина, Трифонова³⁰ остерегается сразу подписать... Подписывает Павезе. Но у нас от этого ни два, ни полтора. В сущности, нет ни одного готового спуска, и на машину нечего брать. А дальнейшее — во тьме грядущих дней.

9/1—70 г. Звоню Эмили о подписании Трифонова. Она говорит мне удивительную вещь: «Не говорите нашему начальству, что вас могут снять с машины. В таком случае они обязательно задержат подпись». Вот это новость!

Прислал в редакцию письмо Солженицын. Поздравляет с Новым годом. Желает успехов и главное — стойкости. «Держитесь» и прочее. Передает привет А. Т. в особенности. А как отнесется к этому А. Т.?

Ходят слухи о присвоении А. Т. в день 60-летия звания Героя Соц. Труда. Но при одном условии — он тут же пойдет на пенсию. Хотят купить золотом и званием? Положение в Союзе, конечно, пикантное. 60-летие не за горами. А как отметить его? А тут еще А. Т. начал свою катавасию с поэмой.

Упорно распространяют слух, что Солженицын — Солженицер. Хотя по этой линии вести черносотенную атаку. Звонил мне сегодня Монахов из эмвэдистского журнала, спрашивает, у нас идет спор — Солженицын или Солженицер. Я ему рассказал как есть и посоветовал заглянуть в Исторической библиотеке в шестую Бархатную книгу, где фамилия Солженицыных занесена как дворянская.

14/1—70 г. Положение наше остается напряженным и нерешенным. Снова весь день занимались Главлитом. Миша разговаривал часа два с лишним и ничего не привез...

В итальянском «Эспрессо» опубликована поэма А. Т. в ужасном обрамлении. Текст, а на полях всюду какая-то голая девка. Это для А. Т. — как нож острый. Он расстроился, конечно, не из-за девки — неприятен сам факт. В предисловии сообщается, что поэма опубликована в ФРГ (видимо, по-немецки) и в ближайшее время выйдет в «Посеве», что в Советском Союзе она запрещена и ходит в списках. Переведено без подзаголовков, одним куском, и ясно — белым стихом и с другим названием.

15/1—70 г. А. Т. звонил Воронкову. Тот очень хочет встретиться. Но...

А. Т.: — Очень серьезно и важно сказал мне, что у него скоро будет секретарь австралийской компартии. Поэтому сейчас встретиться не может. Ну а потом, конечно, обязательно, очень желательно...

А. Т. просидел до конца дня — звонка так и не было...

А. Т.: — Ночью я услышал, что-то рухнуло. Хорошая сосна. И отломилась у нее под пудовым мокрым снегом ветви. А ветви толщиной с руку. Я еще не все раскопал, но ветвей пять сломано. Сосна не ель, в ней много смолы, а иголки пучками, и она собирает много снега и не может гнуться...

И снова вспоминал о дереве.

19/1—70 г. А. Т.: — Я думаю, что надо жить с девизом из «Моби Дика»: «Вперед, и пусть даже к черту в пекло».

А. Т.: — Купил Исаковскому тетрадь в переплете за 16 рублей. Купить ничего нельзя. А это тетрадь... И я так думаю, если бы ее подарить, когда Исаковскому было лет пятнадцать, она бы снилась ему... А теперь... И что еще подарить?

20/1—70 г. А. Т.: — Я еще раз недавно прочитал «Ивана Денисовича». Это, конечно, классическая вещь, где слова не переставишь. И все сдержанно, точно. Как он передает холод. Видишь этот дрожемент, хотя слов о морозе, как выясняется при новом чтении, совсем мало. И нет, почти нет пейзажа, не то что у современных писателей, где пейзаж как заметка, приписной пейзаж.

Кто-то сказал, что у Шолохова то же самое.

— Конечно, у Шолохова специально выписанные пейзажи. А Солженицын никогда не ставил такой задачи, хотя мог бы, и еще как! Но я вижу этот пейзаж, написанный почти без слов, через дрожемент Ивана Денисовича и понимаю, что это за зима и что за унылый вид вокруг.

А. Т.: — Исаковский очень хороший человек, но он уже давно устранился от жизни. Он ее не хочет знать. Как это ни горько сознавать, но один писатель думает и что-то делает ради литературы. Это я. И я не хвастаюсь. Если бы еще хоть один. О Шолохове чего говорить... Если бы еще один. Нет ведь никого. Подводят кровавую

³⁰ «Обмен». Повесть. («Новый мир», 1969, № 12)

черту под Солженицыным, и все молчат. Никто ничего не хочет говорить.

22/1—70 г. А. Т. позвонил из Пахры. Читает Воннегута. В восторге. Я, предполагал, что ему понравится. Смущала лишь новизна, современность формы. А. Т. это не любит. Но я знаю, что если есть существенное содержание, то А. Т. пренебрегает форму, как бы пренебрегая ею вообще.

23/1—70 г. А. Т.: — Я читал Воннегута и думал: вот современный роман. По существу и по форме. И когда видишь такое, то многие... предстают такой захолустной провинцией. Писать так, как они пишут, в наш век уже нельзя.

А. Т. по совету Соколова-Микитова прочитал книжку Урванцева и с восторгом говорит о ней. Оказывается, Урванцев, путешествуя, жил на Новой Земле в какой-то ледяной пещере. Привык к холоду и голоду. А потом 18 лет пробыл в наших лагерях, и оказалось, что его испытания не приучили к холоду и голоду.

А. Т.: — Понимаете, а после всего, что он испытал добровольно и ради науки, его бросают на целые 18 лет в условия несколько не лучшие. Но раньше он терпел по собственному желанию. И удивительнее всего, книжка написана после всего, после лагерей, стариком, и так спокойно, никакого мельтешения, никаких жалоб, вполне понятных в его положении. Но он не опускается до жалоб.

У А. Т. настроение при всем том печальное... А может быть, предчувствия...

На днях в «Правде» — передовая. В ней прямое предупреждение коммунистам, которые, несмотря на критику, не исправляют ошибки и даже упорствуют в отстаивании ошибочных позиций. По-моему, это камушек в наш огород. Да о ком, собственно, и могут так писать. А. Т. тоже так думает.

— Все-таки старость. Раньше я не обращал внимания на погоду. А теперь от изменения погоды хуже себя чувствую. А вы как?

— И я тоже.—И он обрадовался, найдя как бы человека, не только сочувствующего, но и чувствующего так же, как он. Уходя, вернулся и сказал: — А головы все-таки не вешайте.

А. Т. увидел журнал «Наш современник»: «Неграмотные люди. Пишут о своем журнале: «центральный журнал». Чего центральный? Из какого центра? Что они хотят этим сказать? Столичный? Так это совсем другое дело».

Часа в четыре А. Т. поехал к Воронкову и был там довольно долго, вернулся около шести. «Как дела?» — «Никак. Разговор был довольно тяжелый и завтра еще продолжится. Говорят, чтобы сделал заявление по поводу зарубежных публикаций». — «У нас?» — «Да». — «Но если заявление без публикации поэмы у нас, то это смешно». — «Нет, это не смешно, А. И. Начали настаивать, чтобы я сделал заявление еще до обсуждения, и ставят это условием для обсуждения... Но зачем тогда обсуждать, если на обсуждении скажут после заявления: печатать не нужно...»

Усталый. Говорит спокойно. Потом, посмотрев на меня: «Вы еще не представляете, что будет впереди». Я представляю: хорошего впереди мало. Так я и сказал.

Он позвонил при мне Оле³¹. Она спросила его о делах. Он печально ответил: «Какие же дела? Дела нет». Она снова спросила. Он: «Ну разве по телефону об этом скажешь, дочка?» Потом спросил меня, не знаю ли я такого Большова, бывшего главного редактора «Советской культуры». Я знаю его мало. Выпускал плохую газету. Сейчас при другом редакторе газета не лучше. Не так давно его назначили в Комитет по радио и телевидению — членом Комитета и еще кем-то.

А. Т.: — Он там, видимо, летит. Нам его предлагают замом.

— Вместо меня?

А. Т.: — Да как сказать. Опять плутни. Говорят вдруг, у вас давно нет второго заместителя. Как нет? Уже два с лишним года работает вторым замом Лакшин. Получает зарплату зама Почему вы не хотите его утверждать? Начался пустой спор. Ну, вы пока никому об этом не говорите.

Значит, еще один ход. Любой ценой хотят ввести к нам постороннего человека.

Сын маршала Новикова под большим секретом рассказал, что главная причина придинок ПУРа к рукописи Новикова та, что она идет в «Н. м.». Так ему в ПУРе трижды говорили. Но какой это для нас секрет. Блокирует нас ПУР давно.

27/1—70 г. А. Т. вел себя как-то странно: приехал в редакцию, но не зашел на второй этаж, а сказал секретарю Наталье Львовне, что едет в Союз. И уехал.

³¹ Младшая дочь Твардовского.

Вернулся оттуда туча тучей. Потом сказал, что после вчерашнего разговора устал неимоверно. И не спал. Почти. Все думал...

Молчал, когда мы пришли. «Ну что?» — спросил Миша. «Ну что! Выламывают руки... Под конец я начал уже кричать. Хрипеть, точнее. Знаете, когда совсем устанешь и видишь, что разговариваешь со стеной».

Вчера еще А. Т. говорил о читательских письмах Солженицыну. И сегодня вновь обсудил с нами это дело. А. Т.: «Есть не так много писем Солженицыну. Семь-восемь личных.. Они не вскрыты. За ними приходила внучатая племянница Корнея Чуковского — я не дал их, как я могу дать неизвестному человеку. Я решил так поступить: письма собрать вместе, сделать реестрик в двух экземплярах. Один ему, один на всякий случай оставить у нас. И передать ему, когда от него придут. А то он уже мне пишет: «У Вас задержались мои письма». Что касается писем в редакцию по поводу исключения Солженицына, то надо сделать копии и послать их в Союз. Во всех письмах, за исключением одного, — протест против исключения. Требования к Союзу и т. д. Пусть лежат в Союзе, хоть на самой дальней полке. Пусть лежат...»

Чувствуется, что А. Т. совсем похоронил Солженицына, хотя во вчерашнем разговоре он прямо сказал, что считает исключение его из Союза грубой ошибкой. Те ничего не ответили на это. А вчера он мне сказал: «Если Солженицын хочет прочитать письма, пусть прочтает в редакции, если зайдет». Но сказано было холодно и как бы: «Я, конечно, едва ли захочу его увидеть»...

— Так чем же кончился сегодняшний разговор? — спросил я.

А. Т.: — Сегодня Воронков уговаривал меня. Пугал и уговаривал. И он, конечно, во многом прав. Он говорит: «Поверьте мне, А. Т., если это дойдет до Секретариата ЦК, я ведь знаю лучше вас, как будет там обстоять дело. Ваш вопрос будет 79-м. И будет докладывать не Шауро, а тот же Сулов. А это... Он встанет и скажет: «За границей опубликована поэма Твардовского. (Он не скажет, в искаженном виде и прочее.) Твардовский же вместо того, чтобы дать оценку этому политическому факту, упрямится и настаивает на публикации этой поэмы в Советском Союзе (и тоже не будет говорить, что она стояла в журнале, в такие детали они не вдаются). Я думаю, что надо указать товарищу Твардовскому — и... все будет обсуждено за полторы минуты». Воронков прав — жаловаться некуда.. Но я сказал, что подумаю до четверга. Я чувствую, что они расставили мне силки и я в волчью яму могу попасть...

28/1—70 г. Слухи, слухи, слухи. Только ими и живем, когда нет информации, и все зыбко, неясно, переменчиво.

Говорят, что где-то (в Академии общественных наук) выступал Демичев, его спросили о романе Владимова, он сказал, что это очень плохой роман, «населенный гангстерами, золотоискателями и стяжателями»...

Говорят, что где-то (это уже совсем неизвестно) выступал зам. зав отдела пропаганды Яковлев и сказал, что исключение Солженицына было вынужденным и что писатель это талантливый и о судьбе его нужно думать и заботиться (О!)

Говорят, что Шауро где-то сказал о публикации поэмы А. Т. за границей: «Мы спрашивали Твардовского, как и почему она появилась там, а он отвечает: „Не знаю“».

Говорят, да мало ли что говорят.

А между тем уже не слух Был у нас сегодня корреспондент «Правды» по Японии Овчинников. Он сказал нам, что «Н м.» в Японии тотчас же переводят. Почти весь номер, и перепечатают в разных изданиях. Через месяца полтора после выхода номера у нас. «Мне было неловко и стыдно, — говорил он, — когда японцы спрашивали меня о том или ином произведении, напечатанном у вас, а я ничего не мог им сказать, по нашим каналам журнал приходит намного позже».

29/1—70 г. А. Т. пришел сегодня ко мне со словами: «Знаете, что я вам скажу. Помирать, так с музыкой, так, чтобы все зазвенело. Я решил, что буду писать на самый верх. И я уже набросал письмо, и мне удалось все самые спорные положения сформулировать При этом я не играю в молчанку и говорю все, что думаю — и о поэме, и о ее содержании, и о том, что с ней происходит. Я даже о Солженицыне говорю, о том, что его исключение было грубой ошибкой. Я не поддерживаю его последнего отчаянного письма, но исключение его было ошибкой и привело лишь к тому, что у нас прерваны все связи с передовой художественной интеллигенцией

Запада, нас там теперь бойкотируют. Я все написал, что думаю. Пусть будет грохот». (Потом, повторяя это у себя в кабинете, он сказал: «Это будет последнее письмо», сказал твердо, и, как у него бывает в моменты сильного напряжения, глаза его побелели и несколько выкатились, уставившись на собеседника, а рука с растопыренными пальцами замерла в воздухе.)

...Перед уходом, уже одевшись, А. Т. сказал: «А вы знаете, я уже вошел в этот мир докладных, писем, словно это необходимый и очень важный мир и все остальное, литература например,— чепуха. И я уже вошел во вкус докладных. Напишу какое-нибудь «между тем» и наслаждаюсь, вот как я здорово пошел, как я хитро перехожу дальше...»

Приходил Зиновий Паперный, читал свою пародию на роман Кочетова. А. Т. смеялся. А когда все ушли, сказал: «Я вижу, что этот роман не поддается пародированию. Он сам пародия. Его надо не пародировать, а цитировать».

Уходя, А. Т. вновь говорил о Дементьеве, о том, как он самоотверженно любит журнал, всегда готов все читать.

— Он ведь до сих пор говорит: «В нашем журнале». (У А. Т. чуть слезы не выступили на глазах.) Вообще я вот что вам скажу, дорогие друзья,— у нас постепенно создался такой коллектив, какого, я вам скажу твердо, нигде нет. Я это вижу, я просто знаю, такого коллектива нет. И не будет.

Если не ошибаюсь, я слышу это второй или третий раз.

30/I—70 г. Вечером пошел к Неме (Мельникову). Позвонил туда Кудинов и сказал, что А. Т. снят. Начали перепроверять, вроде слух недействительный.

2/II—70 г. А. Т. был весь напряжен, и я не совсем понимал, в чем дело, пока он не сказал: «Я перепечатал письмо Брежневу и хочу его вам показать. Сейчас подойдет Дементьев. Это последний вариант, я его согласовал с Симоновым, он в таких делах все понимает, я даже перепечатал его на машинке, не хочу, чтобы здесь была перепечатка».

Нервничает, вижу, очень сильно. Такого рода шаги для него всегда мучительны. Часу во втором собрались все. Пришли Дорош с Марьямовым, Сац. А. Т. предупредил, чтобы никто не заходил. Начал читать, волнуясь. Письмо сильное. Начинается с того, что понуждает его обращаться к Генсеку партии не только личное положение, но и судьба литературы. Все о «Н. м.», о поэме, о травле и о Солженицыне. Не понравился мне конец, несколько самоуверенный, смысл в том, что я, мол, написал поэму и готов отвечать перед любой партийной инстанцией, вплоть до самой высшей, за каждую строчку и слово. Этого наш партийный этикет не любит. Не гордыня, а смирение почитается у нас за истинную веру и чистоту.

— Ну, что вы скажете? — спросил по окончании чтения.

Что сказать? Сильно. Все правильно. И если что не так — не в этом дело. Я давно убедился, что не в формулировках дело, если все уже решено в ту или иную сторону.

Дементьев, как всегда, начал давать свои поправки. Но я видел, что экземпляр один, еще, правда, не подписанный, и перепечатывать его А. Т. не хочет, а хочет посылать. Он уже предупредил С. Х., чтобы машина стояла на месте...

А. Т. стал злиться. Дементьев доказывал свое. А. Т. взорвался:

— Что ты мне говоришь о каких-то поправках. Не в них дело (это тоже верно). Но видишь, что я уже на изводе нервов и ничего не могу больше с этим письмом делать. Я уже несколько исней из-за него не спал и обдумывал сто вариантов.— Побледнел Еле-еле сдерживается от дальнейших резкостей

Дементьев: — Ну, смотри, ну, смотри... Конечно, можно и так посылать. Я понимаю, что перепечатывать ты не хочешь.

Томительное молчание. А. Т. сидит, что-то думает. Оба молчат.

А. Т.: — Ну ладно.

Отложил письмо на сторону. Вышел. Я тоже выпел. С. Х. вся в напряжении: «Что происходит?..» Наши бабы откуда-то все узнали — и тоже в приемной. А что я могу им сказать? Я поболтался зачем-то в своем кабинете, вернулся в кабинет А. Т. Там все сидят по-прежнему, говорят кто о чем, как это бывает у нас, о разных делах и пустяках, словно только что не было драматического напряжения.

Постепенно и А. Т. перешел на отдаленные темы. Машину задержал, потому что собирался сразу же послать письмо в ЦК. Но не посылает. Потом сказал:

— А интересно все-таки посмотреть, как будет тонуть наш корабль.— И засмеялся. И стало как-то легче. Так у меня бывает, когда спадает высокое давление.

Уже к концу дня А. Т. зашел ко мне в кабинет, сел и совершенно растерянно:

— Вы знаете, сейчас мне звонил Большов.

— О чем и зачем?

— Хотел встретиться.

— Встретиться? А это зачем? Уже назначают? Хочет познакомиться? Странно.

И что вы ответили ему?

— Да, по правде сказать, я растерялся от неожиданности, но сказал ему, что сейчас занят, не могу встретиться. Не спросил даже: а чего бы он хотел от меня? Он ответил мне смиренно: «Я могу подождать».

Дела принимают странный оборот. Все полно недоумения. А Воронков так и не появился на горизонте. У него явно уже другие инструкции. С А. Т. ему не о чем разговаривать.

Вот теперь уже начинается.

3/II — 70 г. Когда я думаю о возрождении сталинизма, то приходят в голову строки:

Тернисты пути совершенства,
И Русь помешалась на том:
Нельзя ли земного блаженства
Достигнуть обратным путем.

Воронков сегодня позвал А. Т. на секретариат. Был он там недолго. Вернулся и сказал, что образована комиссия секретариата по укреплению редколлегии и аппарата «Н. м.».

— Кто вел секретариат? — спросил я.

— Кто же, конечно, дорогой Константин Александрович... В комиссию вошел Большов...

Это уже было удивительно. Еще А. Т. не дал никакого согласия на Большова, а его уже вводят!

Воронков попросил А. Т. остаться после заседания. Был, как всегда, мягок, предупредителен, даже жаловался, что от него ничего не зависит (это тоже, как всегда!). Вздыхал: положение тяжелое. И намекал: надо искать выход.

А. Т. рассказал историю, рассказанную ему отцом. Как те ехали в товарном, скотском, вагоне в ссылку после раскулачивания. В вагоне оказался один странный старик. Кто плакал, кто ревел, кто вновь обсуждал с другими свою беду, а этот старик никогда ничего не говорил, сидел в уединении молча и только иногда начинал жестикулировать. поднимет удивленно плечи, разведет руками, на лице полное недоумение (что же все-таки произошло и почему? Непонятно). Покачает головой (нет, нельзя понять) — и горестно опустит голову.

А. Т. показывает все это — и, как тот старик, все, конечно, молча. И это смешно, но не очень.

А. Т.: — Вот так по настоящему счету и с нами.

И снова показывает. И совсем уже не смешно.

Да, каша уже сварена. Сейчас идет процедура. Решение же принято. Это ясно. 4/II—70 г. Сегодня в середине дня мы услышали, что идет секретариат. А. Т. в редакции. Как это понять? «А. Т., говорят, что сейчас идет секретариат...» Он пожимает плечами: «Не может быть. О чем секретариат? Если о нас, то ведь должна собраться комиссия — ей дано на это 2—3 дня. А комиссия организована вчера».

Я сегодня с утра был на совещании в ЦК. Вчера меня пригласили. И так вежливо, так предупредительно разговаривали, что опять мне стало не по себе... Совещание было среднеинтересным. Краткую запись (если я сам в ней разберусь) я прилагаю к дневнику. Так я стал делать недавно. Жаль. Вообще жаль, что систематически я веду дневник с 67-го года. Сколько потеряно! Память — очень ненадежная штука. Я заметил: если не запишу завтра, пропущу, то уже через неделю многое забыто. И чувствую, забыто интересное, какие-то важные черточки, детали. А только из них и складывается картина.

Письмо А. Т. не отсылает. И ничего не говорит о нем. Спрашивать неудобно. 5/II—70 г. Секретариат все-таки вчера был. И говорят, все решено. У А. Т. усталый, изможденный вид. Очень бледен. Все время взрывается.

Часа в два его попросили приехать. Уехал. Мы ходили с напряжением. Был он недолго. Вернулся. Молча прошел в кабинет. Сел. Мы сидим ждем, что скажет.

— Так вот, вчера был секретариат. Без меня. И решено освободить Кондратовича, Лакшина, Виноградова, Марьямова и Саца.

Ну и ну! Я смотрю на Лакшина, он вроде бы готов к такому сообщению, он кандидат на снятие номер один,— и то он побледнел.

Молчим. Кто-то спрашивает: «А кого дадут вместо нас?»

А. Т.: — Дают? Мне уже не важно, кого дадут. Я заявил, что подаю заявление об уходе... Дают Большова. Да нет, они уже все утверждены.

— Без вас?

Взрыв.

— Неужели вы не понимаете, что, конечно, без меня? Все решили без меня! Константин Александрович Федин решил. Он председательствовал...

Выясняется, что решение вроде не совсем окончательное. А. Т. еще предложили новый вариант редколлегии, с тем чтобы он подумал.

А. Т.: — А что тут думать?

Думать еще можно. Еще остается один последний шанс — письмо. Надо все-таки посылать. Но А. Т. в таком состоянии, что говорить ему об этом невозможно.

6/II—70 г. Сегодня зашел Дементьев. Он встревожен, все знает, сочувствует. А. Т. в редакции. О чем-то говорим. Но уже ничего нейдет на ум.

Говорят, что Симонов написал письмо в «Л. г.», в котором как секретарь Союза протестует против нашего снятия. Обосновывает протест неконституционностью, нарушением устава Союза. Нас снял узкий состав секретариата, и Симонов требует созыва полного состава. Во-вторых, снятие произошло без А. Т., секретаря Союза и главного редактора, что само по себе беспрецедентное нарушение устава и вообще всякой демократии.

По слухам, такое же письмо написали Сурков и Исаковский, при этом они уже послали (или собираются посылать) эти письма в ЦК.

Поможет ли? Едва ли. Но уже важно, что снятие наше не проходит бесшумно.

Москва же (литературная и не только литературная) гудит. От этого не легче, но все же...

А. Т. пока заявление о своем уходе не подавал. Он еще что-то думает сделать. Собирается послать письмо? Все время сидит до шести в ожидании звонка.

9/II—70 г. Пришел к 12. Все на месте. За исключением А. Т. Володя, Миша и Игорь пригласили меня пройтись на Страстной бульвар. Сказали, что А. Т. заезжал, сказал, что поедет в ЦК отвезить письмо Брежневу. Оставил копию, которую я смогу прочесть... Письма в ЦК послали Сурков, Исаковский. Как и Симонов, они считают наше снятие неконституционным, настаивают на созыве секретариата в полном составе. Я мало верю в такие призывы — какой толк от этого? Почти все секретари, кроме Симонова, Суркова, да еще, может быть, Салынского и еще кого-нибудь, проголосуют против нас... Но все же... Как при раке, когда знают, что ничего не поможет, все же пытаются попробовать спасительное средство,— так и здесь важно, очень важно испытать все. Чтобы совесть была чиста. Да и важно, так или иначе, иметь бумаги, документы для будущего.

(Мой дневник я расцениваю только как документ. Не оправдательный. Оправдываться не в чем Обвинительный...)

Еще один вопрос В книге «Водался теленок с дубом» Солженицын как раз на нас возлагает вину: мы не сопротивлялись, не протестовали, кончили, стоя на коленях. Он бы хотел, очевидно, чтобы мы стукнули кулаком, написали соответствующие протесты и распространили их и т. д., то есть поступили так, как он в то время уже поступал.

Наверно, это был один из вариантов конца. Но вряд ли нашего конца. И дело не в том, что у нас не хватило бы духу. Может быть, и хватило бы. Но дело в том, что к такому образу поведения мы не были и не могли быть готовы. Если бы мы хоть раз вышли в открытую, нас с большим удовольствием разогнали бы гораздо раньше. Со свистом, улюлюканьем: вот смотрите, вот они какие! Поэтому никто из нас вполне сознательно не давал противнику такого козыря и, скажем, не подписывал ни одного из документов, какие одно время подписывались в большом числе. Подписать даже для одного из нас значило подвести всех. взорвать журнал. А журналом мы дорожили. Другое дело, что журнал, как полагали некоторые, в том числе и Солженицын, уже давно умер, жизнь, мол, перешла в «самиздат». И тогда что было жалеть журнал? Жалеть его, мы себя жалели за себя боялись? Так, что ли?

Но существование журнала вплоть до начала 70-х годов, думается мне, не было пустым, иллюзорным существованием. Иначе бы Солженицын не уговаривал

А. Т. не уходить из него. До разгона. И после разгона хотел, чтобы А. Т. остался в журнале. Зачем, если исходить из посылки, что «Новый мир» уже идейно пуст?) 10/II—70 г. Завтра должна появиться информация о решении секретариата в «Л. г.». Поэтому мы все приехали, не договариваясь, раньше обычного. Уже в 11 часов все были в редакции. А. Т. тоже. Спокойный. Но под внешней пленкой спокойствия — готовая в любое время взорваться нервность. С. Х. сказала, что еще вчера вечером она узнала, что в «Литературке» будет дана информация о нашем снятии и письме А. Т. (о публикации поэмы «По праву памяти» за границей), и всю ночь не спала из-за этого. Виноградов сказал, что ему обещали дать сигнал номера. Послали за ним. Привезли. Открыли и ахнули: письма А. Т. (о поэме) нет. Нет совсем. А в списках новых членов редколлегии нет Наровчатова, но есть Овчаренко. Только что он выступал на пленуме Российского Союза с поношением поэмы А. Т. и намеками на то, что А. Т. молчал о том, что поэма опубликована за границей, и не он ли передал ее туда. Так включили именно этого Овчаренко.

А. Т. взорвался. Позвонил Воронкову:

— Константин Васильевич! Почему нет в «Л. г.» моего письма? — Тот что-то начал объяснять. — Я спрашиваю, почему нет моего письма? — Тот опять что-то забормотал. И с накаленной, звенящей яростью А. Т. сказал: — Я лучше думал о вас и думал, что вы лучше относитесь ко мне. Однако вы допускаете невозможное и даже меня об этом не предупреждаете. Вы делаете за моей спиной. Я требую, чтобы мое письмо было напечатано. Доложите об этом куда следует. Сигнал? Сигнал никакого значения не имеет. Вы меня не предупредили и делайте все что хотите, время еще есть, но мое письмо должно быть напечатано. Иначе я предприму еще более решительные шаги. — И повесил трубку. Белый от бешенства, сказал: — Они не знают, что я еще могу предпринять.

«Что? — подумал я. — Что? Уйдет из секретариата? Кого этим испугаешь!» Но сказано было так, что вроде еще у А. Т. есть в запасе некое таинственное оружие.

А внизу, на первом этаже, волнение. В отделе прозы — Евтушенко, Можаяев, Владимов, Светов, Нема, Левитанский, какие-то незнакомые люди. Я зашел отдать часть рукописей.

— Чего ты спешишь? — сказал кто-то.

— А чего мне ждать?

Оказывается, они сидят и ждут. Послали телеграмму — куда? То ли в ЦК Брежневу, то ли Подгорному. То ли всем вместе. Ждут, надеются, что завтра сообщение о нашем снятии все-таки не появится в газете. Я сказал, что они люди наивные, уже третий час, газета всю печатается.

Кто стоит, кто ходит, кто сидит. Молчат. Иногда переговариваются. Я тоже сел. И вдруг почувствовал, а потом уже и понял — на что все это похоже. Так бывает, когда в соседней комнате стоит гроб, а здесь ждут выноса его, оттого и говорят даже чуть ли не полупшепотом...

Потом я спустился через час. Кто-то, уже не помню кто, сказал:

— Да, газета уже отпечатана. Все надо расходиться.

И разошлись. И уже потом, когда в шестом часу я выходил из редакции, у дверей мне встретился Борис Можаяев.

— Ничего не получилось, — сказал он.

— А вы думали, что получится, — усмехнулся я. — Наивные люди. Все было утрясено, согласовано. Все было решено.

А они еще на что-то надеялись. Трогательно, конечно. И хоть этой трогательностью жить.

11/II—70 г. Все, как и положено. Маленькое, где-то на затычку, хроникальное сообщение о переменах в «Н. м.». Гнусно то, что сообщается: на заседании присутствовал А. Т. Имеется в виду то заседание от 4 февраля, где разговор шел о необходимости укрепления редколлегии и аппарата и где А. Т. недвусмысленно высказался на этот счет. Но тут — «в обсуждении приняли участие...». И получается, что и А. Т. вроде бы за изменения.

Плохо и то, что рядом (только в московском тираже) напечатано письмо А. Т. о поэме. Все же соседство неважное. Я понимаю, что последняя фраза коростенького письма коварная: «Будто бы запрещена...» Но ведь они скрушают и это: пропустили письмо, а поэму все-таки не разрешат. Ни в коем случае. Пропустили, уступив А. Т. Уступили нехотя, но внутренне цинично усмехаясь.

А. Т. подал заявление об уходе еще вчера. Ответа же на письмо от Брежнева нет никакого. А. Т. позвонил его помощникам (еще вчера), и кто-то из них ответил, что Л. И. плохо себя чувствует, болен, на даче, но что письмо при оказии сразу же ему перешлют.

Последние слабые надежды.

Вчера внизу я видел Солженицына. Он разговаривал с Буртиным и еще с кем-то. Сегодня он спросил меня: здесь ли А. Т.? Я сказал, что здесь, и он пошел к нему. Разговаривали они долго. Потом я спросил А. Т.: «Что он? Зачем приходил?» А. Т. махнул рукой: «Занят своими делами. Мы его не интересуем».

Трогательным был приход Драбкиной. Она была у А. Т. совсем недолго, вышла с заплаканными глазами. Подошла ко мне и сказала:

— А. И., я вот что хочу сказать: если кому-нибудь из работников журнала понадобится сохранить стаж, то я всегда готова взять любого на должность своего секретаря. Не обязательно с работой, вы это понимаете.

А. Т. уже потом говорил:

— Вот женщина. Интеллигентная, старая коммунистка. А ведь как сказала о тех, кто нас снимает: бляди, сказала, бляди... Все-таки чувствуется лагерная школа. 13/II—70 г. От Брежнева никакого ответа. Но сегодня Владимов принес удивительную весть: Брежнев на даче, прет, с ним это бывает время от времени. Я сказал об этом А. Т. Он посмотрел на меня изумленно, а потом захохотал:

— А вполне возможно. Очень похоже.— И снова залился смехом.

А. Т.:— А ведь я помню, когда Воронков был молодой, играл на гитаре и неплохо пел. Теперь — бас.

А. Т.:— Что-то останется после нас. Жалко. Останется тот же Азольский. Куда он денется со своим романом...

(Роман Азольского так и не появился. Где этот Азольский, что делает? Мне ясно одно, что, может быть, литература потеряла большого несбывшегося прозаика. А может, и не потеряла. Может, роман лежит и что-то Азольский пишет. Но одна история Азольского — уже глава в истории нашей литературы. Особая глава о литературе, задуманной до рождения, до появления на свет.)

14/II—70 г. Сегодня уже гудит радио. Все без исключения станции говорят о том, что Твардовский занимал должность двенадцать лет и «пытался связать коммунизм со свободой творчества». «Отставка его является крахом такого рода иллюзий» (Париж)...

15/II—70 г. Би-би-си сообщает, что об отставке Твардовского пишут сегодня все английские газеты. Корреспондент «Обсервера» заявляет, что отставка Твардовского произвела в Москве тяжелое впечатление. «Будущее советской литературы теперь закрыто плотной завесой тумана...» Другой корреспондент пишет, что в Москве не столько удивляются, что Твардовский теперь ушел, а тому, как он долго сохранял позиции. «Ошибкой Твардовского было то, что с уходом Хрущева он не понял, что часы советской литературы переведены назад. Яростное сопротивление новым веяниям, в литературе особенно, стало нарастать после вторжения советских войск в Чехословакию». Еще один корреспондент пишет, что Твардовского дважды снимали с должности, один раз в 1954 году... После 1958 года, когда он вновь пришел в журнал, он опубликовал множество лучших произведений советской литературы, в частности «Один день Ивана Денисовича». С именем Твардовского были связаны надежды советской литературы, и теперь они погасли на многие годы». «Просвет в будущее советской литературы исчез».

...Много о мужестве и твердости Твардовского, о его верности правде. Часто цитируют его слова из статьи к 45-летию журнала («Всякая правда нам на пользу...»). Все мрачно смотрят на будущее и говорят о победе сталинских элементов.

Миша (фотограф) принес фотографию редколлегии. Все улыбаются, кроме меня. Снова вспомнился мне тот недавний, но уже далекий день нашего ухода. Тогда говорили: «Литературная Москва плачет, и только в «Новом мире» смеются». По Москве ходит такое «мо», сказал тогда А. Т.

Когда ехали домой, А. Т. заметил:

— Говорят, сегодня был гром с молнией.

Погода действительно странная: всю ночь шел снег, плотный слой. А сейчас все таяло. Небо тяжелое, низкое. И буран был не февральский, а какой-то мокрый, слепящий и противно теплый, когда на лице тает, а тело потеет.

16/II—70 г. Сегодня, когда кто-то зашел, А. Т. повторил свое любимое «Сходится к хате моей больше и больше народу...»

Ему ответили:— Ну а про свободу мы ничего не слышали...

А. Т.:— Где уж слышать.

С печатью журнала (№ 1) что-то творится неладаное.

Я:— Но не станут же они пересматривать номер и делать новый, когда этот подписан и готов.

А. Т.:— Все могут, А. И., все могут Потому что все можно.

Жаль, если не дадут выпустить этот последний номер — хороший, новомирский. Жаль из-за «Белого парохода».

Я сказал А. Т., что вот говорят нам: вы работаете на Запад, а на Западе сейчас столько шума из-за «Н. м.», весь мир гудит по всем станциям и газетам. Кто сейчас работает на Запад: мы или они?

А. Т.:— Вообще все глупо и нелепо. Ощущение такое, что один работает, думая об одном, а другой — совсем о другом. Один доходит до одного места, а другой начинает с того места, не думая о том, что тот сделал. Все глупо и нелепо до крайности...

С. Х. принесла и молча показала первый слуск первого номера — печатается. Я обрадовался: начали наконец-то печатать.

Дементьев:— А что могло произойти?

Я:— Могли разломать номер, чтобы снять наши фамилии.

17/II—70 г. Вчера А. Т. был весь день мрачен. Только один раз, приехав откуда-то, развеселился: «Единственное светлое пятно сегодня, все-таки бывают и светлые пятна в нашей жизни — был я у нотариуса, заверял документы на машину, и вдруг эта женщина, нотариус, говорит мне: «А Бунин о вас все-таки очень хорошо написал». Что трогательно — хвалит не «Теркина», не стихи мои, а знает отзыв Бунина обо мне...»

В машине был по-прежнему мрачен. А сегодня у него совсем другое настроение — легкое, освобожденное от мрачных мыслей. Как в лучшие дни.

Фотография наша (редколлегии) А. Т. нравится. «Будут помещать в учебниках, в истории журналистики».

Дементьев сказал, что еще недавно Владимирский из издательства «Наука» сопротивлялся, когда давали групповые портреты. «Ал. Григ.,— спрашивает,— а кто их знает? Вы их знаете?» — «Знаю». А все дело в том, что боялся, не знал, кто на портрете. Особенно когда давали «Серапионов».

— Сегодня ровно две недели,— сказал А. Т.,— как секретариат под предводительством Федина принял решение о «Новом мире». Ровно две недели.

И все это время А. Т. приходит ежедневно на работу. Раньше всех. И сидит до 5—6 вечера. Удивительное присутствие духа.

19/II—70 г. Я выезжаю теперь в «Н. м.» не на все время, но каждый день. Приезжают все. Сидим Чего-то ждем. Ничего не делаем. Разговариваем обо всем на свете. И даже не томительно, не скучно. Как раз наоборот. Вольно, весело.

— Посиделки,— говорит А. Т.

И еще несколько раз все повторяли это слово.

— Ну что, опять посиделки?

— Поеду на посиделки.

Но сегодня, кажется, посиделки кончаются...

Говорят, что Брежнев дал согласие на отставку. Вот и ответ на письмо А. Т. Да, так оно и должно быть. Без Брежнева не решили.

И бог мой, сколько раз это было в истории. Пройдет, может быть, совсем немного времени, о большом историческом сроке и говорить нечего,— и будут смеяться, потешаться или откровенно презирать руководителей типа того же Брежнева. А сейчас ему лень снять трубку и позвонить великому поэту...

А. Т. принял отставку спокойно. Я не почувствовал у него облегчения. Именно спокойно. Но, наверно, он и сам об этом напишет. Тут он как-то сказал:

— И хоть нет времени и желания, а все-таки я хоть несколько строк в день, но записываю.

Это очень важно. Его записи будут бесценны, особенно записи, относящиеся к таким поворотным моментам в истории литературы. Какой происходит в эти дни.

20/II—70 г. Я уже простился с редакцией — обошел, кого мог обойти, и попрощался. И это было так хорошо, потому что сегодня прощался А. Т. — и я бы вместе с ним не мог ходить по этажам. Пошли они вместе с Лакшиным. Я остался на втором этаже у себя и места себе не находил.

Ходили они долго. Начав с четвертого этажа, с библиотеки и корректуры. Я уже стал проявлять нетерпение: где же они? А они только спускаются на первый этаж. И я спустился туда.

А. Т. в отделе прозы. Все растерянные, не знают, что говорить.

Не знаю, сколько продолжалось это прощание. Мне показалось, долго, что-то около часа.

Потом мы собрались в кабинете А. Т. и решили тронуться на старую Володину квартиру — там уже что-то было подготовлено. Пирожки с мясом, ветчинка, рыбешка и водочка — наш традиционный «набор».

Тут стало как-то легче. А. Т., выпив, стал говорить о «Н. м.», о том, что значит журнал в его жизни:

— Я почти двадцать лет жизни отдал журналу. — И начал считать: сколько было в первый заход, сколько — во второй. Получилось что-то около восемнадцати лет (правильно — семнадцати). — Треть моей жизни. Не только сознательной. Вообще треть.

Подъехал Сац. Потом тут же появился Дементьев. И Дементьев предложил: «Давайте договоримся: каждый год, пока живы будем, собираться 20 февраля. Всем нашим наличным составом. Пусть это будет новомировский день». Предложение было трогательным. Я знаю, что А. Т. не любит театральные эффекты, а в таком предложении есть какой-то элемент театральности, а лучше сказать — затрепанности, даже инфантильности. Ну, казалось бы, чего нам, старым и седым, договариваться как юношам? Но тут и А. Т. растрогался и поддержал Дементьева. Вот и перевернулась почти уже окончательно, да что почти — окончательно наша долгая, странная, горькая, и печальная, и трижды радостная страница...

Вот и я стал сентиментально-торжественным.

— А приезжать еще придется, — сказал А. Т. — Ведь дела-то еще надо сдавать. Вот еще морока.

Но в понедельник он все-таки сказал: «Не буду».

23/II—70 г. А. Т. приезжал. Все-таки не сидится ему дома. И ждет, видимо, вдруг вызовут к Брежневу. Ответа же на письмо никакого нет.

А. Т. уже дважды звонил в Секретариат Брежнева.

— Третий раз звонить не буду, — сказал он.

24/II—70 г. Приехал в редакцию в три. А. Т. снова сидел. Но на этот раз не собирался сидеть долго и уже надел шапку. «Что нового?» — спросил я. «Сидим на реках вавилонских и плакахом».

Нового ничего, никакого движения.

(Встреча с Брежневым, разумеется, не состоялась. А ведь при первом снятии А. Т. в 1954 году Хрущев через неделю после решения Секретариата ЦК об освобождении Твардовского принял его, и была очень недурная беседа.

Вообще на этот раз все было по-другому. Тогда А. Т. не хотел оставаться в журнале и даже не явился на заседание Секретариата ЦК, которое вел сам Никита Хрущев. Казалось, вызов, катастрофа. Но не было никакой катастрофы.

Теперь все было сделано хитро, потайно, скользко и мутно. Ни к кому не проешься, никто не осуждает и не обсуждает, и в то же время все делается...

И А. Т. на этот раз хотел остаться, не хотел уходить из журнала.)

28/II—70 г. Мой день рождения, и не простой день, а день пятидесятилетия, несчастливо совпал с разгромом журнала. И вот сегодня весь «Новый мир» пришел ко мне. Было ясно, что в таком составе мы встречаемся последний раз.

Надарили много всего. А. Т., говорят, очень много занимался подарками, как и что. И это было его последнее дело в журнале. Высокая, но печальная для меня честь.

Потом по мере выпитого появилось и веселье, и смех, и шутки, а потом и песни. А. Т. снова повторил то, что он говорил на прощанье у Лакшина, о важности новомировского периода в его жизни, равного («даже больше, чем равного») созданию «Теркина». Фотографировались. Я сфотографировался с А. Т. Только бы получилась карточка.

И уже когда все изрядно опьянели, то вроде забылось, что произошло и что нас ждет. А назавтра — похмелье.

2/III—70 г. Зашел сегодня, как вообще в последнее время, в «Н. м.», А. Т. не было. Я сидел в библиотеке, читал журналы для своей новой работы. Спустился вниз. Оказалось, что А. Т. уже поехал к Демичеву. Значит, все-таки тот решился поговорить. Часов около двух А. Т. приехал. Спокойный, усталый. Прошел в кабинет со словами: «Песен вы ждете моих, нет у меня их...» Разделся. Ничего не говорит. Попросил принести чаю. Потом, сидя в кресле, вздохнул, улыбнулся: «Да, вот так вот... Видимо, это была последняя встреча и другой не будет». Ясно, что намекнула на вызов к Брежневу.

Потом он снова повторил почти эту же фразу и добавил, что Демичев сказал: он доложит о беседе Политбюро. «Конечно, они побоялись допустить меня к Брежневу. Едущий там я выскажусь». Я почувствовал: он жалеет о том, что встреча не состоялась на самом верху. Но что бы она дала? Ничего. Колесо повернулось, и кто знает, когда оно пойдет в обратную сторону...

— Вот говорят, что сняли Любимова. Вполне возможно. А зачем им театр, когда и балета достаточно.

Видно было, что А. Т. не хочет говорить о встрече. «По протоколу полагалось час. Просидели час. Идти на обострение я не хотел. Какая нужда...»

«Коснулись поэмы?» — спросил Хитров. «Да, и поэмы коснулись. Но тоже как-то так, что ничего не поймешь... Он говорит мне: „Ходит слух, в том числе в партийном аппарате, что вас сняли за то, что вы якобы передали свою поэму за границу“. Утешает меня: „Ну, это ерунда. Мы никого в этом не обвиняем, а уж вас-то тем более!“».

(Но он же спустя полгода скажет другое.)

Шел уже третий час, и я решил ехать на свою новую и уже постылую работу. А. Т. крепко пожал мне руку и ничего не сказал: когда увидимся и пр. Слова, наверно, и не нужны были.

И когда я его теперь увижу?..

Виноградов принес пробу своих фотоснимков. Одна пленка у него совсем пропала. Но, к счастью, я с А. Т. сохранился. Он подарил мне и А. Т. пробу. А. Т. посмотрел, ничего не сказал и крепко придавил тяжелой карандашницей.

Вечером Би-би-си передало, что вышел № 1 «Н. м.», подписанный снятыми членами редколлегии и А. Т. «Но, видимо, № 2 выйдет уже без их подписей. Твардовский остается номинальным редактором журнала». Всё знают.

4/III—70 г. Вышла «Л. г.». В ней ничего об отставке. А я как дурак рано утром выбежал по морозу к киоску, хотел прочитать. Ничего нет.

(Информация о снятии главного редактора в «Н. м.» вообще не появилась. Не могу понять, почему. Но факт остается фактом. Волялись оповещать свет? Но свет и без того знал. Или ломали голову над формулировкой, устали и забыли со временем, а потом уже поздно — как хорошо, что поздно, можно и не помещать. Это тоже наш родной, русский способ выхода из сложных положений.)

14/III—70 г. Вчера договорились съездить к А. Т. Хитров звонил ему, и он сказал, что с большим удовольствием ждет нас. А до этого я звонил М. И. по своим редакционным делам, она сказала, что А. Т. чувствует себя хорошо. Позвоните ему, если он не ответит, то, значит, разгребает снег...

Поехали вдвоем — Хитров, Виноградов и я. Сеялся мелкий снежок. Было тихо... Говорили о многом, и я без системы запишу то, что сказал А. Т.

— Хорошо говорил о письме трех Анатолий Максимович Гольдберг. Сейчас за граница гудит о письме Сулова, Шелепина и Мазурова, которое они якобы подписали с критикой экономики страны, оказавшейся из-за неумелого руководства Брежнева и Косыгина в плачевном состоянии. Наш МИД вчера опроверг это...

...Все дело в том, что в Советском Союзе ничего не говорится о разногласиях в верхах. А ведь нет такого правительств, как он сказал, где не было бы никогда никаких разногласий. У нас нет гласности — вот во что упирается все дело. А ее не будет и при смене высшего руководства. Я Сулова знаю. «Новый мир» он не любит...

...Куда мы идем, никто не знает. Знаю только одно — хорошего не будет. Экономике резолюциями не спасешь. Единственная возможность спасти положение — это открыть все шлюзы для гласности, для откровенного разговора. Но именно этого они и не могут сделать. Потому что, если бы они думали иначе, они бы не ликвидировали «Новый мир», а, наоборот, поддержали его.

Я сказал, что, судя по всему, именно гласности — и следовательно, открытой прессы, свободной литературы — они пуще всего боятся, о чем говорит опыт Чехословакии. А. Т. усмехнулся:

— Удивительно, что мы так долго продержались после Чехословакии. Вообще удивительно, что мы долго были на плаву (эту мысль все мы, и не только мы, но и авторы «Н. м.» часто повторяют в последнее время).

Я напомнил А. Т. слова Первенцева: «Прежде чем вводить танки в Чехословакию, их надо было ввести в „Новый мир“».

А. Т.:— И ввели... Нам всегда казалось, что кончится «Н. м.» и над мачтами сомкнутся волны. Но вот я читаю много писем, и не от писателей, а от читателей. Пишут все — учителя, слесари, студенты,— пишут о нашей беде, и пишут так, что я вижу: волны не сомкнулись, нет, не сомкнулись, и мачта наша с нашим флагом еще трепещет над волнами. Наше дело живет.

...Вообще впереди много трудного, мне это ясно. Ясно, что как раз самые большие трудности еще впереди (эта мысль меня изумила, казалось бы, трагедия уже состоялась), а все-таки есть необратимые вещи, и, как говорят, а все-таки она вертится. Не могут они уже многого вернуть при всем желании. Вы думаете, Брежнев не хотелось вернуть страх? Хотелось бы. Но он этого не может. Правление Санчо Пансы (так он называет Хрущева), каким бы оно ни было, привело к переменам необратимым, к процессам неостановимым, хотя их и пытаются заморозить, обратить жизнь вспять. Но на этом рано или поздно они голову сломают.

...Но если бы даже случилось чудо, мы снова смогли бы собраться под крышей «Н. м.», у нас уже не будет того энтузиазма, той воли и настойчивости, уже в силу того, что жизнь будет простой и легкой. Мы уже будем другими в том невыносимом «Новом мире», в котором, как во сне, мы могли бы вновь оказаться...

Как А. Т. в свое время хотел уйти из «Н. м.», рвался. А теперь, я замечаю, что мечтал бы вернуться. Но чудес не бывает. И ему сейчас, может быть, труднее, чем нам. У нас есть дело, нам надо хотя бы зарабатывать деньги. У него дела нет. Писать? О чем? Для кого? Кто будет печатать? Читать книги? Но это уже совсем пенсионное дело! Пусть пройдет время — и примется, может быть, за лирику.

27/III—70 г. Академик Сахаров написал письмо и хотел, чтобы оно было коллективным. Ему не хотелось, чтобы подумали о его маниакальности (пишет и пишет). К тому же и другие подписи не помешали бы. И он послал копию — проект письма — своим друзьям академикам... Всего 13 человек. Но пока они читали, письмо стало известным не только им. И академиков стали поодиночке вызывать. И велели не подписывать. Старики перепугались. Все... Сахаров был потрясен. И решил поехать к А. Т. Но тут уже Рой Медведев встал грудью: «Зачем вы поедете к А. Т.? Вы поставите его в трудное положение. Он не любит коллективных писем и не подписывает их». И вызвался сам подписать — ему терять уже нечего. Сахаров согласился... В письме на имя Брежнева, Косыгина и Подгорного содержится анализ наших недостатков и 14 требований расширения демократии.

Сговаривался поехать к А. Т. Но никто не может. Наверно, поеду один. Хочется повидать его. Да и время у меня уходит попусту. Не лежит душа ни к чему.

3/IV—70 г. С А. Т. хотел встретиться приехавший в Москву Генрих Бёль. Позавчера (1 апреля) днем встречался с ним. Как говорит Ира Архангельская³², встреча была прекрасной. А. Т. чувствовал себя великолепно, был в ударе. Бёль тоже. А. Т. вспомнил самые первые рассказы Бёля, которые ему пересказывал Закс, прочитавший их на немецком. Память у А. Т. удивительная. Он вспомнил два рассказа в деталях! И Бёль был растроган. Они остряли, шутили, потом А. Т. поехал с ним в ресторан, где еще малость посидели. А когда простились, А. Т. вместе с Архангельской пошел к Пушкинской площади... И там замялся... «А может быть, мы позвоним и Миша (Хитров) к нам придет?» «Я,— говорит Архангельская,— была потрясена. Ему хотелось зайти в «Новый мир»! Это было видно. Но он не мог зайти и хотел хотя бы увидеть Мишу Человека оттуда».

4/IV—70 г. Все размышлял: ехать к А. Т. или нет? Холодно. Дождь идет, съедает снег. Но и дома что делать? Поехал. Сначала зашел к Дементьеву. Посидели, выпили...

Пошли к А. Т. Он удивительно спокоен и как бы отрешен от суеты. Говорил, что разбирает свои бумаги. Боится, что пес все перевернет или съест (как у Ньютона). Смеется, конечно.

Начали говорить о том о сем. Я сказал, что, самое странное, сейчас снимают тех, кто снимал только что нас. А. Т. засмеялся. А потом серьезно: «Сняли Соболе-

³² Архангельская И. П.— заведующая отделом зарубежной литературы «Нового мира».

ва... Вы обратили внимание на то, что не выбрали тех, кто провел комиссию с Солженицыным?» Я в этом не вижу особого знака и смысла. Но, с другой стороны, ведь шел же слух, что Соболева снимают за неумелое исключение Солженицына...

А. Т.:— Я встречался с Бёлем. Была хорошая встреча. Бёль сказал, что Солженицын — самая вероятная, даже единственная кандидатура на Нобелевскую премию в этом году.

Я:— Да, но теперь уже не организуешь дело Пастернака.

А. Т.:— Да, оно уже проиграно. Второй раз невозможно проигрывать, в том-то и суть. И как бы умно было восстановить Солженицына в Союзе...

Он часто повторяет эту мысль, раньше добавлял: «И издали бы «Раковый корпус» или «В круге первом»...» Сейчас об этом сказал только Дементьев.

Дементьев стал читать письмо трех (сахаровское). Его привез Рой. Он сказал, что тринадцать академиков не подписали. Я же в свою очередь не хотел говорить о желании Сахарова относительно А. Т. И просил Дементьева не говорить. Судя по всему, не говорил и Рой.

А. Т., уже читавший письмо, слушал его с большим вниманием, как обычно слушают то, что особенно нравится. Когда Сахаров перечисляет недостатки в нашей экономике и пр.— кратко, но серьезно, глубоко, А. Т. сказал:

— За каждой строчкой здесь столько скрыто, столько стоит существенного.

Вообще все так не похоже на наши официальные доклады. И не только на них. Вряд ли на заседании Политбюро хоть один раз звучала такая основательнейшая и глубокая критика. Говорится о том, что мы не только не догоняем капиталистические страны, но и все больше и больше отстаем от них...

Письмо умное, и я, по правде говоря, не усмотрел в нем наивностей, о которых вчера мне говорили... Если и есть наивности, то наивен замысел самого письма. Ну кто, прочитав его, послушается, согласится? Для этого Брежневу надо быть не Брежневым, а Сахаровым. А это уже фантастика.

А. Т. кивал головой, взглядывал на меня в особых моментах. В письме (особенно вначале) подчеркиваются преимущества социалистического хозяйствования.

А. Т.:— Видите, он совсем не против, наоборот, его не упрекнешь ни в чем...

Много о том, что изменения надо проводить постепенно, поэтапно. И это А. Т. подчеркивал:

— Он не говорит: ломай, меняй, а, напротив,— все время о постепенности изменений. Этим он как бы подчеркивает реальность предлагаемых изменений.

Но кто пойдет на четырнадцать сахаровских предложений?

И главное — о необходимости гласности, интеллектуальной свободы и даже о предоставлении прав группам лиц издавать свои печатные органы. В сущности, все — в пределах буржуазной демократии. Мы ее клянем, а она для нас — недостижимое будущее, далекое.

Дементьев смеялся:— Вот мы сидим здесь, давайте организуем свой журнал. Мы же группа лиц. А. Т. спокойно улыбался.

Пошли пить чай. Дементьев стал читать про себя.

А. Т.:— Ты не читай про себя. Дай другим послушать...

И снова говорил, как можно все устроить и сделать и как мы ничего не можем, не хотим, боимся что-либо сделать.

Я хватился в начале десятого. Надо ехать. А. Т. стал оставлять меня у себя: «Ну куда же вы в таких ботиночках. Вы же воспаление легких подхватите». Но оставаться мне было нельзя. А. Т. вызвался меня провезать. Надел сапоги. Спросил, не дать ли мне его ботинки. «Какой у вас размер?» — «У вас какой, наверно, сорок четвертый?» — «Да, сорок четвертый». — «Ну куда же мне их надевать».

Вышли на улицу, тепло. Темно. Свежо от тающего повсюду снега. А. Т. пошел к Жданову В. В. Он напротив. Тот компанейский человек, выскочил, что-то жуя. Тотчас же согласился отвезти меня до 36-го километра. «Но только, А. Т., потом ко мне чай пить. А то я не допил чай...» Вытащили машину с другой дачи. А. Т. и Дементьев тянули ее за кузов. Я сел...

Попрощались. Я поехал, а А. Т., в курточке спортивной, в сапогах — весь дачный, необычный, помахал мне рукой... И пес у его ноги...

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО

*

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЛЕКSIKON

Литература позднего сталинизма

Они всегда перед нами. Просто их раньше было больше, сейчас — меньше. Но даже когда они вовсе исчезнут с наших глаз, еще долго им оставаться в общественном сознании, управлять какими-то неведомыми законами мышления, ведь они уже в генах. Я всегда долго смотрю на них, делаю по многу кругов вокруг здания МГУ на Ленинских горах или вокруг высотки на площади Восстания. А можно выйти почти на любой из станций московского метро в кольцевом радиусе и как будто провалиться в тот мир, обойти Ленинку, забыв, что вокруг люди, да просто пройти по ВДНХ, по улицам любого нашего города. Вот они — отметины: шахтер с отбойным молотком, колхозница со снопом, девушка с веслом, юноша с диском, пионер, отдающий салют, инженер с рудоном чертежей под мышкой, женщина в национальном костюме, сталевар в каске... Бесконечен ряд. Впрочем, нет. Он вполне исчисляем. Я смотрю на репродукцию картины Григория Брускина «Фундаментальный лексикон» (на аукционе «Сотбис» год назад в Москве эта картина была продана за рекордную цену). Поделенная на клетки, она содержит сто с лишним знаков этого «лексикона». Например, воин с винтовкой в руках возле пограничного столба и текст: «граница на замке» или что-то в том же роде. Если со снопом, то колхозница, если с обушком, то шахтер... Разбив на клетки картину, поместив в них застывших в камне своих героев, художник распластал на полотне разбитое на ячейки наше сознание.

Между тем на знаменитых высотах рубежа 50-х годов скульптурные изображения разрушаются, да так стремительно и неотвратно, что каждый, кто взглянет увидит на них, уже сильно выщербленных, сети. Для безопасности людей. Удивительный символ: окутанные сетями массивные базальтовые фигуры, служившие символом вечной власти и государственности. Доживая свой век, они грозят — теперь уже вроде не Человеку, а просто прохожему.

Вот здесь, пожалуй, главное: кому грозят эти статуарные изображения на фронтонах? Я потому и обратился к изобразительному ряду, что он таит в себе ряд литературный. Здесь перед нами в камне то же, что не так давно было в слове.

Послевоенная литература отдалась, стала «вещью в себе» столь стремительно что даже те, кто активно работал и существовал в ней, ощутили ее завершенность буквально через несколько лет после начала оттепели. Однако если одни отвернулись от послевоенной литературы как от кошмарного сна (сразу: начиная со знаменитых новомирских статей В. Померанцева — 1953, № 12, и Ф. Абрамова — 1954, № 4), то другие еще до недавнего времени продолжали говорить о послевоенной литературе как о «большой литературе» (от А. Овчаренко до С. Петрова, от А. Метченко до Л. Ершова, от Вас. Новикова до П. Выходцева), а третьи говорят о ней примерно так же и сегодня¹. Между тем ни «на расстоянья», ни «лицом к лицу» эта литература осознана по сути, не была.

¹ «Плодотворное развитие художественного процесса... не могли прервать... ни постановления 1946—1948 годов, принятие которых сопровождалось публичным шельмованием крупных представителей художественной интеллигенции, ни бешеные атаки на «компаративизм» и «космополитизм», ни искусственное насаждение теории бесконфликтности, ни преследования сатиры, ни схоластические требования «баланса» в изображении положительных и отрицательных сторон бытия. Литература исполняла свой долг...» (И. Эвентов. — «Литературная газета», 1988, № 45).

Собственно, о послевоенной литературе нельзя говорить как о литературном процессе. Ее уникальная особенность — совершенное отсутствие реального движения и собственной критики как внутреннего саморегулятора.

Полемика здесь велась на таком только уровне: в какой мере в романе С. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» присутствуют элементы некоторой сусальности, умиленности? Спор шел по кругу: в большей мере, в меньшей мере и, наконец, вовсе нет никаких таких элементов².

Впрочем, даже такие дискуссии скоро прекратились. В 1949 году грянула кампания борьбы с «критиками-космополитами», «антипатриотической критикой», которая, «холопствуя перед буржуазной культурой», «отравляла здоровую атмосферу советского искусства зловонием буржуазного ура-космополитизма, эстетства и барского снобизма» (из доклада А. Софронова на партийном собрании ССП — «Правда», 1949, 11 февраля). По существу, началось искоренение критики, переросшее в перманентный процесс. Лишившись возможности быть выразителем общественного самосознания, литература обязалась не замечать и этой потери, должна была лишиться осознания себя самой.

К этим тягостным страницам истории отечественной литературы и позже почти не обращались. Такое отношение к себе литература эта, конечно, заслужила. Но культура не терпит лагун, в ней их просто не бывает. И как бы ни стремились мы уйти от прошлого, ничто не отменит необходимости его историко-гуманитарного анализа. По сути, в послевоенной литературе раскрывается тот фундаментальный лексикон, который и противопоставит «новому мышлению» (оно ведь и ново по отношению к нему) и который предстоит изжить всему обществу. Это его нужно «по капле выдавливать из себя». Он здесь вербализован.

На фоне возникающей сегодня реальной истории советской литературы послевоенный ее период, несомненно, важнейшее звено. Здесь — некий нервный центр истории, здесь происходит завершение целого этапа литературного развития, таятся «начала» и «концы». М. Чудакова («Новый мир», 1988, № 9) показала, как шел литературный процесс в 20—30-е годы. Это был именно процесс — сложная, мучительная, трагическая ломка общественного сознания, художественного мышления, внедрение социального заказа в тончайший механизм творчества на всех уровнях — от замысла до воплощения и влияния. Но верно и то, что, как пишет исследовательница, уже в 30-е годы «насильственно сузился спектр возможностей литературы и резко замедлилась литературная динамика». К концу 30-х годов процесс исчерпался, и уже сразу после войны (а отчасти и во время войны — тот литературный период еще ждет объективного исследования) литература вошла в зону остановленного времени. Первейшим признаком такой статичности можно считать совершенно изменившуюся природу творческого акта — социальный заказ больше не нужно было внедрять, все образцы уже были даны. В этом смысле формулировки известных постановлений по вопросам литературы и искусства и ждановских речей, да и всей последовавшей кампании в критике не несли фактически ничего нового — требования к литературе (а она к этому времени научилась в страшном горниле 30-х годов языку требований) остались прежними, система ориентиров просто была закреплена.

Жесткость же формулировок и оценок, относящихся прежде всего к Зощенко и Ахматовой, лишь подтверждает это: они были не только несправедливыми (что очевидно), но именно незаслуженными в том смысле, что к молчаливым в это время авторам претензии предъявлялись совершенно случайные. Конечно, сам выбор объектов шельмования был неслучайным. Но ведь, к примеру, все исследователи творчества Зощенко проводят решительную границу между его рассказами и фельетонами 20-х годов и тем, что было создано им в 30—40-е годы. Поменяв, как говорил он сам, «курс литературного корабля», Зощенко изменил отношение и к герою как предмету сатиры, а отсюда — трансформация языка, стиля, сюжетно-композиционной системы прозы. Это были глубинные сломы на уровне поэтики, в сфере художественного мышления. Качественно изменилась и сама сатира, где на первый план вышло прямое учительство.

² С такими «спорами» во множестве можно встретиться на страницах тогдашней периодики. Например, в одной из дискуссий на страницах «Нового мира» критика Д. Даниным поэмы Н. Грибачева «Колхоз «Большевик» объявлялась «ошибочной», а в связи с полемикой всдруг «Кавалера Золотой Звезды» в редакционной статье говорилось, что правильной следует признать оценку романа, данную И. Рябовым, «хорошо знающим современную колхозную деревню» (творчество С. Бабаевского он объявлял эталоном), а не Т. Мотылевой, «никогда не изучавшей колхозной жизни» («Новый мир», 1948, № 12, стр. 198).

Поэтому неожиданную (прежде всего для самого автора и вне всякого контекста) публикацию рассказа для детей нельзя понять иначе, чем провокацию и повод к травле, которая, конечно, не была самоцелью, но, в свою очередь, прологом к более значительной идеологической акции, цель которой — окончательное превращение социального заказа в надличный долг и приказ, о чем прямо было сказано в известном Ждановском докладе: «Вы поставлены на передовую линию фронта идеологии, у вас огромные задачи, имеющие международное значение, и это должно поднять чувство ответственности каждого подлинного советского литератора перед своим народом, государством, партией, сознание важности исполняемого долга».

Долг, а тем более приказ следует выполнять, внедрять его не нужно, и это обстоятельство здесь весьма существенно. Если социальный заказ должен был войти в акт творчества и такое «вхождение» требовало в внутренней переналадки, что и определило трагическую динамику творческого процесса в 20—30-е годы, то в послевоенной литературе весь «процесс» сводился лишь к чередованию идеологических кампаний, означающих не более чем смену тем (можно специальным исследованием показать, как формировалась и функционировала, скажем, тема борьбы с космополитизмом). Даже только что отошедшая война, страшная рана, продолжавшая кровоточить, сразу овнешнилась и превратилась в еще одну тему.

Процесс 20—30-х годов стал в послевоенной литературе результатом и исходом. Уже нечего было ломать — литература была повержена. Впервые импульсом к созданию произведения (об акте творчества здесь говорить, очевидно, не приходится) стала откровенная конъюнктурность (один из недавних примеров — история создания некоторых симоновских произведений по его воспоминаниям; если бы мы прикоснулись к архивам писателей тех лет, открылись бы истинные масштабы явления и драматизм ситуации). Переналадка механизма творчества с исследования действительности на ее апологетику была абсолютно губительной для всякого творчества. В самой основе послевоенной литературы исчезли стимулы к процессу, но чрезвычайно жесткими стали импульсы к единообразию и статике. Когда мысленно охватываешь послевоенную литературу, всегда видишь ее как некий массив произведений. Выйти за рамки тематики или предложенной шкалы оценок стало невозможным (пример второй редакции «Молодой гвардии» в этом смысле весьма красноречив: Фадеев сам создавал канон в 20-е годы, из которого ему же не было позволено выйти в 40-е; золотая клетка захлопнулась).

Да, в послевоенное десятилетие были опубликованы «Дом у дороги» А. Твардовского, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «За правое дело» В. Гроссмана, «Семья Иванова» («Возвращение») А. Платонова и некоторые другие достойные вещи. Но, оглядев «массив», нетрудно понять, что перед нами исключения (хотя роман В. Гроссмана в целом оставался в русле господствующей традиции «панорамного романа»), лишь подтверждающие правило.

Например, удостоенная Сталинской премии в 1947 году повесть В. Некрасова уже через год подверглась откровенной атаке именно за свою «окопность» (а всегда следует помнить, что в критике этих лет ничего случайного не было, здесь практически отсутствовали «частные» мнения). «На войне никогда ничего не делаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится» — это, разумеется, никак не укладывалось в русло требуемого, и уже в 1948 году на страницах «Нового мира» (№ 3) Б. Соловьев заявил о недостатке идейности в таком принципе отбора материала, позиция же Б. Брайниной, положительно оценившей повесть, в цитируемой выше новомосковской редакционной статье «За большевистскую партийность литературной критики» (№ 12) была названа «объективистской». Но лучшим доказательством того, что повесть В. Некрасова совершенно выпадала из послевоенной литературы, является сам характер тогдашних книг о войне и то, что именно В. Некрасов стал знаменем для писателей, определивших на рубеже 60-х годов новую волну военной прозы. В 1989 году один из них, В. Быков, скажет: «Виктор Некрасов увидел на войне интеллигента и в отличие от расхожего в нашей литературе взгляда на него как на хлопчика... утвердил его правоту и его значение как носителя духовных ценностей... Наверное, это было непросто: в стране, где уничтожено крестьянство, по давлена инициатива рабочих масс, интеллигенция оказалась единственно возможным фактором духовного прогресса... Конечно, во многом В. Некрасов опередил свое время и, как нередко случается... в итоге за это сурово поплатился» («Литературная газета», 1989, № 3).

Роман же В. Гроссмана был встречен в штыки сразу: достаточно вспомнить разгромные статьи в двух центральных партийных изданиях — М. Бубеннова в «Правде» (13 февраля 1953 года) и статью А. Лекторского в журнале «Коммунист» (1953, № 3) с характерным названием «Роман, искажающий образы советских людей». Что касается рассказа А. Платонова, то ведь после печально знаменитой статьи В. Ермилова «Клеветнический рассказ А. Платонова» («Литературная газета», 1947, 4 января) его публикация в этот период была фактически дезавуирована и не могла расцениваться иначе как «грубая политическая ошибка» редакции «Нового мира». Вспомним и о судьбе стихотворения М. Исаковского «Враги сожгли родную хату».

В целом же послевоенная литература не знает неких взлетов, не знает она и падений, и если, скажем, повести В. Пановой «психологичнее» производственного романа, то здесь следует видеть лишь оттенок в спектре возможного для данной системы, допустимого уровня психологизма. Это ощущение единого однообразного потока будет сопровождать всякого, кто решит окунуться в послевоенную литературу. Подозреваю, что критический метод говорить о литературе обоими писательских имен окончательно закрепился именно в это время. Нужно заметить, что речь идет о «массиве» очень внушительном — это тысячи произведений абсолютно всех жанров и видов, включая романы в стихах. И хотя большинство их неизвестно сколько-нибудь широкому кругу сегодняшних читателей, эта «неизвестная литература» живет в нашем подсознании, определяет набор принципов, которыми подчас так трудно поступиться, порождая и возрождая мифотворческое мышление. В этом широком плане «фундаментальный лексикон» был дитячьем эпохи, когда «арифметический гуманизм» («лес рубят — щепки летят») стал до осязаемости наглядным, застывшим после кровавой «динамики» конца 30-х годов, когда окончательно выкристаллизовалась та общественная модель, в которой личность — мера и масштаб «социальной архитектуры» (О. Манделштам) — уже не стоила ничего. Мы имеем дело с новой семантикой глубинного общекультурного сдвига, захватившего практически все сферы общественного сознания, изменившего мировосприятие, умственный склад людей эпохи. Напомню, что в знаменитом сталинском тосте на приеме в Кремле в честь участников Парада Победы всего в нескольких предложениях человек трижды назван винтиком («Правда», 1945, 27 июня). Художник выразил то же лаконичнее, чем вождь, в чеканном афоризме: «Личность является функцией эпохи» (А. Н. Толстой)³. В центр окончательно выдвигается героический персонаж, то есть человек, полностью находящийся себя в существующем миропорядке, в системе уже готовых ценностей⁴.

Плацдарм самосознания был, таким образом, сужен до пяточка. Пятачок же этот был неуютным, как выстуженная квартира с казенной мебелью. Отсюда — стремление очеловечить его, озарить, наполнить светом, радостью, бодростью, оптимизмом. Эта установка закрепилась в самих названиях: «Свет над землей», «Свет над полями», «Свет над Липском», «Солнце Алтая», «Земля в цвету», «Счастье» (П. Павленко), «Счастье» (К. Баялинова), «Голубые огни», «Голубые поля», «Молодость с нами», «Песнь над водами», «Вершины жизни», «Счастливы день», «Крылатые люди», «Будущее начинается», «Звезда счастья», «Наша молодость», «Восход», «Молодость», «Всегда вперед», «Звезды не меркнут», «Дорога к счастью», «Заря», «Заре навстречу», «На утренней заре», «Московские зори», «Солнце, которое не заходит», «Счастливым путем»... Как можно больше весеннего чувства, широты, простора! «Над страной весенний ветер веет». Узок пяточок, но — «широка страна моя родная»; человек — функция, но — «с каждым днем все радостнее жить»... Вот они — «Весенние ветры», «Весенняя пора», «Ручьи весенние», «Весна в «Победе», «Весны гонцы», «Весна», «Весна на Одере», «Большой разлив», «Дали лазурные», «Какой простор», «Ветер века», «Ветер с моря», «Ветер с юга»; где ветры, весна, там и дорога — «Дорога на простор», «Дорога вглубь», «Дорога на Океан», «Дороги, которые мы выбираем», «Дороги». Пространства задают и оптику — «Большая дорога», «Большая судьба», «Большая родня», «Большая семья», «Большое искусство». «Большой день»... Даже человек, не бравший в руки ни одной из названных книг, должен ощутить соответствующий настрой.

Дело, впрочем, не в названиях, а в самой фабуле. «Счастье» было эфемерным,

³ «Русские писатели о литературном труде». В четырех томах. Л. 1956, т. 4, стр. 495.

⁴ См.: В. И. Тютя. Художественность литературного произведения. Красноярск. 1987, стр. 99—112.

все зависело от взгляда. Для П. Павленко послевоенный Крым — «прелесть изобилия». Нельзя, конечно, поверить, что П. Павленко, будучи с 1945 по 1951 год секретарем крымской писательской организации, не видел или не знал реальности. Видел и знал, а потому ложь здесь сознательная.

Говоря о бесконфликтности послевоенной литературы, нужно принимать во внимание весь идеологический фон и контекст этого явления. В цитированном уже ждановском докладе долг советского писателя был сформулирован совершенно четко: «...отбирать лучшие чувства и качества советского человека», «раскрывать перед ним завтрашний его день». Ясно поставленная задача начала «проворачиваться» в критике: в конце 40-х годов прошла «дискуссия» о соотношении реализма и романтизма в советской литературе. Тогда-то и была окончательно скорректирована мысль Чернышевского о том, что прекрасное есть жизнь: по ермиловской формуле, прекрасное — это наша жизнь. Можно проследить все этапы зарождения знаменитой формулы.

Так, выступая в дискуссии на страницах «Октября» (1947, № 8), О. Грудцова доказывала, что мирная действительность не дает материала художнику для того, чтобы развернуть характер своего героя в борьбе, в преодолении трудностей. В рецензии на кинофильм «Сельский врач» Н. Вирта с пафосом утверждал: советская жизнь «не позволяет конфликту между остатками капитализма в сознании людей и между сознанием коммунистическим перерасти в сложную, длительную драматическую коллизию» (к чему подобные заявления привели в драматургии, понял даже тогдашний официоз, заговоривший о ее «отставании»). Наконец, сам В. Ермилов в статье «Поэзия нашей действительности», посвященной роману «Далеко от Москвы», уже определенно утверждал слияние прекрасного и реального в нашей жизни

Впрочем, все это — производные от понимания человека как функции. Обезличивание личности, овнешнение героя, примат внеположного герою мира были порождены искаженным, социоцентрическим взглядом на место человека в обществе и истории. Определение же литературного героя как «положительного» или «отрицательного» и стало той крайней стадией его овнешнения, на которой выход к началу личностному, а не ролевому просто невозможен. В свою очередь, герой как функция некоего надличного процесса, человек, обретший себя в «ячейке» существующего миропорядка, на работе, на производстве, определил собой производственный роман — один из главных, принципиальных жанров в системе послевоенной прозы.

«Труд» А. Авдеенко, «Новый профиль» А. Бека, «Путь открыт» Ю. Лаптева, «Широкое течение» А. Андреева, «К вершинам» А. Рычагова, «Решающие годы» С. Болдырева, «Стахановцы» П. Шебунина...

Кого здесь только нет: рыболовы («Плавающая станица» В. Закруткина) и металлурги («Сталь и шлак» В. Попова, «Первое дерзание» В. Очеретина), мелиораторы («Живая вода» А. Кожевникова), горновые («Горячий час» О. Зив) и строители домен («Высота» Е. Воробьева). А дальше уж и не нужно говорить, о ком это, — «Шахтеры» В. Игишева, «Металлисты» А. Былинова, «Матросы» А. Первенцева, «Водители» А. Рыбакова, «Конструкторы» Н. Павлова, «Инженеры» М. Слонимского, «Студенты» Ю. Трифонова, «Колхозники» И. Котенко, тут и «Хлеборобы», и «Комбайнеры», и «Сыны завода», и «Товарищ агроном», и «Секретарь партбюро», и «Секретарь обкома», и «Младший советник юстиции», и просто «Высокая должность»!

Нельзя сказать, что романы эти совершенно одинаковы. Они, конечно, очень разные романы — не по уровню (по уровню они все близки) и не по концепции личности (она везде одна — это концепция безличности), но по обороту фабулы: меняется фон, несколько смещается общий план — тут семья занимает больше места, там меньше, тут проблема отцов и детей поставлена так, там иначе, тут «интимная линия» такая, там она видоизменилась и т. д. Для демонстрации беру наугад «Конструкторов» Н. Павлова.

По «законам жанра» в центре — производственная линия, в данном случае разработка котла новой конструкции. Проблема: инженер Шабалов колеблется — перейти в институт в Ленинграде и там разработать свой проект или остаться на заводе и заниматься проектом здесь. В институте, конечно, условия для работы лучше, но заводской коллектив здоровее — здесь прекрасные люди, простые рабочие, и потому завод покидать тяжело. Дальше идет инструментовка, друзья со своими со-

ветами (настоящие друзья советуют, конечно, остаться на заводе); подключается тема отцов и детей (отец и сын Горины соревнуются в учебе) и, наконец, интимная линия: жена Шабалова вдруг понимает, что, оставив работу, она отстает от жизни, вдобавок на двадцать третьем году супружеской жизни она вдруг увидела, что муж, увлеченный любимым делом, почти не уделяет внимания дому. Идет серия упреков-диалогов, после чего муж одумался, укрепил семейное согласие и остался на заводе. По ходу романа появляются другие герой-функции — энтузиаст-конструктор Гладких, Гаркуша, исчезающие по мере выполнения своих сюжетных обязанностей.

Такой вот роман Мере не хуже и не лучше прочих. К тому же это относительно легкое чтение — здесь нет неимоверного количества терминов и описаний производственных процессов, как в других романах этого типа.

Все здесь знаменательно: непрописанные фоновые персонажи, совершенная немотивированность поведения центральных героев, говорящая о том, что и они, в общем, производны от системы, в которой функционируют (завод, цех, институт, полевой стан, ферма...).

Это подчинение внутреннему функциональному особенно зримо в поэзии тех лет, где подобные произведения идут буквально косяком, — «колхозные поэмы» (В. Замятина, например) или «производственные поэмы». Характерна в этом смысле поэма М. Луконина «Рабочий день», в которой изображается один день на Сталинградском тракторном заводе: рифмуется, оказывается, даже сам производственный процесс (глава «Трактор сходит с конвейера»). Точно так же зарифмовать можно и профессионально-ролевой ряд, как, скажем, в цикле стихотворений С. Смирнова «В нашем районе», где перед нами пройдут «поэтические образы героев» — лесовод, садовница («хозяйственная женщина»), муж и жена трактористы и даже... энтомолог!

В середине 50-х годов появилось сразу несколько «романов в стихах» (В. Саянова, Е. Долматовского, И. Авраменко), и если бы читатель хотя бы прикоснулся к ним, то был бы поражен вот этим совершенным слиянием человека с его определением, «пределом», с ролевой функцией. Из «романа в стихах» И. Авраменко «Дом на Мойке»: «И взлетал, и падал я... Но в славном коллективе свой опыт неразменный обрел — и тверже становился и строптивей. И если отставал порою завод, сбивался в темпах с курса боевого, — мучительно искал я в сердце слово, способное и жечь и звать вперед».

Все это — наш фундаментальный лексикон. Мы никогда не найдем здесь хотя бы одного не маркированного, не меченого человека: он колхозник, инженер, конструктор, пионер, октябренок, на худой конец — спортсмен (и то лишь для того, чтобы быть готовым «к труду и обороне»). Существо о-пределенное, в принципе вписанное в заверченный миропорядок.

Исходя из этого образа мышления, Ф. Панферов был абсолютно последовательным, когда в 1958 году писал в «Октябре» (№ 11): «У нас есть такие ретивые критики, которые частенько высмеивают у писателей картины, в которых двое влюбленных «сходятся под луной» и в конце концов обязательно заговаривают о делах завода или фабрики. Да. Обязательно. Иного и быть не может, ибо для советского человека труд, трудовые процессы, социалистические производственные отношения стали основой основ жизни и деятельности».

Хочет оно того или нет, искусство должно отвечать на вечный вопрос. Л. Толстой сформулировал его так: «Телеграфы, чтобы передавать что?.. Книги, газеты, чтобы распространять сведения о чем? Железные дороги, чтобы ездить кому и куда?.. Больницы, врачи, аптеки для того, чтобы продолжать жизнь, а продолжать жизнь зачем?» На эти вечные вопросы искусство отвечает всегда. Отвечает по-разному, с разной степенью глубины, но никогда прежде в искусстве не делалось попыток аннулировать эти вопросы столь откровенно. Ибо ответить, что в мире есть телеграфисты, железнодорожники и пассажиры, писатели и газетчики, врачи и аптекари и все они тождественны своей функции, — значит, по сути, снять вопрос.

Вот сцена из романа Е. Катерли «Дальняя дорога»: Тоня, героиня романа, бежит, напевая песенку которую только что передавали по радио; в песенке Девушка звала милого Сережу погулять, а тот отвечал очень сознательными словами:

Он говорил: прости, родная,
Теперь горячая пора,
Вудем после урожая
Целоваться до утра.

Это стало штампом в «колхозных» романах, поэмах, пьесах того времени: все сколько-нибудь человеческое откладывается на потом, а сейчас — «прости, родная»: «горячая пора» («Горячая пора», «Горячий час», «Горячее время», «Горячая земля» — все названия тех лет) В горячее время нужно снимать перенапряжение, усталость, и потому, как заявит Арк. Эльяшевич, «нам нужна праздничная литература!» («Звезда», 1954, № 10, стр. 184). Перед нами замкнутая, строго иерархическая система, на одном полюсе которой «высокая литература» с ее героиней, а на другом — «легкая», комедийная, вполне опереточная по строю и сюжету (на манер «Кубанских казаков»). На обоих полюсах — праздник, счастье, счастливый финал, хотя главным был «высокий» — функционально-производственный полюс.

А критика совершенно серьезно писала о том, что «в романе идет речь о техническом прогрессе в сельском хозяйстве, о новой технике, вошедшей в деревенский обиход. Писатель рассказывает о трудностях в деле освоения этой техники. Он заостряет проблему овладения электромотором...» (таким образом высказывался И. Рябов о романе С. Бабаевского «Свет над землей»). Или: «...широко разработана художественными средствами народнохозяйственная проблема выдающегося значения», а именно — «борьба за создание и внедрение новой передовой техники угледобычи» (так В. Кожевников писал о романе А. Волошина «Земля Кузнецкая» — «Правда», 25 августа 1951 года) Воистину «довлеет днєви злѡба его».

«Бесконфликтность» появляется неизменно там, где человек вытеснен за пределы художественного исследования. Даже А. Корнейчук, говоря на Втором Всесоюзном съезде писателей о пьесах вроде «Огненной реки» В. Кожевникова, состоящей из бесконечных пререканий героев насчет методов плавки чугуна, или вроде «Съновой Москвы» Н. Рожкова, где в центре — дискуссия о тонкостях кузнечного дела, вынужден был признать, что подобные пьесы «становились справочниками по тем или иным отраслям сельского хозяйства и промышленности, но никак не взволнованным рассказом о человеческих судьбах»⁵.

Я сказал «даже Корнейчук» потому, что именно он создал классический образец пьесы, основанной на «конфликте хорошего с лучшим». В его «Калиновой роще» так именно и происходит: между председателем Романюком, который ругает за «средний уровень», и передовыми колхозниками назревает коллизия, поскольку те не хотят довольствоваться только «хорошим». Перефразируя булгаковского профессора Преображенского, можно сказать: «Не угодно ли — конфликт!»

Что сказать о насквозь фальшивой военной прозе, населенной солдатами с горящими глазами, политруками, говорящими правильные речи⁶, когда даже в связи с произведениями В. Пановой и Г. Николаевой, которые обычно выделяют из общего потока как отличающиеся более высоким уровнем правды, всерьез говорить о реализме не приходится. В знаменитой «Жатве» Г. Николаевой за немыслимо короткий срок отстающий колхоз превращается в передовой. И если в начале романа Василию Бортникову стоит огромных усилий заставить колхозников выйти на работу, то в конце романа он запрещает им работать во время обеденного перерыва. А в повести В. Пановой «Ясный берег» главным событием, взбудоражившим весь район, стала... незаконная продажа племенной телки белорусскому колхозу.

Все относительно, и поэтому психологизм «Спутников» и «Кружилихи» В. Пановой возвышает эти вещи над производственными романами. Однако и здесь вместо постижения внутреннего мира персонажа методически совершается авторский суд над ним. Впрочем, от автора мало что и зависит: шкала ценностей ему задана наперед. Такой психологизм позволяет лишь с большей «убедительностью» вознести или низвергнуть героя, допустим, не просто назвать мерзавцем, но как бы подвести читателя к подобной оценке. Этот психологизм «Разгрома» был блестяще усвоен В. Пановой.

Вот перед нами герой «Спутников» холеный себялюбец Супругов — человек чужой в санитарном поезде. Для косвенной (в измерениях психологизма послевоенной прозы) характеристики этого героя достаточно одной сцены: когда во время обеда врывается взволнованная медсестра и сообщает, что у тяжело раненной жен-

⁵ «Второй Всесоюзный съезд советских писателей. 15—26 декабря 1954 года». Стенографический отчет. М. 1956, стр. 186.

⁶ Недавнее напоминание — рецензия Г. Медведицкого на неожиданно переизданный роман Ф. Панферова «Борьба за мир» (М. «Правда», 1988) в журнале «Знамя» (1990, № 2). (Прим. ред.)

щины начались преждевременные роды, он не спеша задает ей вопросы, прожевывая свинину, смазанную горчицей. Не только сестра Смирнова, но и читатель с отвращением должен смотреть на эту вилку с куском мяса, «которую благоговейно-неподвижно, торчком, держал перед собой Супругов», и у читателя должно появиться желание «вышибить у него тарелку из-под носа...».

Важно понять, что дело тут вовсе не в «мастерстве лепки характеров», в его отсутствии или наличии, а в самом типе оценки героя — оценки неперменной и открытой. Хотя и система предписанных установок не всегда могла обеспечить автору точность читательского понимания. Скажем, в «Кружилихе» появляется директор завода генерал Листопад, и оценка этого героя как будто однозначна: властолюбив, оскорбляет подчиненных, падок на лесть...— фигура явно несимпатичная. Но о листопадовщине как отрицательном явлении станут говорить позже, автор же откровенно... любит своим героем. Стержень самостоятельного мышления был выбит, систему оценок зашкалило; черное и белое смешалось...

Начало 50-х годов ознаменовалось появлением большого числа романов с молодым героем в центре. Блистательный путь, который он проходил, лишь на первый взгляд может показаться безобидной выдумкой.

Вот паренек Антон Карнилин — неопытный подсобный рабочий-подавальщик из романа А. Андреева «Широкое течение» — за короткое время становится не просто передовым кузнецом, но — лауреатом Сталинской премии.

С другим героем (роман Е. Пермяка «Драгоценное наследство») происходят еще более удивительные вещи: на втором году обучения в ремесленном училище он придумывает... новый тип домны и обретает всесоюзную славу, а в конце романа он (мальчишка-ремесленник!) садится писать мемуары.

Где живут эти люди, так бодро шагающие «с песней по жизни»? Например, ремесленное училище, в котором обитают герои Е. Пермяка,— какой-то роскошный дворец с необъятными двусветными залами, где по праздникам собирается настолько изысканное, блистательное и великодушное общество (простые советские люди, разумеется), что на память приходит салон Анны Павловны Шерер. Деревня, откуда родом герой,— некий агрогород, буквально утонувший в земных благах (совершенно как у С. Бабаевского или в «Кубанских казаках»), где есть все, даже... огромное искусственное водохранилище, на лазурной глади которого покачивается белоснежная яхта. Старший брат одного из ремесленников содержит для него специальный парусный корабль под названием «Милый брат», будучи в глазах остальных жителей деревни совершенно заурядной (в смысле достатка) фигурой.

Пустое, однако, дело побывать послевоенную литературу той правдой, какую принесла военная и деревенская проза в 60—70-е годы. Важно понять другое: послевоенная литература в принципе несоотносима с правдой уже потому, что ее функции состояли в ином: долгом ее было доводить до сознания то, что на языке постановлений доводилось до сведения. Больше того, она должна была оформлять и приводить в некую систему разрозненные идеологические акции, переводить на язык ситуаций, диалогов, речей. Время художников прошло: литература стала тем, чем и должна была стать в системе тоталитарного государства,— «колесиком» и «винтиком», мощным инструментом «промыывания мозгов». Писатель и функционер слились в акте «социалистического созидания».

Отправной точкой стал конфронтационный идеологический режим внутри и вовне. Появилась новая семантика. Вот характерный диалог братьев Басаргиных из повести К. Симонова «Дым отечества»: «Когда я читаю газеты, особенно последнее время, у меня все время ощущение, как будто мы и сейчас восстанавливаем под огнем, даже учимся под огнем», «Многим из нас казалось, особенно к концу войны, что вот прогремит последний выстрел и сразу все переменится. Конечно, с одной стороны, люди правы: все переменялось, мир, пушки молчат... Но они думали, что кругом приятели на всю жизнь. А кругом — враги» Вариации на тему «кругом — враги», сложившуюся еще в 20-е (в знаменитом стихотворении Э. Багрицкого «ТВС»: «Оглянешься — а вокруг враги; руки протянешь — и нет друзей»), содержатся и в симоновской лирике. В цикле «Друзья и враги» есть стихотворение «Красное и белое», а в нем известное:

Мир неделим на черных, смуглых, желтых,
А лишь на красных — нас.
и белых — их.

Друзья и враги, они и мы, красное и белое, положительные и отрицательные герои — основа фундаментального лексикона, атрибуты ролевого, конфронтационного мифологизированного сознания. Во внутриполитическом вещании тема эта приобрела поистине фантастические размеры — литература буквально кишела диверсантами и шпионами (не знаменательно ли, кстати, что в начале 80-х годов высшей государственной премии был удостоен роман И. Стаднюка «Война», полностью построенный по послевоенным рецептам: от мудрого вождя до диверсантов, которые оказываются в центре сюжета). Враги изнутри и враги извне внедряются, вербуются, забрасываются (эти тени не исчезли в 70-е, судя по романам Анатолия Иванова). Враг стал частью общего этикета. Причем существовала специфическая поэтика его изображения. Он уже давно не рисовался плакатно (как Тит Бородин в «Поднятой целине»), а должен был предстать перед читателем коварным, непременно замаскированным, скрытым (как Яков Лукич Островнов).

«Ищут классового врага вне колхозов, ищут его в виде людей с зверской физиономией, с громадными зубами, с толстой шеей, с обрезом в руках... Но таких кулаков давно уже нет на поверхности. Нынешние кулаки и подкулачники, нынешние антисоветские элементы в деревне — это большей частью люди «тихие», «сладенькие», почти «святые»... Чтобы разглядеть такого ловкого врага и не поддаться демагогии, нужно обладать революционной бдительностью, нужно обладать способностью сорвать маску с врага и показать колхозникам его действительное, контрреволюционное лицо» (Сталин). История как бы прекратила свое течение: установок двадцатилетней давности продолжали служить руководством к действию. Все та же тема «кругом — враги» в антикосмополитском исполнении буквально заполонила литературу рубежа 50-х годов. Если подряд прочесть пьесы «Великая сила» Б. Ромашова, «Закон чести» А. Штейна, «Зеленая улица» А. Сурова, «Чужая тень» К. Симонова, нетрудно убедиться, что психоз борьбы с буржуазной «лженаукой» достиг тогда апогея: тут и шпионаж, и выкрадывание «оборонных» секретов, и козни иностранной агентуры.

Но истинной вершиной в пирамиде утверждаемых ценностей была, конечно, обожествленная, исключительная личность. И здесь снова придется вспомнить обаятельных ребят из романов Е. Пермяка и А. Андреева, шагающих «с песней по жизни» к своему апофеозу. Наивно было бы полагать, что культовое сознание связано лишь с образом Сталина. Конечно, был целый ритуал «явления вождя народу», допускавший разные варианты. Он, вождь, мог проходить через весь роман (как в «Матросах» А. Первенцева, например), мог появиться в финале как некое воплощение идеала, разрешение всех конфликтов, благословение (скажем, в «Счастье» П. Павленко), мог просто подразумеваться в качестве демиурга, творца той небесной реальности, в которой жили литературные герои.

Есть примеры совсем уж одиозные, как киносценарии П. Павленко «Клятва» и «Падение Берлина», как «Великие дни» Н. Вирты, фильмы М. Чиаурели и сотни книг стихов о вожде, как знаменитая пьеса Вс. Вишневского «Незабываемый 1919-й», где Ленин то и дело просит советов у Сталина и чуть ли не спичку подносит, чтобы услужливо помочь ему раскурить трубку⁷. Но черты исключительности начали определять и облик простых смертных. Исключительная личность стала ответом на вопрос человека, «думающего, делать бы жизнь с кого». Литература отвечала: с героев Е. Пермяка и А. Андреева. В этом была не просто ложь, но высшая степень безответственности литературы перед жизнью.

Передо мной роман С. Болдырева «Решающие годы». Молодой герой Григорьев приезжает работать в Донбасс. С самого начала это некий Монте-Кристо; его облик, мысли, поведение — все окружено какой-то таинственностью, полно значительности, даже мощи. Герой красив, благороден, великий энтузиаст в работе и борец за прогрессивную технологию. Инженер Середин, которого Григорьев поставил четвертым горновым, невзирая на его диплом, так восхищен размахом и принципами своего руководителя, так «обаян» им, что на совет помочь Григорьеву «он рассмеялся: „Чего же ему помогать? Это же Григорьев. Он все знает. Попробуй-ка ему помощи: глыбина!“»

⁷ Литература, «художественно» фальсифицируя историю, продолжала дело 30-х годов. Лишь один пример: в № 1 журнала «Пропаганда и агитация» за 1938 год в статье М Карчевской, посвященной В. И. Ленину в дни Октября, рассказывается, как Ленин вечером 24 октября прибыл в Смольный: «После короткой деловой информации товарища Сталина о положении дел В. И. Ленин утвердил все распоряжения И. В. Сталина и вместе с товарищем Сталиным возглавил восстание». Таков довоенный фон ситуации.

Не мною замечено, что все в послевоенной литературе читается сегодня наоборот: то, что шельмовалось, достойно уважения, и наоборот, то, что всерьез утверждалось, вызывает только смех. Послевоенная литература отражала уже отраженный свет — не жизнь, а постановления о ней, доводя процесс искажения реальности до абсурда, когда действительность стало невозможно соотносить с литературой; литературу можно было сопоставить только с должным (соответствует установкам — не соответствует), установки впервые вошли в искусство как сама жизнь.

А. Синявский в своем известном трактате о соцреализме призывал это искусство отбросить реалистические потуги как предрассудок и откровенно стать чем-то вроде фараоновых пирамид — массивным и надличным. «Наша беда, — иронически замечал он, — в том, что мы недостаточно убежденные соц. реалисты и, подчинившись его жестокому закону, боимся идти до конца по проложенному нами самими пути. Вероятно, будь мы менее образованными людьми, нам бы легче удалось достичь необходимой для художника цельности»⁸. Ему же принадлежит и совершенно точное определение того искусства, о котором идет здесь речь. По словам А. Синявского, перед нами «не классицизм и не реализм. Это полуклассицистическое полуйскусство не слишком социалистического совсем не реализма»⁹.

Позволю себе отступление в настоящее: эту сплошную недостаточность, столь верно отмеченную А. Синявским («полу», «полу», «не слишком», «совсем не»), и использует современный соцарт, доводя недостаточность до логического конца, дописывая неподписанное, досказывая недосказанное, вербализуя ментальность эпохи в завершенном «фундаментальном лексиконе». Соцарт вводит нас в мир разных языков разных эпох, иронически переворачивает их системы, приучая нас быть над ними и так освобождая от рабской зависимости перед какой-либо одной-единственной системой мышления. Имеющий глаза да увидит: мы становимся уже не объектами воздействия, но субъектами его. Появляется тот избыток видения, который (через смех, иронию, сарказм) делает человека свободным перед «лексической системой», стремящейся всякий раз затвердеть в качестве некоего фундамента, подчинив себе человека и его сознание.

В послевоенной литературе произошли сдвиги настолько глубинные, что необратимо деформировалась сама «кристаллическая решетка» понятий «литература», «акт творческий», «герой», «конфликт», «стиль» и т. д. Подходить к этой литературе с традиционными мерками — все равно что сравнивать мир послевоенных романов с миром хоть сколько-нибудь реальным: эти миры и не должны пересекаться. Вот почему лучше всего такое «искусство» описывает современный соцарт.

Часто можно услышать, что все это классицизм, этакий «ампир во время чумы». Действительно, на первый взгляд так и есть: жесткая нормативность, идея государственности, примат общего над индивидуальным и личным, нерушимая система оценок и этических императивов, ролевой набор персонажей... Вывод вроде бы верен. В сущности же — глубоко ошибочен, ибо мы опять хотим вписать эту литературу в известную нам систему измерений классической эстетики, забывая, что перед нами — оборотень. Классицизм — это Корнель, Расин, Мольер; классицизм — это искусство, этап его развития, художественная система. В послевоенной же литературе нарушен сам генетический код, и потому перед нами феномен иной природы, некий идеологический суррогат.

Отсюда не следует, что остановилась творческая мысль. Но ведь один из примеров — роман Б. Пастернака «Доктор Живаго», который писался именно в это время, имеет куда большее отношение к творчеству Курчатова или Королева, работавших тогда же, чем к послевоенной литературе, ибо это творческий акт, и он внеположен тому роду деятельности, каким тогда занимались писатели.

Не только традиционные термины здесь не годятся, но и термины, так сказать, возвращенные на общей с послевоенной литературой почве. Самый распространенный из них — л а к и р о в к а. Слово это совсем не случайно замелькало именно в послевоенное десятилетие — оно прекрасно отводило от главного и тем было удобно. Получалось, что вроде бы искусство нечто приукрашивало, приподнимало, то есть действительность не искажалась, а только покрывалась лаком (что, конечно,

⁸ Абрам Терц (А. Синявский), «Что такое социалистический реализм» («Литературное обозрение», 1989, № 8, стр. 100).

⁹ Там же.

нехорошо); следовательно, тут не ложь вовсе, а... правда, но преподнесенная в излишне красивой упаковке. Между тем очевидно, что все обстояло как раз наоборот, и в этом смысле весьма показательна история двух редакций «Молодой гвардии».

Дело даже не в том, что А. Фадеев вынужден был перерабатывать свой роман, вгоняя его в рамки должного. Дело в другом — в заявке на документальность. Между тем документальность «Молодой гвардии» настолько относительна, что возникает вопрос о принципиальной невозможности документализма в послевоенной литературе. Выйти к документу — значило выйти к реальной, не пересозданной установками жизни. На примере фадеевского романа отчетливо видно, как документальная, реально бывшая жизнь отторгается, вступает в противоречие с некоей преднаходимой схемой. Как бы добросовестно ни относился писатель к фактам, исход был предрешен, ибо еще глубже фактической — в генетической основе замысла лежал иной, внетворческий импульс (вся история фадеевской «Черной металлургии» — живое тому доказательство).

Нам предстоит осознать степень того облучения, которой подверглось в послевоенной литературе слово.

В 20-е годы шло наряду с известной демократизацией стиля обретение авторитетного слова¹⁰, еще живого и динамичного. Усиливающееся давление на сам акт творчества привело в 30-е годы к радикальному сдвигу, когда слово лишилось личного наполнения и, как следствие, духовной самостоятельности. Такое слово только и могло обслуживать аутическое (мифотворческое) мышление.

Началась консервация авторитетного слова, оно все больше стало отрываться от личных источников, его порождавших. Соответственно, разрушалась грань, за которой живое слово превращается из слова художественного в слово риторическое, из авторитетного — в авторитарное, окостенелое.

На уровне стиля начался процесс нейтрализации слова. Личностный авторитет авторского слова в прозе стал противоречить авторитарному стилю надличного утверждения, то есть такого утверждения, которое не зависело даже от автора, но лишь проводилось им, — и тут наступало разрушение самого субъекта творчества. Возник феномен до-образного, домысленного — готового слова, заранее освященного и не предполагавшего (по самой своей природе) какой-либо диалогичности, со-творчества.

Внешнилась, формализовалась и изобразительная стихия прозы; образ стал механически сопровождать слово автора о мире — авторитарному слову не нужен образ: оно само себе довлеет, образ же, ничего не вносящий, стал пустым, стал фразой.

Можно ли в этой связи говорить о публицистичности послевоенной литературы? Известно, что для публицистики также характерно открытое авторское слово, поскольку публицистика вызывает к напряженному раздумью, она сильна связью открытого авторского слова с жизнью. В послевоенной литературе эта связь попросту не предполагалась. И потому совсем не случайно литературная инерция 40-х — начала 50-х годов была нарушена именно очерковой публицистикой и затем исповедальной молодой прозой, с которой генетически связана лирическая проза 60—70-х годов. Почему именно эти явления изнутри (именно изнутри, поскольку «Районные будни» В. Овечкина, «Записки агронома» Г. Троепольского, «Очерки из жизни одного отстающего колхоза» М. Жестева, «Весной нынешнего года» и «Красный клевер» С. Залыгина, «На среднем уровне» и «Лунные ночи» А. Калинина, начало «Деревенского дневника» Е. Дороша — это все еще послевоенное десятилетие, 1952—1955 годы) взорвали плавное течение послевоенной литературы? Для того были, разумеется, социально-исторические причины. Но в литературе вызревали и свои предпосылки, благодаря которым она смогла быстро откликнуться на общественные перемены: именно формы открытой авторской позиции, мумифицированные в послевоенной литературе, зажили новой жизнью на рубеже 60-х годов — и в прозе и в публицистической поэзии.

¹⁰ См.: Г. А. Белая, *Закономерности стилового развития советской прозы двадцатых годов*. М. 1977.

Следует сказать о господстве в послевоенной словесности «нейтрального» (Г. Белая) стиля — олитературенного, выпрєнного, оторванного от жизни и от живого языка. Риторическая фраза и языковой штамп отражали процесс обособления слова — от действительности, от исторически конкретного момента, от индивидуальной, социальной, национальной характеристики его создателя (автора), его носителя (героя), его адресата (читателя). Это осреднение стиля, эта безотносительность, ничейность слова чем дальше, тем больше становились признаком его безответственности.

Говорение штампами — одна из отличительных черт послевоенной литературы. Никогда еще официальная культура с такой очевидностью не вытесняла культуру народную, демократическую и народный язык; фальсификации подвергся (процесс начался еще в 30-е годы с частушек и припевок о радостной колхозной жизни и песен о «Сталине-соколе») даже фольклор. Когда шахтер в романе Б. Горбатова «Донбасс» (еще одна ячейка фундаментального лексикона — «угольное племя») говорит своей подруге: «Шахтер, может, для людей поважнее летчика будет!.. Шахтер под земное солнце на-гора достает. Если хочешь знать, так уголь — это, брат, человеческое солнце: и светит, и греет, и энергию дает...» — это воспринимается одновременно и как набор языковых штампов, и как сцена психологически лживая. Вообще из «интимных сцен» послевоенной литературы можно составить антологию фальши, и явление, получившее в 70-е годы название «оживляж» — этакая смесь ханжества и натурализма, — рождено, думается, именно в эти годы. Я беру примеры буквально наудачу, это совсем не сложно: достаточно открыть любую книгу этих лет на любую странице — живое слово ушло как будто в песок, на поверхность вышла речь странная, искусственная. Вот сцена из популярного в те годы романа «Далеко от Москвы». Разговаривают два центральных персонажа. Ночью Батманов рассказывает о смерти сына и сложных отношениях с женой парторгу завода Залкинду. Что отвечает парторг и друг? «Очень хорошо, что ты сильнее почувствовал великую ценность семьи. Я верю, что ты еще сложишь свою песню, мой дорогой товарищ...»

Русский язык стал настолько усредненным, что практически уже не отличался от языка переводных (с других языков народов СССР) произведений прозы и поэзии. Именно таким образом претворялась в жизнь формула о советской многонациональной литературе, социалистической по содержанию и национальной по форме. Сегодня еще порой повторяют эту «формулу братства», забывая, надо полагать, ее родословную. Напомню поэтому. В речи на собрании студентов Университета народов Востока 18 мая 1925 года Сталин говорил: «Мы строим пролетарскую культуру. Это совершенно верно. Но верно также и то, что пролетарская культура, социалистическая по своему содержанию, принимает различные формы и способы выражения у различных народов... Пролетарская культура не отменяет национальной культуры, а дает ей содержание. И наоборот, национальная культура не отменяет пролетарской культуры, а дает ей форму». Не включаясь в спор о национальном и интернациональном, замечу: «она дает ей содержание», «она дает ей форму» — эти образцы сталинской «диалектики» позволяют понять сам механизм распада живой плоти культуры.

Не случайно «стилевой штиль», вызванный господством авторитарного слова, был взорван сорIENTATIONной на слово героя деревенской прозой, остро откликнувшейся на реальные конфликты эпохи, новой военной прозой рубежа 60-х годов — эта проза не только антиавторитарна, но вообще апеллирует не к авторитету, а прямо и непосредственно к таким исходным понятиям, как «правда», «личность», «человечность».

Иногда приходится слышать, что все-таки эта новая проза вызревала в прозе послевоенной. Однако ситуация здесь настолько необычна, что трудно говорить о привычной смене школ по ходу литературного развития: новая литература зрела в послевоенной не как дитя, а как губитель, рождалась не из предшествовавшей литературы, но как бы из явного и осознанного отрицания и того, что литературой именовалось. Об этом немало говорят сами писатели. Приведу лишь два высказывания, прозвучавших в наше время из уст писателей разных поколений.

В. Астафьев: «Примерно к середине 60-х годов творческое братство писателей-фронтовиков, быть может, и не широкое, но стойкое приобрело уже заметные очертания. Бывшие истинные солдаты, пришедшие в литературу почти все одинаково

трудно, прорвали сопротивление окопавшегося в лакированной литературе „противника“ («Зрячий посох»).

В. Крупин: «Поощряемая премиями, тиражами и званиями сладкоголосая или бесконфликтная литература конца 40—50-х годов была подобна коллективной усыпляющей маске. И подобно тому, как в 41-м сибирские полки спасли Москву, так и «деревенская», и идущая рядом с нею «военная» проза спасли советскую литературу от бесславия, от мучительного позора заставлять людей видеть мир в назойливо розовом цвете» («Истоки завтрашнего»).

В послевоенной литературе все системно взаимосвязано: овнешнение героя — лишь одна сторона явления; другая — овнешнение изобразительно-выразительной стихии, имеющее своими последствиями и исчезновение субъективных форм повествования, и неуклонно прогрессирующий процесс расширения «зоны автора» за счет поглощения «зоны героя», и существование всезнающего повествователя с его «окончательным» и «полным» (а потому, разумеется, ложным) знанием о мире, и, конечно, определение героя в положительных, отрицательных координатах. Утеря художественности была в этой ситуации просто неизбежной, теоретически просчитываемой; еще в 20-е годы М. М. Бахтин писал о том, что «напряженно-заинтересованное и уверенное несогласие есть столь же незстетическая точка зрения, как и заинтересованная солидарность с героем».

Девальвация полноценной личности всегда сопровождается приматом внеположенного герою мира, развитием внешней фабульности (избыточная событийность сюжета есть результат снятия внутреннего движения в мире героя). Мир легко стал мыслиться в неких внеличных связях и событиях. Победу заведомо всеощеняющего слова о герое над словом героя закрепили как романы-хроники 30-х годов, так и исторические «полотна-эпопеи» послевоенного десятилетия. Тотальное овнешнение определило характерные для сознания эпохи монументализм и риторику. И панорамный роман был именно тем жанром, который идеально вписывался в систему, вновь и вновь возрождаясь в ней.

Послевоенные эпопеи... Огромные, бесконечные (в принципе не имеющие конца), они как бы уводят «в даль светлую» — Н. Задорнов и С. Злобин, Л. Никулин и М. Соколов, Г. Шолохов-Синявский и С. Сартаков, К. Седых и Г. Марков, Е. Поповкин и Н. Вирта, П. Далецкий и В. Саянов... Семейные династии буквально заповили литературу — «Ястребовы», «Колобовы», «Строговы», «Волгины», «Журбины», «Братья Ершовы», «Семья Рубанюк», «Семья Тараса»...

Панорамный роман брал на себя функцию «оживления» официальной исторической доктрины (он ее расписывал в лицах), а поскольку в этой доктрине личности отводилась роль винтика, масштаб романный заменялся вполне вещными масштабами — приращением объема за счет приращения событий. Очень точно сказал об этом П. Павленко, один из классиков жанра, по поводу своего романа конца 30-х годов «На востоке»: «В связи со сложностью задач строилась и конструкция. Я не разделяю мнения некоторых критиков, что она рыхла, расплывчата. ...Я хотел написать поток, могучее, страшное движение человеческих волн Мы не растем уже в одиночку, мы растем волнами, массами. Мне хотелось отразить поточность, непрерывность нашего роста, шторм роста и развития, и, если в этом движении даже пропадали биографии отдельных персонажей, не беда, оставались другие...»

Перед нами — классическая формула панорамного романа: волны, поточность, непрерывность; пропадают биографии — не беда!

Первые уже на этапе формирования замысла стал планироваться объем, листа ж. «Важнейшая проблема современного социалистического романа, — писал тот же П. Павленко, — нахождение новой емкости. Нужно создать такую структуру, которая бы позволила говорить о многом, не выходя за пределы двадцати печатных листов» (разрядка моя — Е. Д.). Впрочем, объем в семьдесят — восемьдесят печатных листов, когда первая часть первой книги являет собой огромный кирпич, стал явлением совершенно обычным. Дело, однако, не в невероятной избыточности текста и непрописанности не то что второстепенных героев, но целых сюжетных линий, а в той идее, которую несет в себе панорамный роман.

Если производственный роман должен был вписать личность как функцию в производственный процесс, ограничить ее профессиональными пределами, то панорамный роман должен был ввести человека в predeterminedенную колену, тогда как

люди, говоря словами О. Мандельштама, оказались «выброшенными из своих биографий, как шары из бильярдных луз»¹¹.

Классический образец — «Журбины» Вс. Кочетова, где есть понемногу всего: и история жизни, и семья, и производство. Сцепление линий происходит на уровне «семья — реконструкция завода». Каждый из героев вроде бы наделен некоторыми индивидуальными чертами: дед Матвей мудр и лукав, Илья Матвеевич упрям и благороден, Алексей горяч и «независим»... Но все начала, личные, семейные, производственные, вписываются в новый круг — «рабочая династия». Вот финал «Журбиных»: «...плакат первых лет революции. Рабочий, в мужественных чертах лица которого... читалось общее и с Алексеем, и с Виктором, и с Антоном, и с Костей, и с Ильей Матвеевичем, с тысячами тысяч простых тружеников, бьет тяжелым молотом по цепям, опутывающим земной шар. Он бьет со всего маху, он устремлен вперед, он ни перед чем не отступит. Он бьет — и рвутся, падают железные звенья. Гудят материки от этих могучих ударов». Как крепко сцеплены в заключительных аккордах романа патетика, риторика и точная ролевая привязка героев каждого в отдельности и всех вместе к их исторической, общественной и семейной функциям, как органично вышли они из плаката!

Во всем этом видна установка «завершить мир», сделать его «готовым» и, следовательно, не подлежащим живому анализу, переделке, со-творчеству, но только апологетике, воспеванию. Человек вписан в миропорядок, так сказать, фатально.

В цитированной выше статье «Конец романа» О. Мандельштам предвещал: «Дальнейшая судьба романа будет не чем иным, как историей распыления биографии, как формы личного существования, даже больше чем распыления — катастрофической гибели биографии». Панорамный роман, наследуя роману-хронике 30-х годов, классически подтвердил и вплоть до дня сегодняшнего подтверждает это пророчество: опираясь на биографию, он привел ее к «распылению», к «катастрофической гибели» именно «как форму личного существования». Собственно, слово романное и слово ложноэпическое полярны. Послевоенный и современный панорамный роман с его авторитарным словом являет собой отрицание живой романной традиции.

Поскольку послевоенная литература не отразила, но именно вобрала в себя, в свою конституцию прогрессирующий, обостряющийся кризис общественного сознания в ситуации безвременья, то и пути, от нее идущие, стали путями кризисными — прорывами из тупика. Слишком сильна была доза облучения, слишком широко поражены были сам генетический фонд литературы, природа творческого акта, художественные структуры; именно в полемике с послевоенным литературным десятилетием обозначился тот завышенный порог аналитизма и приближения к натуре, возобладала та непереваренная публицистичность, из которой с такой мукой лишь сейчас начинают пробиваться ростки пластически-образного, художественного по преимуществу сознания. Надо сказать, что слишком плотное приближение к реальности столь же губительно для художественного синтеза, как и удаление от нее, а при резкой смене линз объект расплывается.

Вглядываясь в монументальные хоромины вчитываясь в панорамные «опупеи» с их риторикой и пустозвонством, вслушиваясь во все еще звучащие призывы к показу героя нашего времени, к возрождению производственного романа или к борьбе с «очернительством» отечественной истории, вглядываясь в квазиреалистические полотна, мы обязаны понять, «что именно произошло» (М. Чудакова) не только в 20—30-е годы, где все еще лишь начиналось, но и ближе к нам — в послевоенное десятилетие в эпоху позанного сталинизма, осознать всю глубину трагедии, которая случилась с нашей культурой, заглянуть в пропасть, чтобы понять, где мы и куда идем.

Одесса.

¹¹ О. Мандельштам. Слово и культура М. 1987, стр. 74.

СОДЕРЖАНИЕ

*

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

М. Новикова. Зачем нам история? — О. Алякринский. «...исполнены всякой неправды». — А. Ранчин. Национальный космос и личная мифология.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Петр Черкасав. «Ленин или Корнилов?» — Андрей Василевский. Разорение. III.

Литература и искусство

ЗАЧЕМ НАМ ИСТОРИЯ?

Вячеслав Пьецух. Роммат (романтический материализм). «Волга», 1989, № 5—6.

Я не об исторической науке спрашиваю. Потребность в ней стала для нас, кажется, общепризнанной. Да и куда же дальше, если даже со школьным экзаменом по истории приключилась конфузия, пришлось его отменить, стыдливо прикрыв фиговым листком «свободного собеседования».

Но в данном случае вопрос стоит не об истории как науке, а об истории как процессе: зачем он нам? Кому — «нам»? Да всему человечеству. Можно локальнее: Европе Нового времени Или еще локальнее: послепетровской России. И не я этот вопрос задаю, а В. Пьецух. Автор весьма и весьма умный, стоящий в первых рядах «новой прозы». И повод к такому, казалось бы, странному вопросу у него основательный.

Дело в том, что восстание декабристов на Сенатской площади победило. Император Николай I, так и не успевши взойти на трон, получил штык в живот. Царская фамилия была перебита вослед, за исключением младенца Александра Николаевича. Солдаты пошли брататься с остальным населением; сенат (кряхтя от ужаса) подписал манифест об упразднении империи и учреждении республики; в витринах Санкт-Петербурга замелькали портреты нового правительства, а сам Санкт-Петербург был переименован в Петроград. После чего история России начала развиваться следующим образом...

Ерничанье это, что ли? Издевательство над родимой многострадальной историей —

жанр, весьма нынче ходовой и доходный?

Ничуть. Никакого паясничанья, никакого подмигиванья («... вот мы сейчас с матушкой Расеей, всему свету головой, и разделяемся!» — хотя бы на бумаге). Ни малейшего, к примеру, сходства с политфантазией Э. Лимонова («Исчезновение варваров»), выдумавшего ситуацию столь же «антиисторичную», только на современном материале: будто с лица земли внезапно исчез Советский Союз и все его многонациональные обитатели.

С Э. Лимоновым дело простое: получился фундаментально опошленный М. Жванецкий, переложенный с внутренних дел на внешнюю политику. Апокалипсис на уровне фельетончика Или, точнее, фельетончик, замахнувшийся на Апокалипсис. Под пером Э. Лимонова все равно и все едино: и оторопевшие зарубежные правительства, и ставшие безработными, ринувшиеся в пикеты рабочие военно-промышленных комплексов, и Солженицын, оставшийся не у дел над очередным узлом новейшей российской истории. Все осмеяны в Бога душу — хотя ни Бога, ни души в истории, по Э. Лимонову, заведомо нет и не предполагается.

В истории по В. Пьецуху Бога нет тоже, эта «гипотеза» (как сказал бы Лаплас) ему не то что не нужна, а — смущает («...такое предположение слишком бы припахивало суеверием»). С душой сложнее, душа-то В. Пьецуху в истории очень нужна. Фанта-

стика его «роммата» потому и романтична, что предназначена ответить: зачем же оно все-таки так произошло (или — не произошло) тогда, на Сенатской? Зачем — не для сугубо социальной, а для социально-равственой эволюции страны, человека и человечества?

Отсюда — внешняя диспропорциональность композиции «роммата». Фантастическая посылка появляется поздно, только во второй части. Ее богатые беллетристические возможности демонстративно оставлены без развития. «Что было бы в России, если бы...» — сформулировано телеграфным стилем, на полутрети страниц. А все, что предшествует «мгновению роковому» на Сенатской, излагается в первой части без единого намека на фантастику. Просто дан краткий курс истории России по хорошо известным источникам. С попутной, изящно-неотступной фамильяризацией (где-нибудь в придаточном предложении нам сообщается, что Александр I в раздумье любил почесывать свой прекрасный нос, а Пестелю накануне 14 декабря ставили пивячки)... С не менее последовательной актуализацией прошлого, примеркой его на современность. Традиция нашего неофициального (или антиофициального, но все равно именно «нашего») исторического повествования от Ю. Тынянова до Э. Радзинского прочерчивается у В. Пьецуха без труда. Она же задает авторский тон — детски острой тоски под прикрытием суховатой усмешки.

Только В. Пьецуху намного труднее. Перед его предшественниками вопрос, зачем нам история, не возникал. История нужна для прогресса. Это им, детям «чистой» социологии и «беспримесного» материализма, было понятно заранее. Вопрос состоял в том, как понимать прогресс. Хотя и тут, в сущности, все было ясно: прогресс тоже понимался в терминах социологических и материалистических — ну, скажем, как демократические свободы. Насчет же демократических свобод дополнительные вопросы вообще еще на ум не приходили. Так что глобальная проблема «зачем?» изначально снималась; оставались прикладные вопросы типа «что делать нам?» и «чем помочь?».

В Пьецуху пришлось к проблеме вернуться: что называется, жизнь заставила. Поэтому и романность его романа условна, и характеры исторические эскизны, и сюжет пунктирен — сознательно. Ибо на самом-то деле перед нами не роман, а историческое эссе, круто посолонное «экзистенциальным экспериментом». Эксперимент в чем-то похож на пушкинский: то ли на «Медный

всадник», где финал, зеркально отражая пролог, заново переосмысляет и тем самым как бы «переигрывает» всю петербургскую историю, то ли на сказку о золотом петушке, где «социально-политический» сюжет о скверном царе в финале стремительно взвывается в небеса бытийной притчи.

Аукаются размышления В. Пьецуха и с русской историсофией XIX — начала XX века. Ее также тревожили раздумья: должно ли России повторить с опозданием путь западноевропейской цивилизации? Или должно, но не по плечу (нашествие подгадило, иго подкосило)? Или, может, не должно вовсе? Ибо Россия есть Россия и стала таковой не только почему-то, а и зачем-то.

Если признать это «зачем-то», эту целесообразность русского пути на просторах всемирной истории, тогда бросать взгляд на путь других народов русским необходимо и полезно, однако перекашивать глаза до полной потери собственного облика — и бесполезно и опасно.

Загвоздка, однако, в том, что доказать объективную реальность этого «зачем-то», этого «замысла упрямого» (Б. Пастернак) истории — как нашей, так и любого иного народа, — не в силах ни наука, ни литература. Это можно только показать (что и делали великие художники масштаба Шекспира, или Пушкина, или Шевченко). А чтобы показать, надо сначала увидеть самому. А чтобы увидеть, надо в это «зачем-то» поверить.

В. Пьецух и хочет поверить. Но все-таки — через доказательства.

Доказательств, с его точки зрения, два. Первое, от противного, строится с помощью фантастического сюжета, «альтернативной истории» России. Второе выводится из авторских рассуждений вокруг этого сюжета.

«Альтернативная история» России шагает у В. Пьецуха по таким вехам: победа на Сенатской — попытка контрпереворота — гражданская война, перекинувшаяся в великую крестьянскую войну, — переход к парламентским формам государственности — постепенное вращение в модель западных демократий. Соответственно этому варианту складывается и «альтернативная» русская литература. Без вселенского замаха и катастрофизма. Толстой делается «нормальным» писателем религиозного направления. Достоевский — «нормальным» родоначальником психологического детектива. И так далее.

То есть мы станем уже не мы? Именно. И В. Пьецуху хватает... как бы выразиться? —

бытийного мужества и такта не желать этого ни себе, ни нам. Несмотря на то, что сам он по своим пристрастиям — безусловный «новоевропеец». (Судя по тому, что, например, старорусское юродство для него — лишь отвратительное кликушество, а культ книги в России «надуло» только из прорубленного Петром окна, — труды Д. Лихачева или А. Панченко про духовный мир допетровской Руси В. Пьецух читывал не слишком внимательно). Но тем больше отваги потребовалось ему, чтобы признать, что есть у народов не только социологические «модели развития», а и некие духовные сверхзадачи. Которые не выстраиваются по линейке унифицированного прогресса. Которые не покрываются унифицированно понятиями политическими «победами» или политическими же «поражениями»¹.

Вот и декабристы, согласно В. Пьецуху, потерпели поражение «не потому, что монархия была еще достаточно жизнестойкой, а революционная оппозиция показала себя ограниченно боевой», а потому, что цель у истории была и осталась иная — «цель распространения социальной нравственности», а для этого — подвига как этического образца.

Но при такой трактовке как раз и встает перед В. Пьецухом главный камень преткновения. Бога нет, прогресс условен, социология не самоцельна — что же задает человеческой истории эту самую нравственную цель? А — биология. «Природа». Раз безнравственность прагматически выгодна, но вопреки этому при всяческих «застенках и

¹ Любопытно, что это открытие современного интеллекта перекликается с самыми древними образцами не-новоевропейской мысли Такова диалектика «торжества через поражение» в Ветхом завете или «последних как первых» в завете Новом; такова же традиция индийских переводчиков, никогда не переводивших на английский «не-победу» как «поражение» или «не-успех» как «провал».

эшафотах» выжила все-таки не она, а нравственность, — значит, именно нравственность потребовалась природе, чтобы превратить человека из полуживотного в полубога.

Гм-гм... А зачем природе «полубог»? Тут совсем трудненько, и приходится отвечать так: «...в соответствии с коренными принципами развития всего примитивного во все высокоорганизованное».

Еще раз гм-гм... Во-первых, чересчур известен другой «коренной принцип» физической Вселенной — принцип энтропии, то есть именно разрушения «всего высокоорганизованного» до уровня «примитивного» и далее, до структурной гибели. Во-вторых, откуда у природы априорные критерии «высокоорганизованного» и «примитивного»?..

Так что же: неужто весь «роммат» — лишь очередное умственное мечтание отечественных мальчиков, с их горькой насмешкой обманутых сыновей над промотавшимися отцами?

Есть и это, конечно. Однако есть и другое: смутная тяга к чему-то «космическому», не захватанному и не захваченному утилитарной социологией. Есть жажда увидеть, как на привычной истории народов, классов и формаций выступает «священная история» Человека. И пусть В. Пьецух все еще пытается отделить своего «абсолютного человека» от национальной плоти, а «священное» вывести из биологического. Пусть «романтический» импульс у него худо уживается с «материализмом» и наоборот: тяга-то есть, а языка для отклика на нее у «печального поколения» еще нет. В этом как раз и сказывается время появления «роммата» — воистину казун перестройки (1985). Для одних идущей под девизом «Вперед к прогрессу!». А для других тут же — «Вперед к вечности!».

М. НОВИКОВА.

Симферополь.



«...ИСПОЛНЕНА ВСЯКОЯ НЕПРАВДА»

Кэтрин Энн Портер. Корабль дураков. Роман. Перевод с английского Н. Галь. М. «Радуга». 1989. 638 стр.

В конце лета 1931 года Кэтрин Энн Портер, тогда еще автор небольшой книжки рассказов, совершила на борту трансатлантического лайнера путешествие по маршруту Веракрус — Бремерхафен. Во время четырехнедельного плавания из Мексики в Германию она вела дневник, куда

заносила свои впечатления от рейса. В Европе, где она провела несколько лет, ей в руки попала знаменитая стихотворная сатира «Корабль дураков» Себастьяна Бранта, высмеивающая, по словам немецкого поэта-гуманиста, «глупость, слепоту и дурацкие предрассудки» рода челове-

кого. Личные заметки об океанском круизе и моралистическая притча XV века объединились в план большого романа. Правда, это произошло спустя почти десять лет, а работа над книгой затянулась еще на двадцать и была завершена лишь в 1961 году.

«Корабль дураков» имитирует путевой дневник, день за днем описывающий подробности праздной жизни туристов, томительное течение часов от завтрака до обеда и до ужина с однообразными променадами вдоль борта. И строится книга как свод отдельных зарисовок и мизансцен, соединяющихся по принципу киномонтажа. Кажется, что это и не роман вовсе, а какая-то исполнская, чрезмерно растянутая новелла, которая могла бы без ущерба завершиться в любой момент, а не занимать пространство в шесть с лишним сотен страниц. Но это, конечно, иллюзия, возникающая из-за того, что сюжет статичен: здесь нет никаких внешних катализаторов интриги, столь привычных для «морского» романа, — ни разрушительных тайфунов, ни коварных айсбергов, ни кровожадных акул — словом, ничего, что неожиданно вторгалось бы в размеренный корабельный быт. Все происходящее в романе — это только коллизии между туристами, образующие множество сюжетных нитей повествования.

В «Корабле дураков» унылый школярский термин «галерея персонажей» обретает свой точный смысл. Портер и в самом деле создает огромную портретную галерею. В романе более девятисот действующих лиц. Из них, правда, восемьсот семьдесят шесть (как явствует из помещенного в начале списка пассажиров) — обитатели нижней палубы, испанские поденщики, возвращающиеся с Кубы домой, просто шумная толпа статистов, этакий «фальстафовский фон», на котором контрастно выделяются фигуры первого плана — полсотни пассажиров верхних палуб. Они-то и составляют основную часть коллекции Портер. О них — и ради них — написан этот роман.

Портер виртуозно владеет мастерством литературного портретиста, почти старомодным, в духе «Миддлмарча» Джорджа Элиота.

Но основное «событие» романной жизни этих живых портретов — реплика и жест. Почти все они — философы, то и дело вступающие друг с другом в жаркие споры о коренных основах человеческого бытия.

Иные философские монологи звучат пу-

гающе знакомо. Вот, скажем, капитан корабля Тиле. Он свято верит в «великую жизненную силу Германии», которой, по его разумению, суждено подавить всех «слабых» представителей человечества (любимая фантазия этого Демонически-мрачного мечтателя — вообразить себя с «элегантным пулеметом» в руках, чье дуло направлено на «бушующую где-то мятежную толпу»). Гротескный двойник капитана Тиле — издатель дамского журнала Зигфрид Рибер. Этот «румяный коротышка с поросычьей физиономией» задолго до создателей Дахау и Освенцима предлагает способ очищения земли от «неполюдоценных рас»: «Я.. знаю, что бы я для них сделал — загнал бы всех в большую печь и пустил бы газ». Другие пассажиры-немцы тоже либо испещряют страницы записной книжки рассуждениями о «высшей направляющей Воле» германской нации, либо благодарят судьбу за «драгоценнейшее право... принадлежать к господствующему классу господствующей расы».

«Корабль дураков» нередко прочитывается как опыт художественного исследования социально-психологических корней нацизма. В известной экранизации С. Крамера этот политический аспект сюжета даже форсирован: в финальной сцене одноименного фильма среди встречающихся на набережной Бремерхафена стоит улыбающийся штурмовик со свастикой на рукаве. В книге же этого нет, хотя аналогии между обывательским шовинизмом портеровских немцев и официальной идеологией «третьего рейха» не вызывают сомнений. Да и сама писательница дала повод для конкретно-исторической трактовки своего романа, однажды определив его содержание так: «Это история о том, как добропорядочные и, в сущности, безобидные люди вступают в преступный сговор со злом... Я наблюдала, как это было в Германии и Испании. Я наблюдала, как это было при Муссолини». И все-таки, даже несмотря на свидетельство Портер, смысл ее романа шире, нежели только обличение европейских тоталитарных режимов.

В авторском предисловии Портер замечает: «Начиная обдумывать свой роман, я выбрала для него этот простой, едва ли не всеобъемлющий образ: наш мир — корабль на пути в вечность... Я тоже странствую на этом корабле».

Названием как бы очерчена смысловая рамка, в которой роман из почти документальной хроники превращается в иносказание об условиях человеческого суще-

ствования. Тут помимо далекого немецкого предшественника на ум приходят две книги соотечественников Портер — «Моби Дик» Германа Мелвилла, эпическая аллегория о мировом противоборстве Добра и Зла, и «Мятеж на „Эльсиноре“» — социал-дарвинистская притча Джека Лондона о яростно-непримиримой вражде плебейской массы и властвующей элиты. Ведь пересекающий Атлантику пароход, на борту которого собрались немцы и американцы, мексиканцы и испанцы, кубинцы, швейцарцы, еврей, швед, — это, как и мелвилловский «Пекод» и джек-лондоновский «Эльсинор», миниатюрная модель человечества в океане истории. Персонажи интересуют писательницу не только как выразители идеологии своего времени, но как воплощение универсальных «экзистенций», типов отношения к окружающему миру.

Короткий эпизодик в начале романа сразу же намечает его центральную тему — глазающие на раздетых туристов в порту мексиканцы не могут удержаться от мысленного комментария: «Все иностранцы отвратительны и нелепы уже по одному тому, что они иностранцы». Вероятно, не столь уж трудно было бы обнаружить социальное обоснование этой откровенной неприязни веракрусцев к заезжим чужеземцам (например, вспомнить о противоречиях между трудом и капиталом, которые как раз на рубеже 20 — 30-х годов — эпоха «великой депрессии!» — выявились с небывалой остротой). Но Портер, не игнорируя, впрочем, и эту сторону жизни, все же выходит за рамки элементарного социально-экономического детерминизма. Враждебная реакция веракрусских зевак на пеструю толпу иностранцев становится своеобразной формулой поведения героев романа, которые, обуреваемые какой-то инстинктивной злобой подозрительностью, подразделяют друг друга на «своих» и «чужих», «полноценных» и «неполноценных», «социально-близких» и «социально-чуждых». Таков Вильгельм Фрейтаг, гордящийся тем, что он — немец, и устраивающий скандал в ресторане из-за того, что его посадили за один стол с евреем. Но таков же и американец Уильям Дэнни, который «привык полагаться на естественное свое превосходство — превосходство белого, и притом богача» и глубоко презирает католиков, потому что «католической веры держатся одни подонки — мексикашки, итальяшки, полячишки всякие». И таков же Юлиус Левенталь, в глубине души лелеющий ненависть к

«иноверцам»: «Вот я — я еврей; бывает, подумаешь, что за невезенье, но тогда я пробую себе представить, что я христианин, — брр! — и он скривился, словно его замутило». И даже невозмутимый швед Арне Хансен приходит в бешенство, когда его принимают за датчанина...

Упрямая убежденность в своем изначальном превосходстве, чванливое групповое себялюбие, возведенное в ранг моральной философии, — вот корень всех конфликтов, разгорающихся на «Вере». Оставшись с истым германцем Фрейтагом вдвоем в каюте, Хансен обращается к соседу с проникновенной тирадой: «Понимаете, в чем вся беда: никто никого не слушает. Люди ничего слышать не хотят, разве только про всякую ерунду. Вот тогда они слышат каждое слово. А когда начинаешь говорить что-нибудь дельное, они думают, это ты не всерьез, или вообще ничего не смыслишь, или это все неправда, или против бога и веры, или просто не то, что они привыкли читать в газетах...» Тут Фрейтаг перестал его слушать и начал сосредоточенно намывать щеки и подбородок» (разрядка моя. — О. А.). В этом жесте Фрейтага как бы закодирована схема распада человеческих взаимосвязей. Еще характерная деталь: одинокая американская миссис Тредуэл (как кажется, отчасти alter ego самой Портер), наблюдая за пассажирами, замечает, что после недели плавания «добрая половина их не здороваetas друг с другом — не от неприязни, но по равнодушию». Именно равнодушие — неумение или нежелание людей услышать и понять друг друга — становится первой ступенькой, с которой пассажиры «Веры», сами того не замечая, начинают спускаться все ниже и ниже — сначала до взаимной антипатии, а потом и до откровенной вражды. При чем грань между равнодушной неприязнью и лютот ненавистью зыбка: достаточно самого незначительного повода, чтобы выплеснулась накопившаяся злоба.

Выразительный симптом неблагополучия этого миниатюрного человеческого сообщества — невозможность здесь любви. Или, точнее сказать, любовь проявляется в ущербных, уродливых формах — то как продажный секс проститутки Кончи, то как старческая похоть инвалида Вилибалда, то как комично-неуклюжие эротические шалости Зигфрида Рибера и Лиззи Шпёкенкикер, то как — уже и вовсе в гротескном виде — «родительская» нежность бездетной фрау Гуттен к своему бульдогу Детке, то, наконец, как нервно-

ожесточенная любовь-ненависть молодых американцев Дэвида Скотта и Дженни Браун. Впрочем, слабый огонек любви разгорается на борту «Веры» — исподволь возникающее чувство душевной близости доктора Шумана и безымянной испанской графини. Но это безнадежная любовь, потому что и доктор и его пациентка неизлечимо больны, и слабая мелодия этого неслучившегося корабельного романа звучит печальным контрапунктом к всепроникающей какофонии нелюбви и готовности причинить зло ближнему. Ядом этой вражды заражены даже дети — испанские близнецы-шестилетки Рик и Рэк, в чьих глазах «ничего не разглядеть... кроме слепой, упрямой злобы да бессердечной хитрости».

Художественный мир «Корабля дураков» — единый многогранный символ, каждый малый элемент которого несет в себе черты целого. Так, символическим комментарием к распрям представителей «высших» рас и сословий выглядят бурные инциденты на нижней палубе. С той лишь разницей, что постоянные скандалы и драки, словно дублирующие идеологические стычки наверху, здесь завершаются в конце концов трагически — убийством.

В свою очередь гротескной аналогией кровавой поножовщины в «нижнем мире» становится сцена шутовского карнавала в ресторане на верхней палубе — одна из ключевых в романе. Сходство с «дурацким карнавалом», изображенным С. Брантом (на что обычно указывают исследователи творчества Портер), тут чисто внешнее. Неудавшийся карнавал на «Вере» призван продемонстрировать душевную инертность и скованность пассажиров. Карнавал — жизнерадостный праздник, на время которого происходит упразднение устоявшихся социальных иерархий и основ общепринятой морали. Но обитатели «корабля дураков» не могут отрешиться от своих «дурацких предрассудков». Характерная деталь: испанские актеры, затеявшие праздник, хотят рассадить гостей в зале по своему усмотрению, но те с тупым упорством занимают «свои» привычные места за столами. А танцевальное представление, данное испанцами, воспринимается негодующими зрителями как «оскорбительная карикатура на немецкую манеру вальсировать». В итоге ожидаемое веселье оборачивается пьяным дебошем с мордобоем.

Пароход назван словом «Истина» («Veritas»). Что же есть истина, которую тщетно

пытаются постичь его пассажиры, но которую знает и старается нам внушить незримо присутствующая среди них Портер? А истина вот в чем: «...они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». О ком это? Ну конечно же, о них — о капитане Тиле, и о герре Рибере, и о чете Баумгартнер, и о герре Фрейтаге, и о мистере Дэнии, и о фрау Риттерсдорф, и о господине Левентале, и о семействе Лутц, и об испанских актерах... Кажется, будто именно прегрешения пассажиров «Веры» прозорливо перечислял в своем Послании к Римлянам апостол Павел...

Пафос «Корабля дураков» — как и воззвешной нравоучительной эпистолы — основан на фундаментальных постулатах евангельской морали. только если в знаменитом апостольском послании дан пространственный каталог людских пороков, то у американской писательницы они воплощены в лицах Как и для апостола Павла, для Портер в буквальном смысле «нет различия между Иудеем и Еллином». Все в равной степени изображаются ею жертвами своей «глупости, слепоты и дурацких предрассудков». И все в равной степени морально ответственны за то зло, которое они причиняют друг другу — не важно, из принципа ли, по неведению или из-за малодушия.

Кто-то из американских критиков назвал этот роман «очерком отчаяния». Едва ли это так, хотя человеческая панорама, нарисованная в «Корабле дураков», действительно производит безрадостное впечатление. Может быть, уподобляя человечество пассажирам корабля в открытом океане. Портер не только отдавала дань многовековой литературной традиции, но еще и имела в виду до сих пор будоражающую наше воображение гибель в апреле 1912 года «Титаника», которая уже потом, по последовавшим кровавым событиям XX столетия, казалась невымышленным символом сурового возмездия людям за их земные грехи. Не вспоминала ли писательница во время работы над рукописью о судьбе этого английского суперлайнера, в которой, чудится, загадочным образом воплотилась фантазия Мелвилла о трагическом конце китобойца «Пекода»?

Благополучным прибытием «Веры» в

северогерманский порт завершается плавание, но финал романа открыт. Как остается открытым и вопрос, сумеем ли мы — пассажиры «корабля дураков» — исцелиться от поразившей нас «слепоты и глу-

сти». Вот в этом-то вопросе и заключается смысл назидания Портер. А ответ на него, понятное дело, лежит за пределами книги.

О. АЛЯКРИНСКИЙ.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМОС И ЛИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ

Георгий Гачев. Национальные образы мира. М. «Советский писатель». 1988. 447 стр.

Георгий Гачев. Воспамятование об отцах. Документальное повествование. «Дружба народов», 1989, № 7.

Георгий Гачев. Жизнемысли. М. «Правда». 1989. 48 стр.

Автор книги «Национальные образы мира» осознает себя «жанровым преступником» (по традиционному кодексу жанров, конечно) И тут же публикует две «декларации» Первая — «о праве на текст», о праве не представлять чистую мысль или свободный от рациональных требований образ, а создавать мыслеобраз. Вторая — о праве писать не только о предмете своей мысли, но и о себе, и о своем «инструменте» и «бесстыдно» говорить о вещах, для пуристской науки слишком интимных, — событиях своей биографии и даже чувствах.

К нетрадиционности Г. Гачева ведет отчасти сам предмет исследования. Национальные образы мира, или — другое их имя у Г. Гачева — национальные космосы (Космо — Психо — Логосы), не уловить непосредственным наблюдением: свой «космос» сопряжен человеку и не становится предметом рефлексии, а чужие плохо различимы. Национальное оборачивается или графой в паспорте (признак, означающий национальную принадлежность, то есть, по Г. Гачеву, нечто отвлеченно-формализованное, а не народную общность), или перечислением добродетелей и пороков в угоду политической конъюнктуре либо мифологемам массового сознания.

Национальный образ надо воссоздать, и поэтому Г. Гачев — исследователь-реконструктор. Но реконструктор, не строящий по заранее известной схеме, а сам в ходе своей работы ее ищущий И опорой оказывается личная интуиция, опыт собственных переживаний (так, «стеснение, мука, тоска, бесприютность» в часы сумерек собственной души рождают у него мысль: не в этих ли чувствах — подоплека-причина технического изобретательства англичан, перемогавших таким творчеством туманную сумрачность Альбиона?) Автор ведет «зрос угадывания» Национальная культура описывается не расчлененно, а

слитно — как целостность. Во всем возникают соответствия, самые ошеломительные. Так, «дискретное» блюдо шницель и атомарная логика философских построений для автора — проявления одного инварианта немецкого космоса.

Важны эти соответствия, а не причины, их роднящие, ибо последние не переживаются, по Гачеву, народом, для которого есть единая культура, но не существует отвлеченных причин и следствий. Прояснить этот цельный образ культуры, сделать его предметом переживания человека иного национального космоса и хочет Г. Гачев.

Сама задача предопределяет субъективность «космосов» Г. Гачева: крайне сложно отграничить образ мира, каким видит его чужая нация, от образа мира этой чужой нации, видимого сквозь космос нации своей. Так, неукорененность американцев в истории и их «детский» возраст соотнесены Г. Гачевым с растительностью Нового Света, «у которой корни не глубоки», — травой (вместо привычного дерева). Автор напоминает о «Листьях травы» У. Уитмена. Может быть, и так, но сам факт выделения именно этого образа не связан ли с традиционным европейским взглядом на первозданную Америку? А модель «мирового древа» не воплощена ли в вертикалях американских небоскребов? Или из дантовского «сумрачного леса» выводится мысль о противопоставленности в итальянской культурной модели дороги и леса; однако ведь в Италии почти нет лесов, да и мыслятся они опасным местом у очень многих народов — не у одних итальянцев, — например, в русском фольклоре.

Возможную (и неизбежную) субъективность Г. Гачев осознает и старается преодолеть Как описать несколько национальных образов мира? Чтобы сохранить непротиворечивость картины, нужен общий,

единый язык. Интернационализированный язык науки тут не подойдет — он не может «зацепить» национального своеобразия. И тогда Г. Гачев вспоминает о мифологии, об архаических схемах и архетипах сознания — метаязыке, роднящем разные культуры. Так появляются «ургия» («трудом сотворенность») и «гония» («рожденность естеством»), вспоминаются мужской и женский архетипы, четыре первоэлемента — огонь, вода, земля и воздух. И еще — Эрос. А макрокосм, мир описывается по модели человеческого тела, микрокосма (и наоборот): «Очень емким оказался этот метаязык: на него переводима и поэзия, и естествознание, и духовные и бытовые явления, и можно природу читать духовно, а духовные явления осмысливать в контексте природы».

Впрочем, в опубликованном спустя год после издания книги документальном повествовании «Воспамятование об отцах» Г. Гачевым названо и еще одно обстоятельство, заставившее его искать самовыражения в «пристрастных» интерпретациях мировой культуры: «Когда зашло мне за полста, оборотился я вспять и стал просматривать дневник, что веду уже более четверти века. И понял, что это было основное поприще моих «деяний» — в эпоху, когда «снова замерло все до рассвета», а рассвета, казалось, и не будет... Тем интенсивнее устремлялась энергия во внутреннюю жизнь души и духа, в царство неотъемлемое — мировой культуры. Отвлеченные идеи стали переживаться близко к сердцу и наоборот: домашние микроситуации, семейные прямо соотносились с центром бытия, со смыслом жизни всеобщей, в них узнавались вечные проблемы. Тогда не просто живешь, но священно...»

О восстановлении Прошлого-священного Гачев пишет и в своих «уразумениях из дневника» («Иностранная литература», 1989, № 2): «Нам... теперь предстоит воссоздать Отца, сыну родить Мать и Отца». Даже слишком привычное политизованное слово «перестройка» для автора — возрождение исконных мифологем, преодоление одностороннего, самоуверенного рационализма и сциентизма («ныне в ПЕРЕСТРОЙКЕ перед нами стоит: возрождение — как воскрешение — плодородия земли, и лон женских, и вкуса труда на себя, и живого вкуса плода — доморощенного...»).

...Да, автор этой непривычной книги и странных статей — консерватор (если хотите, ретроград): к идее прогресса он относится недоверчиво, опору ищет в ценностях былого, ценностях утерянных.

Чуждая гордыни и страсти переделывать других, работа над собой и своей землей, терпимость, скромное подвижничество — эти привлекательные черты Г. Гачев находит у «агронома», «экономиста», автора «Записок», тульского помещика А. Т. Болотова, жившего двести лет назад («Частая честная жизнь. Альтернатива русской литературе». — «Литературная учеба», 1989, № 3), настойчиво противопоставляя его «революционерам» — от Петра I до декабристов и далее. Идеальный русский человек, добропорядочный хозяин, носитель благословенного здравого смысла, Андрей Болотов у Г. Гачева нарисован тоже субъективно, как и все герои. Спорить можно о противопоставлении «Записок» Болотова позднейшей русской литературе, будто бы недооценившей обыденного человека и избравшей истинным героем горделиво-самодовольного — «лишнего». Ведь болотовского героя можно встретить не только у А. Толстого, но и у Гончарова или Лескова. И во многом к Андрею Болотову, а не к Петру (вопреки Гачеву) ближе пушкинский поручик Гринев. А словесно обыгранная антитеза «государственного революционера» Петра I и частного человека Болотова — «Петровича» — рождает сомнения: не забыл ли писатель, что отца мемуариста звали Тимофей (Петр — это его дед)?

Но вернемся к «Национальным образам мира». Здесь читатель найдет глубокий культурный подтекст. Поиски целостного национального мировидения в очень непохожих проявлениях — пище и языке, одежде и складе мысли — переключаются с подходом к культурным типам в «Закате Европы» О. Шпенглера; глава «Космос Достоевского» заставляет вспомнить «Мирозерцание Достоевского» Н. А. Бердяева, а жанр «жизнемыслей» напоминает о В. В. Розанове, о его книгах-дневниках, сочетающих исповедальность, афористичность, отстраненное самоизучение...

Целостность мифологии и патриархальность «доиндустриального» уклада — попытка воссоздать эти ценности может показаться бесплодной борьбой со временем; изменения необратимы не только в реальности, но и в мысли о ней. Но Г. Гачев пытается преодолеть дистанцию забвения и непонимания художественно — одновременно и серьезно, и иронически, условно. В «Национальных образах мира» описания космосов разных народов неокончательны, открыты для добавлений и уточнений. Даже исконно монологическая форма примечания разбита на высказыва-

ния, которыми обмениваются автор и редактор — его второе лицо. Возражения оппонента Гачев добросовестно фиксирует, но не опровергает («так что да звучит — диалог!»). Он хотел бы открыть новый диалогический жанр, по аналогии с художественным произведением герои-мыслеобразы могут высказывать разные, в том числе и спорные и неверные идеи, но истина рождается в их скрещении. Смысловые поля, кусты ассоциаций должны будить мысль и наталкивать на ответ. В «интеллектуальной художественной прозе» (определение автора) арбитром истинности Г. Гачеву видится читатель. От него требуется и вдумчивая сосредоточенная работа и сотворчество.

Все же, на мой взгляд, аналогия хромает: в художественном мире правом на ошибку обладает не идея как таковая, а лицо, и в целостности произведения неверные мысли героев не менее нужны, чем верные. Автор же научного текста стремится отсеять заведомо неверные идеи.

Впрочем, интересны «Национальные образы мира» с иной точки зрения. Гачев свободен от культурной узости и пристрастности. Чужое национальное мировидение близко ему, вызывает участие. У Г. Гачева нет прогрессистского отношения к культуре, распределяющего народы «выше» и «ниже» по лестнице истории; нет предпочтения одного национального (болгарского, русского) космоса или типа культуры другому. Автор книги не просто внимателен к иному сознанию: отталкиваясь от мирозерцаний другого (философа, писателя, народа), он создает собственную реальность, в которой каждый предмет, чувство или слово дороги для него лично.

У повествователя гачевской прозы не вызывает симпатий ангажированность, политизированная и идеологизированная позиция. Работы Г. Гачева писались в разное время на протяжении двадцати лет и непосредственного отношения к нынешней идеологической поляризации или изломам национального самосознания, конечно, не имеют. В частности, поэтому сопереживание и соразмышление с автором «Национальных образов мира» рождает счастливое чувство свободы.

Сверхзадача — докопаться до национальной логики — Г. Гачева в книге не достигнута Отчасти, вероятно, и потому, что она для Г. Гачева слишком рассудочна. Национальные модели привлекают автора как обломки целостного видения мира, не

знающего узости наук. Но все же восставление утраченного единства возможно, по-видимому, не в интеллектуальном жанре, а лишь в художественном слове, нейтрализующем противоположность рационального и иррационального.

Скорее в книге Г. Гачева следует видеть смелую попытку создания собственной мифологии, замаскированной под «мифы разных стран и народов». Мифологичность у него выражается в смешении уровней интерпретации образов, слов, предметов: малое и великое, часть и целое уравниваются, набор звуков в языке может рассказать о космосе народа не меньше, чем многие произведения и философские трактаты. Внерациональная логика преданий и строгая эмпирика эксперимента приводят к тождественным выводам (мифу об огнедышащих драконах отвечает установленный наукой факт близости химических процессов дыхания и горения).

Основным источником для конструирования моделей Гачеву служит литература. Порой «национальный образ мира» естественно вытекает из анализируемых текстов (киргизская модель по повестям Ч. Айтматова). По едва заметным признакам в строении фраз, в выборе слов тонко воссоздается космос Болгарии. Иногда же произведение — лишь повод для развертывания собственной мифологемы автора вопреки исходному тексту.

Устремляющаяся вверх вода в «Фонтане» Тютчева трактуется как аналог огня, чье пламя тоже поднимается к небу. Замечу, однако, что символика воды в стихотворении — тщетные дерзания разума познать конечную истину — противоположна традиционной для огня, означающей высокую ясность ума. Волей «соавтора» Гачева тютчевский Лебедь становится смысловым центром русского космоса, отождествляясь с «лебедью белой» Пушкина и фольклора. Автору безразлично, что стихотворение «Лебедь» цитатно, перифразирует не только одноименное державинское, но и через его посредство произведение римской литературы, оду Горация «К Меценату».

Предполагается о чем бы ни говорили произведения, они «проговариваются» космосом народа. А раз это так, достаточно сходства слов, чтобы построить русскую модель мира из образов, найденных у совсем непохожих писателей. И вот принуждаются Тютчев и Пушкин к неожиданному диалогу. Оказывается, что о тютчевском «ковне морском» сказал еще автор «Песни о вещем Олеге»: «То смирно стоит

под стрелами врагов, то мчится по бранному полю». А строки Тютчева «копыта кинешь в звонкий брег — и в брызги разлетишься!..» стали ответом на пушкинские «куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?». С точки зрения строгой интерпретации сближение очень рискованное.

Вспомнившийся латинский афоризм «капля точит камень» наталкивает Г. Гачева на неожиданное определение спившихся чиновников Достоевского: они — отсыревшие камни дома Петрова. В механизме порождения этой мифологемы сплетены логический вывод и свободная фантазия; выстраивается произвольный ассо-

циативный ряд: капля — вода — водка — камень — чиновник. Так выводится историсофия России: глубинные воды народного духа размывают дело Петра!

Упрекнуть Г. Гачева есть в чем: если это наука, то слишком веселая, если философия — то вторичная и стилизованная, если мифология — то искусственная и непоследовательная... Научные и художественные построения можно канонизировать и повторять — это иногда бывает плодотворно. Книга «Национальные образы мира» невоспроизводима сторонней мыслью, она — факт культуры, должно быть, единственный в своем роде.

А. РАНЧИН.



Политика и наука

«ЛЕНИН ИЛИ КОРНИЛОВ?»

Г. З. Иоффе. «Белое дело». Генерал Корнилов. М. «Наука». 1989. 288 стр.

Чем объяснить легкость, с какой был осуждён в 1917 году октябрьский переворот? Когда и почему началась гражданская война в России? Кто такие белые и их первый вождь генерал Л. Г. Корнилов? Что в конечном счете определило неудачу «белого дела»? С этими и другими, казалось бы, давно решёнными вопросами читатель сталкивается в новой книге известного советского историка Г. З. Иоффе.

Советская историография, руководствуясь незыблемыми догмами классовости и партийности, на протяжении десятилетий доказывала нам историческую закономерность Октября и победы большевизма. Революцию надлежало воспевать, контрреволюция предавалась анафеме. Нарушалась элементарная диалектика: революцию освещали в отрыве от контрреволюции. Последняя вообще не изучалась, а лишь разоблачалась. В результате мы получили искажённое представление о важнейшем периоде отечественной истории, определившем наш сегодняшний день.

Г. З. Иоффе одним из первых осмелился нарушить табу, распространявшееся на изучение белого движения, опубликовав ряд серьёзных монографий на эту тему. В рецензируемой книге историк исследует зарождение белого движения, руководимого на начальном этапе генералом Корниловым. Сразу замечу, что речь не о политической биографии Л. Г. Корнилова. Иоффе справедливо полагает, что феномен «белого дела»

останется до конца непонятным, если продолжать сводить его к антинародным проискам кучки генералов-монархистов, как будто под их знаменами не сражались десятки тысяч вчерашних крестьян и мирных российских обывателей, искренне любивших ту самую матушку Россию, которая на их глазах умирала в страшных мучениях. Одним словом, книга не столько о Корнилове, сколько о корниловщине.

И все же наш не избалованный читатель, не имевший допуска в спецхран, может хотя бы в общих чертах получить теперь представление о человеке, искренне считавшем себя спасителем России. Не отвергая традиционную оценку генерала Корнилова, существующую в нашей литературе, Иоффе не идет по привычному и легкому пути разоблачительного окариатурирования вождя белого движения. Он представляет нам не только принципиального противника большевизма, врага революции, но и русского патриота; не тупого солдафона и держиморду, желавшего восстановить низвергнутый трон Николая Романова, но способного и храброго военачальника, высокообразованного человека, знатока восточных языков, автора научных трудов, наконец, политика, понимавшего невозможность простого возврата к дофевральскому режиму.

Воздавая должное личным качествам Лавра Георгиевича Корнилова, в 1907—1917 годах прошедшего путь от скромного

полковника до Верховного главнокомандующего русской армией, Иоффе вместе с тем показывает, как после Февраля его умело готовили на роль «русского Кавеньяка». Важную роль в судьбе Корнилова сыграли тогда Б. Савинков и М. Филоненко — комиссары Временного правительства в действующей армии, недовольные нерешительностью А. Ф. Керенского в борьбе с большевиками. Именно они наряду с другими приверженцами Главковерха из среды откровенно контрреволюционного офицерства и генералитета постоянно внушали Корнилову мысль о его «особой миссии» в деле спасения Отечества от чумы большевизма.

Первое выступление Корнилова относится к лету 1917 года, когда правительство Керенского, зажатое между крайне правыми и крайне левыми, пыталось поставить Россию на неведомый ей до того путь демократии. По принципиально различным причинам «третий путь», предложенный Керенским, не устраивал ни левых (большевиков), все откровеннее претендовавших на власть, ни правых (корниловцев). Постоянное лавирование между двумя полюсами в обстановке продолжавшейся войны и вызванной ею хозяйственной разрухи постепенно лишило Временное правительство прежней общественной поддержки. Тайный союз Керенского с генералом Корниловым против большевиков, заключенный в августе 1917 года, представлял собой один из зигзагов такого лавирования. Иоффе подробно исследует обстоятельства этой тайной сделки и причины, по которым Керенский «вероломно» нарушил договор с Корниловым. В числе последних автор называет боязнь министра-председателя за свою репутацию в рядах революционной демократии, а также обоснованное недоверие по отношению к Корнилову, который намеревался ударить не только по большевикам и Советам, но и по самому Временному правительству. В последний момент, когда корниловские части уже двигались на Петроград для наведения там «порядка», раздираемый сомнениями министр-председатель совершил неожиданный маневр влево, объявив о смещении генерала Корнилова с поста Главковерха. В ответ обескураженный Корнилов распространил 28 августа заявление с резким осуждением Временного правительства за его заигрывания с большевиками. В другом своем обращении отстраненный Главковерх, по сути, объявил правительству войну. В этих двух документах, как считает Иоффе, были изложены в сжатой форме основные постулаты, составившие впо-

следствии идеологию «белого дела»: великодержавный шовинизм, милитаризм, воинственный антибольшевизм, бонапартизм, социальная демагогия.

Вероломный ход Керенского вызвал смятение в рядах корниловцев, убежденных в поддержке правительства. Их наступление на Петроград было сорвано благодаря саботажу железнодорожников и умелым действиям многочисленных агитаторов ВЦИК и местных Советов. Непосредственный предводитель похода на Петроград генерал Крымов застрелился, а Корнилов с генералами его штаба были арестованы в Могилеве и посажены под арест в небольшом городке Быхове.

Корниловщина потерпела первое, но не окончательное поражение. Вплоть до октября 1917 года она не имела сколь-нибудь значительной опоры в массах, вербуя кадры в основном из офицерской среды.

Многие десятилетия ведутся споры о том, почему большевикам так легко удалось свалить Временное правительство. Высказано множество самых разных соображений. Мне вспоминается двадцатилетней давности разговор на эту тему с близким человеком, в 1917 году подпоручиком Измайловского полка. В ответ на мои рассуждения об исторической предопределенности Октября (нас учили в том духе, что вся мировая история от Шумера и египетских фараонов только для того и развивалась, чтобы подготовить Великую Октябрьскую социалистическую революцию и последующую победу пролетариата в мировом масштабе) мой собеседник снисходительно улыбнулся и сказал: «Большевики победили по двум причинам: во-первых, они единственные решились выдвинуть лозунги о мире и земле, отвечавшие тогдашним настроениям в народе, а во-вторых, никто в обществе накануне переворота не воспринимал их всерьез. Ну, посадят они у власти до созыва Учредительного собрания, развалит все окончательно, а потом сами же отдадут бразды правления законно избранному правительству». Помню, тогда я, начинающий историк, горячился, доказывая дяде Косте его неправоту, и даже упрекал его в непонимании исторических закономерностей (ох уж эти любимые нами закономерности!..).

Как бы там ни было, Октябрь семнадцатого — далеко не случайность, как не случайны гибель самодержавия и поражение керенщины. Старый порядок в России себя полностью изжил, а поиски «третьего пути» пришлось не ко времени (война помешала). Керенщина, образно говоря, про-

извела выкидыш, и Россию поставили перед дилеммой, сформулированной П. Н. Милоковым: «Ленин или Корнилов?». Поскольку корниловщина переживала шок от понесенного в августе поражения, власть взяли те, кто оказался в тот момент сильнее, — большевики.

Иоффе показывает это событие в неприглядном для нас ракурсе — через восприятие октябрьского переворота противниками большевиков. Непосвященный читатель будет немало удивлен, узнав, что контрреволюция (корниловцы) по-своему желала, чтобы именно большевики «урунили» Временное правительство и захватили власть. Ну а что же дальше? Вот как себе это представлял симпатизировавший корниловцам современник, чье дневниковое свидетельство приводит автор: «Я лично смотрю очень мрачно. Впереди еще много несчастий. Катастрофическое повальное бегство солдат из окопов, все разрушающее и уничтожающее на своем пути и распространяющее еще большую анархию по всей стране. Голод всеобщий, но в особенности в Петрограде... Жестокая безработица... В результате банды голодных, безработных, озлобленных и не удовлетворенных пресловутой свободой товарищей. В виде апофеоза — повсеместные жидовские погромы, которые, конечно, несмотря на всю привлекательность для души, нельзя приветствовать разумом. В этом апофеозе выльется вся безграничная злоба, которая во всех накопилась, без различия сословий и партий, и после бури наконец наступит успокоение страстей. Так мне представлялся ход событий. Отдельные части России будут самоопределяться, дондеже это им самим не омерзает и пока они не сольются снова в русском море, возглавляемом монархией».

Надежда контрреволюции была на самодискредитацию большевиков как партии, не способной управлять государством, после чего и настанет черед «генерала на белом коне» — Корнилова. Октябрь 1917 года оказался, можно сказать, уникальным моментом для осуществления большевистского переворота. Лучше всех в большевистском руководстве это понимали Ленин и Троцкий. «Если бы большевики не взяли власть в октябре — ноябре, они, по всей вероятности, не взяли бы ее совсем», — признавался Л. Д. Троцкий. Страна жила ожиданием созыва Учредительного собрания, которое скорее всего лишило бы большевиков шансов на захват власти. В связи с этим нельзя не согласиться с Иоффе в том, что восстание в Петрограде в

ночь с 25 на 26 октября 1917 года явилось первым актом гражданской войны (о чем, собственно говоря, писал и Ленин).

Труднее принять авторское объяснение причин «триумфального шествия большевизма» в последние месяцы 1917 и в начале 1918 года лишь неорганизованностью и деморализацией контрреволюции. Во-первых, нельзя игнорировать очевидную популярность в широких народных массах первых декретов советской власти о мире и земле. Во-вторых, страна действительно видела в большевистско-левоэсеровском Совнаркоме лишь переходное правительство, готовое уступить власть по первому требованию «хозяина земли русской» — Учредительного собрания. Надо признать, что в этом вопросе тогдашнее общественное мнение проявило очевидную наивность. Большевики захватили власть «всерьез и надолго» вовсе не для того, чтобы добровольно уступить ее или даже разделить с кем бы то ни было. Блок с левыми эсерами носил вынужденно-временный характер, и не случись 6 июля 1918 года, М. Спиридонова и ее соратники все равно были бы обречены на разрыв с большевиками.

Г. З. Иоффе неоднократно высказывает соблазнительную мысль о желании и готовности большевиков создать многопартийную (социалистическую) правительственную коалицию, приводя соответствующие цитаты. Что сказать по этому поводу? Ленинское наследие настолько обширно и богато, что в нем можно найти цитаты на все случаи жизни. Более доказательной мне представляется сама логика политической борьбы, в принципе исключавшая сколь-нибудь устойчивые комбинации большевиков с меньшевиками и эсерами (даже с левым их крылом). До октября 1917 года готовность большевиков лишь приблизиться к власти объяснялась их слабостью. Тот факт, что в результате октябрьского переворота было сформировано коалиционное правительство, объясняется в первую очередь активным участием в свержении Временного правительства левых эсеров, анархистов и других тогдашних попутчиков большевиков, с чем Ленин и Троцкий вынуждены были хотя бы первое время считаться. Причина того, что в послеоктябрьской России не смогла утвердиться многопартийная система, была не столько в неготовности эсеров и меньшевиков сотрудничать с большевиками, сколько в принципиальном нежелании последних делить власть с временными попутчиками. Достаточно вспомнить, как большевики в

том же 1917 году снимали лозунг «Вся власть Советам!», стояло лишь эсерам и меньшевикам временно получить в Советах преобладающее влияние.

Совершенно логичен поэтому и разгон большевиками в январе 1918 года Учредительного собрания, где они оказались в меньшинстве. Можно спорить о том, насколько состав Собрания соответствовал политическим реалиям 1918 года, задачам революции и интересам России, но нельзя отрицать очевидное — 6 января 1918 года была пресечена перспектива мирного, конституционного завершения революции. Кто знает — не могло ли то самое правовое государство, которое мы лихорадочно пытаемся создать на восьмом десятке лет существования советской власти, образоваться еще в начале 1918 года?

Если Октябрьское вооруженное восстание было первым актом гражданской войны, то разгон Учредительного собрания стал ее вторым актом, в ходе которого контрреволюция вышла из оцепенения и приступила к перегруппировке сил. Вряд ли можно согласиться с утверждением Иоффе, будто и после 6 января 1918 года сохранялась возможность мирного развития советской власти. На какой, собственно, основе? Это было бы возможно лишь в том случае, если бы в России существовала только большевистская партия, обладавшая монопольным влиянием на массы. А разве случаен тот факт, что «триумфальное шествие» замедлилось, а затем и остановилось как раз после разгона Учредительного собрания, когда всем стало ясно — мирный исход революции отныне невозможен, большевики никому не отдадут власть по доброй воле?

Разгон Учредительного собрания, а затем подписание Брестского мира дали второе дыхание российской контрреволюции и ее ударной силе — корниловщине, получившей моральное право на развертывание вооруженной борьбы с «узурпаторами».

Г. З. Иоффе подробно освещает обстоятельства побега генерала Корнилова в ноябре 1917 года из Выхова на калединский Дон. Именно там, в Новочеркасске, возник первый серьезный очаг сопротивления советской власти, туда устремились все ее противники, от монархистов до эсеров. Они попытались создать контрреволюционный правительственный орган, в котором решающая роль принадлежала трем генералам. На Корнилова была возложена вся военная власть, на генерала Алексеева — гражданское управление, финансы и сношения с союзниками, а на генерала Каледи-

на — управление Областью войска Донского. При триумvirате функционировал «Гражданский совет» из числа известных общественных деятелей умеренного направления. Для спасения России от «германо-большевиков» спешно формировалась Добровольческая армия, державшая оборону на северных границах Области войска Донского. В одном из выступлений перед офицерами-добровольцами в начале января 1918 года Корнилов заявил: «Вы скоро будете посланы в бой. В этих боях вам придется быть беспощадными. Мы не можем брать пленных, и я даю вам приказ, очень жестокий: пленных не брать! Ответственность за этот приказ перед богом и русским народом я беру на себя!»

Начальный период гражданской войны был неблагоприятным для контрреволюции. Слишком сильным было еще воздействие Октября на умянастроения широких народных масс, в том числе и на Дону. Уже в феврале 1918 года Корнилов во главе малочисленной пока Добровольческой армии вынужден был покинуть охваченный революцией Дон и начать отступление на Кубань. В истории белого движения и всей гражданской войны это тяжелое пятисотверстное отступление осталось под названием Ледяного похода, ему посвящена обширная белоэмигрантская литература. Описание Ледяного похода мы найдем у Алексея Толстого в «Хождении по мукам», не оставил он равнодушной и Марину Цветаеву (в этом походе участвовал ее муж Сергей Эфрон). Думаю, Иоффе мог бы уделить в своей книге несколько больше внимания Ледяному походу.

Завершился поход поражением белых под Екатеринодаром и гибелью самого Корнилова от шального снаряда 31 марта 1918 года. Собственно говоря, именно гибель Корнилова в критический момент сражения за Екатеринодар подорвала боевой дух добровольцев, предопределив неудачу штурма.

Автор не замалчивает деликатный вопрос о посмертной участи тайно похороненного генерала Корнилова: его безымянная могила была обнаружена и осквернена красноармейцами, а труп Корнилова в течение нескольких дней волочили на веревке по улицам Екатеринодара, видимо для устрашения, пока наконец не сожгли где-то в окрестностях города Крайняя, нечеловеческая жестокость обеих сторон — это тоже ужасная правда гражданской войны, и она до сих пор дает о себе знать.

...Корнилов погиб, но знамя белого движения, выпавшее из его рук, было подхва-

чено единомышленниками — Деникиным, Колчаком, Юденичем, Врангелем. Следуя за автором, нельзя не признать, что противники большевиков, заключивших «похабный» мир с Германией, руководились по-своему понимаемым патриотизмом. Это же чувство способствовало значительному расширению социальной опоры белого движения. Что говорить о противниках советской власти, если во ВЦИК, Совнарком и самом большевистском руководстве Брестский мир расценивался как предательство революции, и лишь ультиматум В. И. Ленина заставил партию согласиться на этот шаг!

Март 1918 года — важнейшая веха в не написанной до сих пор (признаемся себе в этом) подлинной истории гражданской войны. Пора отказаться от примитивных представлений о гражданской войне как о всенародной борьбе рабочих и крестьян против помещиков, капиталистов и их наемников. Гражданская война — это не тема для легкомысленного воспевания, это величайшая российская трагедия, когда за узкопартийными, нередко эгоистическими интересами противоборствующих сторон

терялись подлинные национальные интересы.

До сих пор история российской революции и гражданской войны пишется исключительно с позиций победившей партии. Это понятно, даже естественно, но недостаточное для подлинно научного исследования, не терпящего искусственных ограничений поля зрения. Не сможем же мы до конца понять Великую французскую революцию, если будем рассматривать ее только через якобинскую, роялистскую или термидорианскую призмы. В каждом случае это будет лишь часть правды, но не вся правда. То же самое можно отнести и к нашей революции и последовавшей за ней гражданской войне. Изучение политических платформ российской контрреволюции, всех ее течений и направлений, знакомство с ее вождями и идеологами, выяснение социально-массовой опоры белого движения — неперемные условия создания подлинно научной истории революции и гражданской войны. Новая книга Г. З. Иоффе продвигает нашу историографию в этом направлении.

Петр ЧЕРКАСОВ.



РАЗОРЕНИЕ. III *

И. А. Бунин. *Окаянные дни. Подготовка текста, публикация и примечания А. К. Бабореко. «Литературное обозрение», 1989, № 4, 6, 7.*

И. А. Бунин. *Гегель, фрак, метель. Публикация и примечания В. П. Кочетова. «Литературное обозрение», 1989, № 7.*

Иван Бунин. *Окаянные дни. Фрагменты. «Даугава», 1989, № 3—5.*

Иван Бунин. *Окаянные дни. Фрагменты. «Слово» («В мире книг»), 1989, № 7, 8, 12.*

Иван Бунин. *Окаянные дни. Дневник писателя 1918—1919 годов. «Литературный Киргизстан», 1989, № 6, 7.*

Иван Алексеевич Бунин считал дневник одной из «самых прекрасных литературных форм», которая в будущем может вытеснить все прочие; последнее — проблематично, но зато несомненно, что именно из этой формы родилась одна из самых знаменитых книг одного из лучших русских прозаиков нашего века.

Да, «Окаянные дни» напечатаны на родине писателя сразу в четырех периодических изданиях (впрочем, фанфары тут неуместны, об этом чуть позже). Какие «дни» писатель считал «окаянными», известно — это революция и гражданская война, и все больше его соотечественников готовы с ним согласиться. Бунинский дневник 1918 (Москва) и 1919 (Одесса) годов появился в 1935 году в десятом томе берлинского собрания сочинений Бунина. (В ГЕЛ — на спецхранении; по крайней мере так было осенью 1989 года.) У нас в стране некоторые фрагменты «Окаянных дней» с многочисленны-

ми сокращениями были почти инкогнито запрятаны в «Дневники» Бунина в шестом томе его собрания сочинений (М. 1988). В том же шестом томе можно прочесть напечатанный с сокращениями по рукописи дневник писателя с августа 1917 по май 1918 года (подготовка текста А. К. Бабореко); это как бы введение в «Окаянные дни», их непосредственное начало со всеми основными мотивами книги: подавленность, униженность происходящим, ощущение национальной катастрофы, размышления о русском народе. Как любезно сообщил мне А. К. Бабореко, Бунин при подготовке «Окаянных дней» к печати этими своими записями не располагал; думаю, что они могли бы найти свое место в готовящемся, первом в нашей стране, отдельном издании «Окаянных дней».

Существование этой книги никогда не было тайной, и «официальному» советскому литературоведению приходилось как-то ее увязывать с признанием Бунина замечательным русским художником. «Окаянные дни», читаем мы в книге А. Нинова, дают «почти клиническую (!) картину разруши-

* Данная публикация продолжает разговор, начатый в № 3 и 6 «Нового мира» за 1989 год.

тельной внутренней ломки, пережитой им (Буниным.— А. В.) в это время. С художественной стороны эта книга не имеет никакой ценности... Нет здесь ни России, ни ее народа в дни революции, ни прежнего Бунина-художника. Есть лишь одержимый ненавистью человек. Эта книга правдива лишь в одном отношении — как откровенный документ внутреннего разрыва Бунина со старой либерально-демократической традицией...» Просто и сурово. Правда, там были другие мнения: М. Алданов считал, что в «Окаянных днях» есть страницы, сравнимые с лучшим из всего написанного Буниным, но что с Алданова взять, его самого до недавнего времени для нас «не существовало».

А что Бунин пристрастен — это бесспорно. Осознанно пристрастен. «Беспристрастно! — восклицал писатель в дневнике 1918 года.— Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное: наша «пристрастность» будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна «страсть» только «революционного народа»? А мы-то что ж, не люди, что ли? И он не ошибся: настоящей беспристрастности по отношению к русской революции мы не дождались и неждемся, а к «Окаянным дням» мы сегодня припадаем именно ради бунинской «необъективности» его правды.

Крик: мы тоже люди! — проходит через всю книгу; в каком-то смысле настойчивая бунинская пристрастность есть как раз требование единого нравственного суда над «нашими» и «не нашими» (что для одной стороны преступление, то преступление и для другой); в условиях расколотого общественного сознания «белый» Бунин защищает общечеловеческие нравственные абсолюты. «Народу, революции все прощается,— все это только эксцессы». А у белых, у которых все отнято, поругано, изнасиловано, убито,— родина, родные колыбели и могилы, матери, отцы, сестры,— «эксцессов», конечно, быть не должно».

В «Окаянных днях» Бунин записывает, видимо, сильно поразившую его историю (он ее еще раз приведет в очерке «Гегель, фрак, метель») о том, как мужики, разгромившие осенью семнадцатого года помещицью усадьбу под Ельцом, оборвали перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, метаться с пронзительными криками куда попало. «Но что за беда! — саркастически замечает писатель.— Вот Павел Юшкевич уверяет, учит меня, что... содрогаться от этих павлинов — «о б ы в а т е л ь щ и н а» (разрядка Бунина; это и мы слышали — А. В.). Даже Гегеля вспомнил... Да, да. «бьют и плакать не велят». Каково павлину, и не подозревавшему о существовании Гегеля? С какой меркой, кроме уголовной, могут «подходить к революции» те священники, помещики, офицеры, дети, старики, черепа которых дробит победоносный демос?»

Именно эту «мерку» прикладывает к происходящему сам писатель. «Купил книгу о большевиках... Страшная галерея каторжников!» Под «каторжником» понимается тут вовсе не «пострадавший от самодержавия»; для Бунина любой революционер есть бандит, преступник в самом прямом и вуль-

гарном смысле. «Прирожденная» преступность конкретных деятелей революции, которую выводил Бунин из данных «современной уголовной антропологии», весьма сомнительна; но в целом Бунин совершенно точно выхватил действительную проблему русской революции — участие в ней уголовной стихии, накладывающей свой отпечаток на все стороны развороченной жизни — на быт («И какой ужас берет, как подумаешь, сколько теперь народу ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов!»), на политику (знаменитое «караул устал» — разве не тот же бластной выверт?). По впечатлению Бунина, русская вахханалия превзошла все до нее бывшие и изумила даже тех, кто много лет звал «на Стенькин утес»: «Странное изумление!.. Степан был... как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в самом деле предстоит новая долголетняя борьба». Будто для нас написано: не взвоем ли мы среди уголовного разгула, призывая на помощь все ту же проклинаемую «систему», ибо иной у нас нет?

Бунин ненавидел и ненависти своей не стеснялся. Луначарский — «гадина». Блок — «человек глупый». Большевики — «более наглых жуликов мир не видел». Но дело не в конкретных личностях, для Бунина неприемлемы само революционное сознание, мышление, поведение. О счастливым будущем он высказался коротко: «вечная сказка про красного бычка»; о том, что революция — стихия: «чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются...» Некоторых читателей может возмутить, что Бунин предьявляет суровый счет не только революционерам, но и самому русскому народу; тут он действительно резок, несентиментален, как не были сентиментальны его дореволюционные повести «Суходол» и «Деревня». «Злой народ!» — отмечает он осенью 1917-го. «Злой» не потому, что русский; «злой» — значит, таково его состояние в данный момент. Бунин негодует на народ не потому, что презирает его, а потому, что хорошо знает его создательные духовные потенции, понимает, что никакое «всемирное бюро по устройению человеческого счастья» (по мнению писателя, совершенно реальное) не способно разорить великую державу, если сам народ этого не позволит. В дневнике 1917 года упоминается примечательная, почти символическая сцена в городском саду как раз накануне «окаянных дней» — пьяный солдат поет:

Выну саблю, выну востру
И срублю себе главу...

«Замечательно это „себе“», — отмечает писатель. Народ болен. Не от природы болен¹, а именно сейчас болен. Болеет сам

¹ Именно это утверждал Горький в послесловии к «Книге о еврейских погромах на Украине в 1919 г.». С. Гусева-Оренбургского: либо русский народ «по натуре» садист и лебо, невменяемого, надо «лечить». либо он заслужил свою судьбу, настоящую и будущую.— какова дилемма! С 1923 года этот малоизвестный текст Горького у нас не переиздавался.

русский язык, «ломается... и в народе (а не только в революционной печати.— А. В.)... Все это всегда бывало, и народный организм все это преодолел бы в другое время. А вот преодолеет ли теперь?» Ломается, болеет вера, и жизнь являет грубую карикатуру на «народ-богоносца». «Знаем! Видали во Владимире! — кричит на улице баба «даме», пытающейся доказать, что монастырь не камень, а священный храм.— Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог. Ну, и молись ему сама». Сам Бунин в годину испытаний не мог обойтись (и мы не обойдемся) без Бога и Церкви: «...молишься так напряженно, до боли во всем теле, что кажется, не может не помочь Бог, чудо, силы небесные. Засыпаешь, изнуренный от того невероятного напряжения, с которым просишь об их (большевиков.— А. В.) погибели и за тысячу верст, в ночь, в темноту, в неизвестность шлешь всю свою душу к родным и близким, свой страх за них, свою муку, да сохранит и спасет их Господь...» Не случайно и последняя запись «Окаянных дней» от 20 июня 1919 года тоже о Церкви: «...восторгом до слез охватывает... мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, к которой и я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах!.. И в церкви была все время одна мысль, одна мечта: выйти на паперть покурить». И, вспоминает Бунин, не было и мысли о связи между жизнью покойного и этими погребальными молитвами, как, можно добавить, не было полного сознания (не формальной, а онтологической) связи Церкви и России.

«Была Россия! Где она теперь,— выдохнул Бунин в полночь («слегка пьян») 21 ноября 1917 года. Это сквозной мотив книги. «Наши дети, внуки (мы.— А. В.) не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали,— всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...» — горько размышлял писатель в Одессе 1919 года, среди пожара братоубийственной войны, заноса в дневник горькие слухи о том, что «они» решили вырезать всех поголовно до семилетнего возраста, чтобы потом «ни одна душа не помнила нашего времени» (призрак той же «шигалевщины»). Все происходящее представляется таким диким, что мысль не находит окончательного, убедительного объяснения, каким образом это вообще стало возможным. «Какая чепуха! Был народ в 160 миллионов численностью, владевший шестой частью земного шара, и какой частью? — поистине сказочно богатой и сказочной быстротой процветавшей! — и вот этому народу сто лет добили, что единственное его спасение — это отнять у тысячи помещиков те десятины, которые и так не по дням, а по часам таяли в их руках!» У крестьян был, конечно, иной взгляд на помещицкие десятины, но не будем гордиться упрекать писателя в дворянской ограниченности, в идеализации прошлого.

Бунин прошлого как раз не идеализировал, но он ясно видел границу, отделяющую

это прошлое от всего (простирающегося до сего дня) послереволюционного существования: «Уж на что страшна старая русская летопись: беспрерывная крамола, ненасытное честолюбие, лютая «хотя» власти, обманные целования креста, бегство в Литву, в Крым «для подъема поганых на свой же собственный отчий дом»... и все-таки иные, совсем не нынешние слова: «— „Срам и позор тебе; хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество, правую веру в Господа нашего Иисуса Христа!“»

В феврале 1918 года Бунин занес в дневник одну из немногих, может быть последнюю, светлую запись: «Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им — красота и радость... Что ждет эту молодость?» Скоро уже не имело смысла спрашивать, что ждет. Самого Бунина ничего не ждало: «...в их мире, в мире поголовного хама и зверя, мне ничего не нужно...» Разрыв был неизбежен. Но с кем? С революцией и связи не было. С Россией? Той, бунинской России уже не существовало, он увез ее в своей памяти, а страна, лежавшая вокруг, была для него уже чем-то иным. Он уехал навсегда. «А если б даже Божья сила и помогла...» — то что с того?

Потерь не счесть, не позабыть,
Пощечин от солдат Пилата
Ничем не смыть — и не простить.
Как не простить ни мук, ни крови,
Ни содроганий на кресте,
Всех убиенных во Христе,
Как не принять грядущей нови
В ее отвратной нагоде?.

Так он писал уже за границей в 1922 году. «Не простить» — и не простил до самого конца, все-таки веря, что «придет пора и воскресенья и деянья, прозрения и покаянья». Пришла ли она? Сомневаюсь.

Дело в том, что ни в одном из четырех журналов «Окаянные дни» не напечатаны полностью: в «Литературном обозрении» и «Литературном Киргизстане» публикуются все части, но с внутренними сокращениями, в «Даугаве» — обширные фрагменты книги без сокращений, в «Слове» — фрагменты с сокращениями. Между тем «Окаянные дни» — это уже исторический и литературный памятник (и памятник гражданской войны) в России, и, как справедливо отметил В. П. Кочетов, памятник жертвам гражданской войны; его надо давать целиком, ибо любое сокращение умаляет значение всей публикации.

Что же сокращено? До чего еще не выросла наша гласность? Ответ прост: до Ленина. Цитирую:

«И еще одно торжество случилось тогда в Петербурге — приезд Ленина. «Добро пожаловать!» — сказал ему Горький в своей газете. И он пожаловал — в качестве еще одного притязателя на наследство. Притязания его были весьма серьезны и откровенны. Однако его встретили на вокзале почетным караулом и музыкой и позволили

* «Неизвестные стихи И. А. Бунина». Публикация Михаила Шаповалова («Подъем», 1989, № 6).

затесаться в один из лучших петербургских домов, ничуть, конечно, ему не принадлежащий.

«Много»? Да как сказать? Ведь шел тогда у нас пир на весь мир, и трезвы-то на пиру были только Ленин и Маяковский.

Одноглазый Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Ленин и Маяковский (которого еще в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем) были оба тоже довольно прозорливы и весьма сильные своим одноглазием. И тот и другой некоторое время казались всем только площадными шутами. Но недаром Маяковский назывался футуристом, то есть человеком будущего: полифемское будущее России принадлежало несомненно им, Маяковским, Лениным. Маяковский утробой почувал, во что вообще превратится русский пир тех дней и как великолепно заткнет рот всем прочим трибунам Ленин с балкона Кшесинской: еще великолепнее, чем сделал это он сам на пиру в честь готовый послать нас к черту Финляндии!»

По иронии судьбы (или по комическим законам нашей «свободы») этот благополучно напечатанный в Риге кусок бунинской записи от 24 апреля 1919 года полностью вычеркнут в московском журнале «Слово». Журнал «Литературное обозрение» занял центристскую позицию: напечатаны два первых абзаца, третий сокращен. Я журналистов не укоряю (сам знаю эту кухню), я им сочувствую.

Это не единственный пример. «Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон... Ленин, Троцкий, Держинский...» — сопоставляет Бунин, читая историю Ленотра. Следующие три фразы в «Литературном обозрении» сокращены, далее цитирую по «Даугаво»: «Кто подлее, кровожаднее, глже? Конечно, все-таки московские. Но и парижские были неплохи»³.

Да это же настоящая контрреволюция! — воскликнет иной читатель. Именно что настоящая. Поясню. В нашем полити-

ческом лексиконе есть особые слова — «антисоветский», «антипартийный», «антикоммунистический», «контрреволюционный»... Человек, которого они касались, не имел права жить, в лучшем случае — свободно ходить по земле. Люди, заклеенные ими, зачастую не были «анти»; это была только метка смерти для устранения «лишних» людей. Слова нужно проверить, освободить от запаха мертвецкой. У них есть реальное содержание: люди, активно не приемлющие идеологию и практику коммунизма, называются антикоммунистами. Автор «Окаянных дней» именно таков, это просто факт, а не обвинительное заключение. И не нужно его «извинять», он в этом не нуждается. Он этого не стеснялся, и нам стесняться нечего⁴.

Пока его книга печаталась там, с точки зрения равновесия «системы» все было нормально — на своих местах. А ныне она печатается в социалистической стране, где правит коммунистическая партия, гордящаяся своим происхождением от Ленина и большевиков, в печать ее подписывали редактор-коммунист и цензор-коммунист... Но они же ее и кромсали!.. Неполноценность публикации «Окаянных дней» есть выражение именно этого противоречия. Так уж случилось, что именно «Окаянные дни» (а не напечатанный чуть позже «Архипелаг ГУЛАГ») в открытую ставят перед нами вопрос: какое место может занять антикоммунистическое (христианское, либеральное, патристическое...) мировоззрение в нашей сегодняшней и завтрашней жизни? Скажут: никакого места! Да нет, место есть. Все это уже здесь.

«Окаянные дни» — это памятник, но памятник, опалаящий огнем. Книга жжет, она горит взаимной ненавистью, испепелившей некогда Россию. И ненависть эта не угасла. Хватит ли нам мудрости, чтобы еще раз не срубить «себе голову»? «Окаянные дни» — это грозное предупреждение о необходимости гражданского мира; иначе не спастись, нет надежды.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

³ «Литературное обозрение» объясняет, что сокращены нестерпимо грубые выпады в адрес Ленина. Кстати, чуть позже газетой «За рубежом» (1989. № 31) были перепечатаны такие солженицынские высказывания из интервью журналу «Тайм»: «Ленин имел мало общего с русской культурой... Сам он не принадлежал ни к одной нации. Он был «интер»-национальным — между нациями... Полное отсутствие всякой жалости отсутствие человечности в подходе к людям, народным массам, к любому, кто не поддерживал его во всем... Даже не употребляя слово «зло» в широком, метафизическом смысле, его можно употребить применительно к Ленину в повседневном значении» Солженицын — при той же бунинской определенности — более сдержан лексически. И стерпели.

⁴ Читаем у О. Михайлова («Москва», 1989, № 3): «Как юридивый (!), который, шевеля веригами, под звон дурацкого колокольчика исступленно кричит хулы — свозь хохот и улюлюканье, — Бунин неистово прокликает революцию. Писать об этом тяжело (разрядка моя. — А. В.), но писать — надо». Сравнение с юридивым оставим на совести советского буниноведа, но — ужели столь любимый Буниным Чехов, доживи он до пятидесяти восьми лет (1918 год), пел бы Октябрь и большевиков? Невозможно представить скорее — эмиграция, или высылка в 1922 году, или просто задавили бы.

КОРОТКО О КНИГАХ

*

Е. А. МАЙМИН. Афанасий Афанасьевич Фет. Книга для учащихся. («Биография писателя»). М. «Просвещение». 1989. 159 стр.

«Жизнь моя — самый сложный роман», — писал Афанасий Афанасьевич Фет другу своей молодости. Великому лирику не повезло с жизнеописаниями: ни один из замыслов создания его фундаментальной биографии (Н. Черногубовым, Б. Садовским, Г. Блоком) не был осуществлен. И до сих пор остаются неосвоенными целые пласты архивных материалов (прежде всего писем), имеющих первостепенное значение для понимания личности Фета и его судьбы.

Е. А. Маймин не ставил целью восполнить этот пробел. Лучшие страницы его книги — это прочувствованное, тонкое прочтение стихов поэта, прекрасный их анализ. Если бы Е. А. Маймин рискнул построить свою книгу по им самим провозглашенному тезису: «Биография поэта — это прежде всего его стихи», — то мы бы имели, вероятно, очень полезное и оригинальное пособие по изучению Фета.

Но автор взялся за биографию Фета — дело особенно трудное в жанре «книги для учащихся», ибо, повторяю, на сегодня нет ни одного научного жизнеописания поэта, на которое можно было бы опереться без опасения оказаться некорректным в отношении и отдельных фактов, и портрета в целом. Образ поэта с давних времен искажен слетнями, штампами, идеологическими ярлыками. К сожалению, Е. А. Маймин остался во власти прежних устаревших представлений о Фете — «прекрасном поэте и плохом человеке».

В книге то и дело сталкиваешься с пресловутыми «легендами». Вот одна из них (цитирую Е. А. Маймина): «Фет женился на Марии Петровне, не испытывая к ней сильного любовного чувства...» Приведу только два отрывка из неопубликованных писем Фета к невесте: «Не мучь меня, моя милая, добрая Мари, — я тебя умоляю, как друга, как женщину, у сердца которой я ищу отдыха от всех дрязгов и хлама житейского, которая меня отогреет и простит. Умоляю тебя, напиши мне, что у тебя на душе? Любишь ли ты меня? так, как я тебя люблю. Способна ли ты на всю жизнь отдаться мне совершенно — во всех случаях жизни, так, как я это со своей стороны говорю — Бог даст, тебе докажу на деле»; «...Я пишу, потому что люблю тебя всеми силами бедной моей души».

Наибольшие недоумения вызывает глава «Фет-помещик». «За время пребывания в Степановке Фет написал не более трех лирических стихотворений», — утверждает автор, буквально поняв строки из часто цитируемого письма поэта к великому князю К. Романову. В действительности степановских стихотворений около пятидесяти. Е. А. Маймин не случайно так охотно отлучает Степановку от лирического творчества Фета. «Помещичье гнездо» (а в то время это

был единственный свой дом поэта) стало для Фета, по мнению автора книги, истоком «реакционности его социальной позиции»

«Точно так же, как он казался в обстановке 60—80-х годов запоздалым лириком, был он и запоздалым помещиком», — пишет Е. А. Маймин. Прежде всего не всем и в эти годы Фет казался «запоздалым лириком». Вспомним, что именно тогда среди поклонников его таланта были Л. Н. Толстой (о чем рассказывает и Е. А. Маймин), Н. Н. Страхов, В. С. Соловьев. Что же касается «запоздалого помещика», то в условиях пореформенной России Фет быть им просто не мог. Он стал помещиком-фермером, который использует труд наемных рабочих. О сложности становления новых отношений между землевладельцами и крестьянами, о возникновении новых социальных и экономических проблем в жизни России рассказал он в своих деревенских очерках. Вот как относится, например, «реакционер» Фет к отмене крепостного права: «Насколько мы понимаем дух крестьянской реформы, она должна разрешить два вопроса: эмансипацию личности и эмансипацию труда, что почти одно и то же»; «Заподзривать меня в пристрастии к старому порядку или в антипатии к вольному труду нельзя. Я сам добровольно употребил на это дело свой капитал и бьюсь второй год лично над этим делом».

Говоря об объективном смысле и значении этой прозы Фета, Е. А. Маймин делает такой «главный вывод»: «...интересы помещика и работника-крестьянина резко противоположны, между помещиком и крестьянином идет постоянная война». Для тех, кто прочтет деревенские очерки беспристрастно, станет очевидно, что пафос Фета-публициста в ином: необходимо объединить все живые общественные силы ради одной цели — развития страны

В 1988 году в бывшей Степановке был поставлен первый в наше время памятник Фету, и памятник этот не только лирику, но и земледельцу, памятнику трудолюбию, здравому смыслу, уважительному отношению к земле и природе — всему тому, что защищал Фет в своих деревенских очерках.

Г. Асланова.

*

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ. Стихотворения. («Библиотека поэта. Большая серия»). Л. «Советский писатель». 1989. 463 стр.

Вышел первый советский Ходасевич. Его поэтические книги не издавались в СССР с 1923 года (второе, гржебинское, издание «Тяжелой лиры»); прозаические не появлялись с 1924-го, то есть со времен «Поэтического хозяйства Пушкина». Последней раз подборка стихов Ходасевича появилась в 1925 году в составе известной антологии

Ежова и Шамурина. Потом — полное молчание вплоть до 1963 года, когда журнал «Москва» дал скромную подборку из «Европейской ночи», но почти сразу же имя Ходасевича вновь оказалось под запретом, были запрещены даже его поэтические переводы (правда, в 50-е и 60-е годы издавались «Избранная проза» и «Легенда Татр» К Тетмайера в переводе В. Ходасевича, но это как раз объяснимо: переводчик прозы в отличие от переводчика поэта у нас обычно остается как бы в тени переводимого текста). Табу временами достигало такой жесткости, что академик В. В. Виноградов в одной из своих работ на протяжении нескольких десятков страниц вел с Ходасевичем пушкиноведческую полемику, не имея возможности назвать своего оппонента по имени. Столь крайнее идеологическое отторжение имело, конечно же, свои корни — ввиду последовательного неприятия Ходасевичем эмигрантом тогдашней советской реальности.

Первым признаком перемен был выход биографической книги Ходасевича «Державин» (М. 1988). И вот теперь — венец признания: стихотворный том в большой, парадной, серии «Библиотеки поэта».

Представлено практически полное собрание оригинальных стихотворений поэта. Мы помним правда, что до революции Ходасевич очень много переводил и помимо многочисленных прозаических выступил, в частности сборник поэтических переводов «Из еврейских поэтов». Эта часть его наследия слабее всего представлена в данной книге, так что двухтомник поэта, выпущенный парижским издательством «La Presse Libre», под редакцией Юрия Колкера (1983), и по сей день сохраняет свое значение. Вне конкуренции остается и титанический труд Дж. Мальмстала и Р. Хьюза, выпустивших в 1983 году издательство «Ardis») тщательно откомментированный том стихов Ходасевича.

В нашем томе заслуживает безусловной похвалы комментаторская работа Н. Богомолова и Д. Волчка: авторы показали свою высокую осведомленность в текстологических и библиографических вопросах. Узвима, однако, вступительная статья, точнее ее положение, где Н. Богомолов говорит об общественных взглядах Ходасевича пореволюционной поры и о причинах его эмиграции. По существу, автор не смог объяснить отъезд поэта в Европу. События, «связанные с введением новой экономической политики», не имели на Ходасевича того влияния, какое приписывает им Богомолов, связывающий эмиграцию поэта с исчезновением в быту революционных идеалов.

«Первоначальный инстинкт, — вспоминал Ходасевич, — меня не обманул: я был вполне уверен что при большевиках литературная деятельность невозможна. Решив перестать печататься и писать разве лишь для себя, я вознамерился поступить на советскую службу». Но очень скоро утратил общий язык с работодателями и стал продвигаться все западнее и западнее (Москва — Петербург — Рига — Берлин). Н. Богомолов уклонился от анализа «пушкинской речи» Ходасевича (1921) или очерка «Белый коридор», в которых ощущение нравственной и творческой духоты первых советских лет

выражено с отчаянной силой. Ходасевич имел не «экономические расхождения» с властью, но этические.

Отчего-то не упомянуты во вступительном очерке такие важные в жизни Ходасевича фигуры, как Андрей Белый и Горький, с которым Ходасевич много общался и в Петрограде, и в Берлине, и в Сорренто и которому посвятил целых три очерка? Отважусь сказать, что именно Горький был для него олицетворением современной России, и их разрыв в 1925 году стал знаком фундаментального мировоззренческого разлада поэта со страной.

При описании зарубежной жизни Ходасевича у Богомолова вообще происходит смена акцентов: до революции поэт находился в творческой, литературной среде, а в зарубежье, по Богомолову, он окружен исключительно «толстоброхими хамами». В российский период акцент ставится на духовные проблемы, в эмигрантский — на житейские неурядицы. Очень жаль, что Н. Богомолов пошел этим исхоженным путем, столь уже знакомым нам по шаблонным изображениям Бунина-эмигранта.

Ленинград.

Ив. Толстой.

★

УИЛЬЯМ МЕЙКПИС ТЕККЕРЕЙ. ТВОРЧЕСТВО, ВОСПОМИНАНИЯ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЫСКАНИЯ. М. «Книжная палата». 1989. 488 стр.

Только последние годы автору «Ярмарки тщеславия» стали уделять у нас то внимание, какого достоин этот классик мировой литературы. За двенадцатитомным собранием сочинений (1974—1980) следуют дополняющие и расширяющие его издания: биографический роман Маргарет Форстер о Теккерее «Записки викторианского джентльмена» (1985) в переводе Т. Я. Казавчинской, сборник юмористических повестей и пародий сатирика на языке оригинала (1985), составленный Е. Ю. Гениевой, роскошно оформленная «Ярмарка тщеславия» в двух томах («Книга», 1986) со вступительной статьей и обширными комментариями И. О. Шайтанова. А теперь вот солидный, богато иллюстрированный компендиум теккерееведения, в котором волею составителей совместились различные жанры: библиография русских переводов и исследований об английском писателе, ценный иконографический материал, впервые публикуемая у нас большая подборка стихотворений Теккерея в переводах А. Васильчикова, А. Солянова, Е. Печерской и других, воспоминания о писателе и отзывы о нем английских и русских литераторов. В конце книги интересный раздел «Теккерея и русская культура», где выделяются статьи С. Э. Нураловой «Теккерея и Л. Н. Толстой», М. Н. Шишиной «И. И. Введенский — переводчик Теккерея», воспоминания И. М. Дьяконова о своем отце М. А. Дьяконове, известном переводчике «Ярмарки тщеславия».

Поистине подвижническим можно назвать труд Е. Ю. Гениевой, которая много лет отдала изучению творчества великого сатирика, собирая и изданию материалов о

нем. В ее фундаментальной вступительной статье интересны, в частности, замечания о теккереевской «эстетике полутонов, порожденной новым взглядом на человека» и во многом предвосхитившей искусство XX столетия.

Книга на долгие годы останется необходимым справочным пособием и дополнением к собранию сочинений Теккерея. Хочется, однако, упомянуть и о том, чего нет и что могло бы быть в подобного рода издании. Казалось бы, мелочь: в картотеке М. М. Бахтина, хранящейся в Пушкинском Доме, составительница обнаружила неточную запись ученого — он перепутал стихотворение Теккерея «Тимбукту» с его же «Легендой о св. Софии Киевской». Последняя представляет, вероятно, единственное во всей западноевропейской литературе значительное произведение, посвященное древнему Киеву и его главному храму. Но почему-то из библиографии выпала статья автора настоящей заметки, напечатанная в журнале «Радянське літературознавство» (1984, № 1), где как раз анализируется эта бурлескная ироническая поэма, по словам Е. Ю. Гениевой, мало освоенная даже специалистами. Жаль, что не нашлось в работе места для комически-пародийного стихотворения Теккерея «Три рождественских певца», представляющего остроумный и по своему глубокий отклик поэта на революцию 1848 года.

Особо следует сказать о проблеме перевода. Относительно Иринарха Введенского здесь, кажется, расставлены наконец все точки над «и», чего не скажешь о работах советского времени. А ведь труд М. А. Дьяконова (ставшего одной из жертв сталинских репрессий) кое в чем уже устарел. Вдобавок редактировавшие его перевод «Ярмарки тщеславия» Р. Гальперина и М. Лорие лишь ухудшили его текст, убирая из него «буффонные» теккереевские образы и заменяя их безликими общими местами. Где у Дьяконова букет величинной со «стог сена» (перевод точный!), там наши переводчики ставят робкое «чуть ли не с венник». Обильный поток слез из глаз Эмилии Седли напоминает «игру больших фонтанов» — тут у Теккерея эстетика английской рождественской пантомимы. Дьяконов робеет и низводит ее до... «водопровода», а переводчицы вычеркивают и это, сводя все к банальным «слезам». Совершенно исчез из романа знаменитый мрачно-юмористический образ потайного «скелета в кабинете», взятый писателем из «Синей Бороды» Ш. Перро и превращенный им в метафору позорной тайны, мучающей человека.

Короче говоря, советские переводчики еще не вполне освоили поэтику Теккерея с ее удивительными, подчас даже нарочитыми переходами от тонкого психологизма, полутонов к «балагану», гротеску, карнавалу. Обо всем этом уместно было бы сказать на страницах рецензируемой книги.

Замечания эти не умаляют значения сделанного. Работа Е. Гениевой и ее коллег остается для нас примером честного служения делу культурных связей.

В. Вахрушев.

Балашов.

*

П. Л. КАПИЦА. Письма о науке. 1930 — 1980. М. «Московский рабочий». 1989. 400 стр.

Собранные в этой книге письма лауреата Нобелевской премии академика П. Л. Капицы охватывают сложное пятидесятилетие истории нашей страны. Героические и трагические повороты, спады и подъемы этой истории отразились непосредственно и столь же противоречиво на судьбах отечественной науки и ее творцов. Как нелегко, порой драматично складывалась в это время жизнь самого Петра Леонидовича, рассказано в предисловии его референта П. Е. Рубинина (составителя сборника, автора примечаний и аннотированного именного указателя). Судя по письмам, основной предмет размышлений, забот и тревог П. Л. Капицы — не просто наука, а то, что у науковедов принято называть Большой наукой. Речь идет о фундаменте, определяющем магистральные пути научного прогресса. Именно Большую науку, считая ее достоянием всего человечества, имеет в виду Капица и тогда, когда обсуждает со своими коллегами вопросы технического обустройства научных институтов и лабораторий, и когда хлопочет перед сановными представителями властвующей элиты об освобождении незаконно осужденных ученых и прекращении средневековых преследований за инакомыслие (среди его адресатов — И. В. Сталин, В. М. Молотов, Г. М. Маленков, Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев, Ю. В. Андропов...), и когда протестует против варварского разгрома отечественной цензуры и нелепых ограничений международного научного общения.

По возвращении из Англии на родину после тринадцатилетней отлучки П. Л. Капица сталкивается лицом к лицу с главным врагом отечественной науки и культуры, врагом свободного творческого поиска. Этот враг — всеисильная бюрократия, проникшая практически во все поры и звенья советской системы. Насильственно удерживаемый внутри этой системы, лишенный возможности физически порвать с ней, Капица — ученый уже с мировым именем — вынужден определить по отношению к ней свою «стратегию и тактику». Позиция его двойка: с одной стороны, борьба с системой в целом и с ее частными проявлениями, с другой — стремление для блага научного прогресса выжить из этой системы все что только возможно при данных обстоятельствах. 23 февраля 1935 года он пишет жене:

«То, что в Англии решается телефонным звонком, здесь требует сотни бумаг. Тебе на слово ничему не верят, верят только бумаге, недаром она дефицитна. Бюрократия душит всех. <...> Мне, как ученому, страшно трудно найти место свое. Повидимому <...> время еще не созрело, это и есть трагедия моего положения. Повидимому, единственный [выход] — это стать в исключительное положение, так сказать, под непосредственное покровительство власти. Быть на правах тепличного растения. Хорошо ли это? Могу ли я идти на это? Не лучше ли обождать со всем этим? Мне многое не ясно, но жизнь покажет».

«Тепличным растением» П. А. Капица не стал и по своему характеру стать не мог. Хотя ему и удалось добиться относительно «покровительства власти», использовав его во благо науки, но та же власть — академическая бюрократия и политические диктаторы разных рангов — наносила ему не раз глубокие раны...

Чем дальше углубляешься в эту книгу, тем неотвратимее встает вопрос, намек на который еще недавно был бы сочтен по меньшей мере кощунственным: а развивалась ли вообще советская наука? На мой взгляд, из писем П. А. Капицы может быть извлечен достаточно определенный ответ. А именно. советская наука, рассматриваемая в собственной системе отсчета, в общем и целом несомненно развивалась. Однако качество этого развития было таково, что в контексте достижений мировой науки в 1930—1980 годах наша наука, к великому сожалению, деградировала, и эта ее деградация продолжается по сей день. Книга дает обильную пищу для размышлений о причинах столь печального положения дел.

И. Мочалов,
доктор философских наук.

✱

ЮРИЙ ПРОКУШЕВ. И неподкупный голос мой... Поэты России. М. «Современник». 1980. 366 стр.

В новую книгу Ю. Прокушева (тираж 50 000 экз.) вошли статьи, содержащие похвалы русским поэтам от А. Пушкина до В. Сорокина. Обо всех говорится одинаково торжественным слогом, используются устойчивые привычные клише: «Пушкин — это океан поэзии», «Пушкин и Маяковский... Каждый, как океан поэзии, океан жизни»; Есенину, сообщает автор, он посвятил четырнадцать книг из своих тридцати шести и все еще чувствует себя лишь «у берега могучего, прекрасного Океана поэзии...». Свообразие Есенина, наипаче прославленного книгами Ю. Прокушева, обозначено здесь лишь тем, что он — Океан с большой буквы. Если каждая глава поэмы Е. Исаева «Даль памяти» есть «приток величавой поэтической реки», естественно представить его поэзию как целый бассейн величавых рек, в котором очень много воды, ибо, «войдя в «Даль памяти», вы все время чувствуете себя как бы в центре мироздания, на необъятных просторах Родины»...

Вас. Федорова Ю. Прокушев ставит в один ряд с классиками и называет сначала крупнейшим и выдающимся поэтом современности, потом великим, но Федоров проигрывает по сравнению с Е. Исаевым, ибо его «богатейшее творчество под стать великой Волге», значит, всего-навсего одной величавой реке.

Жизнь Пушкина, сообщает нам критик, — это подвиг. Но и И. Никитин тоже «совершил настоящий подвиг в художественном познании действительности своей эпохи». По сочувственно цитируемым автором книги словам А. Прокофьева, С. Бондарчук совершил подвиг одной только экранизацией

«Войны и мира», и, уж конечно, подвиг — вся жизнь самого А. Прокофьева. А также и Д. Ковалева. Доверчивый читатель теряется в догадках, кому же принадлежит самый большой подвиг: Пушкину, Ковалеву, Бондарчуку? Или, может быть, В. Сорокину, аттестующему себя в книге стихами: «Пока поднося к Музе на порог, не раз была для нас готова плаха?» Уж и «плаха», и «не раз». А ведь действительно, из рассуждений Ю. Прокушева и многих приводимых им цитат создается впечатление чего-то многоголового, такого, что руби не рубя...

Масштабы, используемые Ю. Прокушевым, величественны. «Лермонтов, Некрасов, Блок, Маяковский, Есенин мыслили в своих произведениях по-государственному масштабно, мудро, исторически точно», поэтому их книги есть в каждом доме; «...такая же счастливая судьба ожидает и поэму Егора Исаева «Даль памяти» — поэму государственного звучания». «Государственный» для Прокушева — высшая похвала, без колебаний прилагаемая к классикам. «Его поэзия как совесть народа», — уверенно пишет критик о Д. Ковалеве. И в доказательство небывалой совестливости и скромности своего друга цитирует письмо Ковалева с просьбой выяснить, почему его обошли орденom. Вообще в книге то и дело цитируются дарственные надписи критику на поэтических сборниках и устные высказывания друзей-поэтов, которые (с налетом канцеляризма, правда) демонстрируют теплые личные отношения Прокушева с большинством исследуемых стихотворцев.

В книге есть немало достойных имен, но решительно нельзя понять, кто из русских поэтов самый достойный: Блок или Д. Бедный, Твардовский или А. Марков, Рубцов или В. Сорокин?

Кстати, именно о последнем сказано, что это «глубинно-народный поэт, совестливый и чистый, как небо России»; «вся поэзия Валентина Сорокина как негасимый, вечный огонь жизни и памяти народной, огонь доброты и совестливости, огонь надежды и любви»...

Помнится, эта статья — «Огонь и ветер России» — печаталась в журнале «Молодая гвардия» (1986, № 7) с подзаголовком «К 50-летию Валентина Сорокина», а за год до этого там же была помещена статья В. Сорокина «Звезды зажигают поэты. О творчестве Юрия Прокушева», совпавшая с шестидесятипятилетием критика. В. Сорокин вспомнил, как он впервые читал работу Прокушева о Есенине: «Читал, удивлялся и думал: как хорошо, у Сергея Александровича Есенина есть такой умный и верный исследователь. Все написанное Юрием Прокушевым будто сказано мною» (1985, № 6).

В книгу «И неподкупный голос мой...» включены статьи, писавшиеся с начала 50-х годов до второй половины 80-х. Никакой эволюции в творчестве Прокушева за это время не произошло: последние слова в книге — о невозможности для автора «изменить самому себе, а главное — исторической Правде». Думается, читатель и без подсказки поймет, что это совсем не одно и то же.

С. Кормилов.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

*

ПОЛИТИЗДАТ

В. Воронцов. Судьба китайского Бонапарта (О Чан Кайши). 336 стр. Цена 1 р. 60 к.
Кооперация и аренда. Сборник документов и материалов. 382 стр. Цена 80 к.
Мы живем среди людей. Кодекс поведения. 363 стр. Цена 2 р.
Суровая драма народа. Ученые и публицисты о природе сталинизма. 512 стр. Цена 2 р. 90 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Кольцов. Стихотворения. («Русская муза») 302 стр. Цена 2 р.
В. Короленко. Собрание сочинений. В 5-ти тт. Т. 1. 623 стр. Цена 3 р. 20 к.
Народные русские сказки. Из сборника А. Афанасьева. 319 стр., с илл. Цена 3 р.
М. Салтыков-Щедрин. Избранные сочинения. («Библиотека учителя») 557 стр., с илл. Цена 4 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Быков. В тумане. Повести. Перевод с белорусского. 319 стр. Цена 1 р. 10 к.
Н. Кончаловская. Волшебство и трудолюбие. Рассказы и повести. Статьи и очерки. 318 стр. Цена 1 р.
Г. Мунблит. Рассказы о писателях и мажорская повесть. 255 стр. Цена 75 к.
Г. Русанов. Оклик. Стихи. 126 стр. Цена 40 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Н. Верещагин. Горький мед. Повести, рассказы. 256 стр. Цена 75 к.
Зарубежный детектив. 528 стр. Цена 5 р.
А. В. Луначарский. Мир обновляется. Сборник. («Писатель — молодежь — жизнь») 239 стр., с илл. Цена 1 р. 10 к.
В. Мазаев. Селевый поток. Повести. 239 стр. Цена 80 к.

«РАДУГА»

Г. Атанасов. Я ошибался... Роман. Перевод с болгарского. 391 стр. Цена 2 р. 30 к.
Р. Братный. Колумбы, год рождения 20-й. Роман. Перевод с польского. 608 стр. Цена 4 р.
Десять лет и одна ночь. Современная публицистическая проза. Перевод с арабского. 312 стр. Цена 2 р. 40 к.

З. Ленц. Учебный плац. Роман. Перевод с немецкого. 400 стр. Цена 2 р. 70 к.

«СОВРЕМЕНИК»

Повесть-88. Сборник. 478 стр. Цена 2 р.
Пушкинист. Сборник Пушкинской комиссии ИМЛИ им. А. М. Горького. Выпуск 1. 416 стр., с илл. Цена 1 р. 40 к.
И. Роднянская. Художник в поисках истины. 384 стр. Цена 1 р. 20 к.
М. Шагал. Ангел над крышами. Стихи. Проза. Статьи. Выступления. Письма. Перевод с идиш. 222 стр., с илл. Цена 3 р.

«НАУКА»

В. Вернадский. Биосфера и ноосфера. 262 стр. Цена 3 р. 30 к.
Роман о семи мудрецах. Перевод со старофранцузского А. Наймана. 208 стр. Цена 1 р. 30 к.
А. Смирнова-Россет. Дневник. Воспоминания. («Литературные памятники») 769 стр., с илл. Цена 10 р.
А. Сухово-Кобылин. Картины прошедшего. («Литературные памятники») Л. 359 стр. Цена 5 р.

«ИСКУССТВО»

Е. Гоголева. На сцене и в жизни. («Театральные мемуары») 297 стр. Цена 1 р. 60 к.
Т. Проскурникова. Авињон Жана Вилара. Традиции народного театра во Франции. 367 стр. Цена 3 р.
Д. Сарабьянов. Стиль модерн. Истоки, история, проблемы. 294 стр. Цена 4 р. 80 к.
В. Ходасевич. Стихотворения. 95 стр. Цена 1 р. 70 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Р. Бухараев. Вокруг Тукая (Комментарии к любви). Повесть в стихах. Казань. Татарское книжное издательство. 127 стр. Цена 55 к.
Грамматина любви. Повести и рассказы русских писателей. Омск. Книжное издательство. 383 стр. Цена 2 р. 10 к.
В. Гроссман. Жизнь и судьба. Кишинев. «Литература артистикэ». 783 стр. Цена 3 р. 30 к.
М. Кузмин. Стихотворения. Поэмы. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 368 стр. Цена 1 р. 50 к.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов**, **Д. А. Гранин**, **И. Я. Зиедонис**, **В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крушин**, **Д. С. Лихачев**, **П. А. Николаев**, **Б. И. Олейник**, **Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **И. Б. Роднянская**, **В. И. Селюнин**, **М. В. Тимофеева**, **О. Г. Чухонцев**, **В. А. Ярошенко**

Технический редактор **А. Гинзбург**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.11.89 г. Подписано к печати 06.02.90. А 08421.

Формат бумаги 70×108^{1/16}. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.). 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 2.670.000 экз. (7-й завод 1.950.001—2.670.000 экз.). Зак. 4412. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»

103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

1 р. 20 к.

Индекс 70636

ISSN 0130-7673 Новый мир, 1990, № 2, 1—272.